

Галина Щекина

Несвадебный марш

Роман



Москва-Берлин
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6
Щ38

Щекина, Г. А.

Щ38 Несвадебный марш. Роман / Г. А. Щекина. –
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 624 с.

ISBN 978-5-4475-9144-1

Многие житейские истории свадьбой кончаются, а эта история свадьбой только начинается. Даже гораздо раньше – когда герои были еще дети. И дальше видно, как они идут по дорогам судьбы, приближаясь друг к другу. Разные до невозможности, но предназначенные друг другу.

Говорят, в развитом обществе нет классов – еще как есть! Между ними разверзлась не просто разность характеров, но еще и социальная пропасть. Интересно, как они ее перепрыгнут? У Севы рок-музыка, у Вали книжки, барды...

Роман распадается на две части – пока героиня Валя Дикарева жила в городе у моря, и после ее переезда в город в лесах. Идиллией их совместную жизнь не назовешь: диссертации, дети, праздники и скандалы всегда случаются не вовремя. А тем временем Валина сестра Тоня попадает в свою прифронтовую полосу – строит дом, хоронит стариков. Валя всегда тянулась к искусству. И когда видит настоящую живопись, на нее столбняк нападает. А ее подруга Снежка – сама жена художника, и у нее своя драма.

«Несвадебный марш» – семейная хроника, через которую показана жажда человеческого счастья.

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6

ISBN 978-5-4475-9144-1

© Щекина Г. А., текст, 2017

© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2017

Об авторе

Галина Щекина родилась в 1952 году в Воронеже, там же закончила университет. В Вологде живет с 1979. Начала писать в 1985 году, с той поры публиковалась в журналах «Дружба народов», «Вологодский Лад», «Север», в альманахах «Илья», «Стороны Света» (Нью-Йорк). В 2008 вышли роман «Ор» и роман «Графоманка», в 2010 — поэма «Горящая рукопись», в 2011 — книга стихов «Астрофиллит», в 2013 книга стихов «Сонное царство» и роман «Тебе все можно». Пишет прозу, критику, стихи. На литературном сайте «Журнальный зал» имеется немало произведений Г. Щекиной: «Дружба народов», № 4, 1996 г. «Инверсия», рассказ; «День и Ночь», 2005 г. «Графоманка», роман; «Урал», № 7, г. «Хоба», психологическая повесть.

Параллельно своей творческой деятельности неоднократно помогала начинающим авторам, издавала газету и журнал «Свеча», позднее студийный литературный журнал «Листва».

Книга для детей «Бася, подруга Короля» выходила в разных вариантах — как повесть (М, «Букстрим») и в виде отдельных книжек для дошкольников и младших школьников («Вологда, «Легиа»). С 2014 года активно сотрудничает с издательством «Директ-Медиа».

Галина Щекина — член Союза российских писателей с 1996, основатель Вологодского отделения СРП. Член Литературного клуба первого собрания сетевого ресурса «Стихи. Ру». Награждена премией фонда «Демократия» в 1996, именной медалью Ильи Тюринина в 2007 как координатор проекта «Илья-Премия» в Вологде. Финалист премии «Русский Букер» — 2008. Третья премия «Народный писатель» в 2012. Бывая в Воронеже, выступала в Библиотеке искусств им Пушкина, в Литературном музее им И. Никитина. Литературовед

О. Ласунский внес имя Г. Щекиной в Историко-культурную энциклопедию г. Воронежа.

Электронные страницы публикаций Галины Щекиной:

Стихи: <http://www.stihi.ru/avtor/rakel>

Проза: <http://www.proza.ru/avtor/lanit>

Женщина в мире мужчин (вместо предисловия)

Дорогой читатель, ты держишь в руках замечательную книгу, автор которой – вологодская писательница Галина Щекина. Встреча с ней и ее героями – безусловная удача для каждого, кто любит книгу, кто ценит искусство слова, а не искус лихо закрученных модных сюжетцев с обязательным набором гламурных деталей.

Герои Щекиной живут где-то рядом, они не слишком озабочены глобальными проблемами, они небогаты и нечиновны, но при этом они обладают качествами, которые не могут не вызвать симпатии, интереса и уважения. Этот удивительный «оксюморон» простоты и незаурядности, обыденности и нескончаемого праздника души, нескрываемой провинциальности и очевидной исключительности и есть, пожалуй, главная примета стиля писательницы.

Уже в первом романе Щекиной, вошедшем в шорт-лист Букера (2008) проявилась ее способность быть особенной, неподражаемой. Наверное, поэтому ее «Графоманка», оставаясь внешне в рамках сугубо «женской» проблематики, не превратилась в манифест бунтующего феминизма, а стала грустной и очень честной повестью о том, как нелегко складывается жизнь той, чьи руки «тянутся к перу». Ларичева-графоманка – безусловная удача Щекиной: тихая и покорная внешне, эта героиня несет в себе целую вселенную сюжетов, перетекающих под стук ее старенькой машинки, вопли детей и высокомерную иронию супруга длинной нескончаемой лентой из жизни в книгу, книгу, которая, возможно, никогда не увидит свет. Кто бы еще рассказал о таком? Только та, чья жизнь тоже перетекает в книгу.

Автобиографизм давно признан критикой категориальным признаком «женской» прозы: о чем же еще может рассказать писательница, как не о собственном

жизненном опыте? Какую еще, как не семейно-любовную тему способна осветить та, которую так неохотно, с кислой миной выпускают потихоньку в приоткрытую дверь большой словесности? И Щекина не противится, не ищет философских глубин, не претендует на изысканную концептуальность, не тешит избалованных эстетов игровыми техниками. Семья? Да! Любовь? – Безусловно! И все, что полагается к ним «довеском» в этом не самом простом из миров: сломанная стиральная машинка, «светлые своды поликлиники», безденежье и... полет души, стихия творчества, сумасшедшая страсть и абсолютное, не подающееся сомнению, неподдельное человеческое счастье.

Кажется, немного счастья и в жизни Валентины, героини «Тебе все можно» – ее представления о большом справедливом мире подвергаются сокрушительным ударам и рушатся, рушится и первая любовь. Однако у нее хватает ума оценить и горечь, и сладость ее первого жизненного опыта, полученного в городе у моря.

Мир мужчин, воссозданный Щекиной, тоже далеко не однороден. Среди них и крутые мачо, превращающие женщину в предмет потребления, и романтики-рыцари, стремящиеся возвысить ее до идеальных высот искусства. Но Валентина, отстаивая свою идентичность, сопротивляется и тем, и другим, потому что не хочет ничего принимать на веру, потому что упряма и стремится до всего дойти своим умом.

Автобиографизм Щекиной особого качества: латентный, неявный, тот, о котором когда-то очень тонко и проникновенно спел Окуджава: «И из собственной судьбы я выдергивал по нитке...». Из этих «ниток» соткана и наивно-трогательная «Графоманка», и огневой, отчаянный «Ор», и прямая, как правда, «Улица гобеленов», и томительная история взросления в «Тебе все можно». Чудится, что где-то есть он, заветный «шкапчик», где в плюшевых альбомах и рамочках-паспорту

хранятся пожелтевшие черно-белые фотографии, на которых и Ларичева, и Тимоша, и Черепашка, и Граня...

Наверняка отыщутся среди них и фото, на которых лица из нового романа Галины Щекиной: постаромодному благородная Фелисата, советский битломан с задатками диссидента Сева Седов, стоическая труженица Тонечка, сестра-подруга Инка... Каждый из них проходит в сюжете «Несвадебного марша» свой марш так же бесстрашно, как и взрывная, эмоциональная героиня Валента, с которой читатель уже знаком по роману «Тебе все можно».

Сюжет нового романа выстроен сложнее и необычнее, чем в предыдущих: семейная хроника развивается как два параллельно текущих потока, естественно, как два ручейка, пробивающих себе русло то в мягком песке детства, то через бурные пороги юности... Событийность ненавязчиво, но настойчиво переплетается с проникновенным лиризмом, описания сменяют диалоги, в повествование включаются письма и дневники. Полифония Щекиной получает здесь свое максимальное выражение: автор как будто «уходит» за невидимую завесу, растворяясь в словах, речевой манере, юморе своих героев. И читать легко и приятно: река слов, река времени и судьбы несет тебя от одной ожившей в воображении картинки-кадра к другой, то нарастая, то успокаиваясь. И ты не ждешь конца-финала, он не нужен тебе, он не нависает над тобой в своей привычной неотвратимости. Ты живешь и дышишь вместе с героями, проживая их жизни, как свою. Интонация повествования уходит от обид и обвинения, давая самой жизни расставить все по своим местам.

Героини Щекиной, утопая в кипении быта, временами смотрят в небо, как бы отчитываясь и вопрошая о смысле жизни. Ларичева — на картофельной грядке, Марьяна перед умирающей, Тома Халцедонова перед «личным иконостасом», Валентина на берегу пустого

лимана, потом, обняв детей, над молитвословом. Все они обладают способностью в трудный миг жизни остановиться и замереть, чтобы понять и себя, и мир вокруг. В мире мужчин это сделать непросто, ибо борьба не прекращается, но это приходится делать, когда трудно и страшно.

И тогда быт становится бытием, а в житейских мелочах проступает особая лирика. И в событиях видится не злой рок, а подарок судьбы.

За века своего существования литература преуспела в изображении человеческих трагедий и драм: «а счастье было так возможно...» – лейтмотив большинства мировых сюжетов. Изобразить же счастье, – не обозначить номинально, а изобразить, – это, согласитесь, большая редкость! Роман Щекиной «Несвадебный марш» о счастье, как норме бытия, о счастье, для которого нет готовых рецептов и хоженных дорог, о счастье, которое все-таки есть и не верить в это невозможно.

Приятного чтения!

Светлана Воробьева, кандидат филологических наук
г. Волгоград

Часть первая

ОНО ЖИВОЕ

Вагонная уютная качка, перестук колес, на оконном стекле густой бисер дождя. Проводница низким сонным голосом поет: «Чай, ча-ааай кому, граждане пассажиры?.. Чайком побаловаться». На столик с негромким бряканьем воцаряются стаканы в подстаканниках, и звучит мамин голос: «А шоколадочку принесете? – «Принесу, принесу». Беловолосый мальчик щурит глаза и притворяется спящим, а на самом деле ему давно уже хочется вскочить. Попить чаю – это он знает, а как им «побаловаться»? Моложавая и яркая, в горошистом платье, дама закалывает волосы в узелок, поправляет воротничок. По радио рассказывают легенду про Одиссея.

– Новое поколение не знает историю про Одиссея и Пенелопу, – грустно говорит вторая, более пожилая попутчица, звеня ложкой в стакане. За окошком вагона лето, но она зябнет и кутается в шарф.

– К сожалению! – подхватывает дама в горошистом платье. – Легенда о верности – это не только про Древнюю Грецию, как царь Итаки уплыл на войну или как человек может быть настойчив в достижении цели. Это ещё и история о женской верности. Жена Пенелопа его ждала. Пока он плывал, она вырастила сына Телемаха...

Дама заглядывает на вторую полку, где жмурится ее сынок.

– Ты ведь не спишь? Ну, не разгуздался еще ребенок... А вы знаете, – обращается она к попутчице, – моя история будто бы списана с Пенелопы. Когда судьба-то нас сводила, это сразу было понятно – таково предназначение. У вас вот не бывало, чтоб во сне увидали и это потом в жизни появилось? Вот видите, бывало. Вот и у меня случилось.

В тридцать пятом году в читальном зале провинциальной библиотеки я увидела человека из сна и поняла, что это судьба. Такой широкоплечий, в мешковатом костюме, а как оборачивается – вижу его очень светлые глаза. И почувствовала: только такого хотела... И когда его увидела в библиотеке, сразу поняла, что это он. Задрожала, даже чуть не упала... Мне библиотекарьша – она была моя подруга – всегда первой давала новый журнал. Мне нужно было вернуть его. И когда я его передавала обратно, у нас с этим молодым человеком руки соприкоснулись – и мы задрожали оба! Потом пришлось признаться, что током меня пробило. А он тоже признался: «И меня». Значит, так судьба и свела нас, меня и моего Алешеньку. Вскоре стали мужем и женой. А потом началась война!

– Имя у него такое хорошее и простое – Алексей, – замечает пожилая попутчица, – а ваше напротив, мудреное. Как вы говорили?

– Фелисата.

– Имечко непростое. Да и сами вы не из простых, наверно?

– Скорей, из простых. Родители мои из обедневших волжских дворян. Значение имени – счастливая, это с латыни. Папа придумал, очень умен был. За это и оказался на Соловках... Впрочем, коли по моей истории судить, так и вправду счастливая.

– Неужели за первого встречного выскочили? – удивляется окутанная цветным шарфом попутчица.

– О, нет. Женихов у меня было достаточно. Один из них, бухгалтер, даже на курсы меня отправил, готовил себе помощницу, да я отвернулась от него. Знаете, все они были люди мелкие, мизерные прямо. А мой был большой человек, значительный. Сева, ты не спишь?

– Не сплю!

Сева в белой смятой маечке вылез из-под одеяла и заулыбался на все купе своими светлыми-пресветлыми глазами.

– Ну, а зачем же притворяешься? Вставай, мама умоет и чаю даст...

И она с полотенцем уводит его, одевает, поит чаем. В каждом ее движении осторожность и ласка, сквозь них проступает озабоченность, даже тревога.

День катится дальше, катятся колеса вагона, пристукивая на стыках. Вся природа светлеет в окошках, словно умытая. Вагон разговаривает, пьет чай, посмеивается... Фелисата продолжает свою историю. Речь ее немного старомодная, церемонная.

– В городе после женитьбы не получилось устроиться, и мы поехали в Сорский район, куда Алеша был направлен агрономом. Он и на войну ушел с должности агронома Сорского района. Родом сам из Вельска. Участвовал в военных действиях в сорок втором году, под Ленинградом, район Синявино, в составе Восьмой армии, в минометной батарее. Они сражались в окружении немецких войск. Положение было тяжелое. За две недели кончились продукты, стали забивать местный скот, но через три недели ещё хуже стало – пришлось пробиваться к своим. Ночью большая часть наших войск, около пятисот человек, пошла на прорыв линии фронта, вышли на Ладожское озеро. После этого многих наградили десятидневным отпуском, выдали пайки и сухари. А некоторым отличившимся – орден «Красной Звезды», даже без согласования с Верховным командованием. В числе награжденных отпуском оказался неожиданно и мой муж! Подарок судьбы.

Я стояла на кухне у керогаза, следила, чтоб каша не убежала, а дочка играла в комнатке. Вдруг она как закричит: «Папа!» У меня ноги подкосились. Вбегаю в комнату, а дочка в окошко указывает – там папа! И

правда, идет по дороге человек в военной форме и скатке. Эта дорога единственная от вокзала. И я прямо в халате, в тапках, да по холоду... И как она могла узнать его на таком расстоянии? Это мог оказаться не он, но это был он.

А после отпуска он снова вернулся в свою часть – охранять дорогу жизни на Ладоге. Когда сняли блокаду, Алеша еще долго воевал в частях, защищавших Таллинн, там их батарея сбила несколько вражеских самолетов.

А я? Ну, что я... как все. Младшую я родила без него. Пока солдат героически сражался на фронте, я оставалась в тылу. Как могла, одна воспитывала двух маленьких дочек. Несмотря на тяжелые времена, ни на кого не заглядывалась, честно ждала мужа.

Была у меня очень проворная соседка, к которой заглядывали офицеры, приносили богатые подарки. Но я ни-ни-ни, хотя была прехорошенькая... Ждала любимого человека. Подрабатывала на жизнь вышиванием блузок, дорожек, скатертей – за это давали хлеб, крупу... Всю ночь, бывало, шью на машинке – утром узелок пшена за работу несут.

На одной кухне с соседкой сталкивались, я норовила прошмыгнуть к себе и все. У самой двери однажды взял меня за локти один вояка! Крепко сжал, не вырваться. А я шепотом ему в ухо: «Вот сейчас кастрюлю-то вылью на вас!» И он вдруг отпустил меня и так даже обрадовано спросил: «Как звать суровую?» – «Никак!» Но соседка ему моё имя назвала: Фелисата. Он другой раз зашел к ней, а мне занес мыла.

Ах, что говорить! Уж поплакала я за стеной, слушая их вечеринки. Дом деревянный с фанерными переборками, которые обоями заклеены. Я все слышала до мелочей. Сначала там стулья раздвигали, консервы вскрывали, гостями принесенные. Стол накрывали наспех, рюмок и тех не было, но патефон у них был. Был!

Так вот, когда шаги-то под музыку шелестели, у меня пульс начинал частить. Танцевать-то я любила по молодости, но как танцевать в войну, когда муж под бомбами – это я не понимала. И хочется и колется, глупой. И после танцев пружины начинали скрипеть. Боже мой, как я накутывала на голову платки, только бы не слышать пружин этих!

– Сева, ты покушал? Ну что ты будешь делать. Опять ничего не покушал, водой налил – и готово! Хорошо, вот яблочко возьми... Представьте – месяц нет письма. Второй месяц – нет. Что такое? Раньше Алексей Петрович писал мне аккуратно. Я пошла к гадалке, взяла с собой буханку хлеба... Она сперва отказывалась гадать, соприкасаться с нечистой силой. Но я ее уговорила. Объяснила, что два месяца нет писем, волнуюсь, что с ним. Гадалка раскинула карты и тут же сгребла их: «Не беспокойся, он жив. Вы встретитесь с ним, но не дома. Идите, больше я вам ничего не скажу». Ну, я и то обрадовалась: жив ведь, встретимся!

Вскоре получаю анонимное письмо. Со страхом узнаю, что уже более года муж мой живет с эвакуированной женой генерала, которая на десять лет его старше. И даже дочка у них, но неясно – общая или от первого мужа. Он, якобы, должен сопровождать ее до Одессы, откуда родом эта женщина. В письме было сказано, что через три дня муж должен покинуть часть и уехать.

Что делать? «Господи, помоги», – молилась я, зайдя в церковь. А тогда ведь нельзя было открыто: как выйдешь, так и оглядываешься, не видел ли кто тебя, а то донесут, пальцем будут показывать...

Недолго думая, собралась, оставила девочек на руках соседей и поехала по адресу военной части, откуда приходили письма. Права были на моей стороне.

А под длинное бостоновое пальто я надела еще и пеньюар зеленый, немецкий – на всякий случай. Я

боялась, что если буду брать с собой багаж, у меня его украдут в первую очередь. А с живого человека попробуй еще сними.

– А если бы письмо оказалось провокацией? Ну, злые люди нарочно бы послали, чтоб порвать вам нервы? – попутчица аккуратно разламывала шоколад на квадратики, не раскрывая фольгу. – Вам это не приходило в голову?

– Что вы! Ни минуты я не сомневалась, что это правда. Если б не так, то ложь бы по приезду моему сразу же раскрылась. А потом, сама мысль, что я хотя бы увижу его, придавала мне сил. Я часто вспоминаю того человека, который написал анонимку. Нет, злым он не был, наоборот, он подал мне сигнал бедствия, он сочувствовал мне, абсолютно чужой женщине. Это мог быть кто угодно, хоть парторг части...

На поезд билетов не было... Ждать было нечего. На вокзале стою, что делать? Последний гудок. Обежала паровоз, забралась на ступеньку вагона и уцепилась за поручни. Это у новых вагонов ступеньки убираются, а на довоенных вагонах были три ступеньки и маленькое углубление у двери, было куда от ветра прижаться. Господи, меня сохрани... И больше ничего не помню. На какой-то остановке меня стали снимать – а руки не разгибаются, пристыли к поручням. Опять: «Господи, помоги». Руки разогнулись. Там уж с билетом было проще, позаботились добрые люди.

Как ехала, уже не помню. Не могла есть, спать. Выключили меня для желаний. Просто сидела, закрыв глаза, народу много, два раза напоили кипятком. Голова кружилась. Но я была готова все терпеть, идти дальше, все выдержать. Внутренняя сила меня вела. Это была тревога, которую не высказать.

Когда я приехала, сначала пошла в часть, при которой общежитие. Там его не было, но мне дом указали. Хороший дом, бревенчатый, крепкий. У нас-то в Сорске

куда хуже... Я стучала в окна и в двери, стучала вот так кулачком, потом ногою.

Алексей не откликнулся. Может, боролся с собой. Может, был с той женщиной, что его не пускала? Что творилось у него на душе, неизвестно. Может быть, он и правда полюбил генеральшу? Говорят, красивая была, жгучая... А я стояла на морозе! Что я только не передумала за этот час! Как дальше жить буду одна? Как живы-здоровы у чужих людей сейчас мои детки? Что будет с ним, если упаду и замерзну? Как в библиотеке он глянул на меня впервые...

Однако услышал он меня. Отодвинулась щеколда, и он вышел в накинутаой шинели из генеральского дома и шагнул ко мне навстречу. Не обнимал меня, даже ничего не сказал, только смотрел. Глаза такие больные, жалкие. И мы пошли в его общежитие, понимаете? Вещи собирать. О любви речи не шло. Он обрывал свое сердце, посерел весь, я чувствовала: лучше не трогать. А с этим пеньюаром... Ну что ж, наивная была.

Вскоре мы вернулись домой, где нас ждали маленькие дочки... И больше этот роковой случай мы не обсуждали.

— А разве вы не сомневались? Уверены были, что он не вернется к той и поедет с вами?

— Не сомневалась. Потому что я сама лучшая. Потому что судьба это. Вот и Сева родился после той встречи.

— Это я, что ли? — повернулся от окошка Сева.

— А кто же? Я родилась и выросла в Поволжье, — продолжала Фелисата, возясь с прической, закалывая наверх светлые вьющиеся волосы. — Семья наша была раскулачена, и отец погиб на Соловках. Меня родители воспитали в послушании и строгости, и так же я растила своих детей.

В тридцать восьмом году родилась дочь первая, любимица наша. В сороковом — был мальчик и умер.

В войну вторая доченька родилась. А я все просила: «Господи, дай мне еще сыночка». И вот он, золотой мой...

Сева действительно сидел тихо, и лицо у него было отсутствующее, а глаза быстро перебегали по деревьям, летящим за вагонным окошком. Мама шуршала бумажками, перекладывала дорожные сверточки, прибирала все в сумке и на столике. Попутчица понесла проводнице брякающие подстаканники и затем, кряхтя, тоже взялась за сумки – ей предстояло скоро выходить.

А Фелисата, глядя на сына, прилипшего к окну, все никак не могла успокоиться. Растревоженная душа, привыкшая быть на замке, почему-то заныла... Может быть, потому, что сыночек, ее радость, гордость, в последнее время стал таять здоровьем и не хотел расти. Вот уж пора собирать в школу, а он не только не вырос, но и похудел. Ну, вовсе прозрачный стал ребенок. Куда это годится? Куриные бульоны не помогли, и красная икра тоже. Витамины ему прокололи, не один курс. Может быть, послевоенные голодные годы так отразились на родителях, может таинственный сбой в наследственной цепочке? Хронического заболевания, такого, чтобы болело что-то одно, не было. А общее состояние удручающее. В голос твердили и врачи и знакомые: везите, везите на юг – там окрепнет. Кто знает, кто знает, не было бы хуже. Старшие дети остались с мужем, и она поехала...

* * *

На станции они сошли с поезда, толкаясь с другими пассажирами, которые тащили чемоданы и сетки, и стали искать автобус до санатория. На автовокзале оказалось, что автобус только что ушел. Они сели на лавочку, поклевали домашнего пирожка, запили газировкой и осмотрелись. Народ бурлил вокруг автостанции, автобу-

сы медленно подползали к площади, еще медленнее уползали, набитые людьми. Все дорожки вокруг и сама площадь были мокрые от дождя, сидеть было не холодно, а у мамы был зонтик и еще свитерок теплый.

– До автобуса еще долго, – сказала мама. – Ты побегай, обмотрись. Далеко не уходи.

Автовокзал был белый, высокий, как замок, с полукруглыми окнами. А крыша треугольниками на четыре стороны. С одной стороны площадь для автобусов, с другой – парк с узкими деревьями и еще на зеленых полянках такие большие шары. Белые вазы по бокам.

В стеклянных вазах у них дома лежали яблоки или конфеты. Но для этих ваз никаких конфет не хватило бы. Огромные. Поэтому туда посадили цветы. Дальше стояли тети и продавали бусы, игрушки. Ах, он сразу увидел и понял, что хочет.

– Мама, там что-то есть.

– А что? Баловство опять?

– Нет, это такая звезда, она в шишечках. И еще ракушки замечательные.

Мама вздохнула и купила ему оранжевую морскую звезду, она была твердая на ладони.

– А ракушки сам собираешь, дай время, у тебя их будет много-премного...

Они приехали в пансионат, сходили к дяде-начальнику, он не хотел их принимать, потом сказал:

– Хорошо. Лечение мы вам обеспечим, а с жильем, увы... Мне звонили насчет вас. Мест у нас нет в такое время, но мальчику надо пройти и обследование, и лечение. Карта есть? Давайте посмотрим мальчика. Кофточку снять, не кутайте его. Так, так. Дыши. Не дыши. Пока ничего страшного. Вот вам время процедур, не пропускайте. Не волнуйтесь, тут многие сдают квартиры, есть недорого. За территорией направо рынок, спросите там.

И вот наконец они пришли в маленький домик! Вокруг было много деревьев, на них такие желтые яркие сливы. Они падали прямо на дорожку и даже на голову. Ух ты, сколько тут всего! Мама положила в домике чемодан, покормила Севу кашей, которую дала хозяйка, и они пошли на море.

Море было живое. Оно шептало и плескало в уши. Оно отсвечивало солнцем, зайчики прыгали в глаза. Он зашел по колено и застыл: задумался. Это была какая-то другая жизнь. Воздух сам в него залетал, трепал волосы, рубашку. Ветер сам с ним играл. А с ветром играли большие крикливые птицы, чайки, которые сбивали брызги зеленых волн. Все налетало на него, теребило, щекотало. Он хотел широко раскрыть свои светлые глаза, чтобы все-все охватить и запомнить. Но глаза на солнце слезились и щурились, а мама велела надеть фуражку с козырьком.

На процедурах Севу нагревали. Мазали какой-то темной мазью. Заворачивали в пятнистые простыни и опять нагревали. Потом опутывали проводками, и он лежал на кушетке. И была щекотная щеточка, которой причесывали. На другой день массаж: врачи гладили, мяли руками, еще – длинная трудная гимнастика и душ. И опять процедуры. Сева все это терпел, потому что этим только и мог заслужить море. С утра были процедуры, после – еда и море. Живое море, которое играло с ним. Он задумается, а оно его – раз, и собьет с ног. Плотное такое, даже острое, как камешки, которые тащила с собой волна. И в него же она с силой швыряла эти камешки с песком! Не стой, не думай, иди скорей. Он пинал волну и смеялся. Он быстро научился пружинить и не падать от волны.

Он перестал чувствовать холод стихии, свыкся.

Мама с тревогой смотрела на него с берега. Что-то ей подсказывало, что слишком контролировать его плесканье не стоит. Не может же он простудиться... в море. Но когда он сам выползал на полотенце, падал на него,

дыша худыми ребрышками, она давала ему отдохнуть, а потом будто невзначай бросала: «А кушать Севочка не захотел?» И шурша сумочками на жарком ветру, протягивала ему виноград или жареную курочку с хлебушком. И Сева, устав, не рассуждая и не лукавя, молотил все это за милую душу, а потом еще приходил в домик хозяйки и там машинально съедал мамин супчик... Так катились их круглые и медленные, тяжеловатые сонные дни, катились неспешно, небыстро.

Постепенно острота жары и холода как-то сравнялась, ушла, одежда намокала и высыхала на нем, кожа потемнела и стала не такой тонкой, и даже голова, если он забывал фуражку с козырьком, несколько не болела. На нем нарастал невидимый панцирь, вроде второй кожи, и ему не надо было напяливать лишние кофточки.

Сева смотрел куда-то, где проходили неслышно пароходы, он слеп и глух от воды, но не скучал. Ему было просто хорошо, потому что ничего не болело, он не кашлял. А мама смотрела на него и кивала своим мыслям.

Деньги у нее кончались, она пыталась растянуть их, видя, что ее труды как будто не напрасны. Вечерами, уложив ребенка, она сидела под лампой во дворе и вышивала. Мотыльки стукались об эту лампу, падали на столик. За эту желтенькую, вышитую букетиками скатерть, хозяйка разрешила ей пожить в домике еще несколько дней. Пели сверчки с переливами. Жизнь была простая, немудреная, и, казалось, можно тут прожить до самого конца, а больше ничего не надо...

Вечера еще были теплыми, хотя дело шло к осени. Интересный мужчина с военной выправкой и седой прядью подсел недавно на пляже. Он играл с Севой, рассказывал о севере, потом пригласил их на обед. Фелисата познакомилась с ним спокойно и с достоинством, приглашение на обед приняла. На обеде она внезапно поведала ему, что тревожится о доме, откуда уехала два месяца назад, о любимом человеке и дочерях и о том, что пора, пора собираться. Мужчина по имени Трофим

разулыбался так, будто и не огорчился нисколько. Он назаказывал гору всего: и шампанского, и жаркого, и десерт, а потом отвез их домой к хозяйке на такси. Сева пропустил дневной сон, но спать не хотел. Вертел головой во все стороны.

– Чему же вы радуетесь? – удивилась Фелисата. – Я думала, вы обидитесь, что у нас с вами романа не выйдет.

– Я рад тому, что не ошибаюсь в женщинах. Обращаю внимание только на настоящих! Желаю вам счастья.

И Трофим уехал. Пора, пора собирать чемоданы...

«Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар».

Эти державинские строчки Фелисата повторяла про себя как молитву.

КОСЫНОЧКА

Ридна мамо. Желаю вам здоровья и благополучия. Да чтоб руки ваши натруженные не болели, и наш отец давал вам покой... После отсидки, наверно, совсем характер стал тяжелый. А то ж я знаю, какой он, когда разойдется. Но вы даже голову не клоните, не покорствуйте ему.

Виновата, что давно не писала, но как тут писать, когда испытания одно за другим. Помните, я сообщала вам, что нам дали комнатку от института? Такое ж это было событие, когда мы с Петром впервые туда вошли, это было такое ликование. Хотела сказать – счастье, но для той конурки это слишком громко. Конурка на одно окно, справа столик с керогазом, слева в углу железная кровать с панцирной сеткой, а вторая кровать, разобранная, у стены. Денег на двухспальную не было, но отставник с военной кафедры отдал нам свою полуторку, а сам спал на диване.

Мы были этому очень рады, тяжело жить в частном секторе, ездить с окраины на работу. Комнатка, правда, не очень, хорошая, пропахла сильно табаком. Так мне пришлось выбелить ее не раз, чтобы отбить застарелый казенный дух. Помогла и трава тысячелистник, которую мы нарвали и разложили под кроватью. Спасибо вам, что научили меня хозяйничать, мне не так страшно было в семейную жизнь входить. Одно дело, что человека любишь. Другое – как сделать ему дом, чтобы он его тоже любил... Помню я и блины ваши, как вы их переворачивали одними пальцами, и как мне страшно было перехватывать самой этот блин.

С получки мы купили четыре глубокие тарелки, кастрюльку, ложки-вилки, все на рынке. А то у нас только были две железные столовские мисочки. Петя починил старый керогаз и сам сходил за керосином, его привозит бензовозка раз в неделю. Спали на казенных простынях,

комендант нам разрешила, потом свое появилось, так ей все сдали, до полотенечка.

Занавесок тоже не было, но приехала из деревни Петрова родня и подарила настоящий ситец на окно, зеленый, рябенький, как весеннее поле... Правда, они любители выпивать и долго и громко песни кричат. Говорят, у них в деревне так положено, а ты, мол, не нашенская, не поймешь русскую душу. Да какая там еще душа! Просто неудобно от соседей, все смотрели и шарахались. Особенно косился отставник с военной кафедры...

Посылку вашу получила. Где вы только раздобыли такую кучу лоскутов в тяжелое наше время? Может, списали в швейных мастерских? Часть пошла на пеленочки, на домашние полотенчики, а вот горошистые обрезки пошли на косынки. Оно, кажется, сатин – черный в белый горошек и белый в черный горошек. Сатин замечательный. Не линяет при стирке...

Сало, завернутое в клеёночку, дошло хорошо. Совсем было б нечего есть. А так мы и в картошечку его, и так, с горчичкой. До каши добавка. Борщ заправить можно. Большая подмога.

* * *

Про дочку мы вам сообщали после роддома, что Вaley назвали. Петя хотел героическое имя, а я простое и тихое, ну вот и договорились.

Родилась она утром, все дежурные сестры дружно сказали, что она появилась с солнцем, которое с-под тучи выглянуло. В руках врача оказалась и глазами как будто смотрит, смотрит. Даже не плакалась, но таращилась. А должна плакать! Ее сбрызнули водой, она нехотя и обиженно заплакала. Считается, что с плачем дитя начинает дышать, но сдается мне, мамо, она начала дышать раньше...

Девочка у нас тихая, не крикуша. Как стала сидеть, я ее кроватку-качалку привязывать стала к своей кровати, чтоб не перевернулась. Бывает, и ночью проснется, сидит, качает головой, бублик сосет. Тоже терпит и не кричит. Она так на вас похожа, все глазки-бровки ваши, чернявенька, смуглява. Мамо, неужели вы были такой хорошенькою пампушкой в детстве? И щечки свисают, как у того хомяка. Когда ж вы приедете, чтобы вашу первую внучку понянчить? Или отец вас не пускает? Тогда я напишу ему отдельно и попрошу. Или, может, вы боитесь пересадок на поездах? Так Петр встретит вас на узловой! Туда в питомник часто ходит машина из института, можно подгадать, чтобы на ней вас и привезти. Вы как надумаете, сразу сообщите.

Петра Павловича моего оставили в институте, он второй год аспирантуры прошел, написал работу, которую будет защищать. Мне обещали место лаборантки, но я волнуюсь, как быть с Валечкой. Мне с нею на руках не выйти на работу. Обнимаю вас, мамо, легонько и прощу – берегите себя. Хотя я и знаю, что никогда ж вы этого не делали и теперь не слушаетесь.

* * *

Ридна мамо. Недавно отправила вам письмо, сейчас пишу еще одно вдогонку. Знайте, мамо, что ваш выезд нужно перенести раньше на месяц, а то и больше. Мы собираем вещи и уезжаем с этого места очень-очень далеко. Километров за двести-триста.

Бидна моя, совсем я вас с толку сбила. На расстоянии как будто вижу ваше переполошенное лицо, наверно, и письмо мое выпадет с рук. Пугаться не надо, мы хорошо подумали. В институте было собрание, выступали большие люди из Москвы. Они и у нас нашлись бы, но дело государственной важности. В газете «Правда» напечатан призыв партии к советскому народу. А мы с Петром

не просто народ, мы – молодые специалисты, выпускники сельскохозяйственного института. Призыв этот к нам. Сельское хозяйство – это ж то, без чего страна не сможет жить и развиваться. Мы уезжаем делать новое дело и подать достойный пример другим.

Сердце сжимается от мысли, что Петру остался год, и он бы защитил кандидатскую диссертацию. Жалко нашу первую квартиру, ведь мы столько души в нее вложили.

Я спрашивала, можно ли ему поехать вперед, а мы бы с дочкой прибыли позже? Но он покачал головой: там хотя бы я буду работать, а тут тебе кто поможет? Может, поедешь пока к нашей родне в деревню? У них тоже не мед, но картошка своя. Но я, как это услышала, замахала руками. Куда еще? Зачем я туда без него? И защитить некому. А теперь! Кто знает, где придется жить. В той деревне, куда направляют нас, одни избы с соломенными крышами. Так и придется у какой-то тети Мани за печкой сидеть. Еще хорошо, если печка, чтоб купать дитя, а не вагончики...

У нас через неделю целый состав пойдет на целину. А там, мамо, голая степь, говорят, в землянки поселят...

Вот я пишу вам, тороплюсь собирать вещи, а Валечка сидит, сосет уткин клюв и смотрит черными глазками прямо в душу. Будто спрашивает: «Вы не с ума ли сошли? Куда меня везете?» Тревога на душе, она сильная, как ветер за окном.

Мне самой страшновато, мамо, и даже совестно перед нею, но я надеюсь, она вырастет и поймет, что иначе нельзя было.

* * *

Ку-уккареку, кукка-рреку. Закукарекал петух. Надо было вставать. Петя еще спал, пускал себе пузыри, начальничек... Вон как лицо-то в поле обгорело, нос облупился. Лида вскочила, набросила старое платишко безрукавое, повязала горошистую косынку, метнулась к

печке. А печка была уже затоплена, пощелкивала, подмигивала. Ишь, пожалела Марфа Кузьминична, а домашнему – Минишна. Быстро намыла, поставила картошку в чугуне. Скорей к Минишне, во вторую половину.

– Минишна, утро доброе.

– Вон твоя посуда, забирай. Сам встал?

– Нет еще.

– Буди, скажи: мужики поехали в мастерския, его не дождали. Ты слыхала, стучали?

– Не-ет.

– Вот и нет, де-ед. И я ходила с печкой – тоже нет? Самим надо ехать.

– Ладно, спасибо. Как же вы рано встаете.

– Рано не рано, в симь корову выгоняй. В пять встала.

Лида потрясла Петино плечо, чмокнула его, он завозился. Стала Валюшку кормить. Сонная дочка чего-то бундела под нос, но покорно ела картошку, толченую с молоком. Надо бы ей кашку, ведь обещали в сельмаг крупу завезти, а вот нету. Заказать бы тому, кто в город поедет. Одно мыло в том сельмаге, да и то в бочке. И повидло в бочке. И она одним и тем же совком накладывает повидло и мыло, ты подумай...

Петя стоя поглотал картошку, обжигаясь, прям с кожурой.

– Дай почищу!

– Сам почищу, – и, бросив в сетку обломок ржаного хлеба, картошек и огурец, выскочил заводить.

Лида унесла Валюшу к Минишне. К ней еще три семьи детей приводили, кому далеко за селом работать. Минишна смотрела, чтоб не упали, собак отгоняла, малыши толклись при ней, либо около крыльца, либо за оградой на траве. За день она их особо не кормила, но хлеб с молоком давала. Валя задышала, надулась, потянула ручки, но мать уже усвистала, набросив кофту.

Затрещал новенький «Урал» – споро завелся. Они выехали со двора.

– А что сказали в конторе, Петь? Что с мотоциклом?

– Вычет сделают, потом мой будет, – крикнул Петр сквозь тарыхтеж.

Солнечный блик дерзко скользнул по верху коляски, по глазам. Лида зажмурилась. Платок надвинула глубже.

Так прошло месяца два. Одним жарким томным вечером Лида вернулась с поля после трудного агрономского дня и увидала на своей половине лежащую на кровати Валю, красную, температурную, закатившую глаза. Аж закричала. Минишна сказала, что у ребенка жар с обеда и надо везти в райбольницу, сказала, что поила отваром, но девку слабит страшно. Может, наелась какой гадости на земле.

– Да что ж вы смотрели-то! – глухо пробормотала Лида, без толку мечась по избе.

– Оденься сама в другу одежду, девку снаряди с запасом, да жди своего, может, свезет в район. До утра опасно... – спокойно сказала Минишна, не обращая внимания на истерику.

Сам приехал к темну, и они отвезли дочку в райбольницу. Лида в слезах просила ее оставить с дитем, но дежурный врач в шапочке по самые глаза ни в какую не согласился. Велел приехать через десять дней после курса лечения. А звонить хоть каждый день. Валушка была в забытьи. Лида положила узелок с бельем около головы, врач велел ехать домой и унес девочку в глубь больничных покоев.

Петро ждал на лавке на улице, где слабый свет от фонаря проливался сквозь темную листву и дрожал на его лице. Он курить никогда не курил и оттого сильнее изводился. Лениво гавкали собаки, вдали подвывала-юлила пластинка. Деревянная больница давно затихла,

и окна погашены, только с одного краю горело зарешеченное окно приемного покоя.

– Не положили с ней, – виновато сказал Лида, обесиленно садясь рядом. – Поехали обратно. Мы ведь дозвонимся завтра из конторы?

– Дозвонимся, не плачь, – сказал Петро. – Бензина бы хватило, а то заночуем в поле.

Он ее погладил по спине, по плечам, по рукам, словно снимая с нее налипшую неотвязную горесть, потом посадил в коляску «Урала», наверх дал плащ и прикрыл брезентовой шторкой.

Они молча тряслись по ухабам проселочной дороги, ныряя в теплую липкую пыль. При каждой встряске дорога вышибала из них не просто последние силы, но даже всякую способность думать, чувствовать. Они с каждой выбоиной становились все более порожними и безвольными. Петя смотрел на дорогу, по которой скакал слабый свет фары, иногда на Лиду. Лида не плакала больше, она молчала и старела.

Бензина хватило, пробрались в избу в ночи. Душа разрывалась. Они легли и не спали долго. Зато наутро они точно спали наяву, все брезжило и мрякало в глазах от усталости. В конторе за них долго звонил председатель. Ему там ответили, что девочке Вале Дикаревой сделали глубокое промывание, и она спит, температура держится, будут колоть пенициллин, позвоните дня через три.

Лида дала телеграмму матери.

Это не три дня были, а три месяца. Это не десять дней было, а десять лет. И вот после десяти лет страха они поехали дитя проведать, отпросившись с работы. Подходила уборочная уже, срочных дел много горело, а машинную базу и комбайны вроде проверили. Он инженер, она агроном, первый год работы. Какой с них спрос еще, птенцы. И сразу уборочная.

Молчали, боясь о главном...

Малая Валька не удивилась матери. Она была более худа, коричневые глаза исподлобья над опавшими пустыми щечками. Но не этого пугало, другое... В больничной полосатой хламиде с завернутыми рукавами, Валька сидела на своей кровати, повязанная косынкой в горошек и... крестилась. Лида обхватила ее, понесла...

– Ради бога, мы ее выпишем, раз вы настаиваете... – сказал тот же самый дежурный в шапке по самые глаза, будто так и сидел, не выходя из отделения все десять дней. – Но это вы напрасно. И плакать незачем. У нее положительная динамика, температуры нет, но слабость. Да, пришлось поголодать, но вы и дальше там ничем таким вредным ее не кормите... Ей киселика бы рисового. Таблеточки попить. Идите, переоденьтесь, а я выписку...

– Дочечка, родная, – шептала Лида, смахивая слезы, – ну что ты делаешь ручкой? Зачем это?

– Крестик кладу, – тоже шепотом говорила девочка, – вот ему, Боженьке.

– Да кто ж тебя научил, Боженьке? Я-то не учила тебя.

– Тети научили, в палате. Чтоб не умереть.

– Ой, брось ты этих тетей слушать, скажут тоже. Они такие старые. Тебя доктор лечил?

– Лечил.

– Ну, вот и хорошо. А вон, кто там? Папа?

– Пааапа... – потянула ручки Валька.

Лида держала ее на руках всю дорогу, закутав с головой в одеяло. Боялась растряссти, хуже сделать. Но это же мотоцикл, а не кабриолет.

У Минишны сидела... Лидина мать, Настасья, которую они только хотели ехать встречать на станцию. Как, что? Когда? Привез-то председатель, который там встречал начальство, вот и тещу Дикаревскую подвез. А она все такая же, коски вокруг головы, мятая зеленая

казацьця блуза на полных плечах, и лицо нисколь не постарело.

– Ах ты, боже мий, крошечка хвора, дуже хвора.

– Мама, не трогайте, мы ее тут положим тихонько, напоим, таблетки дадим. Слабая очень она.

– Дуже, дуже слаба...

– А что отец, как он?

– Батько все пье... Пье... А тут я тобі гостинец везла – ото сальце, ото хрукта у ящику.

– Спасибо, спасибо, ридна, все надо в погреб, жарко тут. Да как вы довезли-то все это? С пересадкой? На Касторной пешком?

– И на Касторной пеший. Я посижу тут, а ты готовь шось.

И она села у детской старой кровати из точеного серого дерева. Рядом на подоконник она выложила свои гостинцы. Сало было с солью-перцем, с чесноком, пахло так, что прогибались стекла в окнах.

Девочка открыла глазки и посмотрела на тетю в зеленой кофте. Она после больницы не пугалась чужих.

– Тетя, дай пить. Дай, я чужих тетя не боюсь.

– Та я не чужа. Я бабушка ридна, – и подала поставленный матерью отвар ольховых шишек. Подержала голову, попоила.

– Дай косыночку, тетя бабушка.

– Яку косыночку?

– Мамину. В точках косыночку.

Бабушка Настасья ей повязала то, что нашла, под подбородок. Валя поправила, покрестилась мелко. Бабушка окаменела, слезы побежали по щекам на зеленую кофту.

– На шо ж тобі крест?

– Так... Чтобы Боженька не забыл. Тетя, а что пахнет? Что?

– То, детка, сало, оно таке укусно. Потом попробуешь.

– Нет, тетя бабушка. Дай это...

И та дала ей. Маленький кусочек. Пусть хворое дите хоть пососет. Валюшка вцепилась, взяла сало в рот и закрыла глаза. Лида подбежала, вытирая руки – борщ сварила. Узнала, руками всплеснула.

– Ридна ж мамо. Нельзя ей. До больницы не довезем. Дизентерия ж!

– Ничого, ничого, – успокоилась вдруг Настасья и перестала плакать. И сама покрестилась, чем и разозлила Лидку.

– Чтoб я не видела этого мракобесия. Дело такое серьезное, а вы тут.

– Та ничого, ничого...

Ночь прошла спокойно, накануне поили много, детка спала. От слабости, что ли. Утром ее не будили, но к обеду она сама встала, попросила есть. То ли она была здорова, то ли это было пустое мечтание. Бабушка осталась сидеть и кормить, а молодые потарахтели на работу на мотоцикле своем.

Вот такое у Дикаревых счастье настало. Вот такая у них дочка была – не стала она умирать, хотя все к тому шло. Она же есть хотела, взяла и съела кусок сала – вороне бог послал кусочек сала – и сразу ожила. Хотя врачи бы это никак не одобрили. Но Валька оказалась, хоть и маленькая, но очень живучая и так просто не сдалась. Хохлушечка. Глазки темные влажные, рот уголками вниз, выражение выжидательно-терпеливое. Бабушка Настасья варила борщик, мяла его в тарелочке, и девочка сама быстренько подбирала его большой ложкой. А потом бабушка брала ее за ручку и вела за деревню в посадки гулять. На прохладную погоду наряжала дочке плюшевое темно-красное пальтишко. И косыночку в горox повязывала обязательно. Ручка у Вали была крохотная, крепкая и теплая. Такой моды в деревне не водилось, чтоб выгуливать дитя, на всё про всё была Минишна. Но Минишна глядела одобрительно, и улыбка морщила ее губы.

Скоро Петя привел корову. Настасья обрадовалась, хотела впрягаться, но Петя ее остановил – хозяйка есть. А хозяйка-то и не умела! Пришлось Лидочке под присмотром Пети набираться духу и доить самой. Ой, как боялась она, бедная! Да и корова боялась. Но потихоньку, помаленьку...

ХОДИ НА ГОРУ, ХОДИ С ГОРЫ

В воскресенье мама Фелисата позвала детей Севу и Дуню за грибами на Чочур-Муран. Была такая волшебная гора, и называлась она волшебной. Чо-чур, Му-ран. Старшая Даля приехала домой на каникулы и счастливо отсыпалась в своей комнате. А младшие дети поначалу досадовали на дальний поход и ранний подъем. Почему же Фелисата их взяла с собою? Ведь сама она прошла бы тот же путь гораздо скорее. Зачем – это они поняли не сразу. Идти решили через прилегающий к дому лес. В те времена Седовы жили в пригороде Якутска в огромном двухэтажном бревенчатом доме. Отец ездил на работу на военной машине типа «козлик». А семья обитала в большом жилище посреди природы. В этом доме было тепло и легко дышалось. И чуть только ты сошел с крыльца, сделал пару шагов – и ты уже был далеко от дома...

Как раз тогда Сева и Дуня в школе учились – это было прекрасное место. Небольшой, довольно густой островок леса, с одной стороны жилой район, с другой – дачи. Ребята бегали в лес жечь костры, гонять на лыжах. Взрослые тоже постоянно выбирались на природу, можно было выйти с утρεца, собрать полведерка грибов.

Когда к дачам провели газ, местность вовсе оживилась. Лес усиленно вырубался со всех сторон и застраивался новыми участками. Вырастали домики, пахнущие смолисто и сладко. Всюду высились заборы, валялся не увезенный в спешке мусор.

И несмотря на хождения, машины, шум и треск, живность пока отсюда не убежала. Белки – животные приспособляющиеся и, как видно, все еще тут обитали.

Сева, пока шел, не разговаривал ни с кем. Хотя мама и Дуня часто его окликали, чтобы не потерять. Он смотрел вокруг во все глаза, и улыбка не сходила с его лица.

Мимо плыли большие черные стволы, уже сухие, идеально прямые, как колонны в большом зале. Меж ними ровная земля, засыпанная лиственной трухой. Вдруг между черных стволов и пестрой землей мелькнул язычок огня – беличий хвостик. А вот и она, прыгнув, села на стволе боком, не так, будто выглянула на секунду, а так, будто час тут сидит, лекцию слушает. Поверни голову – у нее вид заносчиво-начальственный: «Еще что скажешь?».

Из леса выбрались к дачам. Тут отдельная тема. Дачи – это такой лабиринт участков и дорог между ними. В какую сторону надо выйти – понятно, но каждый раз, когда кажется, что вот-вот выйдешь на окружную дорогу, обязательно на пути встает чей-то забор. Передать словами картину лабиринта не получилось. Зато показать дорогу в болоте, через которую они все же смогли пройти дальше, это Сева смог бы.

Несмотря на глушь, дорога была вполне проходимая. Человек не заблудится, не забоится здесь. За высокой и густой травяной стеной оказалась канава с хлюпающей сыростью вокруг, но кто-то положил бревна, доски. Можно смело идти, даже эту канаву обжили и обходили. И трава, похожая на осоку, только мощнее, с пышными рыжими шапками, она кажется глухой, а не нет – тропка. И она пропускает людей вглубь, чтобы шли дальше по этой тропке.

Дальше путь лежал через ботанический сад. Раньше рядом с административными зданиями росла прекрасная цветочная клумба, с которой каждое 1 сентября мама покупала цветы учительницам. Нынче вместо клумбы чернел овал вспаханной земли.

Смотрели на «прорубь». Прорубь она зимой, а летом это огромный пруд и табличка с надписью «прорубь». За «прорубью» уже виднелась конечная цель похода: сопка Чочур-Муран.

Миновав небольшой перелесок из берёз, путешественники прошли игрушечный лужок, на котором паслись молодые бычки. Одни жёлтые или жёлтые с белыми пятнами, а другие совсем коричневые. Мама и Дуня прошли через их стадо торопливо, не желая задерживаться и терять время. А Сева, конечно же, хотел потерять время: он достал из кармана припрятанный кусок хлеба и стал на ладони подавать одному из них. Бычок сразу же слизнул этот кусок, пришлось доставать второй. Другие бычки, заметив, что кто-то ест лакомство, тоже потянулись, взмывая. Некоторые из них были привязаны – видимо, чтоб не удрали. Те бычки стали бегать вокруг своей привязи и взмывать. В общем, начался какой-то переполох, началось какое-то кипение. Сева сообразил, что одним он дал угощение, а другим нет, и тем самым посеял волнение. Он, быстро огибая бычков, сбежал с луговины, а вслед ему ещё долго слышалось мычание обиженных, недоумённых. Сева оглянулся на них: бычки стояли, столпившись, насколько позволяла привязь, и смотрели ему вслед.

«Сева! Сева!» – разноголосо окликали его мама и Дуня, заметив, что Сева отстал и исчез из поля зрения. А бычки так и не поняли, что тут с ними делал незнакомый мальчик. Ещё во время подъёма на сопку Севе попадались здоровые подосиновики и даже один почти почерневший боровик. Старый. А вот дальше, когда подошли совсем близко к сопке и начали подниматься на неё, там, в редколесье, стали грибы попадаться чаще. Но Сева помнил, что мама его предупредила: «Ты не бери незнакомых грибов. Бери подосиновик, бери боровик. А если уж очень сомневаешься, лучше совсем не трогай этого гриба». А ещё она говорила, что нельзя брать мухоморы, с такими красными крышками. Но вот маленькие грибочки, на которые он наткнулся, поразили его тем, что они уж очень плотно обсели старый пенёк. Сева подумал-подумал, но ни на боровики, ни на подосино-

вики это не было похоже: слишком уж маленькие были грибочки, слишком уж они тесно сидели. То есть это была такая как бы скользкая горка. Он поскрёб в затылке и всё-таки взял несколько из них, даже забыв об остром ножике, про который предупреждала его мама, что только им надо срезать. Дальше побежал догонять своих. Здесь, на склонах, где солнце хорошо прогревало, но была редкая тень, очень много было этих мелких грибов. И вдруг на совершенно открытой поляне он увидел гриб с красной крышкой. Мухомор, догадался он. Но шляпка нарядного гриба так лаково сияла, была такой яркой, что он всё-таки наклонился и спрятал в карман, чтобы «похвастаться» потом перед своими.

Когда они только подходили к сопке, всё было таким знакомым, понятным, а когда стали подниматься ближе к вершине, то местность вокруг сопки опустилась и удалилась. И вдруг стало казаться, что мир не такой уютный и близкий, он как-то остался далеко внизу, и от этого захватывало дух: вроде бы они взлетели туда на самолёте. Сева забыл, что они шли почти два часа на сопку. Но какой же вид открывался с неё! Даже небо было внизу, а под ним уже – город, мелкий, узорчатый. Всё пространство рассекала атласная речная лента, кое-где пушистые клочки посадок, рощ и рощиц, лента сужалась, превращалась в ниточку, затем вообще таяла. Здесь было полно неба и ветра, здесь было всё настоящее. Со всех сторон была тайга, но она тоже была ниже, а здесь только небо и ветер. Они долго-долго стояли, озирая окрестность, и был праздник, и всё пело в груди, и казалось, что так будет всегда. В такие минуты охватывало чувство родины...

Наконец Дуня призналась, что она очень устала и «нельзя ли немножко посидеть». Они отошли в рощицу, присели, и мама достала из корзинки хлеб, пирожки и воду в бутылке. Вода казалась сладкой, хотя была обыкновенным крепко заваренным чаем. А пирожки вообще

по-неземному вкусными. Они сидели молча, но лица их были залиты улыбками, и говорить было невозможно, потому что шум ветра и гудение далёких деревьев – всё это показывало ласковость природы к ним. Она их любила, она давала им пищу, она давала им красоту и она давала им отдых.

Посидев какое-то время, мама вздохнула и сказала: «Ребята, а теперь покажите мне, что вы насобирали». Ну, каждому хотелось похвастаться, и Дуня первая открыла свою корзинку, которой очень гордилась. Да! Её урожай состоял почти из одних белых грибов. И все они были чистые, твёрдые, как картофелины. И только один был немного червив. В Дуниной корзинке, которую мама похвалила, оказались такие же скользкие жёлтые грибки, на которые и Сева позарился около старого пня. «О! – сказала она, – а ты знаешь, как они называются?» – «Не знаю, кажется, маслята, – ответила Дуня нерешительно, – только вот маслята-то жёлтые, а это вроде бы какие-то серые... может быть, это какие-то несъедобные?» – «Не-е-е-т, – ответила ей мама, – ты молодец, дочка, это серые маслята, они очень хорошие... А ну-ка, что у тебя там, Сева?» Сева вздохнул, протянул свою корзину и стал выкладывать. «Да, этот хороший гриб, – сказала мама, – это боровик. Вот и подосиновиков несколько штук, тоже очень приличные. А вот и маслята», – указала она пальцем на маленькие, скользкие грибки. – «Все же хорошие?» – обрадовался Сева. – «Хорошие, хорошие!» – успокоила мама и сама, улыбаясь, перебирала эти грибы. – «Смотри, они называются маслята, потому что они как будто в масле жареные. Вот посмотришь, я сварю суп, он будет такой же густой и жирный, как и из курицы!» – «Да ну», – смутился Сева. – «А в карманах-то у тебя что?» – погрозила мать ему пальцем. – Сева достал из кармана мухомор: «Я, мам, знаю, что это плохой. Но это ж мухомор, да?» – Мать внимательно рассматривала гриб: «Да нет, Севоч-

ка, не мухомор это. Он действительно похож на мухомор, только... – и тут она засмеялась, указывая пальцем на пленочку вокруг ножки, – видишь, в чулочках он, как будто в яйце ножка, а значит не мухомор».

– Это, дети, съедобный гриб. Ну, условно съедобный, отваривать надо, – и как стала рассказывать: – Похож на мухомор Цезаря, но точно я не знаю. Растет на светлых местах, редко, чтобы в хвойниках, чаще недалеко от лугов. Вы его с простым мухомором не спутаете. Видите – крапинок белых на шляпе нет, а шляпка или оранжевая или красная. Как тут. О, это интересный гриб, из него даже лекарство можно делать... Что вы, такой нельзя выбрасывать. Словом, не выбрасывать же чудо. В этой земле чудес не перечесть, дети...

Улыбаясь, она посмотрела на Севу, потом на Дуню. А Сева так и возгордился весь...

На обратном пути рассматривали все не так подробно, начали уставать и сильно торопились. Гора – громада воздуха и воли. Гора, точно башня, поднимала Севу вверх. И плавно опускала на плотную надежную землю.

На спуске, на пологом склоне встретились им сказка настоящая. Женщины в белых одеждах прошли, держа в руках чаши с пахучей травой, отгоняя злых духов. После этого вышли юноши и девушки в нарядных одеждах и раздали гостям кумыс. Мама оставила детей в зарослях березняка, чтобы посмотреть на обряд Ысыаха Олонхо, не мешая никому...

Пошли песни, монотонные и протяжные, которые пели под бубен, и подголосками слышались голоса кукушки и других птиц.

Потом недолгое молчание, все головы клонили. Один человек заговорил протяжно, руки простирая вверх. «Это белый потомственный шаман, – пояснила Фелисата. – Он просит за всех, обращается к высшим божествам Айыы за благословением для всего народа саха». Шаман был в ярком густо-синем наряде, седой и

величественный. Глаза его были закрыты, и две девушки водили его, взяв под руки. Шаман вышел к народу в сопровождении ста всадников, разжег огонь и «накормил» его оладьями и кумысом, тем самым отдавая дань почтения высшим божествам. Затем толпа людей в национальных костюмах забралась на самую высокую точку склона вокруг большого дерева, построенного из камней. Они протягивали руки в сторону солнца, видно, просили его о чем-то. «Пойдемте же...» – негромко позвала Фелисата, и они поспешили прочь, чтобы не мешать празднику. Там начинались скачки на конях...

– Что это, мама? – спросил Сева. – Как будто кино снимают?

– Нет, сынок, это не кино, – ответила Фелисата, отряхивая кофту и плащ. – Это такие обычаи у якутов. Я читала. И моя знакомая якутка рассказывала. Обычаи эти – не притворство, так они просят у солнца силы.

– И оно... слышит? Дает им?

– А как же. Конечно, дает.

И опять почувствовал Сева, что все в мире правильно. Что ноги гудят от ходьбы, что корзинка все тяжелее, но и это правильно. А якуты просят солнце, и оно дает им жить – это тоже правильно.

КНИЖКА-ВЕСНА

Валю запрягли прибраться на кухне. Она, не торопясь, нагрела воду в большом алюминиевом тазу и поставила еще кастрюльку.

Вода даже с содой быстро стала густой и жирной, пфф... Застряла вся. Утренняя возня с пельменями, принеси-отнеси на помойку ведро, дрова, половики на снегу почисти, теперь вот посуда. Торговаться было не с кем, младшая сестра Тоня опять лежала с головой, обмотанной мокрым полотенцем. А Вальке нечего выступать, у нее нет головы с полотенцем. Нет, она верила, что голова действительно болит, она вообще была доверчивая, и поэтому на нее падало больше поручений... Она гремела тарелками долго, пока мать не крикнула:

– Ты сколько там будешь брякать? Пять минут и готово!

Валя вздохнула, замерла. «Ненавижу все это».

Она задумалась, засмотревшись в стену над раковиной. Почему все время ей плохо дома? Она из школы спешит скорей, чтоб домой прийти, даже в любимую рощу заходит не всегда. Зачем? Ну, чтобы сделать поскорее, что мать наказывала, и сесть за книжку. Единственная радость. Старалась читать, пока дома нет никого. Почему-то родителям кажется, что книжки – от безделья.

«Ненавижу посуду мыть, виноватой быть, всю эту гадость терпеть...». Ее затошнило вдруг... Проглотив комок, она вздохнула. «Господи, сделай так, чтоб я могла читать, сколько влезет. И чтобы никто меня за это не ругал. Господи, ты же помог мне в больнице, я осталась жива. Ну сделай, Господи, чтоб я жила без горя...» Она сделала попытку перекреститься, но в глазах все поплыло.

Лида, обеспокоенная внезапной тишиной, вошла из дальней комнаты на кухню и увидела сидящую у плиты Валю. Глаза были закрыты, а грязные мыльные руки раскинуты в стороны, и ноги также.

– Валя! Ты что себе позволяешь? Тебе замеча...

И осеклась Лида, как кто ее выключил! Потому что лицо у дочки было бессмысленное, тупое, и она не отвечала.

– Петя! – закричала она, разом пожалев обо всей суете и ругани. Как мало надо, чтоб о злости пожалеть! Как быстро все меняется, когда беда. Но ведь и до того все было понятно, так ведь? Они перетащили дочку на кровать, но та ни на что не реагировала. Градусник, чертыхаясь, нашли. Тридцать девять оказалось. Тогда они бросились звонить в больницу. Сначала приемный покой не отвечал, и были томительные судорожные звонки куда попало. Искали личного водителя отца. Потом утомленная, заляпанная грязью по крышу скорая все-таки увезла Валю на ночь глядя в больницу.

А дальше шли часы горячего мутного бреда. Вокруг нее было много рыбы, толстой, жирной, блескучей. Валя должна была чистить эту рыбу, которая выгибалась, била хвостом по рукам и по лицу. Она выскальзывала из огромного чана и скакала по земле, обваливаясь в густой жирной пыли, прямо как в муке. Валька не могла ее поймать. На нее уже кричали, что она долго возится, но девочка вдруг нырнула в чан, и ее саму схватили, чтобы чистить, распорол, а она была мокрая, скользкая, вырывалась и падала. Но ее поймали за кишки... Большие руки ворошились у нее внутри, точно те самые пыльные рыбы, и ей было невыносимо тесно, ее опять мутило, она пыталась выплюнуть этих мерзких рыб, но никак. Они были живые и сновали туда и обратно. Да уж, не любила Валька чистить живую рыбу. Но мама Лида заставляла ее, шумя, что должна быть сила воли. И что пригодится, все в жизни пригодится. И что «начинается

с неуменья надевать чулки, кончается неумением жить». И так далее.

Ну, силу воли дочка проявляла, но рыбу эту потом есть не могла. А Лида гневно вопрошала: «Это что такое? Что за барство? Выбью из тебя это барство!»

Среди ночи открыла Валя глаза, веки были тяжелые, голова кружилась. Она застонала: «Попить», пришла толстенная тетенька в халате и дала пить через трубочку.

– Я умираю? – спросила тихо Валя.

– Да типун тебе на язык. Хорошо все.

– Так мне что-то плохо... Чего ж хорошего?

– Хорошо, что тебя быстро обработали... Надо ж, такую свинью нашему доктору подложить... – толстушка мелко захихикала.

– Почему... свинью... – еле выталкивая слова, пробормотала Валя.

– Тебя привезли, а у него как раз день рожденья! Вот и пришлось мужику от стола да к другому столу. Прибежал бедный, рюмку не допил. А тут девка колготная с приступом... Вывернуло всю, да еще заморозка...

– ...Чего... чего приступ у меня?..

– Аппендицита! Ну, пока он тебе его вырезал, так ты его всего... облевала. И не дрогнул, новые-то брюки... Я ж говорю – колготная... Лежи тихо.

Утром Валя со стыда не могла смотреть на доктора, ей казалось, он не станет ее лечить после такого безобразия. Она потом спрашивала: все ли больные так себя ведут при аппендиците? Нет, только ты. Потому что все приходят в себя после операции постепенно и плавно, заранее не едят перед операцией, а ты натрескалась дома, а воспаление уже шло. И вот началось, так сказать, очищение. «Осрамилась вся», – шептала Валя.

А он ничего, доктор. Посмотрел на повязку:

– Ну, чего ты? Перестала уже хулиганить? Все штаны мне уделала. Костюм только из пошива, новехонький,

бостоновый. С отцом на рыбалку поедem, так расскажу ему, чего ты тут вытворяла... Ну-ну, не тушуйся. Не виновата. Хорошая дивчина. Ишь, какая кудрявая. Температура какая? Аа-а, нету. Ну, так вставай! Не разваливайся мне тут. В туалет сама чтоб шла, ясно? Не валяйся, быстрее выпишу!

И у нее отлегло. Она, чтоб скорей заслужить его прощенье, побрела с нянечкой в туалет, аж дыхание у нее захватило, как ползла по стеночке-то. «Измоталась вся», – шептала она, вытирая мокрый лоб.

Теперь Вале дико хотелось есть, но ей в первые два дня как назло приносили одну желтую воду в тарелке, типа бульон, и малиновую сладкую воду в алюминиевой кружке, типа морс. А потом она ходила в столовую ногами и там получила то же самое, только с сухариком. Она выпивала все это залпом и завистливо косилась на других больных теток, смачно уплетавших котлетки с соленым огурчиком.

– Жестки коклеты-та, жестки! – с удовольствием судачили они.

И она зажмурилась, так ей хотелось этих, которые жестки. Но ей нельзя было.

Замотанные родители приехали за ней перед выходными, у матери круги под глазами. Выписку дали на руки, чтоб не мотыляться за ней издалека, и в ней значилось, что Дикарева В. П., средняя школа номер два, прооперирована такого-то числа по поводу острого гнойного аппендицита и выписана без осложнений долечиваться амбулаторно.

А что такое ам-бу-ла-тор-но, Валя тогда не знала. Но скоро до нее дошло. Это значило сидеть дома, когда все уходят на работу и в школу. Это очень даже хорошо, быть на таком особом положении. И бульон с сырниками только подогреть, и сидеть ворон считать, и ничего нельзя делать, только иногда выходить подышать на крыльцо.

Она вот и вышла на крыльцо и засмотрелась на талую рябящую водицу в лужах, осевшие зернистые сугробы. Походила по двору, с усилием передвигая ноги в резиновых сапожках. Снег проваливался. Две бочки были уже набитым этим зернистым снегом и прихлопаны, это папа так накладывал и уплотнял лопатой. И Валя не понимала, как это так: то гоняют с утра до вечера, как сидорову козу, а то вдруг раз – и ничего! Чтобы она только сидела и мечтала о небесных пирожках, что ли? Ну, наверно, задерганный ребенок был немножко не в своей тарелке, но уж подумать-то ей было о чем.

Например, зачем надо было ее записывать в музыкалку? А потом ходить в две школы, тянуть жилы, причем заканчивать музыкалку ускоренно, за пять лет! Зачем это все? И вот теперь восьмой класс, и надо учить жутко сложную программу, три произведения... Умные родители строят планы, как бы ее оставить преподавать в этой же музыкалке, куда они, бедные, вместе с Элькой Лещевой отмахивали каждый раз по два километра! Это если работать придется, то опять отмахивать всякий раз по два километра. Правда, Элька отличница, и ее возьмут уж наверняка, а вот Валя...

С Валею так все непонятно, вот и программа по музыке не готова, и операция не к месту, и лучший парень в районе стройки Роман Осока смотрит на Эльку Лещеву, а не на Вальку... А он умеет смотреть! Он когда смотрит, полуприкрыв глаза, то становится жарко, дышать нечем... Элька говорит, что у него профиль греческий, но дело не в этом...

На пятый день она уже добрела до магазина и купила матери подарок – ночник-статуэтку на этажерку. Два чудных светящихся гриба с опаловыми шляпками. Отец потом скажет – два гриба, как детей двое: она и сестренка Тонька. А еще случайную книжку в бумажной обложке. Почему рука потянулась? Там падали какие-то

колонны, это ей напомнило Древнюю Грецию... И на их фоне бежала женщина, вскинув руки.

И вот Валька выпила, не чувствуя вкуса, холодный бульон, просто надо и все, потом открыла книжку. Сначала шла ерунда какая-то. Клоун в научном институте, потом дурачество с таблетками, из-за которых все сделали открытие. Потом Кремль, который имел неясное отношение к Аэлите и Джоконде, которой было сколько-то тысяч лет. Валя жадно бегала глазами по строчкам, ничего не понимала. Как это, в книжке любви нет? Это невозможно, чтоб она зря ее купила, тем более без спроса! И чтобы напрасно! Все, что без любви, ей казалось напрасно. В какой же момент ее бедную душу тихой рукой погладят?

«В сновиденьях моих Мы друг к другу прильнули... Мы с тобою вдвоем, мы с тобою вдвоем... Если серьги в ушах У меня шевельнулись, Значит, ты шевельнулся В сердце моем...» Вот оно! И ей стало очень жарко и трудно дышать. Она поняла, что ее сильно зацепило, и что книжка не зря, не напрасная. Она ведь собиралась ее подарить, но теперь, теперь она ее не сможет отдать никому...

И тогда она вздохнула и засмеялась слезами. В прихожей слышалась возня – это Тоня после школы раздевалась и щелкала портфелем. Надо было ее покормить, но Валька, пробормотав «сейчас-сейчас», стала читать дальше. И она уже забыла по эту любовь проклятую, и зачем она вообще нужна, если такое счастье настало, если появился теперь смысл жизни! Ведь она раньше как мечтала: жить, чтобы не ругали (социализация индивидуума), потом – жить, чтобы любить (требование природы), а здесь прояснилось – жить ради творчества, вот как просто (жажда самореализации). Вот этот ученик Леонардо, который строил, видимо, Кремль, и сам Леонардо с его тайной страстью (деньгами нищ, но зато богат разлуками), Гошка Памфилий,

клоун и поэт, – они все были ясны и притягательны, потому что главное в их жизни уже случилось.

Книжка называлась: Анчаров, «Сода-Солнце». Красивый мужчина в годах смотрел из книжки на распоротую и зашитую школьницу Вальку тяжелым взглядом, полуприкрыв темные глаза. И с тех пор, конечно, у всех лиц мужского пола, подходивших к Вале поближе, были жуткие проблемы. С ним никто не мог потягаться. Осока на стройке тоже смотрел, полуприкрыв глаза! Но человек из книжки смотрел так, что дергалось сердце. Наивная девочка, с тех пор как столкнется с новым человеком, сразу и спрашивает: «А ты Анчарова читал?» – «А кто это такой?» – «Узнаешь – придешь!» Она была страшно упрямая девица, прямо до жестокости.

В ту весну Вальку точно осчастливили. Ну, не так чтобы полностью, но чувство легкости и тепла в ней жило невероятное.

Подходя к пианино, она теперь не сразу начинала барабанить гаммы и этюды Черни. Она напевала под нос и нащупывала мелодию одной рукой: «Мне в бокал подливали вино, Мне обманом клевали глаза, Обучали терпеть, но одно – Мне забыли о счастье сказать. Что оно словно парус ничей, Что оно словно шорох огня, Что оно словно стон трубачей, Поднимающих в топот коня...»

– Валька!

– А!

– Сестру покормила?

– Не знаю. Сейчас-сейчас...

Она бежала на кухню, гремела кастрюлями, переворачивала ножиком котлетки, старательно высовывая кончик языка. Можно подумать, в этой котлетке вся ее радость заключалась! Но нет, дело в том, что раньше она была довольно хмурой девочкой. Насупится и смотрит. А после этой книжки-весны ее просто потащило к

хорошему, и все. У нее появилась норка, где ее никто не мог достать. И от этого она как-то растаяла.

Бывают люди, от которых тепло. Бывают места, от которых тепло затылку, словно теплая вода. А бывает так, как у нее, – теплый центр появился внутри.

Вдруг Валька обнаружила, что у нее внутри много чего есть! Что ей, например, нравится писать. Ей зададут в школе сочинение на свободную тему, а она ходит-ходит, не знает, как начать. А потом посмотрит по телику старое кино про Овода, разрыдается и садится писать свое домашнее задание. Не про Овода, конечно. Может, ей хотелось выпендриться перед учительницей? Ведь мать у Вали учительствовала в той же школе, и девочке без конца попадало за то, за это, так как происшествия становились известны матери в первую очередь. Нет, она увидела, что ей просто нравится писать, что её зажигает сам процесс, и что невозможно остановиться, пока все так горит внутри... И она могла исписать на сочинении двенадцатилистовую тетрадь и начать писать на обложке, забывшись. Но как это приятно! Как это балдежно! Как же у нее палец онемел – ведь там же раньше были мозоли. Чернильная мозоль всю жизнь. Руки немеют, ничего не понимаешь, а ведь так приятно. Глянет на себя и узнать не может – лицо горит, как фонарь, глаза пьяные, полные слез. Вот она – настоящая жизнь! Не та жизнь, которая до этого была, а та, которую она только что написала. Выдумала, то есть.

Нет, эта книжка ее завела. Раньше что было? «Отверженные» Виктора Гюго. Козетта, красивая бедная девочка, которая хотела куклу, и потом Жан Вальжан взял и дал ей эту куклу. То есть мечта сбылась. Но здесь было иначе, здесь хотелось мечту сочинить самой, и чтобы другие тоже замечтали.

Был еще Шевалье Д'Арманталь, которого юная дева читала, стоя на цыпочках на диванном валике, и самое интересное, что было до этого, – это «Граф Монте-

Кристо». Она его читала под одеялом, с настольной лампой, чуть не угорела там с этой лампой, если б не мать, которая ее застукала...

Ааа, еще была «грязная» книжка, спрятанная от нее под родительской кроватью, в коробке из-под туфель. Там была очень хорошая Пышка Мопассана, и было много всяких проституток в декольтированных платьях, и Валька сразу поняла, что напрасно прятали эту книгу, проститутки очень хорошие, как правило... Жалостливые! Просто у них работа такая хреновая... Но Валька решила, что проституткой она не будет, потому что общество начнет презирать, а ей не надо такого. Книжку она читала тайком, рискуя быть застигнутой врасплох. И как только хлопала дверь, она прятала книжку в обувь, и, спешно отряхнув пыль, скучно садилась на диван, вцепившись в географию.

У Вали Дикаревой ключевым словом стало «понимание». Именно этим ее и отомкнули для новой жизни! Отец с матерью не понимали друг друга. Они тянули лямку семейного ига, но дочка не понимала их, они ее. Они с сестрой друг друга не понимали. А зачем такая жизнь, скажите? Но у Анчарова было как-то просто все, волшебное и солнечно. И он все мог рассказать на пальцах!

«Люди должны понимать друг друга. А что у человека для понимания? Язык слов? Язык жестов? Язык мимики? То есть понимание человека человеком держится по-прежнему на догадках. Оцениваем жесты, симптомы, статичные признаки, ищем подтексты в словах, догадываемся, что они означают на самом деле. Хаос, дисгармония.

Понять – значит упростить. Понять себя – значит упростить себя. Отсюда вся кибернетика – от идеи свести функции мозга к простым «да» или «нет». Для частных задач расчета и управления она годится, а для открытий – нет.

...Не кажется ли вам, что единственное, что делает человека человеком, это вовсе не способность вычислять и анализировать и делать выбор – это умеют делать машины, не приспособляемость – это умеют даже бактерии, не кажется ли вам, что человека делает человеком способность к сочувствию, распространяющаяся на окружающих?

...Подберите любой термин, назовите это чувство нежностью, этикой, душевностью, состраданием, милосердием, совестью, взаимопониманием, каким угодно словом назовите это чувство – наблюдение останется верным: все человеческое связано у человека с этим, все звериное или машинное – с отсутствием этого. Чего этого? Человечности. Человечности!»

Она просияла от этой простой мысли. Эта книжка, «Сода-солнце», написана прямо для нее лично. Надо просто открыть себя, как шкаф материн, и достать оттуда всякие богатства. И отдать людям. И все! Она отдаст себя, не задумываясь, станет легко. А уж кем работать, это детали. Неважно.

Вообще-то Валя ходила в музыкалку не просто так. Ее приняли маленькую, и слепой дядька, пощупав ее пальцы, сказал: маловато для октавы, но пусть идет на фортепиано. Родители сказали, что она будет работать в музыкальной школе преподавателем, и стали учить ее музыке. Она стала ходить в музыкалку за два километра по грязи, и ей купили черное пианино. Валя понимала, что вряд ли будет работать преподавателем. А вот Элька Лещева будет! Почему? Потому что так надо, и Лещева лучшая в их музыкальной школе по классу фортепиано. И она будет хорошей учительницей, все говорили. И потому, что у них с Элькой была учительница музыки с голой спиной, в капроне ходила по морозу... Это была настоящая музыкантша. Что она не просто играла урок – она дожидаться не могла, пока Валя кончит тыкать пальцами... Только дайте ей самой сыграть, ради

Христа! Она не могла сдержаться, чтобы не начать играть. Она беспрерывно играла! Ведь человек-музыкант – это не тот, который задает уроки. Этюд Черни – тр-р-рр, тр-р-рр! – сходящаяся-расходящаяся, хроматическая-гармоническая – не то! Мало того, что ей самой беспрерывно хотелось играть, так она еще и на Дельфину Потоцкую была похожа. Действительно, она была похожа на Дельфину Потоцкую – Валя потом нашла ее в книжке и обнаружила, что это настоящая Дельфина Потоцкая, та, в которую влюбился, собственно говоря, Шопен. Там, конечно, есть разные версии – что она его любила, а он ее не любил. Или наоборот. Но это уже другое. Бедная восьмиклассница понимала, что эта ее училка была настоящая музыкантша. Но если просто играть урок, то это не есть музыка. Если не прет, так какой ты музыкант? Надо, чтобы наслаждение было, кружение пьяное...

В окно проливалось весеннее солнце. Волосы выбивались из-под ободка и лезли в глаза. Школярка сдерживала улыбку, учила этюды Черни. Но ясно, это было временно...

Все чаще девочка, озираясь по сторонам, рискуя быть застуканной, прекращала барабанить Черни. И робко, одним пальцем, выстукивала мелодию непонятной песенки: «Мне в бокал подливали вино, мне обманом клевали глаза...» И не подливал ей никто никакого вино, просто хотелось сойти с колеи, свернуть вбок от накатанной линии. А тем, кто сворачивает – иногда попадает. Ну и пусть. Значит придется скрывать. Но чтоб отказаться от такого праздника – да ни в жизнь.

ТУФЛИ У ПОДЪЕЗДА

Новый ученик Сева Седов, белокурый мальчик с глубокими грустными глазами, которые его делали взрослым, вошел в класс вместе с учительницей истории. «Наш новенький!» – провозгласила она и указала подбородком на пустую парту напротив окна. Класс шумно повернулся в его сторону и обдал шепотной пылью. В этом классе большинство ребят в школьной форме, в синих железнодорожных тужурках с погончиками, а новичок в сером приталенном пиджаке с синим галстуком. Такой, понимаешь ли, белый воротничок из официальной конторы, да и волосы длиннее обычного. Ну-ка, получит он выговор за эти вольности или нет?

Сказать, что его приняли с распростертыми объятиями, вряд ли можно. Сева почувствовал окружающий его холодок, но несколько не обеспокоился этим. После сладкого детства в Якутии семья уже несколько раз переезжала, и очередной город в этой цепи – обычная вещь. После старинного и мрачно-готического Калининграда этот городок смотрелся простодушным захолустьем: множество разноцветных домиков, старые деревья с высоченными кронами, заросшие парки. Ему смешно было, что при переходе через улицу не нужно было особенно стараться и следить за транспортом. Машины по дороге ехали неторопливо, раз в час. Да и пешеходы от них особо не шарахались, переходили дорогу там, где вздумается. Когда ездили к маминым знакомым, Сева увидел миргородскую картинку: на площади перед памятником погибшим воинам задумчиво жевала траву корова. Около линейного отдела милиции сонно квохтали куры, как раз такие пестрые, какие были у них в Якутии. Мама сказала, что это родной город Севы, и он едва слышно вздохнул. Как всех пацанов, его манила цивилизация, которой он, впрочем, вполне наелся в западном городе, а тут с речкой, коло-

кольями, с собачками и кошечками во дворах царило какое-то тихое достоинство. Севе пришла на ум Золушка из детства, и он подумал: «А будет ли тут волшебное преобразование?» В дождь он выходил из дома с опаской, каждую минуту рискуя провалиться в глубокую яму. Через ямы надо был переходить по наскоро брошенным доскам или клеткам – такие квадратные плоские ящики. Но он быстро привык к этому полудеревенскому облику и решил, что в этом есть даже какой-то шарм.

К отцу теперь не приезжала машина с личным водителем, чтобы отвезти его на работу. Работа была через улицу, в управлении мелиорации. Мама тоже занималась поиском работы, и эти поиски вскоре увенчались успехом: бухгалтера по-прежнему были в цене. Севины сестры к этому времени уже вышли замуж и покинули родовое гнездо: одна в Калининграде, другая в Новосибирске. В квартире стало совсем тихо и просторно. И Сева азартно распределял свои богатства по стеллажам своей отдельной комнаты. Среди пластинок и книг был оставлен проем для главной драгоценности – живописного портрета Джорджа Харрисона в солдатской форме, обшитой золотыми шнурами. Сева не просто любил музыку всемирно известной группы, он был причастен к ней всей своей жизнью. Сначала он хотел скопировать портреты «Битлз» с их пластинки «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» и первым стал писать Харрисона, а потом как-то притормозил. Одно дело – пластинка на стене, а другое – изображение маслом. Он никогда не ходил в художественную школу и о технике писания маслом догадывался весьма смутно. Тут все ему пришлось сделать на глазок, короче, пороть отсебятину. Хорошо, что Харрисон получился как живой: и черные длинные волосы лаково блестели, и глаза остро глянули из-под челки, но вырисовывать позументы на мундире терпения не хватало. Золотые шнуры так и остались недописанными.

Сева замечал, что многие вещи, которые он делал впервые, получались автоматически и легко. Но вскоре пыл первооткрывателя улетучивался, ведь он уже доказал себе, что он это смог, а азарт приходил только тогда, когда он чувствовал, что ему чего-то не осилить.

В новой школе он познакомился с Альбой, и между ними сразу негласно возникли длительные, хотя и ровные отношения. Рядом они смотрелись диковато, полные антиподы друг другу. Но Сева сторонился шумных людей, а Альба, по-настоящему Альберт, был редкостным молчуном. Альберт получил свою кличку якобы из-за сходства с герцогом Альбой, жестоким сторонником инквизиции, но сам он был добрейшим существом, хотя внешность имел довольно мрачную: бритая голова, большой выпуклый лоб, глубоко посаженные глаза, крючковатый нос. Ну что мог значить крючковатый нос для Севы, если он нашел в Альбе такого же, как он, горячего поклонника «Битлз»!

Пиджаки школьной формы стали настоящим бичом для Севы, который терпеть не мог никаких смиренных рубашек, то есть никаких ограничений. Мама приучила его к дорогим сорочкам и брючкам, а тут – нате, одежда из синей жести. Альба тоже не мог переносить эти тужурки, частенько ходил в школу в черном свитере либо темном с жилеткой и, естественно, получал замечания, естественно, и Сева их получал тоже. Когда их распекали у доски за плохой внешний вид, они неизбежно попадали в зону повышенного внимания. На Альбу смотрели с симпатией, потому что знали его давно как настоящего парня. А Севу пока еще не знали, но дружба с Альбой придала ему привлекательности, да и сам он, в принципе, казался человеком обаятельным. Классная руководительница, София Савельевна, как-то очень быстро разглядела художественные наклонности Седова, и он моментально стал редактором стенгазеты.

Вот! Вот когда Северин Седов пополнил славную армию самиздата.

* * *

Школьный вечер. В те времена полагалась на вечере официальная часть, всякое там награждение по итогам первой четверти, похвальные листы за макулатуру и металлолом, непременно выступление почетного гостя, а это, конечно, был ветеран войны или Герой Социалистического Труда, и только потом танцы. На танцах музыкальной частью заведовал Альба – и поэтому никогда в жизни не мог сам спокойно потанцевать. Северин стал ему помогать, принес свои магнитофонные записи. Две одноклассницы, поняв, что они не получают этих двух молодых людей на белый танец, не хотели отступать и пришли в радиоузел школы, прикинувшись простушками: «А нельзя ли нам попросить вас, чтобы наша запись тоже была включена в фонограмму?» Наивные девы как ни притворялись, а не смогли скрыть своих намерений. Ну конечно, они договорились заранее и вместо толкотни в школьном актовом зале получили возможность приятно беседовать с мальчиками в школьном радиоузле.

Тамара все бросала взгляды на Альбу, а Калерия на Севу. Севе, наоборот, понравилась Тамара – острый, аскетичный тип лица, огромные глаза, маленький рот и маленький рост к тому же. Калерия – полноватая блондиночка из тех, что ему никогда не нравились, но Тамара проигрывала в речи, она отрывисто произносила слова и смотрела все время в пол, а Калерия была из болтушек, к тому же неглупа. Она как будто не делала никаких знаков, хотя прикидываться – это тоже знак, она, прикидываясь слабой и бедной, провоцировала людей на помощь, и Сева на эти провокации легко поймался. Ну, мужчине же приятно делать всякие мелочи

для девушки: починить проигрыватель, перетянуть лопнувшую струну на гитаре. А когда проигрыватель был починен у Калерии дома, на столе, как по волшебству, появилась бутылка вина, печенье и конфеты. Что говорить, девушка оказалась цепкая. У нее в тумбочке, помимо всяких женских штучек, оказалась целая пачка чешских журналов «Мелодия», за которыми Сева гонялся. В Калининграде их было бы достать проще. Отпивая из бокала, он стал листать журналы, увидел знакомые лица кумиров, да так увлекся, что чуть было не забыл о девушке. Она метнула в него многозначительный взгляд и уронила: «Ты не думай, Сева, я с удовольствием дам тебе их домой. Я тебе доверяю. А пока поболтаем? Мы так редко видимся помимо школы». Калерия, по-видимому, была из бедной семьи, но ее комната резко отличалась от всей остальной квартиры. Если в прихожей у них стоял допотопный шкаф с зубчиками из коричневой бумаги, ларь с картошкой, то у нее в комнате – современная тахта, проигрыватель, светлый ковер на стене. Это было как-то загадочно. Севу не интересовали материальные вопросы, а просто он был наблюдательный мальчик, и еще он хотел проверить себя, насколько же разбирается в людях. Почему Тамара, к которой сразу хотелось подойти и пожать руку как другу, на него не среагировала? А Калерия, которую он видел только боковым зрением, первой пошла в атаку? Наверное, потому, что Тамара более походила на мальчика: и видом, и поведением, а Каля – это была маленькая женщина, пушистая хищница, следящая за собой и кружащая вокруг жертвы вкрадчиво и осторожно. Сева таких девушек недолюбливал. Никогда не поймешь, что у них на уме. Они вежливые, мягкие, настоящие чеховские душечки.

Вот и Калерия... Он стал ей рассказывать о юности Харрисона, вообще о том, что свело ребят «Битлз» воедино, и она, вся подавшись вперед, ловила каждое сло-

во. Сева не мог похвастать такими знакомыми, которые были бы от него без ума, он, подобно Альбе, достаточно трудно сходил с людьми, но если Альба был замкнут, то Сева, наоборот, открыт и доброжелателен. И в случае с Калерией он никак не мог разобраться, ей нужен мальчик вообще или конкретный человек. Ведь она и в классе говорила с ребятами тихим вкрадчивым голосом, так же вкрадчиво отвечала урок, и на тригонометрии, например, это было жутко смешно. «Косинус, – говорила она, вытягивая губы в трубочку, – это отношение прилежащего катета к гипотенузе...» И получалось, что от произношения менялся смысл этой фразы – это был намек, что какой-то человек в виде катета прилегал к какой-то даме в виде гипотенузы. В классе привыкли к этому, и никто не обращал внимания, а Севе было стыдно, он беззвучно смеялся, прикрывая рот ладонью. Математичка на это реагировала плохо: «Что это ты расхихикался, Седов, не понимаю? Что может быть смешного в тригонометрических функциях? Ты бы лучше взял и помог отвечающему у доски задачку решить». Севе приходилось тащиться к доске, и все переглядывались: почему-то помогать Калерии Колинко приходилось именно ему.

Слабовато знала она тригонометрию, плавала она и в других предметах, поэтому Седов, как рыцарь такого-то образа, не будем тыкать пальцем в Дон-Кихота, взял над девушкой шефство. Иногда ему даже казалось, что она притворяется. Но получать двойки специально?! Это не укладывалось в голове. Скорее всего, это была тактика. И тактика четкая, продуманная.

Другие девочки класса, а их было большинство, тоже задумчиво поводили глазами и бровями в сторону Севы Седова. И, надо признаться, порой он совершенно простодушно приносил им из школьного буфета пирожки, списывал задания, делал чертежи и так далее. К черчению у него был особый талант. И поэтому он обязан был

отрабатывать учительские похвалы себе во вред. Но ничего, в принципе, он не развалился, а в целом было легко. Тихий мальчик Северин Седов получал такую невидимую подпитку, которая повышала его самооценку, и он думал: «И что вы все просите, клянчите, не хватает ума у самих все это сделать? Но я сделаю, а вот дальше как вы будете выкручиваться?» Потребовать награды либо компенсации за свою помощь он даже не догадывался, например, он мог бы сказать: «Я тебе сделал чертежи на прошлой неделе, помог долг закрыть, а ты мне для стенгазеты сделай то-то и то-то», – но он так никогда не говорил. Это характер.

Однажды перед ноябрьским праздником Калерия собралась на танцы в ДК трикотажной фабрики. ДК был очень старый, стены огромной толщины, отчего здание сильно просело, и перед входом крыльцо вело не вверх, как обычно, а вниз. В этой естественной ямке копился дождь, снег и всякое такое. Калерия выдвинулась из дома в резиновых сапожках, предусмотрительно завернув в газетку лаковые туфли. Это были увесистые корабли с серебряной бейкой и огромной сверкающей пряжкой. На танцах она, конечно, передела обувь, и об этом мелком эпизоде забыли бы, кабы не дальнейшее приключение. Северин мало смотрел по сторонам, он, слегка улыбаясь, смотрел только на спутницу. Зато Калерия вся извертелась, чуть голову не вывинтила, танцуя медляк. Отовсюду ей кивали, делали ручкой, посылали воздушные поцелуи, она купалась в этом внимании. Как только объявили перерыв, пара поплыла в буфет, где опять «здравствуйте» на каждом шагу. В буфете можно было заказать жигулевского пива и дешевого вина. Очередь к стойке неимоверная. Севе повезло – приятель его пустил без очереди. Взяв себе кружку пива, а Калерии бокал вина, он стал искать ее глазами. Ага, вон она болтает с каким-то типом. Сева подошел, протянул вино, а

Калерия поспешно сказала: «Познакомься, это мой брат. Не веришь? Ведь мы похожи». Однако брат угрюмо смерил обоих взглядом и свернул в толпу. Опять пошли танцы один за другим. Несколько раз Севу спрашивали, можно ли пригласить его даму, он кивал утвердительно. Реакция Калерии была странная: «Экий ты щедрый! Тебе что, все равно, с кем я танцую?» – «Если парень не нравится, можешь сама отказать. Но я то не старый морской волк, чтобы на всех рычать. Нравится – значит танцуй!» Сева думал, что такая свобода будет широким жестом с его стороны, но девочка надула губы. Когда они стали собираться домой, она снова надела свои сапожки и протянула Севе пакет с туфлями, велела ждать у входа.

Сева подождал минут тридцать. Этого с лихвой хватило бы, чтобы посетить места и попрощаться с целым залом поклонников. Ее не было. А может, он пропустил ее, когда она выходила? Но с чего бы ей прошмыгивать мимо? После часового ожидания он поплелся на остановку автобуса. Погода была сырая и промозглая. В автобусе тепло и уют. Так, здесь не обошлось без какого-нибудь брата, это точно. Ну, хорошо, надо позвонить ей и все выяснить. А, может, она сама позвонит? Может, она почувствует неловкость ситуации?

Но нет, она не позвонила. Вряд ли она наняла его в качестве пажа, наверно, решила, что на следующие танцы он сам принесет ей эти проклятые туфли. В понедельник, первый день после неприятного эпизода, она пришла в класс как ни в чем не бывало. Пошла ему навстречу, задорно щуря глазки: «Знаю, знаю, тебе пришлось таскать мои туфли... Ну так получилось, что меня перехватили друзья, и мы все вместе пошли на вечеринку, я им говорила, что меня ждут, но никто не слушал. Знаешь, схватили под руки и впихнули в автобус. Ну, бывает...» – «Но ты на другой день даже не позвонила, что я мог подумать?» – «А что ты подумал? Что ты

подумал, правда?» – «Подумал, что что-то случилось» – «Ну, полно!» И любимый жест – приложила палец к своим губам, потом к его щеке. Дескать, мир.

Мир вроде бы наладился. Они договорились, что она сама зайдет к нему за туфлями. Прошла еще неделя, она не заходила. Сева не хотел ей названивать, боялся надоедать. Однако приближались выходные и очередные танцы. Он позвонил, что занесет ей туфли сам, ведь она жила в районе ДК. Согласилась. У ее подъезда он стоял больше часа. В конце-то концов, это ни на что не похоже. Если у нее завелся еще кто-то, почему не сказать об этом прямо? А то в классе демонстрирует отношения, а на самом деле все наоборот. Ноги Севы заоченели от стужи, от лужи, в которой он стоял, не замечая непогоды. Грудь Севы похолодела от гнева. Сейчас он положит эти туфли на крыльцо у подъезда и уйдет. Только он выпрямился, как налетела на него невесть откуда подбежавшая Калерия. Невесть откуда, но не из подъезда!

– Ах ты, негодник! Если бы ты их тут отставил, их бы украли! Что тогда?

– Если бы украли, я бы тебе возместил их стоимость. В пятикратном размере. Как в библиотеке.

– Разве? Это дорогие туфли. А если бы я сама их взяла, а тебе сказала, что украли?

– Ну, тогда бы я сказал, что это низость.

– Ах, вот как? Ты позволяешь себе судить меня? Да как ты смеешь!

И внезапно вскинув руки, точно призывая свидетелей откуда-то сверху, девочка рванула дверь подъезда и убежала по лестнице вверх...

Вот уж никакого желания не было ее догонять. Что за манера? Будучи виноватой, она еще возмущается и наезжает на других. И если даже он и пошел бы за ней, все равно уж никакого разговора не вышло бы. Он ведь надеялся, что он принесет туфли, и они снова пойдут в ДК трикотажной фабрики, еще можно было успеть, но те-

перь уж шансы совсем упали. Что ж, придется их тут оставить. Украдут их или нет, это уже не его забота. Хорошенькое дело! Он всегда считал себя достаточно гордым человеком, а тут такое унижение. Он вздохнул, сунул туфли подмышку и пошел домой.

На душе его было прескверно. Он никогда не манипулировал людьми и не мог вынести этого сам. Правда, он слышал от старших сестер, что если женщина нравится, то ей можно позволить покапризничать. Дескать, позволять капризы и прощать их может только очень воспитанный благородный человек. А он, выходит, неблагородный? Черт, не знаешь, что и делать!

Он так задумался, что проехал свою остановку, двинулся дальше по кругу и снова попал к своей остановке только через час. Было уже действительно поздно, танцы наверняка кончились, и если матушка спросит «где был», то вполне можно соврать, что был на танцах. Еще не хватало, чтобы она догадалась о его позоре. Все-таки плохо, что нет сестер, уехавших за своей судьбой в разные города страны. Они бы сейчас сели пить чай и расспрашивать его. Ситуация была бы разложена по полочкам, и он ушел бы спать успокоенный, разнеженный их теплом и вниманием. Но сестры разъехались. Дома Сева швырнул туфли под вешалку, ему хотелось позвонить сейчас только одному человеку – Альберту. Но тот, вероятно, сидит в наушниках и ловит Би-Би-Си. Нет, никому звонить не нужно. Сева склонился к приемнику и сразу же забыл обо всем на свете. У него был его мир, куда можно было спрятаться от реальности.

В классе Калерия, еще более веселая и ласковая, чем прежде, снова подошла первая: «Не сердитесь, Северин Алексеевич, я пришла домой, и меня стали ругать, в общем, я не могла даже выйти». Снова палец к своим губам и к его губам. Ого! Как она повышает цену прощения! А ведь врет. Видно, что врет. «Это называется дамский

каприз?» – спросил он. «Да, если хочешь. И что мне за это будет?» – «А ничего, я прощаю тебе все твои капризы. И даже те, которых еще не было. Понимаешь?» – «Неужели?» – и долго на него со значением посмотрела: «А ты интересный! Я даже не ожидала. Иди отсюда!» – махнула рукой на подошедшего к ним Альбу. Это была ее очередная ошибка. На кого-на кого, но на Альбу нельзя было махать ни руками, ни ногами, это был человек в высшей степени независимый. «В общем, когда понадобятся туфли, позвонишь...» – Северин взял за плечо Альбу, и они отъехали без оркестра. Калерия осталась стоять с раскрытым ртом. Видимо, великодушие было выше ее понимания, и она так и не осознала, что произошло. Столкнувшиеся амбиции школьной любви никак не давали туфлям вернуться на свое законное место. Наконец, она ему позвонила. Это прошел месяц, надо же, целый месяц она выдерживала характер. Ну и глупо! На этот раз он даже не пригласил ее к себе, вышел на лестничную клетку, встал, облокотившись о стенку перед самой красивой девочкой класса, она стряхивала с пальто мокрый снег и не смотрела на него. Поскольку молчание затягивалось, он ничего лучше не придумал, кроме как убрать мокрые кудряшки со щеки и поцеловать Калерию. Она вся подалась ему навстречу, и тогда он прислонил к ней сверток с туфлями и ушел. Из своего окна он глянул вниз и увидел, что у подъезда топчется человек, похожий на пресловутого брата. И зачем же она его с собой притащила? Взять туфли с боем? Какая тупость! Ясно же, что никакой это не брат. Но зачем-то ей нужно было их столкнуть. Но он тоже хорош, чуть ли в лицо эти туфли не швырнул.

Зачем он это сделал? Из мелкой мести или от безвыходности? Он сам не знал. Его разрывала печаль, давила обида, но не на нее, а как-то на все сразу. Он был немногословный человек. Для того чтобы ей объяснить, потребовалась бы длинная речь, и она все равно не смогла

бы это вытерпеть. А после этого у нее не хватит совести ему подмигивать и прикладывать палец к губам.

Ясно, это не та женщина, которая могла быть рядом. Как, например, Йоко Оно рядом с Джоном Ленноном. Или как он с ней рядом.

ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРСТЕНЬ СЕСТРЫ

Тоня часто оставалась дома одна. За окнами гудел далекий шум машин, на заднем двореке кудахтали куры, соседка через забор от Дикаревых звала своих детей: «Домой! Куда вы задевались? Домой!» Люди суетились и шумели вдали. Даже с подругой Танюшкой ей водиться не разрешали, потому что бедная Танюшкина семья, много детей и вообще... Бедная-то да, но мать улыбчивая, суматошная и добрая. У них можно сидеть, не спрашиваясь, греться, семечки щелкать. А у Тони мама суровая, рот на замке, но быстрая на расправу.

Тоня росла бледным и худым ребенком, про таких говорят: ветер качает. Она училась во вторую смену, поэтому уроки делала с утра, когда не у кого спрашивать. Мать и отец рано убегали на работу. Горячие свежеподжаренные котлетки остывали под эмалированной мисочкой, покрывались белым жирком. Она не могла смотреть на этот жирок. Чувствовала, что от матери достанется за пропущенный обед, но не ела, украдкой бросала котлету за стол. Прямо в щель между столом и стеною. Потом старательно заплетала русые коски – они у нее получались наизнанку. Закручивала концы резинками и привязывала коричневые капроновые банты. Тоня красивая робкая девочка в бантах, с огромными серыми глазами. Школьная форма всегда широка ей, и тогда она брала и связывала концы пояска на черном школьном фартуке. Потом собирала портфель и ждала, когда стрелка подвинется к двенадцати. Сидела, как на вокзале. Она и на фотографиях получалась такой: испуганные серые глаза, вытянутая шейка, коски наизнанку, старательно связанные на четыре банта капроновые ленты. И в поднятых плечиках, и в ручках, сложенных на коленках, сплошное ожидание.

Старшая сестра Валя с виду была полная противоположность – чернявая, невысокая и плотная, поесть лю-

била, по дому работала без устали, а Тоню воротило от посуды, от полов. Валу хвалили в школе, Тоню ругали. Если только приглядеться, то в разрезе глаз, в улыбке, в повороте головы было что-то сильно похожее. Как будто стакан один и тот же, но налито разных напитков.

Когда старшая сестра Валька еще жила с ними, Тоне казалось не так мрачно в доме. Они, бывало, по глупости хлестались полотенцем, кричали друг на друга, ссорились из-за очереди мыть посуду, все-таки живые люди. Старшая Валя была отличница, и строгая мать ворчала Тоне – учись! Смотри, как надо! Но учиться так, как Валька, Тоня не умела. Она плохо запоминала речь учителя, и ей приходилось три раза читать, а то и зубрить учебник. Но учебник напрочь отбивал всю охоту к знаниям. Получая очередную тройку, она кусала губы и оглядывалась – опять ей скажут что-нибудь обидное.

Когда младшая несла дневник, она получала затрепину и указ на старшую. Когда старшая приносила на подпись дневник, там чаще были пятерки, чем четверки. Отец подписывал, а мать только поднимала брови – дети обязаны учиться. За дневник Вальку не ругали, зато ругали, что не те книжки читает. Когда Валька переписывала в тетрадь стихи, мать заявила:

– Таких, как Ахматова, надо вычеркивать. Постановление было.

Когда Валька принесла домой новую книжку, мать стала грозить пальцем. Мать заметила, что на столе у Вали лежит учебник, а под ним спрятан совсем не учебник! Они то и дело ругались из-за этой голубой в разводах книжки – Анчарова, кажется. Мать говорила Вальке:

– Начнется с неуменья надевать чулки. Кончится неумением жить.

– Да при чем тут Анчаров-то?

– При том, что ты его начитаешься, осоловеешь, и глаза смотрят в стенку.

Валька втягивала голову в плечи.

– Может, я думаю! Мечтаю.

– А рано тебе думать. Ты пока еще никто. Начнешь зарабатывать кусок хлеб, тогда думай и мечтай. А пока ты никто и ничто. Ничтожество.

Валька хлопала дверью, шла реветь. Сестра Тоня не навидела неизвестного писателя Анчарова всем своим маленьким горячим сердцем. Да кто он такой, чтоб из-за него старшую сестру так долбали? И почему она ради него на такие жертвы идет? Ей хотелось как-то заступиться за сестру, например, уговорить, чтобы она не упоминала при матери эту фамилию.

Но Валька хмурила брови и отворачивалась:

– Ты еще маленькая.

И тогда Тоня впервые почувствовала себя такой одинокой.

Валя приехала однажды на каникулы из института, и у нее оказался перстень на руке. Такой тяжелый пластиковый или стеклянный, прозрачный, синий, а внутри так переливчато, искристо. Перстень был похож на дальние края и цветные фильмы про любовь. Тоня погладила перстень и попросила:

– Ты привези и мне такой. Сможешь?

– Привезу! – кивнула Валя. И тут же забыла.

А Тоня ждала не один год. И всякий раз в глаза заглядывала. Потом перстень вышел из моды и затерялся, а Тоня все ждала. И по ночам ей он снился. Приезжая на вокзал, Валя иногда спохватывалась – куда я его дела? Но было поздно.

Однажды на большом семейном сходе родная тетка расчувствовалась, рассказала Тоне странную историю из ее, Тониного, детства.

– Ой, Тонюшка, хороша ты девка, и так песню подтягиваешь славно. Помню, как вас отец привез ко мне в гости маленьких еще. Ну, Валя сразу уткнулась в книж-

ку, и ты сидишь такая, ручки на коленках. И ведь малая еще, а будто понимала, что нельзя ничего. Что в чужих людях надо послушной быть.

– Так я, тетя, всю жизнь послушная, а не только в чужих людях. Я вон пришла к мужу в семью, никому не понравилась и сразу как в осаду. Правду сказать, и сама не подарок...

– Да брось, ты очень хорошая... Просто мать у вас больно крута. Так вот смотри, мать твоя Лида очень заболела, лежала в больнице, потом уехала к бабке вашей в Хохляндию... И почему-то взяла с собой Валю, а тебя нет. Отец-то твой в МТС работал, тебя не с кем оставить, то с соседкой, то одна. Меня позвал приглядеть. Я приехала, слезла с попутки, он мне ключи дал и убежал. Я-то дверь открыла, глядь, а ты в уголку тихонько сидишь, чего-то копаешься. Вся грязненькая такая. Я даже сумку уронила свою. Дитя сидит возле помойного ведра и чего-то там вылавливает! Мож, голодное, мож, от скуки... Сколько лет? Да года два. Я тебя схватила и ну обнимать, а ты ничего, притихла, на ласку не ответила, ждалась. Ну откуда ты знала, что я тетя? Не знала. Но не противилась... И так мне сердце-то сжало, что не знала, как тебя оттаять. То купала, то кашки сладкой наварила, то пошла в сельмаг ихний купить конфет, да не было, только повидло. Отца вечером, конечно, наругала, что малое такое кинул дома, он молчал. Только смотрел, как я плачу. А ты ничего, тихая была. Только все глядела глазищами-то громадными. А ела плохо....

– Я, тетя, всегда плохо ела. А почему, думаешь, мне никто так и не рассказал?

– Да что тут... Стыдно же. Деваться некуда, упустили, но стыдно....

В семье Дикаревых всегда на первом месте была работа. Потом все остальное.

Потому что отец, Дикарев Петр, закончив сельскохозяйственный институт и став инженером-механиком, остался им на любой работе. И в селе, где добивался высокой производительности тракторов, и на механическом заводе, куда он попал, чтобы вывести завод из прорыва. И он это сделал, хотя плата оказалась высокая. Он выводил завод из прорыва, его лишали премий и накладывали штрафы, а его доктора выводили из предынфарктного состояния. Однажды, отстаивая принципиальный вопрос по комплектации импортной машины, Петр загремел в больницу, а потом на месяц тяжелого лежачего режима. Из этого больничного его выводила жена Лидия. И, казалось бы, он и так сделал все, что мог, зачем костями ложиться? Затем, что это был для него смысл жизни. Он был уверен: если не он, то кто? Больше никому.

И полное его отражение – Лидия, которая сначала была агрономом, а потом учителем в школе. Честнее ее в школе не было человека, результативнее не было – и по успеваемости, и по храбрости, так как первая начала вести общую биологию. А когда ей дали грамоту и персональную надбавку – уступила ее своей коллеге.

А как же их дети? У детей, понятно, было тяжелое детство. Они мечтали побыть вместе с папой, мамой, но даже один раз в год отец не мог собраться с ними на речку. Никто даже не протестовал! Так нужно было стране.

Тоня и Валя отца не боялись, просто радовались, что он есть. Однажды после школы Тоня гуляла с подружкой в переулке, в этот момент шел с работы отец. Тоня, желая похвастаться перед ним своим умением кататься на велосипеде, резко закрутила педали и врезалась в кучу песка. Отец, отряхивая песок с одежды дочери, лас-

ково утешал и подбадривал ее: «Ну, что же ты?» Но все равно Тонечке было приятно, что подруга увидела. «Это мой папа», – повторяла она с восхищенной улыбкой. Она любила встречать его после работы. Что до Вали, то она, видя отца на трибуне, тоже хотела всем крикнуть: «Это мой папа», но не смела. Она чувствовала себя такой маленькой по сравнению с ним. Он казался ей героем после рассказов о работе по призыву партии, после получения орденов на заводе. Валюшка была трудным ребенком, ее часто ругали. И хоть она училась на пять, но была мечтательным, рассеянным человеком. Из-за плохого зрения ей не разрешали много читать, отбирали книги, которые та читала украдкой, прятала в стол, даже читала ночью под одеялом с настольной лампой. За это тоже попадало. Но страсть к чтению осталась навсегда.

Из-за работы на заводе у отца было много недругов. Тоня слышала, что сосед всегда критиковал отца, желая доказать свою правоту. Они переговаривались через забор. Но сосед делал это открыто, а другие писали анонимки. Эпизод с одной такой анонимкой Валюшка с Тоней хорошо запомнили. По почте домой пришел большой плотный конверт, Лидия его вскрыла и схватилась за голову – там отца обличали как нечистого на руку человека. Конечно, в тех бумагах Валя ничего не поняла. Заплаканная мать уверяла, что написанное неправда, что отец честный человек и даже на самое необходимое, например, на ремонт дома он с трудом выделяет деньги: «Я этого ремонта по несколько лет выпросить не могу, потому что он любит все официально делать». Для дочек этот случай был потрясением. Много лет они боялась, что анонимки окажутся правдой и придется бежать от позора.

Валя не сообразила главного: анонимки ведь домой не приходят. А приходили они на адрес местного райкома партии, а там сидел отцов друг и пересылал их ему

домой. Валя не знала, был ли дан ход этим доносам, в ее понятии отец всегда был на хорошем счету. Когда в школе задали сочинение на тему «Герой нашего времени», у них в классе все писали по Лермонтову, а ей Печорин тогда не нравился. Она говорила матери: «Может, лучше написать по фильму Герасимова «Журналист»?» Мать ей отвечала, что в кино можно все показать красиво, а вот в жизни это сделать невозможно. Всегда найдутся вражеские элементы. Тогда-то Валя и услышала историю про призыв партии и подъем сельского хозяйства и написала сочинение про своего отца. В первую очередь он думал о своем гражданском долге, а уж потом о личных нуждах. У отца с матерью была привычка вызывать дочек на ковер и спрашивать: «А что ты можешь сделать для Родины?» Валюшка не знала, что им ответить, но не ставила вопрос под сомнение. Они имели право знать. А дочки не знали, что ответить, страдали, что не успели совершить никакого подвига, как их отец и мать. А отец, даже если совершил – все равно его не ценили.

И еще одна вещь. В силу старшинства Валя часто лезла, куда ее не просят. И ее за это наказывали. А Тоня за нее молча переживала. Она и вправду носила тяжелый перстень младшей сестры. И все думали, что она не понимает ничего. А она все, все понимала.

Один раз они пололи морковь. Работа была не так тяжела, как кропотлива. Сорняки выдернут, а потом еще чахлую рассаду перебирать, прореживать ниточные ростки. На огороде жара, мошки летают. Хочется в тень, в душ, в лопухах залечь.

– Ну что, поняла, куда поступать будешь? – задала Тоня большой вопрос.

– Наверно, в училище, чтоб потом в музыкалке работать. Но это, конечно, не то, – ответила Валя.

– Что б ты хотела?

– Хотела бы отдать все людям. Человек ценится по тому, что может отдать. Добровольно.

– Сама-то с чем останешься?

– А мне ничего не надо. Главное – понять, что тебе надо. А мне – ничего.

– Главное, Валя, не эта ерунда из книжек. А то, что ты сама можешь.

– Ну, а по-твоему – что главное?

– Главное – власть. И деньги.

– Тонька, ты ведь нарочно! Нарочно меня бесишь!

– Ничего не нарочно. Когда ты останешься ни с чем, я приеду тебе помогу. Пока ты Анчарова своего будешь читать.

Валя вскочила как бешеная, схватила Тоню за сарафан и тряхнула об забор. И пошла в дом. А потом Тоня долго сидела на грядке. А Валя у себя за столом. И обе ревели, дурашки. Нашли, из-за чего.

СИЛЬНЫЙ-СЛАБЫЙ-ЛЮБИМЫЙ

В ту сырую зиму разрыли траншеями всю-то улицу за институтом. Если б люди были ангелы и летали высоко-превысоко, то они б того не замечали, но дождь и слякоть на скользких досках делали свое дело. Люди чертыхались и падали. А труб, которые следовало уложить в сии траншеи, все не было в наличии. Или не было в наличии машин с краном, чтобы их уложить... А Сева был тогда смешным худеньким юношей, и он, обходя опасные траншеи, даже не слишком их и разглядывал, потому что его блуждающий изумленный взор всегда плавал где-то поверху, а на грешную землю не опускался. Но, идя мимо института, улыбаясь самому себе, он жестоко поскользнулся и влетел в траншею – не так глубоко, по грудь, но выбраться не смог. Мужики, дорожные рабочие, которые привычно курили на куче щебня, сплевывая от себя подальше, ждали, что будет. Как он, выкрутится или нет? Начнет кричать, по крайней мере? Но он не метался и не кричал, молча хватался руками за доски, хотел подтянуться, а не выходило. Обессилев, он просто исчез с поверхности. Начинался снег. Мужики переглянулись и пошли: заметет, поди. «Пацан, ты чего? Живой?» – «Живой. Сижущу...» – «Больно?» – «Нет». (Молчание.) – «Вылезай, пацан!» – «Не знаю, не могу». Мужики, крикнув, стали его вытаскивать за поданную ему ветку дерева и за плечи пальто. Сева хотел встать на ноги и снова чуть не упал: «Нога!»

Тогда мужики еще раз крикнули и сделали руки клеткой, а он обхватил их шеи. Так и притащили его в травматологию. И пока они несли его, не было ему больно, было нереально. Не реальный сыпал на него снежок, а что-то вроде елочного дождя. Он еще так искрился на лету. Как всегда, в больничном коридоре застыла большая потная очередь, и кроткий выюноша тихо пережидал ее, держа руками немеющую, будто на-

дувающуюся ногу. Он испытывал неудобство оттого, что новое пальто в траншейной земле, но никто и не смотрел на его пальто в елочку. А врач посмотрел ногу, и это было уже гораздо больнее, выписал направление в стационар, вызвал скорую и спросил телефон домашний. Так что когда поехала скорая в больницу мимо его дома, с крыльца спустилась его матушка Фелисата с искаженным лицом. И они поехали и держались за руки в машине, ни о чем не говоря между собой. Ведь ему не о чем было рассказать, кроме того, что он разиня. А матушка напряглась от сдерживаемых слов, она могла от двух-трех фраз разрыдаться...

Лежа с гирями на ноге, Сева горько сожалел об упущенной беседе. Он мог бы попросить транзистор. Хотя он и попал в палату с шестью больными, все-таки они больше гомонили меж собой, а он оставался в одиночестве и молчании. И еще сильнее это одиночество сдавило его тридцать первого декабря, ведь гомонящих сопалатников почти всех отпустили на Новый год, а его, с гирями, не отпустили. Дежурная сестра по десять раз спрашивала: не надо ли ему утку? Или попить? Поставила рядом кулек с мамиными апельсинами. Но он мотал головой: ничего не надо. До него долетали отголоски какой-то глупенькой оперетки, бормотание новостей, и это было все.

Сева представлял себе домашнюю предпраздничную суету, которую он терпеть не мог и всегда уходил к друзьям. Но именно запахи пирогов-рыбников с кухни, шипение мяса, хлопки открываемых бутылок, звяканье серебряного ведерка для шампанского, которое папа всегда отчищал зубными порошком перед подачей снега на стол – именно это ему чудилось, а не готовый стол и фруктовые башни. Батюшка тонко нарежет горбушу, матушка накроет пироги полотенчиками, сестры, если приедут в гости, наведут блеск на фужеры... И все время разговоры, разговоры, переживание давних и недавних

семейных событий... А друг его Альберт, скорее всего, приглушенно посмеется над всеми традициями, проводит старый год, сядет за приемник и забудет встретить новый. Так уже было.

В больнице наступила бедная больничная тишина. Апельсины не радовали. Но он старался есть их, роняя корки с кровати. Кожуру срывал и хлюпал дольками, чтобы маме не было обидно.

Все тело было свинцовым, и веки были свинцовыми, их приходилось сжимать насильно, ибо сон навстречу не шел, убегая за всеми, кто покинул юдоль скорби в эту веселую ночь. Даже на открытого позитивного Севу накатывали волны тягучей тоски, и он глотал их, чтобы не утонуть, только иногда смаргивал излишки.

Звуковой голод кончился первого числа под вечер, когда друг Альба, так и заснувший в наушниках, наконец выпался. Протер глаза и позвонил Севе домой. Там ему сказали, что перелом ноги, вторая городская хирургия. Потом он пришел в больницу и принес приятелю транзистор. Спасение от скуки, как сладко оно, как огромно и волнующе. И целый месяц Северин жил, дышал, питался его звуковой стихией. Так он услышал однажды английское слово «жуки». И тогда волнение, ранее неизвестное ему, прокатилась от горла до кончиков пальцев. И это ощущение осталось с ним на долгие годы, пока учился в школе, потом в институте.

Сева на протяжении вечерней учебы в институте работал упаковщиком на базе «Россельхозтехника». Он работал, так как ему казалось некорректным сидеть на шее у родителей. Положение и связи родителей позволяли оформить мальчика на работу, которую не обязательно посещать. Но Сева не хотел пользоваться тем, что сам не заработал. В большом цехе было двадцать пять секций запчастей. Приходили заявки из колхозов, через полгода приходили по этим заявкам

детали, разносились на секции и посылались извещения колхозам. И те плелись за искомым железом. А когда еще они возьмут и поставят запчасти на трактора, и когда те трактора заработают, было совершенно неясно. На это было совестно смотреть, и Сева не смотрел, просто комплектовал в ящики по прилагаемому перечню. Волосы стянуты темной тесьмой, длинные пальцы в машинном масле, поверх дешевого свитера прорезиненный фартук. И светлый взор поверх этих ящичков куда-то за окно.

Руки у него от технических смазок стали болеть, кожа ежилась и шелушилась, и матушка заставила его перейти на другую работу, чертежником. Тоже очень большой зал, тридцать человек за кульманами и все на виду.

Северин Седов был единственный в этом зале мужчина, остальные – женщины. Женщины косились на длинные волосы, на бесшумное передвижение его фигуры по проходу. Подходили. Но никто не видел, чтобы он подходил.

После работы он ехал на другой конец города, чтобы договориться насчет записи магнитофонных пленок. За перезапись одной пленки на полтора часа он платил столько, сколько через тридцать лет стоили бы четыре бутылки водки. Это были огромные деньги, но ему было не жаль их отдавать. Он же не мог пойти в магазин «Мелодия» и «Электротовары» и купить «Битлов» на пластинке. С невозможности свободно слушать любимую музыку, вот с чего начиналась в нем нелюбовь к родине. Родина сама за него решала, что любить, дозировала, держала на скучной дурацкой работе за копейки. А он не смирялся. Искал спекулянтов и шел у них на поводу.

С Ивановой познакомили институтские друзья. Рослая суровая девушка, которая открыто выражала ему свое восхищение. Темноглазая, белокожая, медленная.

Чуть длинноватый нос и маленький сжатый рот придавали ее лицу что-то средневековое. Всегда сдержанная и мрачная, она светлела, оборачиваясь к нему, так прямо и откровенно, что он щурился и смотрел в окно.

Он любил лежать на старом диване и читать «Уолден, или Жизнь в лесу». Матушка пеняла ему, напоминала, что они с батюшкой читают только русскую классику, но Северин объелся классикой еще в школе и устремился за пределы школьной программы. Окружающее так выводило его из себя, что он предпочитал быть один или в лесу. Лишь бы вырваться за пределы положенного.

Однажды он по радио «Свобода» поймал интервью с правозащитниками. Услышал про Сахарова, про Буковского. И он понял: это он может делать всю жизнь. Сердце билось сильно, неровно. Он курил в форточку. Пойти в правозащитное движение? Но тогда неизбежна тюрьма. Это вовсе не страшно, если за дело. Но матушка не выдержит! Батюшка не выдержит. Пока он будет сидеть в кутузке, их увезут с приступом. Помимо своего эго он чувствовал еще сильную связь с родителями. Что они зависят от него. Это трусость? Малодушие? Но за этим его родители: честные, тихие, уютные люди. Он поздний ребенок, теперь единственный. Когда сестры далеко, у них никого не остается. И как же он нанесет им удар? Немыслимо.

Валил снег. Приходила Иванна. Они шли на выставку, где картины, воспевающие труд, – сталевары и серые деревни. А потом к Женьке Красикову – тот рисовал картины точками и считался местным пуантилистом. Они покупали яблочное вино в трехлитровой банке – и шли говорить о западном искусстве, о Дали, о «Битлах». Рыжий Женька обливался потом, кидая поленья в самодельный камин. Рассказывал про словацкого художника

Ф. Дртикола, который соединил рисунок и фото обнаженной натуры.

Иванна, ее светящееся в темноте лицо – белое-белое, как снег, и длинная плавная шея. Холодные экзотические духи. Они так ни разу и не были вместе – всегда негде, некогда и, потом, его проклятая робость. Иванна все брала на себя, врывалась уверенная рука под дешевый свитер, убирала с его лица длинные волосы. Губы ее находили его губы. Как хорошо, не надо ничего думать, все проваливается, несет тебя в пропасть, и ты оттуда появляешься другой. Детский такой, беззащитный, бесконечно нужный кому-то... Удивленно куришь одну сигаретку с ней напополам. Досада Ивановны:

– Ты какой-то непорочный. Северин Северный. Сколько тебя ни соблазняй.

Он ничего тогда не ответил. Потому что внутренне оставался прежним, непотревоженным, наверно, это она имела в виду.

– Я уеду, – сказала однажды Иванна. – У меня распределение.

– Чушь, – сказал Северин. – Не уедешь, если сама не захочешь. Останься!

Он не мог ей сказать про родителей, она бы обиделась. Сочла бы маменькиным сынком. Они так отличались друг от друга. У Ивановны был он. А у Севы много всего, да еще Иванна. Он сросся со средой, в которую был помещен. А Иванна еще не понимала, что такое среда... Кроме того, жизнь сама несла Севу, подсказывая, что делать, но так везло далеко не всем. Иванне нужно было карабкаться самой.

У него даже был одноклассник Альберт, такой же битломан, достопримечательность всего городка. Чем они отличались? Ничем. Оба окончательные, зафанатевшие битломаны. Только Альберт был еще собирателем техники. У него всегда был дома склад радиоаппаратуры. Магнитофон «Днепр» катушечный, «Ригонда моно», приставка «Нота», китайская ерунда

всякая, приемник «Рига», «Урал» – огромный набор всяких приемников, в том числе и самодельных. Иногда Альберт занимался семьей. Женился, например. Но в остальное время работал на заводе инструментальщиком и слушал радио.

Альберт имел аскетичное лицо мученика, железные зубы и лысый череп. И в противоположность злой внешности – совершенно добрый нрав. Однажды он сшил себе пальто: тяжелое, черное, длинное, как дом. Он так и сказал: «Знаете, я построил пальто». Сева тогда очень удивился. Это же было время, когда трудно было где-то что-то купить. И человек так вышел из положения. Он вообще защищался ехидными шутками, отшучивался от системы и все. Такой Диссидент Черное Пальто. Вдвоем они подолгу слушали музыку и привычно осмеивали советский строй.

Но Альберт не остановился, и они стали строить Севе тяжелые, как резина, расклешенные штаны из кожи. Они были великолепны и стояли в комнате без помощи человека.

На последнем курсе Сева решил уехать в Москву и стать искусствоведом. Эта мысль то и дело приходила к нему, и все более настойчиво. У него уже была книжка Раушенбаха про обратную перспективу в иконописи, ее дал приятель, тоже интересный художник, работавший в реставрации. Того самого Раушенбаха, физика по основной профессии, который вместе с Королевым запускал Гагарина. Севе всегда были любопытны люди с такими полярными интересами. Как, например, Викентий, муж его сестры Евдокии – математик, но анализировал творчество Блока. Но матушка Фелисата так плакала, что Сева не поехал. И бывало, жалел об этом. Он обычно ни с кем и ни с чем не конфликтовал, так как ощущал некую высшую волю над собой, и слушался. Отсюда его любимая фраза: «Счастье – умение обходиться без всякого счастья».

ЮЖНАЯ, НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ

Девочкой в больнице героиня машинально крестилась, не понимая, но стремясь выжить. Возможно, в ней тогда и застряло это воспоминание, что легче-то стало. И возможно, она потом это повторила в тяжелый момент – это подтолкнуло к веру.

Автор – литературному негру В.

Валентина приехала в глухую жаркую степь и поплелась на завод уже далеко после обеда. Она шла со станции какими-то песчаными пустырями. Ветер трепал ее темно-синюю кудрявую шевелюру, белую легкомысленную юбочку и легкую трикотажную матроску ярко-красного цвета. Валя морщилась от солнечного пекла, никак не могла обнаружить вывеску нужного предприятия. Завод выпускал корыта для крупного рогатого скота. Спросить было не у кого, потому что люди в данной местности навстречу не попадались. Наверно, надо было ловить момент и спрашивать об этом на железнодорожной станции, там-то люди были. Но станция осталась позади. Маленький мужичок в пиджаке до колен молча показал коричневым пальцем на вывеску. Название завода было напечатано краской на куске ДВП как временный вариант. Валя подумала, что овощные корыта тоже, наверно, нужны для народного хозяйства, и ничего, дрогнула, но вошла в ворота.

Ей сказали:

– Очень хорошо. Молодая специалистка? А-а, знаем-знаем, нам документы на тебя пришли. Ты, значит, будешь у нас начальником отдела труда.

Валя перепугалась:

– Я не могу сразу быть начальником отдела труда. Я только-только вышла из института, мне бы надо немножко подучиться.

Они говорят:

– Будешь учиться по ходу дела, потому что у нас начальника отдела труда посадили в тюрьму, нам надо быстро, чтоб кто-то был в отделе труда.

Валя:

– Почему в тюрьму-то? Почему вы так говорите? Я боюсь.

Они:

– Что за ерунда? Всех когда-нибудь сажают в тюрьму, это нормально.

Но молодой девчонке показалось, что это ненормально, она сильнее испугалась.

– Давайте я не начальником.

– Молчать! Значит, посиди час-другой, мы созвонимся с нашим директором, который на больничном сейчас, но всех, кто приходит на работу, к нему возят, когда он болеет.

– Зачем?! А без него-то нельзя?

Но ее все-таки посадили в пыльный газик, крытый брезентом. Рядом не было ее мамы, а то она бы сразу припомнила непослушной дочери: «А я тебе каза-ала!..» Говорила она! Но жаловаться было некому, да и поздно, поехали к больному директору... В это время в степи как-то потемнело, и закрутился смерч. Вот везде в поселке смерч, а туда приехали – там сад. Отдельная совершенно зона. Как в фантастическом фильме, будто куполом накрыто. Похоже на Платонова, только проще все, грубее. Без пафоса вообще. Странно, но там даже птицы пели.

Валя просто ошалела:

– Скажите, но почему же...

– Молчать! Директор тебя зовет.

В гамаке сидел директор, весь оплывший и косой: один глаз смотрел на посетителя, второй глаз в сторону. Этот человек, видимо, был частично парализован, плохо ходил или вообще не ходил. А может, инсультник. Обложенный подушками, походил на большого младенца,

только почему-то обросшего щетиной. На столике у него сок стоял, какие-то фрукты лежали. Смерч где-то там, а здесь все было накрыто салфетками. Чистенько так.

Зазвучала неразборчивая речь, как с заезженной ленты магнитофонной:

– Ты есть молодая специалистка. Ты есть у нас, мы тебе дадим квартиру, все дадим, токо ты оставайся здесь, ты не пожалеешь. Ты не пугайся, что смерч. Смерч когда-нибудь заканчивается. А то, действительно, начальника отдела труда нет.

Валя взяла себя в руки:

– Так почему мне сказали, что прежний начальник в тюрьме? Чего в тюрьме? Почему?

– Это ерунда все. Каждый должен посидеть в тюрьме.

Валя взмолилась:

– Да я боюсь! Давайте, я не начальником?

– Будешь начальником с правом подписи документов. Тебе помогут. Ты не одна в отделе. Возьми фрукт, угостись. Я все сказал...

И директор потерял интерес к собеседнице. Даже глаза закрыл.

Валя видела, что ее здесь никто и не спрашивал. Ей дали персик. Она персик с пылью съела – пока держала, песка на него нападало. Девочка с персиком, персик с песком. Картина Серова стала дрожать и тускнеть. Делегация гуськом вышла от директора.

Потом у Валюшки стала болеть нога. Именно когда привезли в этот сад-то, в оранжерею, у нее и заболела нога. Она вспомнила, что когда шла со станции, ее на пустыре укусил какой-то комаришка. Но Валя не придавала этому значения. Что-то там зачесалось, а потом глядь на ногу, а та как бревно сделалась, вся одной ширины и даже такая водянистая стала.

Валя к дядькам из отдела кадров обернулась:

– У меня нога болит, и вообще я устала, вы меня отвезите, пожалуйста, в общежитие.

Юную специалистку по экономике труда отвезли в общежитие, и в этом общежитии выдали ключ. Открыли помещение. Это была двухкомнатная квартира, выданная лично Вале немедленно при вступлении в должность, она была пустая. Там никого и ничего не было, только полы, раскладушка и печка. А комендантша буркнула:

– Ты сиди, я принесу тебе простынь, но вообще-то я тебе больше ничего давать не буду. Остальную мебель ты купишь сама. Вот это твоя квартира, вот и все, что надо. Можешь один день отдохнуть и завтра выходи на работу.

Валя остановилась в дверях.

– У меня нога сильно болит, дайте мне что-нибудь.

– Потри спиртиком. Это тарантул какой-нибудь цапнул. У нас много их ползает.

Но нога-то была вообще в ужасном виде, женщина дала пузырек со снадобьем. Валя потеряла – ничего не помогло. Нога лежала бревном и буквально огнем горела. А тут голод – не тетка-комендант.

Валя проковыляла в коридор и давай спрашивать:

– У вас есть столовая здесь?

Ей ответили жильцы:

– Здесь никаких столовых нет, здесь принято натуральное хозяйство. Иди, проси что-нибудь у соседей.

Почему-то получилось так, что деньги у Вали кончились. В сумке еще было два яблока, каменный коржик и все. Валя вспомнила, как она принципиально не стала брать с собой ни сыр, ни копченку. Вспомнила и чуть не застонала вслух. Хромая, она пошла на улицу, стала искать общепит. И не нашла его, конечно. Магазины были все закрыты, а время было три часа дня. Ой, как она сидела и ела эти два яблока, и старалась их растянуть как можно на дольше, и смотрела...

И на печке увидела она кочергу, завязанную узлом. И почему стало так страшно – вот эта кочерга Валу

больше всего напугала. Ее осенило: если она останется здесь, то будет завязывать кочергу узлом. Здесь вполне можно дойти до такой тоски и такого ужаса. Все предшественники сидят в тюрьме, а она отчаится и будет кочергу завязывать узлом. Ой, до чего же это надо дойти, чего же человек делал, чего же с человеком-то было!

Когда искала она общепит, то посмотрела: у них повсюду железные прутья – в заборах, под ногами, так валяются. Дерутся тут ими, что ли? И чистилки стоят, чтоб в распутицу очищать ноги от грязи, там же грязи по колено, деревня же! И эти чистилки завязаны узлом. Как это надо гнуть-то! Как это можно было все согнуть?

Девушка в изнеможении вернулась в свою пустую гулкую квартиру, опять устала на эту кочергу, как загибнотизированная.

Что это за ужас-то такой: начальник в тюрьме, железо это узлом завязано, вообще страшно! И непрекращающийся смерч кругом. И зарыдала Валюшка, как маленькая, от невыносимости ситуации. Обычно такая бойкая, тут она что-то сомлела. Было сильное желание остаться: отцу же она сказала, что плевала на блат, если надо в сальских степях работать. Но когда она увидела этот завод для производства корыт, ногу с тарантулом и завязанную узлом кочергу, то захотела прямо оттуда бежать обратно на станцию.

Но оцепенела. Так она сидела и плакала. Ровно за две недели перед этим ужасом она отдыхала с родителями в Очакове, они поехали в дом отдыха, и Валя с ними. Загорала и питалась шашлыками. Море обнимало ее, рассыпалось у ног бисером. А тут-то сразу попала в такую клоаку! После такого-то райского сияния! Пока Валя расстраивалась, плакала, с нее тем временем начала сползать кожа. Она, видимо, сползала от загара, от перегрева, но это было так вдруг и так странно, непривычно большими кусками. И нога распухла и кожа клочками. И с нее теперь слезет старая жизнь, хорошая,

а жить придется в концлагере, причем без кожи. Господи, помоги. Господи, не бросай меня в этой дыре. Если я провинилась, то прости, Господи, меня же учили чужие тети в больнице, что надо звать тебя, и ты поможешь. Больше некому помочь, прости меня, Господи, а?

А на другой день на станции начался буран, такой буран, что вчерашний смерч по сравнению с ним оказался детской игрушкой. Валя ничего не ела, она оголодала до головокружения. И денег в кошельке мало, копейки. И под вечер начался буран. Большие чугунные фонари легли на рельсы, их свалило. Поэтому поезда не могли ходить. То есть была ситуация не просто невыносимая, но из нее и выхода не было.

Станция Куберле. На всю жизнь ей запомнилась станция Куберле. Девчонка в красной матроске сидела, рыдала, скорчившись. Подошел мужик. Сказал:

– А чего это ты? Только ты мне скажи, ты куда едешь...

Валя, выдохнув:

– Так мне надо в Ростов. У меня не хватает денег на билет.

Он говорит:

– Я тебе куплю билет-то. Но я тебя вы-е...

Оглушенная этой простой фразой, она перестала реветь:

– Ладно.

Он тут же купил ей билет. Это было глупо, ведь рейсы отменили. В общем-то, почти все деньги, которые у нее были, она выложила, а он добавил. Она не наживалась, она просто не чувствовала ничего, как в обмороке. Кроме шуток.

– Ты почему такая мрачная?

– Я как бы... хочу есть, я два дня не ела. Меня шатает.

– Ее еще и покорми! Совсем вы обнаглели, птички заезжие!

А мужик сильно грязный и при этом молодой, видно было, что ему все-таки не сорок лет, а где-то двадцать. И даже симпатичный, смуглый такой, глаза острые. Он с ней так тихо, он не оскорблял, ничего. Он еще даже поинтересовался, не слишком ли дорого. Ведь он еще хорошо воспитан, не обижал, просто купил билет, а еще и пожрать ей дай. Ну, вообще...

Принес зеленый бифштекс. Хлеб большой и на нем большой зеленый бифштекс, какого-то земляного оттенка. Валя жалобно:

– Он воняет.

– Щас ты у меня сама завоняешь. Чё было, то и купил, больше там ничего нету.

А что на станции Куберле могло действительно быть-то? Только такое, не пойми чего. А есть-то охота. Пришлось есть бифштекс и понимать, что придется тошнить. Но надо было есть. Все съела.

Мужик опять за свое:

– Ну дак пошли!

Валя собралась, просто вся сжалась крепко, руки к груди.

– Минуту. Я успокоюсь, потому что долго рыдала, и лицо опухло. Надо попудриться и сходить в туалет. Минуту.

– Ладно. Ну, тут ты никуда не убежишь, потому что весь вокзал одна комната.

Со станции убежать уже нельзя, на руках билет. Господи! Спаси, спаси скорей! Умру сейчас. Надо было как-то от этого мужика спрятаться. Чего делать-то? Действительно, не идти же с ним на доски! Какой только черт надоумил девицу надеть в поездку короткую белую юбку. Вот ноги-то выставила... Будь на ней джинсы какие или юбка миди, скромненькая, может, обошлось бы. А тут юбка-то короткая. Ну, нет ума никакого, разве можно сидеть на вокзале со своими ляжками, и ведь подумают, действительно...

Валя выглянула из полуоткрытой двери туалета, как воровка, пометалась глазами туда-сюда... Да и полезла в ящик с песком. Красный противопожарный ящик стоял у станционной стены.

Она полезла в этот ящик и притаилась там с билетом на поезд: «Хрен кто найдет меня тут, в этом ящике». Он стал везде бегать, искать, потом ушел. Потом прислали рабочих, они пересиливая ветер, подняли два упавших на пути столба и кому-то сказали, что где-то в двенадцать часов тридцать пять минут будет поезд проходящий, который вообще неизвестный и не с того рейса, поезд, на котором можно доехать до Ростова. А билет у Вали был на другой рейс! Она тогда пошла, сначала перебежками-перебежками, как фашист какой. Мужик, конечно, долго там бегал, разорялся, но Вале выпало большое женское счастье, просто счастье. Повезло сесте в этот поезд, потому что свет не горел на станции, вот так вот мигало, и она видела, слышала, что тут что-то едет, и побежала туда, залезла. Она была вся мокрая, в песке. А поезд, как на грех, поезд-то оказался такой, где вагоны общие с сиденьями, там трудно спрятаться. И она вытащила из сетки плащ болоньевый, она забралась туда, меж сидений, как можно ниже, ноги протянула под сиденья и плащом накрылась, а рядом бабка с узлами. Ну, интересно, как бабка влезла в этот поезд без огней?! Если девчонке было тяжело?

Валя тихонько сказала бабке:

– Вы на мое сиденье поставьте, пожалуйста, сумочку.

А она:

– Шо такое?! Ты не хмельна?

– Не-не-не! Я тут поругалась с молодым человеком, вдруг он будет бегать по вагонам, так вы просто меня загородите немножко.

И бабка такая добрая оказалась, проговорила мудро:

– Ну, хай тоби бис.

То есть черт с тобой. Ну, прямо как Валина родная бабушка!

Она уселась с узлами, а Валя села на пол. Голова торчала, так она сверху плащом накрылась, а бабка тут же рядом сумку поставила. Не бросалось в глаза. Мужик пробежал по вагону:

– Да е... твою мать! Да где она, б... такая!

Девка в белой юбке и красной матроске как сквозь землю провалилась на этой проклятой аварийной станции. Может, она отравилась зеленым бифштексом и в темноте тихо откинулась? Еще только этого не хватало.

И всё, и таким вот криминальным образом Валя уехала в незнакомый городок у моря. У нее даже не было денег на катер, возивший через залив. Она ехала туда, где ее тоже не особо ждали – южную, никому не нужную. Но что же делать, хоть и напуганная и хромая, но она все-таки выбрала из двух зол меньшее! Жива осталась! Хохлушка. Они такие.

И она думала – я одна бы совсем пропала. Просила: «Господи, помоги». Он помог.

СЕВЕРИН И MAGAZIN

Казалось бы, людей выталкивает из ситуации что-то страшное, неприятное, какая-то беда. И так бывает. А бывает – никакой беды нет, все очень хорошо, даже слишком. И тогда молодой человек начинает искать остроты и экзотики. А если ищет, то найдет обязательно. Особенно если умный, развитый...

Автор – литературному негру Л.

Северин и Альберт, это были внешне очень приятные молодые люди, в меру общительные, дружелюбные, но абсолютно не замеченные в общественной работе. Северин с большой русой шевелюрой, Альберт – стриженный под ноль.

Северин прилежно сидел в конструкторском бюро, позже пошел на ставку лаборанта в институт, потому что это давало ему относительную свободу, не нужно было сидеть в казенном доме от сих до сих. Альберт вообще никуда не переходил, он просто работал на одном месте, всегда. Сидя в инструментальном хозяйстве, БИ-Хе, как он говорил для красоты, он слыл отличным работником. Но как только кончалась работа, их смывало невидимой волной.

Будто ночные совы, они с нетерпением бьющихся сердец ждали и не могли дожидаться темной ночи, чтобы начать ловить. Они садились, каждый у своего приемника, и забрасывали сети. Они не всегда знали, как называется передача, но зато наитием чувствовали – то или не то. И если было ТО, хватали ручки и записывали названия групп, рейтинги, имена...

Когда они учились в школе, они виделись каждый день, говорили без умолку, но не могли исчерпать сумасшедшую жажду общения. Поймав когда-то в колхозе, на сеновале, одну из песен «Битлз», они пережили ра-

достный шок и сразу уяснили, что это новая эра. И каждые три месяца выходили новые сорокапятки, и каждый раз это было вдохновение, будоражащее кровь, и немыслимое счастье. Это была для того времени новая, непредсказуемая, но вмиг узнаваемая музыка.

Вот поэтому не днем, а ночью наступала их настоящая жизнь.

Время шло. Северин учился в институте на вечернем отделении и переводил статьи из зарубежных журналов, иногда рассеянно отсылая свои труды в молодежную газету. И их даже печатали. Хотя и в сокращении. Они дико выглядели на фоне уборочной и посевной. Уму непостижимо, до чего доходил либерализм редакторов, которые сами втихомолку все это любили. Но чтобы не показать этого на людях, они усмехались, ироничные эти редактора...

И вот однажды на столе редактора молодежно-комсомольской газеты Дорогавцева оказалось ЭТО – первый в городе самиздатовский журнал «POP-MAGAZINE» – своеобразный фан-клуб для поклонников западной музыки, который, кроме статей на музыкальную тематику, публиковал переводы текстов песен и объявления об обмене пластинок. О, сколько отчетов написал потом этот редактор в вышестоящие органы. Сколько раз он на все лады повторял имена носителей инициативы! Его сделали наверняка те самые молодые люди – Альберт Шаблин и Северин Седов (бывшим одноклассникам было по двадцать два). Слушая радио и в основном настраиваясь отнюдь не на «Маяк», они легкомысленно полагали, что многим будет интересно узнать о новинках западной поп-музыки, получить тексты песен и завести друзей из числа поклонников рок-н-рола, джаза и попсы.

На взятой в прокате пишущей машинке «Москва» был отпечатан этот номер журнала. Поскольку ничего, кроме букв русского алфавита из пишмашинки «Москва»

выдолбить было невозможно, один из них, работавший в то время в одном из конструкторских бюро, заточенным на конструкторский манер чертёжной лопаточкой фломастером вписал от руки все иностранные названия и тексты. Сделали на аппарате «Эра» около двадцати копий, которые быстро разошлись среди друзей, часть журналов была отослана с верным человеком в Ленинград (тогдашнюю Мекку рок-н-рола, где жили главные битломаны страны – мифические Николай Васин и Сергей Курехин). У самого издателя не осталось ни одного экземпляра.

Сигналы о том, что бдительные граждане страны Советов не дремлют, поступили сразу же. Через несколько дней их хороший друг и единомышленник, взволнованный Юра Ефремов, прибежал к Северину домой и сообщил, что два человека с маминой работы (а работала его мама ни много ни мало в КГБ) нежно спрашивали, зачем это им надо.

Северин удивленно воззрился на Юру:

– С какой стати я должен тебе отвечать? Ты задаешь вопросы, как иностранец. Ты не связан с этим журналом. Чего тебе бояться? Даже если там работает твоя мама...

Но Юра пожал плечами и сказал, что он от мамы никогда ничего не скрывал. Пластинки у него валялись по всему дому... Точно так же они валялись и у Северина, но дело, конечно, не в этом.

Седова С. буквально на следующий день вызвали к начальнику отдела кадров его работы. Для такого случая специально выделили чей-то кабинет! Там, кроме директора проектного института и начальника отдела кадров, тяжело потели в черных костюмах еще четыре человека. Эти люди, вернее, двое из них, были с абсолютно лысыми, как бильярдный шар, головами, и требовали, чтобы длинноволосый Северин как можно

скорее подстригся. Никто из них упорно не упоминал никакой журнал!

Северин втайне сожалел, что он не в черных кожаных штанах, стоящих дома без помощи человека, а то бы, наверно, он получил от этих людей приказ снять штаны немедленно. Картина была явно гротескной: лысые люди требовали расстаться с роскошными локонами того, чей вид их уязвлял. Им, наверное, хотелось, чтобы лысыми стали все... Обратное невозможно. Люди в черном, видимо, ожидали какого-то сопротивления, но Северин только согласно кивал. Боя не получилось, парня благополучно отпустили... в очередной отпуск, в котором он все также пребывал с лохматой шевелюрой.

В это время родители Северина Фелисата Петровна и Алексей Давыдович Седовы находились, по обыкновению, на даче и улучшали малинник после сбора ягод. Там они сладостно кипятили чай, шутили с соседями по участку Верой Анатольевной и с Грибовыми. Они не слышали, как напряженно и многократно звенел телефон в их городской квартире – часа эдак два. Но если бы они и были дома, то на все вопросы людей в черном они бы ответили, что знают не только сына Северина, но и его друзей Юрия и Альберта буквально с детства, и что это исключительно порядочные молодые люди.

После отпуска, однако, Северин немедленно выехал на картофельные поля помогать сельскому хозяйству, где и пробыл два месяца без перерыва. В смысле, не выходя на рабочее место к кульману. Домой на выходные все-таки иногда отпускали. На полях страны трудилось много тысяч людей, и он не был каким-то исключением.

Альберт работал на заводе и учился на вечернем, а поскольку завод был «ящиком», картофель Альберту копать не пришлось. Вот только в дружественную Польшу по путевке он почему-то не поехал, не сложилось.

Связав эти два факта, ребята решили не дергаться и переждать. Выпуск журнала временно прекратился. Был еще один прецедент, правда, в связи с пластинкой...

О чем думал тогда Северин Седов? Знал ли он про Сахарова в ссылке и рок-группу «Трубный зов»? Знал, конечно. Ревущие гневом и болью звуки «Зова» продирали морозом по коже.

Замирая по ночам у приемника, он понял, что руководитель рок-группы Валерий Баринов сначала пытался даже тайно концерттировать, в основном на квартирниках и редко в каком-нибудь клубе, интенсивно записывая все это на магнитофон. Откуда было известно? Ну, все это время от времени возникало в радиопередачах у Севы Новгородцева, значит, переправляли как-то. Сева же говорил, зачитывая письма: «Это письмо пришло к нам со штемпелем Братиславы... Улан-Батора... Хельсинки». То есть, ехал кто-то за границу и там бросал письмо, бандероль. Это было надежно. Со штемпелем отечества – возможно, но не надежно.

Вот однажды Северин крутил-крутил приемник и опять, через знакомый трагический рев, услышал: «14 октября в Кэстен Колледж поступили сведения о заключении 39-летнего Валерия Баринова, руководителя известной в Советском Союзе религиозной рок-группы «Зов трубы», в психиатрическую больницу Ленинграда. Он пробыл там около восьми дней. Кэстен Колледж – организация, которая следит за преследованием религиозных убеждений в коммунистических странах. Ежедневно Баринов получал инъекции аминазина, используемого для лечения шизофрении. Теперь Баринова освободили как достаточно известного человека. Он не упускает возможности на своих концертах распространять слово Божие и говорить о спасении человечества».

Женский пронзительный крик-визг. Взрыв ударных. «Посмотри же, как мир захлебнулся грехом, посмотри

же, как зло процветает кругом, горе, горе тебе, человек... Мир погряз в греховой мгле... сколько горя на земле... в этом мире столько слез... кто на землю зло принес... Потому что с давних лет говорят, что Бога нет...» При словах о совести звучал женский вокал и мелодический фон светлел. Практически это были проповеди в свободной поэтической форме, только шли они не от лица священника, а от лица равного всем, такого же грешника...

Поразительный эффект придавали музыке Баринова свободно скомпонованные слова из Священного Писания, фрагменты молитв и медленная огнедышащая лава бас-гитарного потока вкупе с синтезаторами... И хотя электромузыка тогда уже была распространенной, этому человеку удалось создать свой неповторимый стиль. В русском роке подобных ему не было.

Потом Баринов оказался в тюрьме, и на воле остались с женой Таней его трое малолетних детей. Сева выяснил про их адрес в Ленинграде, чтобы можно было высылать деньги на пропитание...

Надо ли говорить, что Северину Седову пришлось отказать от покупки многих пластинок, чтобы отправить энную сумму в Ленинград, на деревню дедушке. Сочувствие стало его пожизненной чертой, как оказалось. Только вот пробовать аминазин ему ну никак не хотелось. А про Баринова, конечно, ничего не писали в советской прессе. Чего захотели. Там у него «аллилуйя» без конца. А Северин мог бы написать в своем рок-журнале и про это и еще много чего, материалов было выше головы. Но...

Приехал на тот момент друг Альба из Ленинграда, привез журнал «Ровесник» со статьей про Оззи Осборна. Они с Северином пошли на берег городской речки, сели на скамейку с досками, выломанными через одну, смотрели статью и долго говорили... Они почувствовали обман.

«Молодые конкуренты наступали Оззи на пятки. Сожрав живую летучую мышь во время концерта в Эдинбурге, Оззи всем показал, кто здесь главный! Зрители были в шоке! Это впоследствии стало визитной карточкой Осборна. Повторить этот номер не смог никто, хотя Блэки Лоуренс из W. A. S. P. ел земляных червей на фестивале в Сандэнсе в 1983 году».

Осборн был вроде и интересный музыкант, но какой-то несчастный, бедный, заблудившийся в дебрях бездуховной капиталистической системы. Противно? Да. Смешно? Наверное. Не так надо писать о музыке, хотя это вообще было не о музыке, а вот был бы свой журнал... так ведь опять стричься погонят. Они с Альбой были единомышленники. Не хотелось связываться со всем этим... со всеми этими... И ничего не поделаешь! Сева уже вышел из того возраста, в котором люди тешат себя иллюзиями.

Записная книжка Севы Седова

«Музыкальный фактор, разнообразие стилей рок-музыки оставались на тот момент в тени. А в некоторых странах, в том числе и в Советском Союзе, последовал незамедлительный приказ власти запретить эту музыку как политически неприемлемую. И средства массовой информации, следуя негласным, а нередко и засекреченным циркулярам и предписаниям, на всех возможных уровнях, от газеты «Правда» до производственной стенгазеты, действовали согласно запрету. Ярчайший пример нападок — одна из первых переводных статей о «тяжелом металле»: «Два взгляда на хэви-метал-рок» в журнале «Ровесник» за 1986 год. Статья дает эмоционально негативную оценку, многие суждения авторов предвзяты и субъективны по отношению к объекту. В качестве содержания представлен критический анализ альбомов групп, играющих хэви-метал в середине 80-х гг. XX в. Также представлено мнение о «металле» в це-

лом и об его слушателях. Все работает на одну цель – дискредитацию. Для этого редакция публикует не только мнение советского музыканта Криса Кельми, но и ссылается на более авторитетного для молодежи западного музыкального критика Тима Холмса. Оба комментатора не скупятся на такие эпитеты, как «бессмысленное», «ущербность», «символом подростковой истерии», «прекрасным ориентиром для психиатра», «ухищрения», «наиболее идиотских куплетов», «глупости», «образец бессмыслицы», «лущует гитару», «безумная, бессмысленная вольтижировка», «отсутствие мысли», «сверхскоростная глупость», «хэви-метал-клоун», «фигляров», «бездарные и бестолковые исполнители», «непроходимой глупостью», «воспевает самих себя», «на птичьем языке», «в крохотном, ущербном мире хэви-метал-рока», «воспаленное сознание прыщеватого подростка» (Тим Холмс). «Нет мысли», «чепуха, пустота», «такой компонент рок-музыки как мысль, отсутствует начисто», «публике, которой музыка «для ума» не нужна», «для металлистов это сложно, когда есть мысль» (Крис Кельми). Неудивительно, что подобные публикации вызвали еще больший ответный протест... »

Кто бы мог представить: рассказывая эти истории через много лет коллегам по лаборатории, возмужавший и важный, но все такой же длинноволосый Северин Седов с усмешкой добавлял: «Порыпались бы тогда, глядишь, сидел бы я сейчас где-нибудь в Нью-Йорке, попивал пивко с Борисом Парамоновым и в ус не дул». Один экземпляр «POP-MAGAZIN» видели в конце восьмидесятых, почти через пятнадцать лет после выхода. Один из местных деятелей принес журнал ребятам в день открытия рок-клуба в Доме культуры судоремонтного завода. Говорят, этот деятель раньше редактировал какую-то молодежную газету. Из рок-клуба журнал таинственно испарился.

САХАРНЫЙ ДОМИК НЕВЕСТЫ

Валя никогда не показывала горя и отчаянья, она всегда вбегала на парадное крыльцо вприпрыжку и с песнями. Вот и сегодня...

Их общежитие молодых-незамужних расположилось в старом купеческом особнячке. Ляля из кулинарии, войдя, покачала головой, угостила Валью кремовым полуфабрикатом – это обрезки торта с прослойками какао. Как вкусно, мм! Все! Все забыли! Валя трескала бисквитики в креме, якобы млела от восторга, а по щекам у нее незаметно бежали слезы, делали дорожки.

Как будто не было этой истории, как будто не ходила она каждый вечер, «дыша духами и туманами», в лучший городской бар, чтоб увидеть его и умереть.

Как он стоял около бара, коричневый, смуглый, как Тарзан, в нежно-зеленой футболке, как вокруг собирались друзья, и отлетал в прохладный ночной воздух беззаботный хохот ребят, крепкий, как грецкие орехи. И она сидела потом весь вечер с подругой, и все отчаянно танцевали быстрые, а он, Зеленая Рубашечка, приглашал кого угодно, только не ее. Даже не ее подругу. Та подобралась к их компании совсем близко и уже переговаривалась с Маратом через музыкальную чехарду.

«Эй! – подмигивала Вале подруга Ляля. – Встряхнись, а то крем от плохого настроения прокиснет. Удача еще тебе улыбнется».

Удача то была или нет, но Валя обратила внимание на него еще на пляже. Цвет загара – шоколаднее не сыщешь. Широкие плечи, узкий торс, настоящий греческий профиль. Волосы упругим вихрем, темно-русыми пружинами вокруг шеи. Она его видела сбоку и со спины, он смотрел на море, а их девчоночья компания расположилась за коробком раздевалки, поэтому в глаза не бросалась. Попробовала его нарисовать, но ничего не получалось, хотя он стоял неподвижно. Просто глаза

слепило от солнца и водяных бликов. Она заходила так и этак, он вроде не видел. А когда подобралась поближе, уцепилась за карандаш, вдруг обернулся и посмотрел. В упор. Насмешка была в этом взгляде. Насмешка и торжество, что поймал с поличным. Несчастливая и блокнот свой уронила. Так-то, не будешь делать вид, что ты рисовальщица... Валя стала много рисовать, она уже отправила бумаги в заочный институт искусств. Запомнилась фраза из книжки Анчарова – на всякий случай надо уметь все. И что все талантливы, только не все догадываются. Она и вступительные натюрморты уже отправила, а сейчас просто копила наброски, соблюдая календарный план. Да дело не в плане, просто стало интересно, как быстро возникала на бумаге иллюзия реального мира. Это так горячило щеки. Начиналось небольшое волнение, и скучная обыденность расцветала как праздник.

Удача то была или нет, но однажды именно под пятницу Валя увидела ясный сон про то, как она идет со своим Тарзаном по зимней улице. В ту же пятницу около бара разгорелась драка, Рубашечка мелькнул через перила и улетел вниз со второго этажа. Увезла скорая!

На другой же день Валя стала его искать, на работе обрывала телефон, и как только народ рассасывался, она снова листала телефонную книгу. Сотрудники усмехались и поднимали брови. Пока шла эта канитель, парня уже выписали из больницы. Grimаса Вали с обалдевшим от горя лицом была красноречивей всяких слов!

В ее глупой восторженной башке уже проносились всяческие кадры из фильма: она кладет компрессы на его пылающую драгоценную голову. Дает пить из чашки с носиком. Конечно, она не ухаживала за тяжелобольными и не представляла, что самое трудное – не

компрессики там разные, а перестилать простыни, когда человек не встает...

Тогда она, сильно затосковав, разыскала его по адресной службе и обнаружила милого в заросшем саду, а его руку в шине. Он не узнал ее, смуглый мальчик с русой, по плечи, гривой, немного обросший, осунувшийся от температуры. Он морщился от нечаянных движений, если задевал за эти страшные спицы. Обычный, по сути, мальчик, только с неожиданным революционным именем Марат.

Вся энергия Вали обрушилась на него. Вся ее кассетная музыка, все хождения в библиотеку и на рынок. Чем только она не удивляла его, какие только книжки и журналы не носила, какими только персиками не баловала, какие песни только не пела за эти три сладких месяца! Он, полуоткрыв рот, слушал ее, потом, отведя в сторону бинты и шины, беззвучно и бесчувственно целовал, будто мимоходом. Благодарил?

Вечер томительный, холодный, когда ей не хотелось в общежитский гвалт, задержал ее у него в комнате. Правда, его комната это было как бы три комнаты сразу: душевая, гостиная и спальня, соединенные системой маленьких незаметных дверей.

Они сидели, обнявшись со стороны здоровой руки, незаметно он гладил ее по спине, по затылку, она тоже несмело ласкалась, через каждую минуту вздрагивая и отодвигаясь. Эта возня довела его до того, что он, забывшись, отрывисто попросил раздеть его – одной рукой он не мог: «Послушай, помоги же мне, расстегни, возьми его...» Валя тут же вскочила с дивана, как ужаленная, застегнулась до подбородка, при этом попятилась и налетела на столик на колесах, который так и грохнулся об стенку. «Если ты такой смелый, так расстегни сам! – заикаясь, бросила ему. – Ну зачем ты так?..» Три дня после этого прошли в полном молчании, потом он все-таки пришел, стукнул в окно...

И, усмехаясь чему-то своему, неожиданно позвал ее к себе встретить Новый год. Дрожала, ой дрожала Валя от внимания огромного стола, недоумевая, как это он, самый красивый и отчаянный, оказался без девушки. Его мать, директор курортторга, тоже чему-то улыбалась и все твердила «наконец-то». С ней хорошо обращались – и сам Марат, и его высокопоставленная мамочка, и друзья тоже. Они приглашали ее танцевать, спрашивали его, он кивал, потом ей – «позвольте?» и руку подавали. С ней даже подруги этих друзей обращались изумительно: «У тебя есть тонак? А тени? Мы тебе все достанем, подарим. А ты любишь кататься на моторках? Мать вам когда моторку подарит, тогда поехали?» Подруги принимали ее в свой круг, хотя Валя, ежась от непонятных предчувствий, догадывалась, что это круг совсем, совсем ей далекий. Ей бы лучше к девкам в общежитие, а тут прям совсем без воздуха... Но своих девок сюда нельзя было, это понятно.

На Новый год сыну, все еще перебинтованному, мать подарила... дом.

Испив вина, все пошли смотреть и ахать, и Рубашка усмехался: «А что вы меня спрашиваете? Спрашивайте вот ее». И цыганистая Валя в оранжевом трикотине вся горела, как настурция.

Даже не пив вина, она бы опьянилась зрелищем. Такой маленький домик, точно сахарный, белого кирпича, под красной черепичной крышей с игрушечной верандой и садом, с палисадником.

Там, несмотря на зиму, земля проглядывала, ясно и другое – все посажено. На юге всегда мало снега... Большая круглая клумба в окружении витых скамеек, кругом абрикосовые и грушевые деревья. В саду беседка с витыми столбиками, за нею маленький бассейн, рядом каменный грот. И зачем еще бассейн, если город южный и рукой до моря подать?

На то, что он ни разу не назвал ее по имени, многие внимание обратили, даже стали перешептываться. Высокопоставленная мать переспрашивала: «Как, как ее имя? Аля? Валя? Всего-то? Что за имя такое...» А Валя даже значения этому не придавала! И напрасно. Имя было обычное, просто это было не то имя, которое они ждали.

Новогодняя ночь обернулась совсем уж неожиданной стороной. Погуляв вокруг сахарного домика, заходить не стали, опять вернулись в дом матери. А поскольку все были в легких куртках и плащах, в нарядных туфлях, а тротуары там были плиточные, никто особо не устал, как из комнаты в комнату... И там снова загудела музыка, зазвенели тарелки, захлопали холодильники. Наконец Марат, положив что-то вкусное в пакетик, поставил его в сумку, и туда же бутылку вина. «Мам, мы погуляем»... Мама закивала. Они пошли.

В общежитии все ходило ходуном. Они прошли мимо вахты, тетя Мура, увидав их, только головой покачала и погрозила пальцем. А в комнате Валюшка жила одна, так что им никто не помешал.

– Устала? – ласково спросил Марат. – Хочешь спать или посидишь со мной?

– Посижу...

У Вали в зобу дыхание сперло, она просто уже теряла сознание. Вот сейчас, сейчас это случится. Он сбросил куртку, вытащил бутылку, пластмассовые стакашки.

– А чего ты так дрожишь? Успокойся.

Но Валя выпила еще вина и снова задрожала.

– Ну, что ты? Ты какая-то странная. Что я тебе сделал?

– Ничего...

– Вот и перестань трястись.

– Перестану.

– Вот и перестань. Ты думаешь, я тебя в кровать потащу?

– Да... думаю...

– А ты не думай, глупышка. Никуда тебя тащить не собираюсь. Ты видишь, что шины сняли?

– Вижу.

– Значит, я если захочу, то сам разденусь, видишь? Не пугайся. Давай-ка. Чокайся.

– Чокаюсь.

– Валя. Ва-люш-ка.

– А...

– Ты хочешь, Валя, стать моей женой?

– Я-ааа? Не знаю.

– А ты подумай.

– Что тут думать, я тебя просто... люблю. Я готова... Я не знаю, на все готова.

– Валя. Не надо на все. Ты просто выходи за меня. Я плохой человек, а ты хорошая. Может, это так нельзя. Но надо. Может, я потом стану другой, более хороший. Из-за тебя. А?

– Да. Ты станешь, это точно.

– Давай не будем это дело портить. Я бы взял тебя сейчас, знаешь, как охота. Вот такую робкую, доверчивую. Но давай мы это потом, когда поженимся. Давай все по правилам. После праздников заявление подадим. У меня мать такая, что мы можем пожениться через неделю, очередь не соблюдать. Но мы давай будем все соблюдать, как надо, а?

– Давай. А ты... Ты понимаешь, что мы... разные? Нам тяжело будет договориться.

– Мы не разные. Мы пока чужие, а потом поженимся и станем родные, а?

– А ты, Марат, кого-нибудь любил раньше?

– Да я и сейчас люблю одну женщину, но мы разбежались. Такая ненависть, это поубивать друг друга можно. Тобой надо успокоиться. Е-мое... Была уйма

женщин, я падкий на женщин. Перестану мотаться. Хорошо? И ты тоже не будешь ноги раздвигать, как все. Ты ведь не такая, это видно.

– Да, конечно не такая. Хорошо, Марат.

– Ты не заморачивайся платьем, всякой ерундой свадебной. Все будет у тебя. Самое лучшее. И сейчас не дрожи, я ведь просто так, а?

Он был бесподобный! Он ее целовал в висок, в ухо, от этого сироп бежал по жилкам, но чтобы в кровать – нет, не было. Валя пыталась сидеть прямо, но потом как-то угнездилась на его груди, просунула руки ему под рубашу. Вообще, кто сидел на общежитских кроватях, тот поймет, что особо официально на них не посидишь. Проваливаешься сразу...

Они заснули сидя. Во сне они просыпались, целовались сонно и опять засыпали. Это был воробьиный сон, ненадежный и хрупкий. Это был самый новогодний сон на свете.

Утром, часа через три, он ушел, оставив Вале на столе коробочку с перстеньком и много-много конфет в коробке. Абрикосы в шоколаде, ммм. Медовое и коричневое.

Так незаметно шло время, февраль-март проехали, весна хлынула, и они все никак не подавали заявление. Звонил Рубашечка Вале на работу, каждый день, потом через день, потом через неделю, а как стали отмечать майские, не пригласил он ее. Она пошла туда, к его матери, а он ей навстречу. Весь запыхавшись.

– Слушай, – сказал он, – извиняй, что не позвал тебя, к нам понаехали родственники из Грузии, куча народу, мы тут с матерью все в пене. Я сейчас уйду проверить домик, а потом мы созвонимся, ладно?

Она остановилась, у нее так заболело сердце, что в глазах потемнело, затошнило даже от ужаса.

– Ну, чего ты? Не веришь, что ли?

– Марат, это конец?
– Ой, глупышка. Не заставляй меня разводить по-
жиже. Все тебе потом расскажу. Бегу!
Он чмокнул ее в щеку и побежал.

Через неделю он шумно праздновал свадьбу с той самой женщиной, которую он до сих пор сильно любил. Девки донесли, что в такой-то майский день будет регистрация. Откуда же они узнали? И Валя пошла, сама не своя, зашла в магазинчик напротив загса и внимательно через витрину смотрела. Как какая-то пыльная шмара стояла она в углу и пялилась на чужое счастье! А ведь она могла сама там царить! Но не вышло. Слез у нее не было, так что видела она все очень хорошо. Просто лицо горело огнем, как при большой температуре.

Марат в белом костюме, в бабочке, как будто сейчас сбежал из Голливуда. Невеста... ой, Господи, пронеси... Она, царственная невеста, была лучше Вали во сто раз! Лучше!..

Невеста русоволосая, с тяжелой косой, в русском наряде, фата закреплена на кокошнике, вся в звездах, бусах-жемчугах, они же свисали с кокошника и обнимали шею, грудь. Удивительной ширины плескались воздушные облака рукавов. Сарафан белой парчи, талия узкая до невозможности, подол сзади по земле хвостом, спереди выше, там белые мягкие сапожки с алыми шпильками. И ведь жарко, наверно! Никогда в жизни не видала Валя таких невест!

Тем более что она сама невестой так и не стала! Мало того, она потом всю жизнь будет ту невесту вспоминать! Она ведь как думала: ничего-ничего, и не больно совсем! Как бабушка всегда говорит: «ничОго...» Ничего-ничего! Пусть они балдеют, как хотят, а я вот, когда я наконец найду того самого, единственного, то у меня такое будет платье, такое... И во сне вам такое платье не приснится. Она прямо задыхалась от гордости за это

будущее платье. А не надо было задыхаться. Не фиг. Когда человек так жаждет, так страждет – это плохо, привязки начинаются, а за привязки жизнь наказывает.

Потом вместо машин подъехали лаковые пролетки старинные, в лентах. Ну, где они их взяли, скажите, пожалуйста! У цыган, что ли, стибрили? И поехали они по маленькому южному городу, утопавшему в садах, все, как положено: к памятнику героям, к фонтану на площади, к детскому дому, который в бывшем старинном особняке, терраска там еще, над морем-то, потом на взморье, а потом к себе. В сахарный домик невесты...

Валя никак не могла купить сапоги. Она ходила на толкан и рассеянно осматривала все подходящие сапожки. Зимних ей не нужно, потому что в городе у моря ужасно мокрая и теплая зима, снег не залеживался здесь надолго. Взять бы короткие, тонкие, в гармошку, с наборным каблучком и ладно. Но таких не было. В магазине стояли только черного цвета и солдатского образца на одеяле... И эти, войлочные, для пенсионеров.

Валя обходилась легкими вельветовыми туфлями. Кто бы ей сказал, что это ужасно, она бы того сразу наладила: денег нет, а ноги не мерзнут. Но когда осенью пошли дожди, тапки не спасли. Валя боролась с ангиной. Она так лежала: не сон, не бодрствование, это было забытье, но она слышала все.

На тот день ангины, когда температура уже спала, но глотать еще было больно, Валя облачилась в старенький халат, в прачечной вымыла голову и сидела на кровати в полотенечной чалме. Пора было сделать срочную ревизию, починить резинки в трусиках, зашить чулки, которые еще ничего. По радио шла какая-то пьеса, из которой Валя уловила – героиня любила и верила, а ей нашептывали: он тебя предаст, не верь. Валя не знала, что это история про Жанну д'Арк и поняла пьесу прямолинейно. Сердце ее стукнуло, рванулось под халати-

ком. Ясно, она подумала про Зеленую Рубашечку. То есть про Марата.

Тут в окошко, выходящее на крыльцо, кто-то постучал и отвлек ее от меланхолии. Глянула – Рубашечка, махнула ему. Но он вошел к ней в комнату с четырьмя друзьями. Глупо улыбаясь, пояснил, что зашли ее проведать, нет ли стакашков. Она принесла стакашки и тарелку с сыром, больше ничего не было, размотала тюрбан. Что он задумал? Женился, ну и женился. Захотел вернуть ее? Зачем тогда компанию приволок? Она продолжала ковыряться в своих иголках-нитках, но Рубашека негромко окликал ее.

- Валюш, а давай с нами глоточек?
- С утра не пью, Марат.
- Да, я помню, ты очень примерная.
- Да и тебя жена не похвалит.
- Ну что ты, ее в городе-то нет.
- А ты ее не обманывай, не привыкай за спиной-то.

Парни переглянулись. Марат в ослепительно белой куртке, как нарочно, был смуглый и божественный. А она так себе, в халате своем, с мокрыми волосами. Поглумиться зашел, понятно.

- Не начинай, детка. Я просто соскучился.
- Понятно.
- Так что у тебя новенького? Наверно, опять сочинила новую песню?

Куда он клонит? Ах, у них пиво-то не кончилось. Дружки, скрипя стульями, вдруг стали хмыкать и посмеиваться. Но над чем?

- Марат, у меня горло болит. Ангина.
 - Ну, ты просто не хочешь уважить старого друга.
- А как он улыбался ей, мама родная, да неужели только из-за пива?

Тут Валя страшно, предательски покраснела:

- Хорошо, только одну.

И запела цветаевское: «Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре...»

Гитара не слушалась, голос был хриплый и срывался, но это был достаточно веский намек: «Не удержали вас, спутники чудной поры, нищие неги и нищие наши пиры...»

И парни удивленно вытаращились и протянули: «У-у!» И стали подталкивать один другого локтями. Грубые какие. А он смотрел и улыбался. И она понимала, что это никакой не возврат к прошлому, парней он позвал, чтобы алиби обеспечить, и что ее унижали прилюдно, больную петь и плясать заставили, и пела-то со слезами, но наконец компания допила свое пиво. Марат аккуратно убрал бутылки в сумарь, подошел, наклонился и нежно поцеловал ее. И гитара с грохотом свалилась с колен.

Она вздрогнула. Это же хорошо, что он так сделал, показал людям как обезьянку. И она тут сидела, ради него терпела и улыбалась, хотя все нутро у нее горело огнем. Можно представить, как они его поддразнивали и как он пошел на спор. Наверно и новогодняя ночь тоже была на спор – он так и не взял ее, только притворялся. Значит, он чувствует в себе некую силу, которая позволяет ему все это творить. Ну, пускай, раз такой неотразимый.

Они сидела, смотрела в окно и переживала боль. За окном был небольшой кирпичный дворик, лавка, просторный столик, врытый в землю. Дворик огораживал толстый забор, вдоль которого росла запущенная акация. Интересно, зачем? Чтобы через забор не захотелось перелезть? Нет, не для нее эти радости. Пусть она одна останется, но не такой же ценой, чтоб улыбки его ловить. Выпрашивать. Выслуживаться, пока он ее друзьям Распоказывал. Она долго была в остолбенении, потом достала книжку потрепанную в черной обложке, «Тео-

рию невероятности». И приняла ее как лекарство. Как долгожданную воду после долгой вынужденной жажды. И чем дальше она читала, тем дальше отодвигалась эта грязь, тем холодней и радостней становилось на душе.

Вот, у него судьба отняла любовь. А потом возвратила, причем лучше, бесшабашней, это же праздник такой невозможный. Оно даже и лучше, потому что праздник был не выпрошен, а подарен. Вот так оно, у нормальных-то людей. Счастье миром правит, а не наоборот.

ЕЕ УКРАЛИ

Сева очень любил свою новую работу. Если некоторые субъекты не разумеют особого конторского счастья, так они много в жизни потеряли. Ему доставляла удовольствие даже необходимость рано встать и прийти в бюро к восьми утра. Чистые полы, распахнутые форточки, роскошное шуршание нового твердого ватмана, медленная заточка карандашей, хищный блеск готовальни, плотно обнимающей краснобархатным чревом циркули и штангенциркули... В девять милые женщины с причесочками неслышно наливали чайники, в десять чай. У каждого чертежника свой бокал в шкафчике. За пирожками ходили по очереди. Целая чайная церемония...

Он старался не встречать в длинные разговоры и сразу шел за кульман, чтобы не разгневаться начальника бюро. А ему говорили: «Ну, Северин Алексеич! Ну, вы слишком уж добросовестный. Мы с вами еще не познакомились как следует!» И так они говорили все последующие годы, поскольку обычно в бюро на десять женщин оказывалось лишь двое мужчин: он и начальник, сидевший в отдельном кабинете. Вольные русые волосы почти до плеч стали его визитной карточкой. Не уложенные волнами, а просто разметанные ветром. За ними, что ни говори, угадывались бессонные ночи у приемника и новая, новая музыка. На него смотрели.

Но приглашений Сева избегал. Он всегда и во всем старался избегать лишнего. Безусловная его древнерусская красота казалась ему общественной нагрузкой, за которую мог наказать профком. То есть, конечно, это не было комплексом. Просто любой взгляд – это аванс. Порядочный человек не мог брать авансы до бесконечности, надо и отвечать когда-то. А отвечать не хотелось, ни близким, ни далеким. Вообще никому.

Особое удовольствие жизни происходило в обед. Сева годами обедал дома, еда у Фелисаты приготовлена на высшем уровне, на пару, но здесь, когда к нему специально заходили незнакомые люди и приглашали в компанию заранее, его так и подмывало отказаться. Приходили в заурядное городское кафе со стеклянной стенкой и пластмассовыми столиками, заказывали всем одно и то же: комплексный обед номер два – все это стоило сущие копейки – и разговаривали.

Это были разовые попытки. Они ни к чему не приводили.

Северин старался никого не обижать, но избегал прилипчивых, и сам таковым не был. Он вежливо, светло улыбался и уходил.

Зато он очень любил работать, как это ни странно для советского человека. Но он также любил и не работать. Совсем. Это называется гибкая тактика при общей позитивной стратегии.

И когда дали отпуск, уехал в Новосибирск.

За длинными кофепитиями за овальным старинным столом – чай там не жаловали – Сева познакомился с уникальной семьей своей сестры Дуни, ее мужем-профессором и его величественной матерью в сто тридцать кило. Это были суровые молчаливые люди, и поневоле Дуня, общительная пламенная девушка с длинной косой, тоже становилась строгой затворницей. Она окончила филфак в Москве и успела поработать в глубинке учителем еще до того, как встретила своего мужа, будущего профессора. Дуня, завидев младшего брата, очень ожила и без конца принималась вспоминать свой короткий, но емкий учительский опыт.

– Представь, для начала все учительницы пришли ко мне на урок, – говорила Дуня, ставя на стол бесчисленные тарелочки и вазочки, – пришли, сели на задних партах и слушали меня так же, как и ученики, открыв

рот и ничего не понимая. Потом сказали, что «как в кино». А я, только что выпущенная институтка, только что защитившая диплом об отношении Толстого к искусству, щёлкала и свистала на тысячу ладов.

Потом, через полгода, ребята мне сказали, что они совершенно не понимали меня три месяца, пока не привыкли к моей московской речи.

Да и слова я такие говорила, которые они никогда не слышали, а спросить стеснялись. На все мои вопросы они сначала протяжно недоумевали: «Эвоо?» А потом натужно, невпопад вспоминали какие-нибудь слова из учебника. Знаешь, как они там чокали?

«Шла овча да из Череповча,
Да как брыкнечча, перевырнечча!
Овча, овча, на хлибча!»

Вот тебе мое преподавание. А я была тогда молоденькая, тоненькая и не могла не нравиться... Они после уроков так тесно меня окружали, что становилось невыносимо душно...

– Но вскоре приехал будущий муж, – медленно и лениво сказал Дунин муж Викентий, в настоящий момент профессор, – и поставил точки над «і».

– И ничего ты не поставил тогда! Это было намного позже! Сначала мне приходили толстые красивые конверты... Да, Викентий? Каждый день получала хорошенькие маленькие польские конвертики, которые мне приносили иногда прямо на урок. Дети улыбались! Потом приходили посылки с сигаретами, конфетами и дефицитными крабами. А в деревеньке всё моментально знают. А потом он и сам приехал. Одолев весь этот сложный путь, первый и последний раз проехав на грузовике и порвав при этом красивый чёрный костюм... Нет, Северин, я уехала, потому что меня грозились при-

нять в партию! Я позорно сбежала, причем тогда, когда меня начали любить и понимать. До сих пор стыдно.

– Дуня, ты очень скоро дошла бы до секретаря парткома, – улыбнулся Сева. – Напрасно ты так испугалась.

– Академгородок посмотрел бы на это косо, – заметил Викентий, – это оплот инакомыслия... но партия не отпустила бы ее в Академгородок.

– Ну вот еще! Давайте лучше продолжим нашу веселую длинную трапезу. Или уже пора гулять? Северин?

– Да, пора. Я уже в который раз объелся. Меня даже мама так не нагружает.

– Чем именно ты объелся?

– Не помню... Я никогда не помню, что я только что съел. Жаркое, котлеты по-киевски, сало, грибы... Много всего.

Северин уходил на берег Обского моря. В одну из прогулок Викентий уже рассказал ему историю этого сказочного места. Много писали и пели про это новоявленное чудо природы! Электростанцию построили быстро, затопив Бердск и еще несколько деревень, и конечно, уровень воды вырос, и стало возможно им управлять, и пошла энергия, но все-таки в спешке многое не учли. Грунт стал сползать в воду по берегам, прямо кубометрами, береговая линия стала рушиться, размываться, заполняться мертвым топляком там, где вода отступала... Это страшно, прямо как кости пляж устилают... А самое главное, редкая рыба стала пропадать: семга, стерлядь, нельма. Может, это связано с тем, что в иловых отложениях соединения ртути обнаружили. Чего только не стекает в это чудо природы. Конференции ломали головы, но станция-то по сохранению рыбных популяций зачихала, а одними конференциями дела не поправить. И потому мощная красота моря становилась грустной.

Северин шел по берегу и не верил, что все так ужасно. Нет, безмятежная бесконечная синь полыхала на весь мир солнечными бликами, ветер ровно и сильно дул в одну сторону, слегка сбивая в стаю легкие яхты. Прелесть этих парусов на воде была нежной, акварельно размытой, как у импрессионистов. И внезапно попавшая в поле зрения искривленная сосна заключала эту прелесть в багетные объятия... Море – это он помнил с детства – это жара и ликование купанья, а здесь солнце сильно жарило, но вода холодная.

Синь сменялась зеленью, глубоким стеклом, наивная свежесть – фиолетовой густотой. А потом она сгущалась к вечеру, и море становилось расплавленным шоколадным монохромом, в нем тонуло солнце, и в воде таяли вечерние береговые огни...

Он шел и шел, ничего не думал, никакой определенно-конкретной мысли не было в голове... Но богатство сущего не покидало его, то богатство, которое неразъемно, неразборно и не требует понимания, просто проникает в тебя, втекает внутрь, как воздух или вино. Да, древние люди селились у водоемов, это понятно. Помимо питья и мытья они чувствовали силу, энергию водной громады. Это не мистика, просто факт...

Там было слишком хорошо, в Академгородке. Оживленная работа кипела в Доме ученых – тут тебе и народные хоры, тут и приезжие блестящие философы. Даже Гумилев у них выступал, даже Мамардашвили! А барды гостили какие! Но Сева не интересовался бардами, он ходил на редкое, мало кому известное польское кино, которое он дома никак не мог бы увидеть. В общем, культурный центр, созданный с размахом.

Умные разговоры с профессором, с Дуней, и книги, и атмосфера. Вино «Варна», виноградное, слабое, вкусное и легкое. Викентий ездил на симпозиум в Болгарию и там побывал на дегустации. Там еще товарищ его, тоже

математик, случайно отловил карпа на озере. С тех пор «Варна» в доме прописалась. Это было так естественно, что казалось Севе: Болгария и Сибирь – это рядом, рядом.

История Дуниного замужества разворачивалась перед ним постепенно. На Дуню были виды у многих значительных сельских людей, там же была своя интеллигенция. Но как только у нее объявился настойчивый жених в черном костюме, высокий, с чуть косящим глазом, страсти сразу утихли. По Евдокии сразу было понятно, что ее украдут заморские профессора, и ее все-таки украли. Но она перебралась в Академгородок не царствовать, а ухаживать за мужем, который долго в болезнях лежал, и спина его еще болела, и вообще все было непросто...

Своевольная Дуня оказалась под пятой еще более своевольной свекрови, и ей пришлось стать другим человеком с другим характером. А когда родился сын, тем более...

* * *

Вечерами Дуня и Сева сидели, вспоминали детство. Вернее, вспоминала больше Дуня, а Сева сидел и слушал, кивая и поддакивая. У него включился режим абсолютного совпадения ощущений. Это было радостное, полное чувство понимания. Потому что он пережил то же самое, только не смог бы облечь все это в слова.

Дуня, вздохнув, с легкостью пускалась в воспоминания.

– Утро, почти ночь. Ты помнишь, там всегда было зимой темно? Иду в школу. Мне восемь лет. Тёмная клубящаяся муть со всех сторон. Впереди виден фонарь. Есть он и сзади. И больше ничего – только тёмная клубящаяся муть.

Холодно. На мне надето очень много одежды – чулки, шерстяные носки, ещё одни носки, рейтузы, ещё одни рейтузы, платье форменное, фартук школьный, теплая пушистая кофта, платок, ещё один платок, шапка, шуба, рукавицы, ещё одни меховые рукавицы, валенки. Лицо завязано так, что видит один только глаз. Другой пока отдыхает в тепле платка. А работающий быстро обрастает густой снежной бахромой от дыхания, так что ресницы слипаются. Надо передвинуть лицо под платком, чтобы смотрел другой глаз.

Никого на улице нет. Надо идти от фонаря к фонарю. Идти долго, кажется, что очень далеко. Да и на самом деле не близко.

В школе до двенадцати часов горит свет. Снова его включают в 3 часа.

Когда светло, то видно, что муть стала белая, похожая на туман.

Но это не туман – это мороз. От всех домов кверху поднимается дым, но недолго, он быстро остывает и загибается книзу, ложится на землю. Дышим мы этим морозным дымом. Топят в морозы преимущественно каменным углём, он сгорает не полностью, и поэтому дышим мы и этими не сгоревшими частицами. Снегу на земле мало, и он черный – всё от тех же угольных частиц.

В школьных коридорах – черные тропинки от следов наших угольных валенок. Обувь не переодеваем, потому что холодно.

Домой прихожу уже опять в темноте. Иду и думаю: кто же производит столько мороза? Тепло, понятно, от солнца и от печки. А холод откуда? И зачем он нужен? И ведь всегда-всегда, тысячи лет! Так, что вечная мерзлота не растаивает! Вся земля насквозь промёрзла!

Когда мне говорят, что это космос, безвоздушное пространство такое холодное, мне не верится, потому

что ведь на юге тепло, да и летом даже здесь жарко бывает.

И идти мне по этому черному морозу страшно, боюсь, что Оно схватит, превратит в льдину и утащит к себе в космос. С тех пор я чувствую себя на земле плохо прикрепленной.

Летом, лёжа на спине на оттаявшей на метр земле и глядя в небо, я боюсь упасть в космос и глупо хватаюсь руками за землю. Особенно в звёздные ночи, когда так и тянет полететь туда.

Но вот я пришла домой из школы. В доме две печи, так что в каждой комнате по две горячих грани. Папа приносит две громадные охапки толстых дров и ведро угля.

Я сажусь на диван перед открытой дверцей печи и смотрю, что там творится. Там всё красно, розово, желто и оранжево! Толстые поленья превращаются в жар, трескиваются, рассыпаются, трещат и даже пищат при этом, и от них остаётся совсем немного пепла. Очень жаль бывает закрывать печную дверцу, потому что огонь – это самый милый друг. Хорошо, что топим печи два раза в день, а мамина плита на кухне вообще не перестает гореть.

И Мама торопит скорее раздеваться, мыть руки и садиться за стол, потому что уже наливает большую тарелку борща, а потом ещё накладывает тарелку каши и, приговаривая, что кашу маслом не испортишь, всё накладывает и накладывает его на гречку, так, что она уже почти плавает в нём. А потом наливает компот из сухофруктов. Так что после уже не остаётся ничего другого, как лечь к горячей печке на сундук и сладко поспать, как зверок. И так было двенадцать зим.

Знаешь, на севере было очень тепло. Ты замечал такой парадокс?

Папа, будучи депутатом Верховного Совета, довольно часто летал в Москву и привозил оттуда два больших

чемодана гостинцев. Там были черная и красная икра в круглых банках, конфеты «Мишка косолапый», «Трюфели», мандарины и обязательно Маме подарочная коробка «Огни Москвы». Совсем недавно я узнала, что это была «Шанель номер пять» в советском варианте. У Мамы всегда были красивые платья, и все они, и шуба, и платки несли этот тёплый женственный запах. Когда недавно я наконец узнала запах «Шанели», я сразу же воскликнула: так это же мамины духи!

Мама с Папой уединялись в их спальне и долго шептались, видно, Папа рассказывал Маме, что там было на сессиях. Потому что ясно было, что у них есть какая-то тайна. Утром они долго спали, и Мама выходила счастливая.

Накануне она напекала много пирогов и плюшек, так что аромат их вперемишку с запахом мандаринов был ароматом счастья.

Депутатов, по-видимому, в Москве развлекали, и Папа показывал иллюстрированные программки Театра оперетты с фотографиями Татьяны Шмыги и сценами из оперетт. Я их очень любила разглядывать. А почему ты не помнишь? Маленький был?

– Как не помню? Помню – к Новому году привозили большую ёлку, Папа устанавливал её, и все наряжали, навешивали обязательно, кроме игрушек, ещё и орехи, и конфеты, яблочки и мандарины. Накрывали праздничный стол. И даже нам, детям, наливали немного шампанского. Всегда хотелось досидеть до 12 часов, но это казалось так долго, что мы засыпали, но всегда просили, чтобы нас разбудили.

– Мама и Папа были самыми красивыми и добрыми, а мы, дети, самыми счастливыми, – так считала Дуня в детстве, так думала и теперь. – И этот дом из четырёх комнат, с двумя печами, десятью окнами и собакой Марсиком, был погружён в безмерный Океан холода и

мрака. Как в «Солярисе». И вот тут уж я не могу не «философствовать»!

Дуня философствовала, а Сева наоборот, переводил все в практическую плоскость. Потому что ему маленькому так было проще.

Север – это место, где Земля остывает. Как чайник. И стремится сравняться по температуре с Космосом. Это значит, что энтропия повышается. Количество минусовых градусов в сотни раз превосходит плюсовые, как будто некий талантливый студент умело подхватывает монетку почти на одних решках. Система приближается к равновесной. Противостоять ей может только тепло человеческих отношений. Низкий градус холода провоцирует высокий градус человеческого участия.

Француз Жюль Элькем за три года прошёл двенадцать тысяч километров по побережью от Норвегии до Берингова пролива, один, с собаками. Этот сумасшедший шел и день и полярную ночь. Что ему пришлось пережить, трудно представить! И вот он говорит, что самыми сильными впечатлениями были горячие встречи с людьми.

Север – великий воспитатель. И как хорошо! Человеку не надо быть строгим, а только проявлять любовь и заботу. А функции наказания и внушения берёт на себя сама природа.

Если когда-нибудь китайцы вытеснят русских на север, так ведь это благо будет! Появится порода людей, состоящих из одних только достоинств. Температурные минусы превратятся в человеческие плюсы.

Дуня даже выписывала что-то про север для Севы. Она думала, что ему как будущему ученому язык цифр будет понятней. Но Сева был полный гуманистический, хотя и окончил технический вуз.

«Процессы, стремящиеся привести систему к равновесному состоянию, сопровождаются ростом энтропии».

«Если условия не меняются, то система подавляющую часть времени находится в состоянии равновесия».

«Если же с помощью внешнего воздействия перевести систему в состояние, далёкое от равновесного, а затем предоставить её самой себе, то вероятность найти её в состоянии равновесности будет близка к достоверности».

«Возрастание энтропии в такого рода процессах является естественным следствием перехода системы из менее вероятного состояния в более вероятное».

«Т. е. стремление энтропии к максимуму означает, что система стремится к переходу в наиболее вероятное состояние».

«Рост энтропии связан с количеством тепла, поглощённого системой».

«Энтропия – понятие для определения меры необходимого рассеяния энергии неравновесной термодинамической системы».

– Дунечка, ты мне что, лекцию читаешь? Хочешь, чтоб я тебе экзамен сдал? Или это влияние математического ума Викентия?

Но Дуню так сильно несло, что ей даже распиваемая «Варна» не мешала.

– В моём случае я «философствую» так: холодный космос отбирает тепло у Земли и всего, что на ней находится. Количество отобранного тепла растёт, значит, и энтропия повышается. Летом солнце нагревает землю, значит, оно приводит систему в неравновесное состояние – энтропия понижается. Осенью земля отдаёт тепло, система стремится сравняться по температуре с космическим пространством, количество тепла, отданного абсолютному нулю, увеличивается, значит, энтропия растёт.

– Дуня, а ты помнишь, как мама нас водила за грибами в Якутске? Как Чочур-Муран была гора?

Дуня, улетевшая в космос, вдруг споткнулась и вернулась на землю.

– Как же не помнить. Она научила нас мир видеть только с прекрасной стороны. Я после этого помнила – мир прекрасен. И точно знаю, куда бы ни попала, это же чудо.

* * *

Пока энтропия росла, отпуск закончился незаметно, и все, пора улетать – Сева не поверил. А Дуня махнула рукой в сторону аэропорта и сказала просто:

– Три дня еще поживи?

Но прошли, промелькнули и эти три дня. К тому времени начался учебный год, и билетов ну не было, люди рванули в дорогу.

Подумаешь! Северин пошел и дал телеграмму начальнику отдела кадров, что не может выехать, нет билетов на самолет. Он мог бы поехать на поезде, но поезд идет четверо суток, все равно никак.

И Сева приехал позже на неделю, пообещав все отработать. Начальник, не выходя из папок и личных дел, ответил: «Да-да, конечно». Но при распределении очередной премии указал карандашом на фамилию «Седов», дескать, этому не давать, он прогульщик. Любит нарушать трудовую дисциплину. Премию снизили значительно. Так за Севой административно закрепились эта черта, хотя он был всегда обязательный человек.

Записная книжка Севы Седова. Как мне пришла посылка из Англии

«Летом того года ведущий рок-программы Би-Би-Си Барри Холланд вел серию передач о разных группах, включая и интервью с ними по-английски с переводом

на русский язык, были передачи о «Троггз», «Смолл Фейсиз» и других. После каждой передачи Холланд объявлял, что если кто напишет ему письмо, то желающему он вышлет фото группы с автографами и сорокапятьку. Я сел на скамейку в скверике и написал письмо, где на целой странице перечислил свои любимые группы. Но отметил, что самая любимая – «Битлз». И попросил выслать их альбом, любой. Запечатал письмо в обычный конверт и бросил в ящик. На следующий день мне сказали, что надо наклеивать марку на конверт, отсылаемый за границу. Я поспешил на почту в надежде, что письмо еще не ушло, но было поздно... Махнул рукой, слегка расстроился, но другого письма писать не стал. А вскоре обо всем забыл.

И вот, спустя примерно месяца два, проснувшись утром в десять часов после ночных бдений в радиозэфире, я завтракал. Звонок в дверь. Почтальон протягивает плоскую квадратную бандероль, по форме как пластинка, только упакована в мягкий пружинистый поролон. Я расписался. Распечатал обертку с моим адресом на английском языке и обратным адресом Барри Холланда, написанного его рукой. Это я потом узнал, что Барри Холланд – предшественник Севы Новгородцева и руководитель Русской службы Би-Би-Си. А тогда я даже название группы не знал, как написать. Ведь вся информация шла устно, через радио. Смотрю на конверт, ничего не могу понять. Что за группа? Какой-то сержант Пеппер... Битлз... Оказалось – новейший их альбом! В начале октября он у меня уже был. Опять пошла дрожь по телу, которая не прекращалась полдня. Я рассматривал каждый миллиметр обложки, потому что каждый миллиметр нес информацию и, как впоследствии оказалось, не только для меня, но и для Джоэля Глазье, который после тщательного рассматривания обложки этого альбома и манипулирования с зеркалами пришел к выводу, что Пол Маккартни мертв. Кроме

альбома, в конверте была сорокапятка «Смолл Фейсиз» и фото «Троггз» с автографами Реджа Пресли и его друзей по группе. Невиданное богатство! И я считал его естественной платой за все мои старания, интересы и знания.

Ко мне потянулись поп-фаны, каждый записывал альбом на свой магнитофон. Я никому не отказывал и ни с кого не брал ни копейки. Помню, еще несколькими месяцами раньше, когда я переписывал три альбома «Битлз», то заплатил 10 рублей. Наверное, наш город был городом, где «Сержант Пеппер» распространился гораздо быстрее, чем в других городах СССР.

Через некоторое время альбом у меня украли, и теперь на память обо всех этих знаменательных событиях осталась сорокапятка, фото и упаковка от бандероли. Как истинный битломан, я не сильно горевал, потому что вся музыка «Битлз» у меня в голове, и ее никто не украдет и, кроме того, автограф Барри Холланда на упаковочной бумаге более редкая вещь, чем альбом.

По содержанию чувствовалось единство альбома, его замысла, но тогда я еще не знал, что это называется концептуальностью. Не помешали альбому слабоватые песни, на мой взгляд, такой была «Good Morning», хотя знаю, что есть и другие мнения»*.

* Фаустов крупным планом / сборник статей и прозы / Вологда, Леда, 2008 / Диктатура уха. С 69 ; Сергей Фаустов. Диссонанс согласия / сборник статей. Б.и., б.г. Неизданная книга.

ЛИШЬ СОН ДУРНОЙ

Омлет на Кубани жарят роскошно: сначала обжаривают в муке ломтики помидора и лука, крошат туда же болгарский перец, потом взбивают яйца с молоком, заливают, солят, перчат... В общем, царская еда, пышная, сытная... Кое-как справившись с толстым омлетом с помидорами, Валя побежала в телевизионку, промокая полотенечком красные глаза. В пустынной по случаю праздника телевизионке сидела только полнушка тетя Мура, дежурная вахтерша, прихлебывая рдяно-коричневый чай из пол-литровой банки.

– К тебе пришла жилица? – спросила она, дружелюбно потрепав горестную Валу по попке.

– Нет, не пришла. А кто такая?

– Приходила днем с бумажкой от коменданта.

– А, да! У меня же пустая койка.

– Давай смирись. Будет тебе подружка в бар ходить.

– Не надо мне никакого бара! На хрен надо! Я буду песни сочинять и петь... Одна! В гордом одиночестве

– Ладно, ладно, – и опять потрепала Валу по попке, как детсадовскую, и уставилась в щербатый – потому что клавиш на передней панели не хватало – телевизор. Который передавал торжественный концерт из Дворца съездов.

Жилица явилась к вечеру, румяная, широкоплечая и гордая, в узком черном платье.

Он вошла к Вале с кожаным в ремнях чемоданом и болгарским именем Иванна. Получив у тети Муры белье, она молниеносно заправила постель и, подмигнув заторможенной Вале, достала бутылку вина «Диброй».

– О, одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,

Как холодно ты замыкаешь круг
Не внемля увереньям бесполезным...

Валя, едва отхлебнув из толстого общежитского стакана холодящий аромат осени, сразу поняла, что это прибыл свой человек. Раз широкоплечая знала Ахмадуллину, значит, все не так плохо. Цветаеву – это совсем хорошо.

Сигнальные лампочки замигали, что у них уже есть общие точки. Когда не знаешь человека, такие детали – спасение.

– У меня любимая – вот! – потянувшись к гитаре, Валя плавно и низко запела «Был город розовый, как зимняя заря... Был мир большой, как вечер древний. Мы были дочери почти царя – почти царевны...»

– О... – Иванна повела дымящейся сигаретой и подняла брови. – Речь в стихах... всегда о прошлом. Чем жить сегодня... сейчас?.. Вот что неясно.

– Прошлым тоже можно. Скажешь, у тебя его нет?

– Я приехала... прямо из прошлого.

– А-а, – не врубилась Валя, – бывает. А меня тоже бросили окончательно... Наливай.

– Меня... тоже.

Иванна чеканила короткие предложения, как будто ввинчивая точки после каждого слова. Шапка ее волос с темной химией закреплялась заколкой «краб». Свите-рок тонкий, изысканный, из кашемира, заколка, косметика, дорогие сапоги, бессильно припавшие замшевыми голенищами к шкафу, все выдавало в Иванне богатую, особенную статью. И вот надо же, после окончания института Иванна не смогла остаться в родном северном городе. Роман с таинственным молодым человеком почему-то не закончился браком, и ей пришлось уезжать... У них были поездки в глухие сокровенные уголки, в бревенчатые избушки, в туманные грибные леса. Молодой человек, которого звали Северин, она так и говорила – Северииии-ин, с ударением на последний тающий слог – вот он вел себя загадочно. Дарил подарки, всегда приглашал на всякие интересные встречи,

брал с собой в поездки по дальним заповедникам, но всегда был не рядом. И кто бы ни был рядом с ним, он всегда был один. Припадая к старому транзистору, он ловил в эфире какого-то непонятного Джонпила, светлел глазами и задвигал за собой прозрачную стену.

– Ну, все... – махнула рукою Валя, и задела бутылку, и поймала ее. – Кранты вашему роману. Пора начинать новый...

Бутылка все же вальнула и покатила на колени широкоплечей. Та четко поставила ее обратно. Хорошо, что пробка оказалась на месте.

– Я все равно. Считаю, мы... Будем вместе. Все равно...

– Да ради бога, ради бога! – Валя пожала плечиками. – Он какой?

– Он смеется беззвучно. Любит битлов и путешествия. Аспирант. Юморист... У него есть своя теория смеха.

– А мой – техник на рембазе. Ну, тут рембаза для авиамооторов. И друзья на рембазе. Много получают! Но что толку. Вообще это плохая тема. Неземная красота досталась не тому.

– Вы поссорились?

– Женился. Но дело не в этом. Он другой, он материальный слишком... Здесь вообще люди стихи на сало переводят.

– Просто вы из разных социальных слоев. Все равно расстались бы. А мы из одного... Понимаешь, мы люди одного круга.

– А мы с тобой из тех, кому нужна Цветаева, – повернула Валя. – А эти даже не знают, что это такое.

Иванна снова закурила. Она слишком много курила и без конца смотрела вдаль. Но доверчивая Валя ей не мешала верить в высокие чувства. Только она себе не представляла, как можно так возвышенно любить и все же отпустить девушку так далеко. Всяко не любил му-

жик, чего уж там... А Иванна думала – как же мог этот техник так поступить? Скорее всего, просто использовал ее. Покрутил и забыл. Особенно, если красив... Они не возмущались чужой жестокостью и не удивлялись жестокости по отношению к себе. Они тосковали. Каждая о своем. С легким вздохом убирали со стола, гасили свет и утыкались в подушки. На их магнитофонах в разных городах играла одна и та же музыка – в их тюлевой комнате и в его, за сотни километров. «Moody Blues». Полночный Блюз.

Северин же в это время не тосковал, а запирал на замок помещение и неторопливо шел в ДК, где без него никак не начиналась репетиция местного рок-ансамбля «Постскрипtum». Танцевальный сезон был в разгаре. Сева писал им тексты песен. На этот раз был перевод песни Харрисона «Пока моя гитара плачет». Тогда было строго на этот счет: пять песен советских, одна английская. Он склонился, роясь в папке, и битловские роскошные волосы закрыли лицо. Ребята заглянули к нему:

– Давай скорее! Все подключили...

* * *

Когда чеканщик из конструкторского приходил к Иванне, девчонки в комнатах затихали, ровно мыши, по своим углам. Все понимали, что Иванна забаррикадировалась сама в себе, и все ее историю сердечную знали. Даже по письмам можно было догадаться, что где-то есть у нее человек, появший ее бесконечной грустью. И этот человек писал ей очень редко, зато сама Иванна носила на почту пухлые конверты, они едва заклеивались. Письма эти на десяти, а то и двадцати тетрадных страницах, были, конечно, о работе, к которой Иванна относилась совершенно неистово. «Я перфекционистка», –

любила повторять Иванна непонятное для окружающих слово. И она писала в письме о каких-то там узлах, проекциях и сечениях! Глядя на эти письма, Валя догадывалась, что любимый человек Иванны каким-то образом связан с машиностроением, но каким?

А вот что было, кроме узлов, этого никто не знал.

Когда свёрнутые тетрадные листы, зажав в себе еще пачку фотографий, втискивались в конверт, на Иванну было радостно смотреть. Она будто дело своей жизни сделала. Валю это восхищало. «Опять целую тетрадь испортила». Иванна таинственно улыбалась. И хотелось ее обнимать и целовать за такую слепую веру и бесконечное ожидание. После чего Валя обычно приносила ей новые тетради.

– Оставь, Валя, – отмахивалась Иванна. – У меня что, денег нет на тетради?

– А я не потому! А я чтобы похвалу высказать. И солидарность.

– А если я начну по две тетради портить?

– Тогда я буду тебе четыре покупать. В геометрической прогрессии.

Она писала, как минимум, одно-два в неделю, а получала примерно одно в три месяца. Когда Иванна получала письмо, на нее жалко было смотреть. Валя за этим зорко следила. И замечала она все – дрожание рук, полыхание щек. Особенно один раз, когда в конверте оказался крохотный почтовый листочек «опись вложения». Адресат Иванны был лаконичен. Несколько фраз на этом листке плюс загадочная фотография сомнительного качества. Рассматривали ее часа два, но так и не поняли назначения. Там, на фоне каких-то квадратов и елочек, видимо, это были обои, разместилась скульптурная группа – семеро маленьких щенков вокруг блюдца. Потом из соседних комнат набегали подружки и тоже стали комментировать.

– Ну так, щенки маленькие, но их много. Значит, он хочет, чтобы у него было много детей.

– А, может, это его дети и есть?

– Бросьте, он не женат, уж я бы знала.

– Так ведь бывают же внебрачные дети!

– Ну, разве что он их сдал куда-нибудь, а теперь его совесть мучает.

– Перестаньте, он не кобель какой-нибудь! Он совершенно скромный человек, очень тихий...

– А в тихом омуте – сама знаешь.

– Нет, ты скажи лучше, чего написано в письме?

Валя прочитала «опись вложения»: «Был на курсах повышения квалификации в Саратове. Погода изумительная. Любовался Волгой. Вернулся обновленным. Жизнь бушует. Описание успешных чертежей очень интересно. Узнаю отличницу факультета. Пиши, когда отпуск».

– Так видите, ничего не написано про щенков: зачем они, чьи они, что это значит?

– Как же не написано: жизнь бушует!

– Нет, ну если перенести на человека, то это говорит о широких возможностях. Ну, вот ты, Иванна, смогла бы ты родить семерых детей?

– Наверное, смогла бы. Хотя, мне кажется, что женщина не должна быть пленницей своей биологии.

– А если он потребует?

– Ну, тогда придется отказаться от карьеры, от искусства, от путешествий и идти навстречу. Если любишь, конечно.

– Иванна, ты со своей любовью знаешь, в кого превратишься? Ты посмотри на себя – гордая, статная, волосы копной, а голова – Вселенная. А тут тебе придется стать хронически беременной, и все.

Валя слушала, слушала этот бред, потом сказала:

– А не надо ему больше писем писать.

Все на нее обернулись, дескать, обалдела, что ли?

– Почему? – спросила Иванна.

– А потому, что это унижение. Если бы он хотел тебе что-то сказать, он бы сказал. Пусть даже на «описи вложения». А то пишет какое-то ни уму, ни сердцу.

Иванна отвернулась и стала смотреть в окно.

– Ты, Валентина, грубое существо, – заметила соседка из комнаты напротив. – Мы, женщины, должны быть союзницами. А ты – раз – и топором по голове.

– Да не могу я смотреть на такое безобразие. Он ее давно забыл, а она тут сидит, тетради портит.

Все понуро разошлись, кто чайник ставить, кто юбку подшивать. А Иванна все смотрела в окно.

После собачек прошло три месяца молчания. Она по-прежнему портила тетради, но теперь уже безответно. Дело подходило к праздникам, и она отпросилась у начальства съездить домой. Заказала переговоры, из дому ей ответили что-то очень хорошее, она летом собралась и отбыла. Вскоре вызвали на переговоры и Валю. Голос Иванны в трубке был удивительно бодрый, она болтала всякую чушь и смеялась. А в реальности Иванна никогда такой не была. Под газом, что ли?

– Иванночка, так чего же любимый-то, чего молчишь?

– Да вот, вчера встретились, все хорошо, никаких недомолвок.

– Это хорошо. А собачки зачем?

– Да не помнит он собачек, говорит, что перепутала.

– Это плохо. А ты ему фото показывала?

– Да нет, не взяла же я... Слушай, Валя, ты не могла бы написать за меня заявление об уходе? Придешь к начальнику, все объяснишь.

Валя похолодела. Она подумала, что при таком пожаре обязательно есть какая-то лажа. И потом на нее все свалят.

– И что, и вещи высылать, да?

– Нет, вещи я сама, потом. Ты бумаги оформи, выручи меня. Я просто не хочу больше уезжать.

– Это хорошо, конечно. Но если уж такая бешеная любовь, может быть, как-то можно сделать все по-человечески?

– Я не могу с ним расстаться, ты это понимаешь?

Совершенно осатаневшая от тревожных предчувствий, Валя на другой же день потащила в конструкторский отдел на подгибающихся ногах. Объяснила ситуацию начальству, начальство заорало. Велело написать бумажку, а оттуда, где Иванна, потребовать телеграмму, потому что это увольнение, а не хвост собачий. Валя покорно дала телеграмму, чтобы там дали телеграмму тоже, и телеграмма пришла: «Прошу уволить собственному желанию под угрозой семейные обстоятельства». А какие еще семейные обстоятельства, их и в помине еще не было! Когда Вале выдали из отдела кадров бумажки Иванны, она их быстро запаковала ценным письмом «авиа».

По улице несло мокрый снег, вселенная была в предчувствии неведомого счастья, а Валью охватила уже совершенно невыносимая тревога. Может, от зависти, может оттого, что у нее самой никогда не было таких подруг, чтобы за сотни километров откуда-нибудь ее уволили. В общаге Валя выпила полчайника чая с ореховыми сухарями. Она сидела и читала Эрве Базена, нечто о психологии брака, вечно об этом читают девушки незамужние, а те, кому надо, не читают, потому что им становится не до того. Валя понимала, что она все время поет вторую партию и если бы она попала в ситуацию, подобную той, что у Иванны, ей пришлось бы ехать и самой тут все делать. А Иванне придет ценное письмо и капец – можно начинать новую жизнь.

...Да-да, прежде чем жениться, этот человек решил окончить стажировку в суде, хотел набрать клиентуру и стать солидным. О любви он вообще не думал, считая

это хитростью кинодельцов. Чему тогда удивляться? Он же циник. Да пусть бы и не циник! Он просто все рассчитывал заранее. И он был уверен, что когда встанет на ноги, он без труда женится и полюбит. Или женится, совершенно не нуждаясь в любви. И его не будет корежить от чужих прикосновений.

...Она еще думала, что же это за любимый человек у Иванны, если так девчонка пластается. Да и не простая ведь девчонка, с претензией на высокое, из богатой семьи, очень культурная, много читает, мастерица гладить белье... Она так гладит простыни, что в результате получается стопка бумаги, а не ткани, и крахмалить умеет. И готовит хорошо, всегда все мелко крошит, еда получается вся пропитанная, ароматная и тает во рту. Так что она вполне заслужила свое счастье, и уж, наверно, неприятная история со щенками когда-нибудь забудется.

В невеселых размышлениях она стала клевать носом Эрве Базена и поняла, что засыпает. Сон, который ей приснился в эту ночь, она на всю жизнь запомнила. Накануне этой истории с ценным письмом для Иванны Валя по случаю купила дедероновый немецкий пеньюар. Его купила соседка напротив, не подошел, слишком большой, она его и сплавила Вале. А та померила – отлично, таких дорогих вещей у нее никогда не было, и кружева ночнушки лукаво перекликались с кружевами накидки. Валя подумала: «Один раз в жизни надо себе разрешить, а то выпадет момент счастья, а на тебе какие-нибудь «занадышные трезура». То есть поношенные вчерашние тряпки.

И вот приснился Валюшке сон.

Валя, будучи в пеньюаре, таращится в настольное зеркало и пытается нанести на свою унылую физию какой-то французский крем. Валя по жизни не признавала никаких кремов, а тут она явно была не в себе и готови-

лась к счастью. Она стояла в это время спиной к входной двери и слышала стук в эту дверь. «Зайдите, девочки, – откликнулась она. – Я не сплю». Дверь открылась, Валя это видела в зеркало, вошел незнакомый мужчина. «Добрый вечер, – негромко сказал он. – Мне бы Иванну». От таких простых слов Валя закачалась на месте. Ее точно в спину ударили. «Видите ли, – протяжно сказала она, хотя никогда не произносила таких учтивых слов в реальности, и даже во сне она это понимала. – Иванна написала по собственному и уехала домой». – «А я знаю, – произнес незнакомец, – я помогу ей с переездом. Будем знакомы?» – «Будем, – жутко ломаясь, жеманничала Валя. – Валентина (как дура, честное слово). А вы, наверное, Северин? Я это имя видела на конвертах. Какое редкое, красивое имя!» – «Но где же Иванна? Мне можно ее подождать?» – «Боюсь, вы ее не дождетесь. Но вы садитесь, куда идти на ночь глядя? Я дам вам чаю с Эрве Базеном». Молодой человек в клетчатом пальто с плечами, в щегольской кожаной кепке, отряхнул снег с рукавов и присел к столу. И Валя, будто бы она сто лет его знает, стала поить его чаем. Более того, нашла какие-то баранки и даже сыр. В реальности продуктовые запасы общежития никогда такими не были, и сыр подавали к столу только в кино. И во время чая, и после чая, и всю ночь они говорили о музыке. Как могла говорить о музыке Валя, если она знала только первый концерт Чайковского и танго Оскара Строка? Она понятия не имела, какую музыку может любить любимый человек Иванны, не то ей сразу поплохело бы. И не до пеньюаров бы ей стало. Но при этом Валя включила магнитофон, показывая, что аппаратура на месте, но нет кассеты, а Северин, не имевший лица, так как Валя его никогда не видела, легким движением фокусника достал откуда-то кассету и вставил в магнитофон. Поплыли классические звуки, которые должны были обозначать счастье. И в этом месте Валя поняла, что она правильно

надела пеньюар. А чтобы как-то удержать гостя и не выпускать его на вокзал в ночи, она пошла спать к соседке напротив... Все было так четко, так реально, до мелочей. Хотя в жизни ничего похожего...

Всю неделю после этого сна она ходила, как во сне. Ей казалось, что надо прийти с работы как можно быстрее, чтобы успеть надеть пеньюар и быть в ожидании. Но потом она смущенно озиралась кругом и прилежно шла жарить картошку. Заявление за подругу она написала в понедельник, а в субботу, когда Валя по привычке тарасилась в свои тетрадки, а не в зеркало, так как именно тетрадки были для нее зеркалом, в комнате распахнулась дверь, и вошла Иванна.

– Иванночка Тазиковна, как приятно! Ты приехала за вещами, и мне не надо таскаться на почту. Хочешь жареной картошечки? У меня есть два фаршированных помидора, сослуживица угостила. Ты не думай, не я готовила. Это помидоры, набитые болгарским перцем, зеленью, морковкой и чесноком, остренькие такие, чудо, в общем...

– Слушай, у меня такое впечатление, что меня тут ждали!

– Ну, забрать вещи-то надо! Это понятно. Давай снимай свою мокрую шубу, я сковородку сейчас несу, и будем есть.

– Мы будем не просто есть, – торжественно произнесла Иванна, – мы будем пировать. Я добавляю к твоей картошечке «Диброй» и сыр «чеддер».

Был длинный ужин со смехом и подколками. Иванна рассказывала всякие новости, качая вилкой, обволакивала стихами, которые по-прежнему в изобилии имела под рукой. «Ах, как светло роятся огоньки! Как мы к земле спешили издалече! Береговые славные деньки! Береговые радостные встречи!»

Это были стихи с родины Иванны, какого-то славного поэта, но они выражали, что Иванна якобы вернулась из путешествия на родину. И вернулась на-совсем. Так скоро, что в комнату никого не успели поселить! Наконец пришла пора ложиться спать, и Валя, будто бы нечаянно, набросила на себя пеньюар.

– Смотри-ка, – изумилась Иванна, – никак наша Золушка стала принцессой? Что это на тебя нашло?

– Сама не знаю, – с торжествующей улыбкой бросила Валя. – Никогда бы не подумала, что мне так пойдет, голубое – не мой цвет.

– Да, хороша, – согласилась Иванна, – глядишь, и другие изменения в гардеробе последуют. Вместо унылых юбок и кофт появятся платья и блейзеры.

– Ты знаешь, он мне приснился недавно, пеньюар этот.

– Вот те раз, он же на тебе, а во сне обычно снится то, о чем мечтаешь.

– Слушай, Иванна, когда ты уехала, мне было так грустно, так грустно. Я поняла, что никогда не выйду замуж, стала читать Эрве Базена и заснула. И мне приснился твой мужик, который приехал за тобой. Но ведь ты мне все уши прожужжала о нем, вот он и приехал. Правда, лица у него не было, но я точно знала, что это он, он о тебе спрашивал.

– А ты? – Иванна вдруг напряглась.

– А что я. Я была, как дура, в пеньюаре. Сказала, что ты уехала навсегда. Но ради долга вежливости предложила ему чаю. У меня чайник был горячий.

– Ты его поила чаем? И шлялась перед ним в пеньюаре? Ну и гадина же ты!

– Так, Иванна, во сне же! Это же я не нарочно! Ну а что, я должна была его выгнать, что ли, на ночь глядя?

– Нет, ты добрая, ты его не выгнала, ты его оставила ночевать. Ведь так?

– Да, оставила.

Иванна поставила точку в беседе звонкой пощечиной.

Валя пошла рыдать. А Иванна сказала ей в спину, что она вернулась насовсем. Были еще какие-то детали, которые забылись вскоре. Иванна спрашивала, какое у него пальто, и Валька, сквозь слезы, сказала, что клетчатое. А Иванна пригрозила второй пощечиной, так как у него пальто на самом деле клетчатое... А суть человека очень хорошо выражается в снах, потому что это работает подсознание и человек сам себя не контролирует. Вот, дескать, Валя спит и видит, как бы увести чужую любовь. Клетчатое пальто стало второй загадкой далекого Северина после вывода белых щенков. Но не последней. Ведь Валя, честно, даже себе самой не могла объяснить, почему ей приснился Сева и зачем, зачем она напаялила при нем этот дурацкий, этот небесно-голубой пеньюар...

НЕ НАШЕГО КРУГА

Меня беспокоит линия писателя Анчарова. Он у героини икона и идеал. Он держит ее на ногах. Анчаров почему-то повисает, теряется – после такой заправки в начале, но разве это может быть? Она должна все свои поступки поверять потом им. На худой конец, думать о нем, сравнивать: вот это она вычитала в книгах, а вот это – имеет место в реальности.

Автор – литературному негру Л.

Долго ли, коротко ли, но сидела Валентина Дикарева на своих северах в заводской общаге на пять этажей и смотрела в серое небо. Она хотела там рассмотреть, что ее ждет, но, кроме туч, ничего не видела.

От окна дуло. Взяла она и положила на подоконник скрученное валиком грубое одеяло. Меньше, но дуло все равно. Общага она и есть общага, несмотря на секции, телевизионки, пять этажей, холлы и душевые. Согреться, главное, негде.

Не торопились в бюро анализа экономического отдела подучить ее, как надо анализировать ресурсы современного производства. Быстренько в совхоз отправили Валентину Петровну, на картофельный комбайн. И думать ей надо было не о том, как противно ехать на холод и на голод, а о том, как побыстрее высушить куртку и сапоги, чтобы завтра впрягаться снова... И не замерзнуть. Скажи еще спасибо, что не заставляли жить в совхозе, а каждый день привозили домой... Решетчатый нагреватель потрескивал и шипел, когда из куртки вытапливалась сырость. Но думала Валя все не о том, что надо.

Уже два месяца прошло после переезда. Одиннадцать посылок стояло в доме Иванны. Их заталкивали

во все углы. Валя пошла устраиваться на завод, только там можно было получить общежитие. Но посылки удалось перевезти не все – некуда было. Те, что перетащили, все стояли под кроватью. Часть их Валя разбираала, чтобы повесить одежду в шкаф, а всякое несрочное – в мешки и в камеру хранения в подвал. Комната стала перевалочной базой. А что ты хотела, Валя? Ты сюда приехала насовсем. Родители же сказали: нечего там делать, это голодный край. Но во лбу у нее были не помидоры и не колбаса, она видела перед собой только площадь заснеженную, заиндевелые голубые ели да волшебные театральные огни. Она будет жить в городе, где работает театр и где живут поэты. Кто же они такие? Особая порода людей. Иванна забила ей памороки всякой ерундой. Иначе говоря, засорила голову ненужной информацией. А также тем, что поддержит ее в чужом месте. И поддержала, а как же.

Пару раз Иванна приглашала Валентину на семейные праздники. И Валя, когда прокрадывалась из прихожей на кухню, старалась ужаться в размере и резать салаты, не сидеть праздно. Но у нее отбирали ножики и доски. Потому что Иванна резала салаты мельче и быстрее. А за столом в большой зале уже сидели солидные седоватые мужчины, нарядные ухоженные женщины – их жены. Были и лилейные девы, их, видимо, дочери, а может, городские подруги Иванны. На них были нежные мохеровые кофточки и не менее нежные трикотажные платья. А на Вале была черная юбка и старый желтый затрепанный батник с вылезшими по швам ниточками. Или потертое джинсовое платьице, купленное на курортной толкучке... Но все делали вид, что это незаметно, и сажали на резной стул с шахматной обивкой, давали тарелочку и приборы! И Валя замирала от такой доброты, обложенная пирогами с грибами, рыбниками и цыплятами, жареными на банках. Каждого цыплен-

ка натирали специями, сажали на майонезную баночку и ставили в духовку. Они при этом получались очень зажаристые сверху. Общежитская дива смотрела на рюмочку со смородиновой настойкой, горящую перед ней точно огонек, и засыпала от тепла. А рюмочка была старинная, граненая.

Они говорили про театр, в котором она мало что видела. Но ей нравилось все, потому что она театр любила. Наплевать, что там показывают.

Они говорили про дачи. А у Вали был только один случай на даче Иванны и ее родителей – когда она обрывала черноплодку, а потом влезла на второй этаж, никто ее не просил. Не заметив люк в потолке, она наступила прямо на лист двп, которым люк был закрыт, и, проломив его, рухнула вниз.

– Как я тогда ничего не сломала! – громко поделилась она с пышной дамой напротив. – Иванна меня заливала пантенолом, аэрозоль такой, ничего страшного, царапины на животе быстро зажили.

– Ты что? – прошептала Иванна. – Всем надо знать твои подвиги?

– Как это, деточка? – удивилась пышная. – Аннушка, это у тебя на даче такое? Прямо дыры в потолке и никакой техники безопасности? А если бы ты упала?

– Да, – сморщилась Анна, мать Иванны. – Не успели зашить потолок. Папе все некогда.

А папа начал всем наливать и замял неловкость. Валя поняла, что сболтнула лишнего. Но это же так, мелочь...

А в другой раз эта странная подружка Иванны подслушала соленый анекдот, который рассказывали на балконе. Она как раз набрала тарелок, чтобы тащить их на кухню, и тут ее пробрало. Тарелки попадали с мерзким хряском. Собственно, анекдот рассказывали в чисто мужской компании, лучшее, что она могла сделать, просто сделать вид, что ничего не слышала. Но она вдруг

захохотала от души, и на нее стали оглядываться. Иванна тоже посмотрела, да еще как. Может, другие гости тоже слышали, но вида не показали, а она показала.

– Чего горлопанишь? – тихо спросила Иванна, подбирая тарелки и осколки. – У нас так не принято.

– А что такого? Анекдоты для того и рассказывают, чтобы всех посмешить...

– Не тот случай, – сухо обронила Иванна.

Ей было стыдно за подругу, и она не пыталась этого скрыть.

И большое зеркало в шкафу-стенке на миг отразило их обеих: Иванну в кружевной блузе и узкой юбке, с высоко забранными волосами, и Валю с ее цыганской копной, в полинявшем джинсовом платье. Верх его украшали белые неоновые буквочки, посередине застежка на кнопках. Полная противоположность одна другой! Да, Валентина смутилась. Смутишься тут. Она не очень разбиралась в правилах хорошего тона, но всегда вела себя естественно, ей казалось, она всегда чувствует, где молчать, где кричать. Но здесь она просто растерялась. Иванна рядом с ней была не просто красивой, она казалась высшим существом.

И Валя опять подумала: почему в «День за днем» так просто и тепло, все разговаривают друг с другом, будто они родня, и каждый стремится другого утешить если что, а вот у нее такой ужас... Куда ни придет – везде чужая. Все не то говорит, на каждом шагу позорится... Да потому что у них любовь была. А тут она любит одну Иванну, а ее как раз терпеть все не могут. Значит, не надо сюда ходить...

Театр в новом городе (как назвала его Дикарева про себя – город в лесах... тот был город у моря, а этот – в лесах) стал настоящим событием. Иванна ничего не обсуждала, она просто купила билеты и предупредила, что неявка наказуема. Валентина честно завила волосы, честно коченела по дороге и затаила дыхание на входе.

Пьеса оказалась длинной, название очень уж простецкое, не запомнилось, не запомнился и автор, фамилия которого была тоже очень простецкая. А запомнилось ей внезапное имя Трефена – так звали старушку, чей дом раскатали, а ей велели ехать нянчить внуков. Ее никто не спросил, чего хочет она сама. Вообще там столкнулись город и деревня, доверие и обман, связь с родной землей и какая-то злобная деловитость в угоду начальству. И эти деловитые люди были враги, как будто шла война за красных против белых. Там еще была девушка Даша, которая хотела ехать в город учиться, но ее не пустили, заставили работать на ферме, доить коров. Тем временем наехали из города отдыхающие, среди них один ухажер, который и сделал ей ребенка. И оттого горе кругом, и Даша не добилась своего и будет всю жизнь маяться... Все это было дико для Вали, она сидела с горящим лицом, в перерыве что-то гневно доказывала Иванне, что ненавидит такие вещи, но Иванна молча тащила ее в буфет покупать пирожные, потому что в городе такого не продавали, а только в театральном буфете. Некоторые даже стояли после звонка, но пирожные все равно покупали. Это делали все, сколько же ящичков пирожных надо было привезти для спектакля? Дикарева тоже получила две штучки бисквитно-кремового рулетика в хрустящем пакетике. Интересно. Что сказал бы Долганов? Он все понимал про пьесы, их идеи и воплощение. Но Долганов был далеко и, наверно, не в порядке. Оставалось барахтаться и думать самой.

В этой пьесе проскальзывала определенная мысль, что в жизни есть некие идеи, которые дороже людей. И начальство, которое якобы старалось для людей, все больше людей гнобило. И, видя людскую беду, начальство еще более зверело. И все это творилось в тихой

деревне над светлой водой, где звучали песни, ставили стога, и Валя еще сильнее ненавидела деревню.

Но в финале пьесы народ в зале встал и отчаянно зааплодировал. Настоящий был тайфун аплодисментов, мама родная. Актерам приносили цветы прямо на сцену. «Правда, все правда!» – растроганно говорили зрители вокруг, и у всех были мокрые глаза. Зрители любят мучения, поняла Валя, и сердце ее сжалось. О том, что девушка Даша в пьесе осталась с нелюбимым – никто даже не поминал. Всем было на нее наплевать. Нет. У Анчарова все не так. Там уж если появился человек в поле зрения – он никуда не пропадает.

– Иванна, а как же эта баба? Она родила от нелюбимого и с ним осталась. Это ведь ужас... – прошептала Валентина на ухо Иванне.

– Здесь много баб, как ты говоришь. Которая?

– Ну, Даша.

– Так и говори – Даша. Не о том ты. Шире надо смотреть. И вообще прекрати говорить слово «бабы». Грубо очень.

Она уходила из сияющего дворца со светлой водой к себе домой в стылую общагу, где посреди комнаты дымилась и паровала на нагревателе ее мокрая куртка, а на батарее сохли суконные штаны и носки. С утра пораньше встанет она, умоется ледяной водой (надо заранее налить в пластмассовую бутылку, как другие делают). Начнет натягивать свои колхозные одежки да сапоги да варить яйца, четвертинку хлеба не забыть, колбасу ливерную, половину круга, или, как тут все говорили, полколясочки. Потом найдет и свернет дождевик необъятный, как родина, и пойдет к автобусу у проходной. Автобус, вихляясь по раздолбанной дороге, привезет в совхоз, там Валя померзнет, если успеет, если полезет на картофельный комбайн. Он высокий, тоже качается, как корабль дураков, а стоять надо рядом с

контейнером, где ползет прущая снизу картошка, так надо успевать отбрасывать камни, палки, мусор, резанные гнилые клубни. Картошка поползет в бункер, а земля обратно в землю. Как только задует, дождь и снег, надо быстро достать и развернуть дождевик, иначе вымокнешь до нитки. А комбайн-то качает, трясет, как бешеной бурей, и надо крепко держаться за поручни. Попробуй надеть дождевик одною рукой, да еще на ветру. И так до трех дня – смена. Если автобуса нет, можно быстро поесть те яйца с колбасой. А если у кого водочка, то за счастье глоток, так все задубело. Ну, а быстро придет автобус – тоже счастье, хоть не мерзнуть в полях. Картошку разрешали брать с собой, но немного, лишнюю сумку могли отобрать, опозорить. Только все замрут от усталости, нахохлясь, раздается протяжный крик: «Бааабы... Автоообуус!»

Потом с горящим от ветра лицом идти, спотыкаясь, домой. И быстрее сушиться. И по кругу, опять по кругу. А они пьесу ставят про этот ужас. Человек превращается в тупое орудие с такой работой, ничего вообще не понимает, только ложится и спит. Иванна, кажется, завуч учкомбината. Сидит в полированном кабинете, звонит по сверкающему телефону. А Валя что? Просто рабсила. Так конечно, Валя не их круга, даже и спорить нечего. Она и не спорила. Есть такие вещи, с которыми не поспоришь – это верхи и низы. И тут зависит не от работы, а от уровня воспитания, от культурных слоев. Эх!

Для чего такая жизнь? И как в этой жизни можно все отдать людям? Они и не возьмут. Валя сама проучилась в институте искусств только три года. И все, и больше не смогла, бросила. И не только потому, что обучение платное. А еще и потому, что ей уже ничего этого не хотелось. Да пропади оно пропадом, искусство это. Не до того.

И когда уже совсем отупела и опустилась на дно этого отупения, как в глубокий колодец, в телепрограмме

появилась строчка – Анчаров, «День за днем». А кто такой Анчаров, Валюшка представляла себе довольно четко. Нет, она читала, конечно, но если представить, что сам он как человек был похож на свои книжки... Ура! Судьба зашла в тупик, и сама посылала ей запасную флотилию. Спасение.

В фойе стоял телевизор. Он был заперт в шкафчике на висячий замок, когда надо смотреть, замок отпирали. И, несмотря на то, что фильм она видела не в первый раз, Валентина держала себя рукою за горло, чтобы сердце оттуда не вырвалось*. Ни жизненные передрыги, ни болезни кого-то из их, ни драмы на работе, ничто не могло испортить атмосферу в этой странной удивительной квартире. Что-то родное. Даже первая серия, где все ругались друг с другом, все шиворот навыворот, кричали на доброго Большого, а паршивец Толич уходил безнаказанный, где у каждого своя претензия к миру и нервы на пределе – даже там ясно, что они не чужие друг другу. Это же реализация добра: Большой берет на себя чужую вину. Это сильно, нетипично. И художника просит тетя Паша – нарисуй на портрете покойного мужа звездочку Героя. Вроде бы нельзя врать, но он нарисует. Потому что правда жизни и правда искусства не одно и то же. Вообще тут сразу проступает масштаб замысла: не об одном человеке, а обо всех. И каждый дорог. Это речь уже о народе... А потом непростой роман молодой девочки и пожилого художника, старой солдатки и соседа-таксиста, потом вращение новых людей в этот круг и уже навсегда. Любое событие создавало круговорот, куда втягивались все, как в воронку. Не все за одного, а все за всех. Особенно задела Валю пятая серия, где приехала в гости старая любовь художника. А еще тягостные отпуска, когда квартира как вымерла... Мужчины без женщин всегда хорохорятся, мотаются на

* Речь о телефильме «День за днем».

военные сборы, надутые, как индюки. Они, как Костя, бьются над картиной, не только над холстом, а и над картиной мира. Они, как Большой, бодрятся, собирая чемоданы, и руки их дрожат, когда они от себя женщину отрывают. Они, как дядя Юра, орут на всех, достают всех своим пережитым опытом (я не умный, я старый). Они, как Толич, сцепив зубы, уезжают, потому что мама за-муж выходит, и стараются перестать быть маленькими. Но их душа ноет, и они кричат в трубку – приезжай!

У Валентины не было такого опыта общения, ей стало завидно и горячо. Часы с сериалом стали самыми счастливыми во все ее одинокие недели. И плакала она теперь как-то иначе, светло и радостно, как небо в грибной дождь. Потому очевидно – нельзя это выдумать, это в жизни есть, значит, можно надеяться и ждать. И у тебя все будет хорошо.

Не любит ее Иванна? Не любит. Но это не помешает Валентине любить Иванну. Далекую сестру Тоню, наконец, жесткую мать Лидию, которая пишет ей наставительные письма. Слова-то казенные, а ведь это забота сердечная о дочери, которую она по-своему любит.

КУРОРТ НА КАТОРГЕ

Когда Сева закончил институт, он мог бы вздохнуть свободно, как любой другой полноценный гражданин большой и гордой страны. Но он не смог этого сделать, потому что в гордой стране существовал еще концлагерь под названием «армия». Для большинства молодых людей повестка из военкомата является страшной карой и наказанием. Люди начинают искать «откосы», все силы жизни убивают на то, чтобы этой кары избежать, и, бывает, попадают в большую беду. Многие знакомые Севы уповали на травмы головы – получали ушибы, диагностировали сотрясение и ехали на исследование в психиатрическую больницу. Двое из них получили там долгожданный диагноз: «вялотекущая шизофрения», и уже никогда они не могли найти работу, какую хотели, а только ту, которую позволял диагноз. Сева был в курсе этих эскапад, и у него волосы шевелились на голове, оттого что скоро и ему придется пройти через это.

Маменька Фелисата, имевшая знакомую в областной больнице, стала срочно наводить мосты, чтобы определиться с диагнозом. Отец Севы смотрел на это отрицательно, ведь он был коммунист, а коммунисты всегда за служение Родине, поэтому даже телефонные переговоры тщательно от него скрывались. Некоторые смельчаки пытались серьезно навредить своему желудку: пили разную дрянь, от уксуса до мочи. Попадали в больницу с язвами. Сева думал, что это ему точно не подходит, он не любил пить мочу. Однажды матушка позвала его к себе – поманила рукой, поправляя сползающий с плеч пуховый платок.

– Сыночка, надо поговорить...

– Что такое?

– Да вот насчет армии. Я договорилась с племянницей, чтобы ты у нее в поликлинике прошел некоторых врачей.

– Мама, не надо, я не боюсь никаких врачей, а тебе это будет стоить денег.

– Деньги – это вопрос второй, важно, чтобы с тобой все было хорошо.

– А со мной и так все хорошо, доктор, я ни на что не жалуюсь.

– Прекрати свои шутки, это серьезно!

– Я тоже серьезно. Ты сейчас начнешь искать обходные пути, страдать, я не люблю, когда ты страдаешь. Давай, я, может, тупо обойду тех врачей, которые указали...

– Сыночка, ну какая тебе разница, где обходить! Ведь я же договорила.

– Ладно, мама.

Этот краткий разговор не предвещал ничего хорошего, дальше могло быть только запутаннее и страшнее. Поэтому Сева, ничего не говоря матери, прошел комиссию вместе с группой других призывников и ничего никому не сказал.

Просто к нему пришло в гости более десяти человек народу, что ошеломило родителей. Они не привыкли к таким компаниям сына. Унося из кухни матушкины пирожки и чайник, Сева не сказал ей, что на столе уже стоит батарея бутылок, зато сказал, что ему придется скоро уехать, но ненадолго. А приятели пришли к Севе на отвальную...

25 ноября

Здравствуйте, мама и папа. Пишу в первый день моей службы. Сижу уже в военной форме. Приехали около двенадцати в ночь на субботу. Встречали нас с оркестром. С Ужгородского вокзала повели прямо в баню. После помывки выдали форму. Сначала бушлаты, но потом и шинели. У кого высшее образование, у того шансы сбежать с грязной работы. Но пока нас держат целый день в казарме. А завтра отправят в другую часть,

где будем постоянно. Бездельничаем, ходим завтракать и обедать, потом ужинать. Между прочим, кормят очень хорошо. Так что все у меня в порядке. Домой я отправил куртку с рюкзаком. Обратный адрес: Ужгород, в/ч 42869, но он изменится. Пока все, а то сижу в неудобном положении, поэтому коротко.

27 ноября

Я уже начал отсчет дней, но их еще прошло мало. Из Ужгорода часть команды отправили, включая меня, в Виноградово. Из знакомых я никого не видел. Бывает скучно, но, думаю, пройдет. Здесь будем около месяца, потом пошлют на основное место. Наши части строят мосты или дороги. Но я надеюсь, буду писарем. Так мне обещали. Во всяком случае, на шофера вряд ли – учить надо, как и остальных, а пока учат муштре. В воскресенье целый день пришивал погоны, петлицы, эмблемы и пуговицы. Все очень неинтересно. По десять-пятнадцать раз в день строят нас повзводно. Пересчитывают. Потом либо распускают, либо ведут в столовую. Там быстро буквально набиваем желудки и строем идем в казарму. И так весь день: весь день в казарме и ничего не видим. Правда все эти дни были организационные: по получению всяких принадлежностей и сдачи вещмешков. Кроме того, будет подготовка по всяким дисциплинам. Время пойдет быстро и не так занудно. А пока я даже не знаю, где находится этот город Виноградово. Знаю, что недалеко, в четырех километрах, река Тисса, через которую ведет строительство наша часть. В хорошую погоду видны синие горы, поросшие лесом. Погода теплая и мягкая. Если ночью снег выпал, за день растаял. Мы ходим в шапках. В одних гимнастерках, расстегивающихся донизу, а под ними белая рубашка, все-таки не майка. Это хорошо. Ну, а что еще хорошего? Скоро получу справку, которая позволит ездить по железной дороге с льготами. Пока никому еще не писал, только

домой, к вам. Остальным напишу, когда станет помещение поуютнее. У нас тут никто письма еще не пишет. Я старше многих, пришел после института, то есть сознательный. А пока до свидания.

30 ноября

Не писал уже два дня, но уже кажется, очень давно. Постепенно привыкаю. Вошел в состав взвода и теперь редактор «Боевого листка»: по вторникам и субботам должен писать этот листок и вывешивать на стенку. Такая должность облегчает существование и разнообразит его. После Нового года наша учебная рота расформируется и распределяется в другие части. Вместе со стажерами будем проходить еще двухмесячный учебный курс. А потом уже начнется служба. Проходить будет здесь, в Виноградове, точнее, в военном городке. Кроме него мы больше ничего не видим. Трудностей никаких не испытываем ни в чем. Ни в еде, ни в дисциплине. Но часто стало не хватать простого дружеского и человеческого общения, попросту бывает тоскливо на душе. Но я это быстро подавляю в себе, впрочем, это гораздо реже, чем раньше. И начинается сразу же после нескольких минут безделья, а их можно заполнить пришиванием многочисленных военных атрибутов к гимнастерке, шинели или наводить блеск на сапоги. Раз в день бывает большое удовольствие: после вечерней проверки успеть за сорок пять секунд улечься спать. Этот момент чрезвычайно важен не столько от сверторопливости, сколько от предстоящего сна и отдыха. Здесь даже сплю больше, чем дома. Когда вспоминаю наш город, где вы остались и наш дом, мне кажется, что это где-то близко, за забором, нет ощущения расстояния, наверное, потому, что везли нас ночью, и дороги не было видно. Еще напишу про нашу часть. Она гвардейская. Во время войны участвовала в обороне Одессы, за что и стала гвардейской. А потом успешные события в

Венгрии пятьдесят шестого года и Чехословакии шестьдесят восьмого. Поэтому скоро мы получим гвардейские значки. У нас собралось много национальностей. Служат из Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, даже есть один грек. Есть даже те, кто не знает русского языка, а с теми, кто знает, можно интересно поговорить. У нас даже телевизора в роте нет, бывают только газеты. По музыке вроде не скучаю и не жалею, что не слушаю. У меня внутри ее много сохранилось. Довольно ее наслушался в свое время. Ну, как вы там? Наверное, уже получили два моих письма. Деньги у меня есть. Туда приехал с десятью рублями, купил пока толстую тетрадь для конспектов, и крем, и щетку для сапог. Этих денег мне надолго хватит, каждый месяц будут выдавать еще по три восемьдесят, так что ни в чем не нуждаюсь, не беспокойтесь, все нормально.

Берегите себя и будьте здоровы.

6 декабря

Здравствуйте, мама и папа. Долго не писал, дожидался вашего письма, они оказывается, по неделе идут, по две. Сегодня, наконец, дождался. У вас нового почти ничего, все эти дни провожания уже давно прошли. А теперь идут медленные дни, похожие друг на друга. С утра зарядка, туалет, немного ходьбы, завтрак, занятия с десятиминутными перерывами до трех часов, обед, опять занятия и только около ужина появляется свободное время – можно чем-нибудь позаниматься, написать письма. Написал Марине, Альберту, Юре, Далине и Дуняше. Остальным написать пока времени не хватило. Даже в праздники, было два дня, постоянно тормозили построениями и строевым тренажом.

Тоскливости сейчас стало меньше и, между прочим, такое настроение упадническое испытывал каждый, я говорил с ребятами. Как начнут вспоминать прежнее житье, так слезы на глаза наворачиваются. Это естест-

венно. И не потому, что здесь плохо, а оттого, что непривычно. Здесь вся вселенная повернута другой стороной. Много писать пока не буду. Только что получил письмо, поэтому присел и быстро написал перед вечерней поверкой. Тут недавно фотографировались всем взводом, так я тоже нашел в нем свое место, как видно на фотографии.

Ну, а пока до свидания.

8 декабря

Здравствуйте, мама и папа. Сейчас идут политзанятия. Я ощутил трудности этого предмета настолько, что вполне удастся писать письма. Занятия идут в клубе, писать очень неудобно, но все-таки лучше, чем просто сидеть. Характерная особенность этих занятий состоит в непрерывном кашле. Например, сейчас сидит рота сто шестьдесят человек, кашляет меньше половины, но вполне достаточно, чтобы слышать разнообразнейшие виды и типы этого кашля. Но я не кашляю. Я только вспоминаю, как у Томаса Манна кашель определялся, как бесплатное удовольствие. Сегодня уже восьмое, дни пошли уже быстрее, это хорошо. Во всем у меня все в порядке и дисциплина в порядке. Нарядов еще не было. При желании их можно вообще не иметь, но можно и совершенно неожиданно получать за какую-нибудь ничтожную провинность. Например, за вид небритой щеки. Как раз на эту тему я хорошо пишу в боевом листке. Назначение мне такой повинности, как выпуск боевого листка, скорее всего вас не удивит. В общем, здесь совершенно особая жизнь и особые порядки. Одним словом – армия. И теперь я имею об этом четкое представление. Знаю, кто сержант, кто старшина, кто главней, а раньше все было туманно и смутно. Сегодня выдали автоматы, еще одно приобщение к великому воинскому делу. И что даст мне армейская служба, можно только предполагать. Насколько это важно для

самостоятельности, может быть, это ничего мне не даст, кроме представления об армии. В конце концов, это будет зависеть не столько от армии, сколько от самого себя. Как поставишь себя и какими глазами посмотришь вокруг. Как мне кажется, я ставлю себя вполне хорошо. Время здесь зря не пропадает. Но все это теоретические измышления, отпечаток существования, как пишет папа. А сейчас только полдесятого, осталось после ужина свободное время. Сейчас допишу письмо, вышлю его, подошью подворотничок, если грязный, начищу сапоги и в одиннадцать спать. Вот так все необычно и интересно, не как дома.

Ну, а пока до свидания.

* * *

Последние дни живу посылкой. В свободное время слушаю приемник, поедаю конфеты и очень хорошо себя чувствую. Но это принесло нехватку времени, например, вместо того, чтобы почитать или письмо написать, слушаю радио. Думаю, послушаю несколько дней, а потом уж буду изредка. Никак нельзя здесь терять время впустую. Самое главное, что хочу написать – это большая благодарность за посылку. Особое спасибо за «Мелодию», втайне надеялся, что пришлете тоже, и за подворотнички. Я так научился носить их, что мне часто хватает один на две недели. Одна сторона в одну неделю, другая в другую. Работа у меня не грязная. Мама, представляю, как тебе сейчас грустно и скучно дома. Как бы я хотел чем-нибудь помочь тебе, но чем. Единственное, это что пишу письмо. Написал бы какое-нибудь радостное, да нет его. Написал бы что-нибудь интересное, да голова уставшая. Уже все спать легли, и мне хочется. Забот ведь тут нет никаких, есть форма, в которой держишь себя. Когда надо – думаешь, читаешь, ешь. Когда этим несколько дней не позанимаешься, то из формы

выходишь. Когда из формы выходишь, чувствуешь себя несколько странно, опустошенно. Да, еще забыл сказать спасибо за вырезку из календаря. Совсем недавно я читал в «Комсомолке» страницы из дневника Пришвина. Некоторые страницы мне понравились. Особенно мысли об искусстве. «Бывает такое счастье, когда встречается человек и словами обозначает твои же собственные мысли, которых ты сам еще близко не касался. Когда эти закрытые мысли встречаешь в другом, то они становятся яснее, вернее, как законы природы. Правда, если я думал, а ты назвал это же самое, то кажется совсем достоверным незримый третий. Кто этим названным пользуется как силой и живет еще бессознательно». Вот такое вот высказывание. Ведь всегда сразу ценишь человека, с которым у тебя общие мысли. Но у многих, это те же самые «третьи», тоже могут быть свои скрытые мысли, только их тоже надо увидеть. Вот как интересен человек. У нас в штабе работает так же, как и я, один хороший человек, правда, он моложе меня. Учился в музыкальном училище, играет на фортепиано. Очень лиричная и романтическая душа у него. В музыке любит только медленные, спокойные темы, культурный человек. В свободное время он и другие работники приходят ко мне в кабинет и начинаются беседы. Вообще наш кабинет самый «разговорчивый». Днем начальник беседы организует, а вечером или в обед все ко мне тянется. С одной стороны это хорошо, а с другой отвлекают. Кстати, я здесь потряс воображение всех своими обширными познаниями в поп-музыке. Теперь они про каждую песню, которую слышат, спрашивают, как называется и кто поет. Но разве можно ответить на все.

Вот так я живу, так служу в армии. Ты, мам, не беспокойся, проверок писем здесь нет. Очень жаль, что не удалось достать курсовку, самое время полечиться и отдохнуть как следует, ни о чем не беспокоиться, тем более о Дуняше. То, что она хочет работать, это надо

приветствовать всеми силами. Работать надо, это она и сама знает. Про своего мужа в последнем письме написала, что благословляет судьбу, что послала его к ней. Поэтому у них все в порядке. Еще Дуняша написала, что может дать семнадцатитомное собрание Достоевского. Я напишу ей, что пусть пока оно остается у нее, а после армии я возьму его. Ведь это очень ценно. На этом заканчиваю. До свидания, крепко целую, а бумага эта вся действительно пропахла дымом, я беру ее в канцелярии, где постоянно курят.

Вы только не думайте, что это я курю.

* * *

Читая Севины письма из армии, его родители могли не верить такому плавному течению его жизни, они догадывались, что негативные факты он будет скрывать, чтобы не ранить их. Уже то, что он не стал с ними спорить и сделал по-своему, но молча, внушало им надежду, что дальше все будет так же, без трагедий. Но все равно родители много ночей не спали, потому что Сева был человеком, слишком далеким от армии. Воспитанный в демократичной вольной семье, окруженный заботами матушки и сестер, Сева цвел, как пион в оранжерее, для него не существовало ничего невозможного, но он этого и не требовал. Он не применял хитростей, ничего не вымогал – ему и так все давали. Чем дальше листались дни и месяцы армии, тем хуже верилось в спокойствие и благополучие. А оно ведь было. Более того, попав в штаб, молодой человек с короткой фамилией Седов не только был избавлен от паданья лицом на плац, но и вскоре подружился почти со всем начальством. Его друзья этому нисколько не завидовали, они мудро старались держаться подальше. Если же нужно было какую-то справку, Сева не только быстро ее изготовлял, но и давал делу ход. Получалось, что попал

он не в армию, а в какой-то санаторий. Скажи кому – не поверят. Да и не надо. Это была печать исключительности, которой наградила его судьба в очередной раз. Значит, были на то причины, чтоб не убивать его этой армией, оставить для чего-то более важного, глобального. А может, это просто была передышка перед очередным испытанием. Кто ж ее знает, эту судьбу? Так незаметно прошло два года.

СКАЧ ЕЛКИ ПО ЭТАЖАМ

Героиня не может всю жизнь оставаться нежным цветком-незабудкой. Рано или поздно она попадает в грубую рабочую среду и начинает жить по ее законам. Она и разговаривает, как они, и ведет себя так, как ведут себя обитательницы заводского общежития. И только оставаясь с собой наедине, она обнаруживает – раньше она такой не была...

(Автор – литературному негру Э.)

Правило больших и малых собирушек – это не оставаться одной. Войти в складчину, ну там застроиться на пятерых, десятерых, но только не отвечать за все одной. И вот на этот самый ржавый гвоздь налетела Валюха Дикарева прямо под Новый год. Хохляцкая запасливость заставила ее втихомолку подкопить майонезу, который исподтишка давали в заводской столовой, оттуда же тайным манером переправились в Валентинину общагу палка колбасы сухой сырокопченой и горбуша в консервах. Водку пришлось долго менять на другие продукты, это был дохлый бартер, где ее опять же надурлили. Так что делать?

Иванна ей четко сказала – выкручивайся сама. Типа, ты не нашего круга, и поэтому я не могу знакомить тебя с порядочными людьми.

– Я что, ворую? – грустно спросила Валя.

– А ты не ерничай, – осадил ее Иванна, – дело не только в объеме материального ущерба. Как ты матом ругаться стала?

– А иначе никто не понимает! Вон, Желткова, так вообще... Как раковина засорилась, так она пужнет матом – и все прочищается.

– Меня как Желткова, так и Белкова не волнуют... А ты – особое дело. Ты представь, как дико будешь смотреться. У нас не принято.

И Валентина ощутила, что ее отшили откровенно. И дико затосковала по тем временам, когда они на юге жили в одном общежитии, и там она никого не позорила. Вместе ели из одной сковороды, вместе в баню ходили, вместе рыдали после неудачной свиданки. Эх, подруга...

Иванна покачала головой с материнской укоризной, поправила заколку в волосах и вышла, нахохлясь в своей дубленке. А Вальке что делать? Полезла под кровать пересчитать майонез в старых валенках. Гадство, что-то маловато оказалось баночек. Вроде было больше...

Девки застраиваться не захотели: «Мы поедем домой в деревню гулять. Чего тут на голодняк ловить?» Валентина: «Ну и хрен с вами!» И пошла стоять за субпродуктами. Ведь полки были пустые в магазинах, а иногда выбрасывали субпродукты на рынке, прямо с машины – потрошки куриные, а то и печеночка, как повезет. Достала два кома смерзшихся желудков, повесила в сетке за форточку. Ночью услышала, как вороны стали их клевать. Тоже, что ли, в валенки трамбовать? Валька упрямо таскалась с сетками, а девки над ней только посмеивались.

– Никак, солдатиков из Рыбкино пригласит. Вон, жратвы-то.

– Да нет, она теперь на пацанской общаге напишет объяву и опа – тут отбоя не будет.

– Валь, а ты понимаешь, что ко мне муж придет на Новый год? Ты дашь нам побыть или нет?

– Заткнитесь! – отмахивалась Валька. – Некуда мне пойти. Вот выйду на секцию телик посмотреть – так вы успевайте.

– А чего ж она, подруга твоя пендитная? Из хорошей семьи... На Новый год не позвала? Боится, что ты отобьешь ее графа?

– Желткова, закрой поддувало.

Тридцатого оказалось, что билетов на пригородные рейсы нет. Девки курили на секции и ругались.

– Да-а, надо было в предварительной кассе...

– Девочки, сколько раз вам сказано, чтобы не курили здесь? Есть лоджия на лестнице. Там решеточка, пепельницы, лавочка.

– Ой, конечно, обязательно! (Это громко, а остальное потише, про себя.) Давай отсюда, воспиталка.

А тридцатого – вечер в ДК. Валентина шила кофту из платков, специально к празднику. Бабка отдала ей из сундука пожелтевшие платки с розами, она и вырезала наряд. Короче, на кокетке, два угла на полочки, с орнаментом чтоб, и подшила на два заворота. Девки с горя нарядились посильнее, и они все вместе причалили к заводскому ДК. В буфете, куда зашли принять по тридцать грамм, Валентина увидела Марту с работы:

– Марта! Ура!

– Ура, Валентина, иди к нам, вон Лапин нам взял в буфете... Ой, какая кохточка стильная... питюльная...

Что характерно: Валя потом увидела фотки и за щеки схватилась:

– Мама родная, что ж я такая косая?

– Какая есть! – смеялась Марта.

– А юбка почему такая, пятнами? В чем это я?

– Да ты водкой облилась, вся стала сырая. Не помнишь?

Это было трудно представить, но все-таки это же было, раз фотки... Против факта не попрешь.

Тридцать первого с утра к Валентине подъехала секция в полном составе:

– Значит так, Дикарева. Мы никуда не уехали и пить будем у тебя в пятьсот восьмой. Ущучила?

- Еще вам чего! А хуху не хохо?
- Ну, Дикарева. Не свинячься. Мы, конечно, скинемся и тебе че-нить восполним. Манзенко с Гребенкиной премию в депо получили, они больше дадут.
- Даа-а. Чем хуже троллейбусы ходят, тем больше у них премия...
- Отстаньте, я уже ничего не куплю на эту поганую премию! Времени нет. В лавках семеро по лавкам. Социализм на дворе! Развитой.
- Не ссы. Принесем чего-нибудь.

И положили бедной Валушке смятые бумажки на кровать. И по плечу ласково похлопали. А она такая хорошенькая, неприбранная, стрижка дыбом, в черной футболке и домашних штаниках. Стоит, моргает, прямо смех. Так эта простофиля попала в последний момент на двадцать человек, которые шли на халяву. А как Валька! А как она завертелась по кухне! Она разморозила и почистила желудки куриные, стала тушить с луком и наструганной морковью на трех сковородках, и варила отдельно рис, потом соединила. Получился бак литра на три. Ну ведь много пустой посуды, все не дураки, умотали на праздник, одна их секция на все три этажа сгруппила. Бабы принесли с частного рынка только то, что там было – квашеную капусту, много мерзлых яблок, грибов немного, твердые соленые огурцы «вырви глаз» с перцем и тяжелый шмат сала. И то повезло.

- Не, а картошка где?
- На. Ведра хватит?
- Не хватит! – закричала Дикарева как оглашенная. – И почистите всю.

Где-то в шесть вечера, когда основной контингент уже выспался и стал накручивать бигуди, Дикареву уже пошатывало, а халат прилип к спине. Она кое-как сползала в душ и решила полежать. И вскочила.

- А винегрет-то порубили?!
- Да порубим без тебя. Лежи ты, мать твою, напугала, – захохотала Желткова. – Орешь, как в родилке.
- Надо, чтоб винегрета была зеленая кастрюля. И поставьте на окно, там холодно.
- Ага. Выварку тебе для белья...

... Проснулась она часов в девять. Рядом с ней на кровати высились две чужих спины. В верхней военной одежде.

– Ну так ладно, мы за вином сходим и придем, – рокотала одна спина.

– Тихо вы. Она вот как встанет.

– А че встанет? Мы ж не знали, что сменимся с дежурства. Так, короче, мы с Желтковой, нас будет трое. Принесем самогон, и наше дело маленькое.

– Чего? – подскочила Валя, как ошпаренная, и застучала в спины кулачками.

– О! Встала.

– Здрасьте, Валь. Мы из школы милиции. Выходит, мы тоже придем отмечать, ладно?

– Вы что, смеетесь?

– Да нет. Мы по-хорошему, по-солидному, не порожняком.

И спины в форменных шинелях ушли.

Кругом уже орала музыка. Валю молча накрутили, лаком брызнули. В ее пятьсот восьмую приперли три стола, на табуретки положили доски и одеялами покрыли, короче, все, как в деревне.

– Гребенкина, ты что делаешь?

Около трехлитровой эмалированной бадьи стояла покрашенная до ушей Настя Гребенкина с огромной «анжелой-дэвис» на голове, с голыми плечами, и тыкала вилочкой в кастрюлю.

– Да вот вижу тут в рисе пупки, хотела попробовать... Пахнет клево. Лавровым листом, что ли?

– Ну-ка, иди-ка! Лучше найди мне ключ или замок от кухни, а то все стрескают, не заметим.

Настя, аккуратно жуя, сложила губки плотно и пошла, виляя попкой... «Что это нашло на Дикареву? – удивлялась она. – У нее сто раз перли бульон, мясо и картошку, и ничего. А тут завелась...»

Валентину нервировала не только кухня как проходной двор, правда! Ее нервировали также всякие странные типы в клетчатых пиджаках, которые заходили, начинали щелкать ее магнитофоном, пока она резала картошку и огурцы.

– Э-ээй, молодой человек, охренел никак?

– Да где тут че-нить нормальное? Попса всякая жуется.

– А тебе что, Бетховен нужен? Не держим. (И в голове, как вспышка: «Под Генделя ребенка купал...» Как маленький ожог. Но это было там, в прошлой жизни). Обломись, бабка, мы на корабле.

– А битлов нет?

– Есть, но надо искать, а руки в рассоле. А вы на моей полке не ройтесь. Не разрешаю. Вас кто сюда звал?

– Горлов.

– Ах, Горлов. Муженек моей соседки. Сам тут не живет, а приглашает! Они сегодня отсутствуют, вы это поняли?

– Придут.

– Спасибо за сообщение.

– А, вот Демис Русос. Я поставлю? – клетчатый пиджак невинно хлопал глазами. Светло-серые, выпуклые такие глаза и ресницы белые. Вот несчастье-то.

Валя только вздохнула, но вздох был похож на стон.

Потому что перед этим Горловы ее и так уже достали. Например, сам Горлов жил в соседней общаге, а его разлюбезная Жанна в комнатке с Валентиной. Семейных

комнат нету. Живут порознь поэтому. И вот представьте ситуацию: тащится домой усталая Валентина, а дверь заперта. Тогда она бьет окоченевшим сапогом в дверь, а Жанна глухим голосом просит подождать. И пока они быстренько доделывают свое тайное супружеское дело, Валя, как дура, сидит перед теликом в фойе секции, причем в пальто... У ног ее сумка с пшеном и в сетке книжки из библиотеки. Как там писал Акутагава Рюноске: «Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались, – об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы. Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Есихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада». Чего-чего, а мук ада у обитателей общежития всегда было в достатке.

Желудок скулит и есть просит. Валентина бредет к Гребенкиной и просит кусок хлеба. Ей дают, хихикая, батон. Дальше она смотрит телик, обсыпанная крошками батона.

А взять горловскую плохую кровь! Вот что портило кровь самой Вальке! Жанка болела тихо и гордо. Она ложилась, разбрасывала тапки с помпонами, полотенца, грелки, не разрешала зажигать верхний свет. Когда Валя начинала шаркать со сковородкой, Жанна отворачивалась к стене или смотрела на нее ранеными, полными слез глазами. Блин, приходилось отдавать половину. Жанна была очень худая, смуглая, чернявая девушка с синими кругами под глазами. С лаково черной стрижкой и этими кругами под глазами она была, как из Освенцима, но не говорила, чем болеет, только лежала и молчала. Потом приходил муж, Эдик Горлов, тоже весь какой-то чернявый, смуглый и тоже с кругами под глазами. Они были похожи, как брат и сестра. Эдик ее гла-

дил и спрашивал: «Как анализы?» «Плохие», – шепотом говорила Жанна. Вот такие разговоры. Если Валюха начинала ворчать, что ей негде переодеться, Эдик гордо выходил, мол, что же вы все шастаете тут? Вы даже не догадываетесь, как ужасны дела. Как будто Валька была виновата, что у Жанны плохая кровь. И ничего не скажи. Последнюю неделю перед Новым годом Жанка опять лежала. Вале в отдел звонили из бюро технолога, где работала Жанна. Эдик даже не удосужился им сообщить, что Жанна опять на больничном. Вот и приходилось соседке по комнате вместо обеда бежать домой, чтобы Жанна попила теплого молока. Вот, блин...

А когда заболела Валька, Горловы тихо взялись за руки и ушли. Поэтому она с ними не разговаривала. Она просто привезла с рынка елку и стала наряжать. Она кашляла, чего-то драло в горле. Сходила на кухню, подышала над чайником – легче. И продолжала наряжать. Игрушки привезла с собой, они были пластиковые, гибкие и сверкали ого-го! Иванна еще до праздников нехотя подала игольчатые гибкие астры, похожие на взрывы, большие светящиеся шишки и шары. В городе у моря они с Иванной тоже наряжали елку в общежитии у лимана, и принято было все нитки от игрушек крепить к веткам. Ну, а теперь Иванне они стали лишние, что грустно. И тут Валя привязала, а также и приклеила самые большие. Чтобы не слетали. Чтобы как-то продолжилась эта веселая беззаботная общежитская катавасия. А потом села на кровать и задумалась. Со звездами, со снежинками на коленях. Ей было стыдно, что она такая старая и все в общаге, без своего угла. И елка у нее бедная, задешево взятая на рынке, так что даже пришлось соединить две в одну. Но зато не для себя одной! Она теперь уже готова отдать другим то, что добыла с таким трудом. Но иначе и смысла нет. «Человек ценится по тому, что он может отдать добровольно», ведь так по-анчаровски? Это Валя четко уяснила...

В этот вечер, когда она так долго все резала, и руки были в порезах от чищенных куриных желудков, потому что она их накануне плохо разморозила. А тут руки распухли, потому что на ссадины все время попадал рассол...

И среди общей суматохи Горловы молча пришли и сели! И сели на все готовое во главе стола, как молодые. Валя устала руки в боки и подбоченилась на гостей, а они хоть бы хрен. И клетчатый пиджак торжественно поглядел на всех и сказал:

– Вот. А меня Игнатий зовут. А ведь вы самая главная тут? Валентина... Или надо по отчеству? Петровна?

Брови поднял, умора. Уж не клинья ли решил подбивать?

И Валюшка поспешно ушла на кухню соединить огурцы с винегретом. Ключ от кухни уже торчал в двери, так что за куриные пупки можно было не бояться.... Молодец, Гребенкина.

В одиннадцать в пятьсот восьмой комнате было не протолкнуться. Пришли, кроме Горловых, курсанты милиции, действительно, у них тара полиэтиленовая пятилитровая. А что там? Оказалось – коньяк разливной! Однако... Настя с большой «анжелой-дэвис» на голове и голыми плечами, Белкова-Желткова вся в гипюре. Еще какие-то незнакомые девки из чужой секции, да откуда же они все пришли?!

Валя затуманено смотрела на стол, пытаясь понять, все ли поставили. Чтобы не мотаться потом туда-сюда.

И вдруг крикнула:

– Где? Где елка я спрашиваю?

– Не ори, места нет, мы ее тово...

– Кого это тово? С ума сошли? Елку отдайте, а то всех сейчас выкину!

– Да вон она, за шкафом. Мы ее прикрепили, потому что об нее все запинались.

Над кроватью Горловой и правда оказалась парящая в воздухе елка. Там проходила труба отопления под потолком. И повешенная за шею елочка сама крутилась вокруг своей оси. Но ее гвоздиком прищпилили за хвост. Так-то неплохо, но как-то тревожно.

Пора было провожать старый год. Все заговорили одновременно. Валя в кохточке из платков стояла-стояла со своей рюмкой, потом выдвинула машинку Зингер из-под кровати и обреченно села на нее, на футляр, конечно.

«Вот это моя комната, – подумала она рассеяно, – но мне даже сесть негде, и елка моя висит... И сама я болтаюсь между небом и землей. И всякая тля меня учит...»

– ...Неправильно стол накрыли! – рассуждал беловолосый Игнатий. – Ведь сначала должен быть легкий стол. Это сухое вино, фрукты, салаты, холодные закуски, например, моченые яблоки... Вы согласны? У вас яблок моченых, кстати, нет? Впрочем, неважно. Потом переходить к более основательной еде...

– Я сейчас как дам тебе моченых яблок, – прошептала Валя, – а потом более основательно...

– Ну-ну, не надо, я ведь на сегодня ваш кавалер... Меня назначили...

– Да пошел ты...

– Слышите, снимите с мага эту лабуду западную. Вот наше есть... – Это мальчишки-курсанты, мальчишки-шкафы. Получил Игнатий за Демиса Русоса.

Взвился «Синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней», и он дал такую сразу свечу, что нелепая компания пятисот восьмой комнаты сдвинула рюмки и чашки в едином порыве, позабыв социальные рамки и слабую степень знакомства. Кружки-чашки разномастные брякнули и пошло-поехало-понеслось, резко перепрыгнув за излом ночи. Бой курантов утонул

в дружном радостном крике, и это был крик такой силы, что прошел он все пять этажей заводской бетонной обшивки. Валентина всегда боялась этого момента. Боялась, что как грянет «ура-сновым-гоодоом!» – и после крика включится, жажнет что-то другое, чего она не знает... И в разноголосом крике было столько же безумия, сколько и надежды. Молодые все, жаждали жизни на высшей точке, невыносимого счастья, которое трудно найти и объяснить. Но они бы все нашли, перенесли, только дай...

Поднялся вихрь, который всех закрутил. «Белый снег, белый снег, белый снег, белый день... Ты куды мяне кличешь, послухай, завируха, мятель-завируха, на дворе ни машин, ни людей...» И за окном было быстрое кручение снега! Так что легко верилось в полную и несокрушимую правду простых песен. Которые закрутили в своей завирухе и «белые розы, белые розы» и «яблоки на снегу, ты их согрей слезами»...

«За тобой осторожно ступаю, засыпае нас снег, засыпае, потропляю заметеный след, заметенный след...» Да, дорогая, твоя подруга Иванна из другого круга, да, тебе он недоступен. Заметае его, короче... И любимый у нее есть, а ты одна, как хрен на Лысой горе, ты никому не приснилась сегодня. Так что теперь, удавиться или подождать? Вот сегодня тебе назначили паренька в клетчатом пиджаке, и хватит с тебя. Ишь ты, кохточку из платков слепила, мастерица. Все эти самошитки очень красноречиво говорят о твоей нищете. Хорошо было в городе на море, там было два платья – и ладно, и одни туфли, и тепло круглый год, а тут вон какая возня. Мне пальто надо, и куртку, и сапоги на каблуке, и шапку еще норковую. Дулю тебе, а не шапку.

Танцы сами собой вылились из комнаты в секцию. Потому что в комнате можно было только сидеть и то вплотную. Теперь уже в комнату можно было войти, передохнуть на койке. Да отцепись ты, Игнатий, чего надо

еще. Валушка, покачиваясь, вытерла лицо полотенцем и глянула в зеркало старого шифоньера. Ничего девчонка, крепенькая, в теле, темные кудряшки, черные глазки, ямочка на подбородке. Кохточка идет, а по низу идет бахрома шелковая. Но лицо-то видно, что старое, а того Игнатия, так и на все десять лет старше. А ну вас... Принесу горячее.

Она разогрела рагу на двух конфорках, вырубил маг и крикнула: «Горячее!» Пляски плясками, но все ввалились. Игнатий гладил ее по плечу и капризничал: «Э-э, милочка, а нет ли у вас грибов? Или корнишонов?» Она стряхивала руку с плеча и бормотала: «...Сейчас как дам тебе грибочков... и корнишонов... и артишоков... А пока вот трескай винегрет... достал ты меня уже...»

И она выскочила из пятьсот восьмой. Ах, вот там внизу что-то грохочет. Спустилась – тоже танцы в секции. А никого же не было. «Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы? И в мир уводить жестких мук, холодных ветров...» Ее приняли в круг и завили хоровод. Хоровод расцеплялся, закручивался улиткой, распахивал балкон, в который залетала пурга. А потом в хороводе появилась ее елка смешная двойная. Ее кто-то сдернул с потолка и принес на другой этаж. А Игнатий схватил ее и давай обнимать – эту елку. Так эта елка и скакала по этажам всю ночь. Даже игрушки некоторые остались, и среди них болтались шары Иванны, намертво прищипандоренные клеем. В этой круговерти мелькали знакомые лица, но Вале не хотелось их видеть, она все куда-то старалась убежать. Но Игнатий тащился следом, воровато гладил... и неизменно появлялась эта елка, которую сильно потрепали на танцульках.

Коньяк лился рекой. Его пили чашками. А, может, это был ненастоящий коньяк? Че-то никто не падал с него. Компании с третьего и пятого смешивались, и в пятьсот восьмью притекал народ снизу, вовсе не знакомый.

Валюшка с красными щеками призывала более трезвых носить тарелки, прекращать свинарник. Незнакомая баба на адских шпильках и в мини носила с ней тарелки, ее штормило и заносило, но не уронила ни плошки, и Валя так пожалела, что она живет на пятом. Может, сейчас и переехать? Коньяк еще был, а еды больше не было. В ход пошло полведра яиц из Манзенкиных деревенских запасов и, вроде бы, помидоры с сыром. Получилось четыре сковороды до краев. А на кухне уже тарелки падали со стола, из раковины. Ужас охватил чокнутую хозяйку, попавшую в переплет. Посуду-то еще мыть! Сил не было вообще.

Тошнота нарастала. И чем быстрее тупела она, тем сильнее наглел беловолосый кавалер. Выскочив на балкон, она немножко того... очухалась... и стала хватать ртом снег. Спустя несколько минут и он, уже без пиджака, выскочил на балкон. Что-то слишком быстро он сориентировался и нашел.

– Не подходи! – низким голосом сказала Валя. – А то спрыгну с пятого этажа.

– Да хватит из себя девочку-то строить, – скривился тот. – Дай... и я уйду.

– А чего это ты всю ночь просишь? То грибов, то вина, то этого самого... Чего побираешься? Ты такой бедный?

– Я уже не побираюсь. Я требую.

– Да я старая для тебя.

– Да ты как раз.

Глаза его были почти стеклянные, и он нехорошо так смотрел и подходил. Она спиной прижалась к ледяным решеткам балкона, прыгать не хотелось. Тело ее, только что горячее и смелое, вдруг стало дрожать животной дрожью.

– Как же ты можешь? – вдруг тихо и жалко спросила. – Без любви, без совести. Вставил и пошел? А ведь меня еще никто не любил. Ни один человек не любил.

И заставила себя его погладить. Она гладила Игнатия от жалости к себе, от обиды и злости на такую жизнь. Когда ты нараспашку, а тебе фигу. Он немножко растерялся от резкого поворота, он хотел быстро и насильно, тогда бы он гордился собой, жеребцом, а она поцеловала его в ухо и сказала игриво:

– Ну пойдем, пойдем отсюда... Ты замерз.

Она повела его в кухню, нашарила ключ. Целуя, закрыла спиной дверь. Он уже задирает на ней юбку. За окном кухни начинался рассвет, за стеной медленно затухал шум пьянки.

– Не так сразу. Давай поиграем.

– Что ты... хочешь? Как?

– А ты посуду помой сначала, – буднично сказала она. – Ты будешь мыть и оглядываться... и я покажу тебе кое-что. Ты заведешься.

Он начал мыть, нервно оглядываясь. Она и распахнула кофту из платков. Он сделал шаг к ней.

– Нет! Еще рано! С содой мой.

Он дальше стал мыть. Но, кажется, он взбесился не на шутку. Стал все швырять на пол.

– Плохо моешь. А вот это? – и она вытащила свой лифчик.

Тот опять рванулся, но она вдруг сильно ударила его большим половником.

– Мой посуду, слизняк.

Била по лицу, по плечам, вымещая всю свою обиду.

– Мой посуду, аксолотль из подземной речки. Дай ему, дай. Дай ему то, дай ему это. Козел какой! Жених хренов! Да тебя убить надо за то, что ты такой.

Она рассекла ему губу.

– Мой, я подожду.

– Я закричу.

– Ой, да ори. Нужен ты кому. Я дверь не открою, скажу, что насилюю тебя. Вот смеху-то будет.

Он замер. Он растерялся, он был все же очень пьян. И его так унижали.

– Мой посуду, козел.

Она застегнулась, стояла, не выпускала половника, тяжелого столовского черпака. А я-вая вот такая, тен-терь-вентерь вот такой!

Он вымыл.

– А теперь?

– А теперь с Новым годом.

– Я вернусь, – пообещал он угрюмо, – и поговорю по-другому.

– Встретим с оркестром. Скажи своим Горловым, что любишь меня до усрачки.

И он посмотрел на нее с такой тоской, что она опять задрожала. Она, наверно, переборщила. Это слишком жестоко, всего избила. А нечего! Под конвоем он забрал свои вещи, скорее всего, не все. В комнате был хаос, и на всех кроватях спали люди, некоторые в одежде.

Валя подошла, растолкала парочку на своей койке, это были не Горловы, а та баба на шпильках, с третьего этажа. Красивая, зараза, но не одна, а тоже с бабой.

– Эй! Вставайте. Да вставайте, а то сейчас как дам... грибочков.

Они со стонами встали.

– Летите, голуби, летите, мне спать надо. Блин! А лучше езжайте голой жопой по неструганой доске.

Выталкивала их вместе с Игнатием из комнаты. Тот, качаясь, все еще стоял в двери, не уходил.

– Идите, а то вахтеров позову. Разлеглись, проституты. А я устала вся!

Потом выключила свет, набросила поверх постели другие простыни. И легла. На улице было уже светло, а на душе темно. Очень.

Спустя время вздохнула и сказала негромко, глядя в молочно-рассветное окно:

– Меня никто не любил. Ни один человек не любил. Ни Оврагин, ни Долганов. Ни Акс, ни Марат. Зачем мне жить? Нет смысла жить!

Долганов, рыцарь старомодный, замаскированный под рядового инженера-конструктора. Живой смеющийся, жующий в столовой заурядный салат, листающий альбом по искусству и обводящий ее контуры руками, не касаясь. Он ушел за горизонт с развевающимся плащом за спиной, смешной рыцарь совести, похожий на актера Любшина. Теперь он превратился в свое имя, в память, которая отзывалась сладкой болью. С таким быть рядом, хотя бы глазами встречать, – и то счастье, но счастье Вале не положено. Она оказалась не нужна. Ветка треснула.

Лихой наездник моторных лодок, Оврагин, оказался великодушным. Да, он не знал, кто такой Анчаров, но зато он Валю понимал как никто другой и ничего не требовал! Только он ей оказался не нужен. Еще одна ветка треснула. Что до Марата, то с ним рухнуло все дерево... Этим деревом стала вся прошлая жизнь Вали в городе у моря. Так-то вот, девочка у лимана. Южная, никому не нужная...

И Валя заснула...

ИЗБЕЖАТЬ ВСЕГО

Северин Седов выглядел в дамской среде уклонистом. Потому что он никогда не вел себя как соблазнитель, потому что никогда им не был. Дружелюбный, мягкий и обходительный, он всегда уходил от преследований с легкой шуткой. Даже тогда, когда Калерия так подвела его с эти дурацкими туфлями! Но если смотреть – другое дело. Просто смотреть, безо всякого выражения. Ну, тогда и он начинал смотреть.

Однажды он так смотрел, смотрел, потому что заметил: у особы в вязаном платице выражение лица стало другим. Сначала она выглядела очень лукаво. Она поглядывала не впрямую, а как бы искоса, исподтишка. А когда чертила за кульманом, то делала легкие потягивания, вроде даже невинные совсем. То руки на затылке сомкнет, то на угол облокотится. То вдруг из-под руки – стрель зрачком. А потом стала отворачиваться. И когда Сева мимо нее проходил, то она изображала умирающего лебедя. Но он на это не ловился, потому что слишком все замысловато. А он избегал замысловатого и сложного. Он-то открыт, почему другие так не могут?

История с туфлями Калерии научила его опасаться женщин. Женщины говорят одно, делают другое, хотят совсем третьего. К чему такие сложности? Зачем было устраивать карнавал с поддельным братом? Почему она повесила на него не нужные ей туфли? И почему она решила, что Сева обязан таскаться по городу с этими туфлями, лишь бы ее повидать? Потому что Сева был в нее влюблен, по умолчанию. А доказывать ей обратное он не хотел, это низко. Лучше вовсе не начинать.

А потом, много позже, Сева пришел к Альберту по своим музыкальным делам. Диана, жена Альбы, собрала столик с чаем, хворостом домашним, да по рюмочке. Они сидели за столиком, облокотясь на кроватку с сыном, а маленькая Дианка делала уроки за тем же столи-

ком. Дианка – дочка Альбы и Дианы, только на самом деле от первого брака Дианы. У них была очаровательная привычка называть детей именами родителей, то есть Дианами и Альбертами. Все бок о бок, мирно так, по-советски. Бормотал телевизор старой модели, он работал нормально, Альба сам его чинил, когда надо, а чинил он все хорошо.

Диана улучила момент, когда мужчины отвлеклись от своих горячих десятков, и вкрадчиво сказала:

– Сева, пора тебе познакомиться с моей подружкой. Она милая, милая.

– А как знакомиться-то? Прямо и не знаю. В кино, что ли? Могу купить билеты. Но есть опасность, что ошибусь. И рядом со мной будет сидеть в кресле не такая милая, как нужно.

– Не выдумывай, – улыбнулась Диана, – сначала я вас познакомлю. Здесь. А потом вы пойдете в кино.

Да, Диана такая была, она умела настаивать мягко, и это не выглядело диктатом. Хитрая такая лиса. Сева кивнул и забыл об этом.

Но когда он в очередной раз появился у Альбы, они только успели переброситься двумя словами о Джоне и Йоко. И пришла она, эта хрупкая особа в вязаном радужном платице. Никаких потягиваний! Немножко скованная. С опущенной головой. Узкое лицо и копна черных волос, перехваченных вязаной же полоской. Марина почти все время молчала, зябко плечами поводила. А вечером при расставании подала ему яблоко, как-то картинно, но он просто взял и откусил смачно. Это оказалось приглашением к поцелую. Вот как!

Сева поразился изощренной выдумке вязаной куколки Марины. Она долго думала? Долго. Был ли у нее заготовлен подтекст? Разумеется! Когда она подавала ему яблоко, ее можно было расценить как Еву, а его как Адама. Именно она, Ева, соблазняя Адама, отрывала ему новый мир. Чтобы он не чах в своей невинности слишком долго. И несмотря на то, что Сева это прочитал

и оценил старания прелестницы, ему не хотелось никого разочаровывать. Пусть думает, что она такая роковая. Он брал из ее рук яблоко, красное, зеленое или желтое, увлеченно целовался и шел дальше. Избегал разборок. Это был такой ритуал, немножко театральный, но все равно он действовал.

Марина продержалась дольше всех, пока не появилась Иванна.

В совхозе, где Северин вместе со студентами был на уборке картошки, его частенько вызывали в контору. Он садился на совхозную лошадку, и она машинально трусила к правлению. И там стояла, пока ездок не очнется. Ездок Сева приходил, подписывал объем собранных мешков, лимит продуктов и никогда не сдавал водителей, которые вечером не увозили мешки. Бывало, бухгалтерша выйдет за ним на крыльцо что-то спросить, а он уже запрыгнул на совхозную лошадку и потрусил на базу к студентам. Среди этих студентов мерцал удлинённый лик темноволосой девушки. Она не приближалась, но всегда смотрела издали. То пристально, то с улыбкой, всегда со сжатым ртом.

А когда Диана привела Иванну на очередную их вечеринку, Сева не придавал этому значения. Как-то не сопоставил колхоз и дом своих друзей. Но не мог же он, в самом деле, помнить лица всех своих студентов.

Сева не избегал людей. Он избегал скандалов. Он мог сходить с девушкой в кино, мог съесть напололам яблоко и долго ее целовать. Но не всю же ночь. Ночью у него было другое дело – слушать радио: «Город Лондон, Би-Би-Си».

ГЛАЗА КАК ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Когда пятьсот восьмая проснулась, был уже полдень нового года. Было вроде неудобно, потому что проснулись в одной комнате, а не все знакомы. Потом, у всех были лица далеко не бодрые. Даже не лица, а скорее каша всмятку... А в комнату задувал ветер со снегом из раскрытой фрамуги... Стола длинного не было, доски – в углу, пол вымыт. Горловы, как самые интеллигентные, открыли рты первыми.

– Друзья, с Новым годом! – вежливо сказал Эдик, подтянул брюки и надел носки.

– Немедленно выйди и дай переодеться, – скорбно и скрипуче ответила Жанка.

– Ничего, не волнуйся, я тебя выручу, – и тощий Горлов с обнаженным торсом завесил жену Жанку от других чужих людей одеялом, так как напротив, в обнимку с Желтковой, хлопал глазами курсант милиции. Они сначала от стыда зажмурились, но маневр ничего не дал. Надо было вставать и видеть жизнь в беспощадном свете дня.

Вошла усталая невыспавшаяся Валя в драном халате и повесила на батарею выстиранную кофту из платков. И сказала:

– С Новым годом, алкаши. Я вымыла пол, еще ночью вымыла посуду с риском для жизни. Остальное убирайте вы. Вон мешок с мусором, идите, кто может, на помойку.

– А чего сама-то? – поинтересовалась Желткова. – Мы же еще не встали.

– Я варю борщ, – отрезала Валя. – А вы у меня сейчас быстро встанете. Я тоже человек, и мне надо отдохнуть. Товарищ курсант, ну-ка, встать! На помойку шагом марш!

– Что это ты, Валентина, раскомандовалась? – тонко пропищала Жанна из-за одеяла. – Ты кто здесь? Комендант?

– А у твоего Эдика есть своя общага. Пусть уматывает. Или я должна все первое января смотреть, как вы лапаетесь? Я не комендант? Я никто. Хорошо. Но тогда ты борща не получишь.

Валя подошла к зеркалу и покачала головой. Потрогала себя пальцами за щеки, за брови.

– Нет, так пить нельзя. Смотреть тошно. Круги под глазами! Я дошла до того, что похожа на Жанну Горлову.

– Я бы вас попросил, Валентина... – подал голос помятый Эдик, застегивая рубаху.

– И этот просит... ну что делать? Все просят, а я одна даю. Невозможно.

Потом порылась в чемодане и предупредила:

– Если я вернусь из душа, и все будут так же валяться, я весь мусор обратно высыплю в комнате. И борща не дам. Никому. Ключ у меня с собой. Вот такая вот я мегера...

К двум часам дня кохточка в розочку высохла и выглядила, мусор бесследно исчез, а люди получили по миске борща и ушли в разные стороны. Кто ругаться, кто праздновать. И настало краткое блаженство. Она, наконец, нашла свои тетрадки и села описывать то, что произошло перед Новым годом.

Перед Новым годом была такая круговерть, что ничего не успелось. Перед Новым годом Иванна долго болела, и однажды удалось сходить к ней домой, чтобы проведать. Матери Ивановны Валя боялась, а отца боялась еще больше. Отца боялась потому, что он под градусом сидел в туалете – дверь нараспашку – и кричал оттуда, чем ему обязаны все здесь проживающие. А матери она боялась, потому что та представлялась ей святой жен-

щиной. Молчала всегда, а взор у нее был светлый и проникающий. Таким же взором она смотрела и на Ва-лины мешки, когда та приехала с подругой в этот город в лесах... И таким же взором на орущего из туалета суп-руга.

Пораженная Валя все спрашивала, добивалась: по-чему же мать так смотрит? Подруга отвечала: потому что она настоящая русская женщина. И Валя зарубила себе на носу, что это исключительный момент – во-первых, а во-вторых, даже Иванна таковой русской женщиной не является, ибо отец наполовину болгарин, и дело даже не в национальности, а в мироощущении... А Валя тем паче к русским женщинам не относится. Нет смирения, терпения и других черт истинно русской женщины.

В тот вечер Валя пришла к Иванне, чтобы ее прове-дать, и совсем заробела. Принесенные ею пирожные по-ложили в хрустальную конфетницу, и отсветы от свечи играли в ее узорах. Сильную микстуру от кашля убрали в холодильник, чайник поставили на плиту. Но сама гордая и рослая Иванна, обычно такая деловая, что хо-телось взять с нее пример немедленно, сидела в свитере тихая и закутанная. Она ничего не выражала ни лицом, ни руками, она просто молчала.

Они так и попили чай в полном молчании. Валя ду-мала, что Иванна отойдет и отмерзнет, но нет. Больше часа Валя молчать не умела, она даже десять минут с трудом выдерживала. Потом ее начинало что-то толкать и покалывать, и тишина нарушалась.

– Может, ты мне не рада? Так я сейчас обратно...

– Рада.

– Может, у тебя температура высокая? Сколько?

– Всего тридцать восемь.

– Может, что случилось?

– Нет.

– Может, ты поругалась со своим... мужиком?

- Ты в своем уме? Какой он тебе мужик?
- Ну, прости. Ну, может, ты спросишь, как у меня на работе?
- А как у тебя на работе?
- Я поругалась с начальницей отдела. Это мне много чем грозит.
- Понятно.
- Иванночка, а что для тебя сделать, чтобы ты оттаяла?
- Ничего мне не надо.
- Ты как с креста снятая.
- Значит, так надо.
- Иванночка, я понимаю, что об этом рано говорить, но я принесла тебе маленький подарок.
- Что там?
- Помнишь, ты говорила, что тебе нужен кремовый шифон?
- Мне ничего не нужно.
- Ну, мы в магазине видели, помнишь? Так я купила. На.
- Ну что ты... зачем? Это тебе не по карману.
- Да ничего, я перебуюсь, не сорок первый. Улыбнись. Тебе так пойдет кремовый шифон, ты будешь светская дама, с кремовой розой в прическе.

Подруга не улыбнулась. Валя ее обняла, поцеловала в шею, как в городе у моря... И пошла. В Иваннином большом и красивом теле жизнь едва теплилась, только слабый сердечный стук. Больничная такая девушка. Жизнерадостная Валя уразумела, что все перечисленные причины налицо, и это единственный и верный путь стать истинно русской женщиной. Чтобы так смотреть, как Иванны мать, Анна... Черт, так вот почему так дочку зовут – Иван и Анна... Валя понимала, что такое холод уличный и душевный. Вот теперь это был холод

душевный. Потому что Иванна долго любила этого мужика, так долго и так безответно. Она просто устала.

Валя с тех пор начала подбирать на гитаре ахматовский стих: «Не будем пить из одного стакана Ни воду мы, ни сладкое вино, Не поцелуемся мы утром рано, А ввечеру не поглядим в окно». Потому что Иванна удалялась от нее в какую-то свою непонятную жизнь, и с этим надо было смириться. Валя жуликовала над текстом и пела так, чтобы подходило к ней. Вместо «Ты дышишь солнцем, я дышу луною» – «Дышу я солнцем, дышишь ты луною», ведь у них с Иванной было как раз наоборот. Ну и дальше, где «Со мной всегда мой верный, нежный друг, С тобой твоя веселая подруга», она заменяла слова – «С тобой всегда твой верный, нежный друг, Со мной моя печальная подруга». Чтобы все подходило. И зачем ей это надо было, чтоб подходило, но все подходило, и Валя приближалась к высокому...

У нее от высокого даже реальные слезы выступали.

В этот момент приближения неизвестно к чему, но высокому, в дверь ее комнаты громко постучали. Валя замерла. Она не хотела открывать, не хотела никакого базара, но хотя и притихла, но все-таки гитару, наверно, успели услышать до того. И продолжали стучать. Первого бы января хоть оставили в покое! Весь мир спит весь день! И она нехотя открыла.

Перед ней стояла заснеженная Иванна и такой же заснеженный незнакомый человек.

– Привет. С Новым годом. Мы к тебе в гости. Можно?

– Ой... Да.

– Познакомьтесь. Это Валя Дикарева, мы вместе работали... Еще на юге. А это... это Северин Седов, мой друг.

Валя вздрогнула. Она почувствовала кожей, хребтом – это он, тот самый! Очертания головы и плеч она сразу узнала, ведь он приходил к ней в комнату, когда

она воображала в голубом пеньюаре. Правда, лицо четко не проступало, но длинные волосы из-под щегольской кепки угадывались. Это была моментальная вспышка – длинная сцена с пеньюаром в одну секунду. Но мелькнуло чувство, что он ее тоже узнал. Кстати, пальто – клетчатое – то же самое. Его молчание усиливало сходство со сном: там общежитие, и здесь общежитие. Некий образ проходного двора судьбы. Тут надо сказать так: своего рода электрический разряд пробежал сразу по всем троим. И они дрогнули. Он – потому что в который раз попадал в темные обстоятельства по чужой воле. Он хотел бы их избежать, но его умоляли, тащили за рукав, говорили много лишних слов, и он сдавался. Он и сейчас подумал: «Сидел бы дома, переводил книжку о «Битлз», а то торчи теперь в незнакомом месте, наблюдай круговорот страстей. И зачем бы и кому бы он нужен». Иванна – она надеялась, что все решится как-нибудь само, видела она, что Сева начинает уходить в себя; то, что он на Новый год забыл об их встрече и как-то абстрагировался от всего, было признаком. И, наверное, придется с этим смириться, думала Иванна. Она, как настоящая русская женщина, все это вынесет. Но пусть будет еще украденный у провидения час, когда можно просто ничего не говорить, а только смотреть на него. Вдвоем это было бы трудно, а тут пусть эта глупышка Валентина заполняет пространство своей вечной трескотней. А она, Иванна, будет только молчать и наслаждаться моментом. Она уже научилась ценить такие крохи.

А Валя думала – это конец. Что же это такое? Я же уже получала по физиономии! Теперь снова, что ли? Что же случилось? Почему чуждающаяся Иванна – и с ним? И к ней, которая не их круга. Значит, что-то случилось. Что-то из ряда вон.

– А вы садитесь, – немеющими губами пригласила Валя. – У меня есть морс, вы попейте, если похмелка

(Иванна только брови подняла). – Ой, не то говорю! А я чайник поставлю. Или что?

– Все равно, – это Иванна. – Вот вино и конфеты.

– Здорово! А то в общаге первого числа, знаете... А вы, Северин, как вас... Вы учитесь, работаете (как дура, честное слово)?

– Валь, он препод в вузе. Я говорила. Сядь, что ты все вскакиваешь.

– Да я только чайник. И приду. Вот у меня тут книжечки, журнальчики. (А чего она вдруг так засюсюкала?)

Он взял из стопки «Искусство кино» и стал листать. Они чокнулись чашками, Валя включила телик.

Иванна поморщилась.

– У тебя вроде был маг?

– Да, но его вчера потаскали по этажам... Малость подушибли. Вон он. Ну, я сейчас.

Она вылетела в холл на секцию, прижала лоб к балконному стеклу. Ба-а, Иванна пришла с ним, но они молчат. Значит, поруганные. Надо что-то делать! Развлекать, трещать. Что еще?! Водки нет теперь ни на одном этаже. Первого числа искать водку – это дурдом. Но все равно, раз пришли ко мне – значит доверяют... Не разглядела его, боялась смотреть. У него очень маленькие руки...

И тут что-то рвануло внутри – ей показалось, что она и на самом деле умирает. Был даже хлопок, как от перегоревшей лампы. Что, что это такое? Сердечный приступ? Она держалась за балконную дверь, и ее, как раненую, валило на пол, ноги не держали. Кровь закипела, как от горячего укола. Она побежала по этажам с полностью затуманенной головой – нет, не от сухого вина, она его даже не успела хлебнуть. Она у всех спрашивала водку или что-нибудь. «Возьми вон брагу, если так прижало»... «Пива – да ради бога, а водки нету»...

«Слышь, девушка, а у тебя есть с кем ее прикончить? А то давай сюда»... «Ну, ты и наглая»... «Понима-аю, родная, но у меня даже хлеба нет. Ты сходи на четвертый, там у сборщиц вроде было»... Некоторые вообще отзывались, не вставая с коек. Лежали все, а она уж тут хвостом все лестницы подмела. Бутылку нашла, самую дорогую, «Пшеничную» – у лаборанток главного технолога. Они ее не знали, поэтому пришлось им паспорт отдать... Лётом сделала какую-то ужасную запеканку и, вот надо же, у Гребенкиной оказались не откупоренные грибы, пришлось и ее позвать.

Настя Гребенкина хорошо выпалась, взбила свою «анжелу-дэвис» и с удовольствием тарачила кукольные глазки на всю эту кутерьму. Шум из пятьсот восьмой шел преогромный, а говорила одна Валя Дикарева. До третьей рюмки она еще держалась в рамках, интересовалась группами, то, се, а потом как понеслась коза по кочкам. Жужжал и сверкал новогодними искрами телевизор, но его легко пережимал звонкий голос Валюшки.

Сначала было смешно: в ход пошли «каркодилы», стоящие в охране завода, как они ловят воришек и как выцепляют нетрезвых мужичков, потом очереди на складе, где выбрасывали дефицит... Потом Валя рассказывала, как у них в клубе выступала некая легендарная поэтесса... И она читала-читала, вся в черном, все думали – монахиня, а потом как распустила она волосы чуть не до колен и как покатила по столу красные яблоки, так все сразу догадались – она же читает про Еву... Нет, она по правде жила в монастыре...

И Валя резко перешла от рассказов к песням под гитару. Гордая Иванна пыталась ее как-то урезонить, остановить этот бурный поток хотя бы на десять минут, но Валя голосила вовсю, словно сумасшедшая: «Ты забудь мою тяжелую Муку че-орную в глазах, Вспомина-ай меня веселую, с красной ро-озой в волосах»...

Иванна дружески трогала ее за локоть, дескать, Северин это не приветствует, но Северин, усмехаясь чему-то, проронил, что это же хорошо – художественная самодеятельность. В его устах это звучало издевательски. Потому что по телику шла «Ирония судьбы», и там Лукашин не признавал самодеятельность, это ясно. Их нарочно так построили: Ипполит в исполнении Яковлева недалекий и любит песни под гитару, а Женя Лукашин, которого играл Мягков, – взыскательный, интеллигентный и не терпит их. И поэтому героиня должна остаться не с первым, а со вторым. Но первому-то нравились ее песни, вот дурочка...

После этого Валя, вцепившись в гитару, вдруг стала доказывать гостю, что он проглядел в жизни самое главное.

– А именно? – слегка обернулся Северин.

Он сидел столбиком все время, так тихо, так прямо, а тут обернулся. И чтобы скрыть это произвольное движение, протянул руку к ее магнитофону и стал его изучать! Крутить регуляторы, проверять лентопротяжку, батарейный отсек. Страсть, как интересно!

– У нас тут грубая публика, – взъелась на него Валя, – и мы веселимся, как умеем. А вы, Северин, пришли и молчите, настоящий черный ящик. Лишь бы не сказать чего ненароком, себя не выдать.

– Мне нечего скрывать. (О-о, как посмотрел!)

– Может, и нечего, а мне и так все понятно!

В комнату тихо прокрались Горловы. Они бесшумно сняли пальто и куртки и без разрешения стали наливать. Знали бы они, чего ей стоило все это. И главное, всегда вовремя придут...

Иванна шикала, Настя исподтишка показывала руки крестом – мол, хватит, что ты несешь. Но у Вали отказали тормоза.

– Вы знаете, какая она добрая? Не знаете. Честная. Умница редкая. Вы знаете, что она на «отлично» кончила институт?

– Знаю, я у нее читал некоторые предметы.

– Аа-а. Ну хорошо. Так вот. Когда она стирает и гладит, она просто волшебница. Ее белье, как стопки немецкой бумаги. Она умеет крахмалить кружева и скатерти! А какой вкус к музыке и литературе! Мы ходили с ней в театр, и стало понятно: она знает все пьесы и растолкует любую. Это же героиня романов! Настоящая русская женщина, хоть отец и наполовину болгарин. Посмотрите на этот взор, полный нежности и терпения! Это же я не знаю! Это не глаза, а драгоценные камни.

– Все! Все! – вскричала шепотом Иванна, меняясь в лице. – Это переходит все границы.

– Пома-алкивай, страстотерпица! Ты удачно промолчала все свои пять лет ссылки. А что же нам ответит этот интеллигентный мужчина? Почему он-то молчал все эти пять лет? Молчальник! Благородный принц! Как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный. Будто не видит, что любовь умирает. Черный ящик...

– Вы почему-то меня весь вечер браните. Уж лучше песни пойте.

– Да хватит уж вам! Не нравятся вам мои песни, это видно. А просто если я не скажу, так и никто не скажет, всем до одного места. Плачет девка, и пусть плачет. Лишь бы все прилично было. Лишь бы все так, как в вашем кругу принято. Да ну вас. Вы хоть знаете, каково ей было отсюда уехать по распределению? Она ведь не с чем-то там, она с семьей своей, она с жизнью прощалась. Не заметили? Ах, конечно, не заметили... А сколько она выкурила сигарет на закате. Слез пролила море. Рассказывала про вас. Сколько не спала ночей. Эх, вы...

– Удивительно... Будто я пришел в гости только для того, чтобы вы читали мне мораль. Говорили прописные истины. Смешно.

– А мне не смешно! Я сразу заметила, что все плохо. Что вы не разговариваете друг с другом-то. Это ведь ужас! Зачем так жить вообще! И не расходиться и не разговаривать. Вы чего, приговоренные?

– Это наше личное дело. Не вам судить, – он снова усмехнулся.

– Да не сужу! Не сужу! Жалею, что вы такой... дурак.

– Опа.

– Да, да. У нее кремовый шифон на платье уже куплен. Имейте это в виду. И попробуйте не позвать свидетельницей. Я там всех раскидаю.

Он продолжать ковыряться в магнитофоне. Вот нервы у человека. Хрупкий на вид, а нервы, как у разведчика.

На Иванну просто страшно было смотреть. Многолетняя выучка заставляла ее ради накрашенных ресниц держать слезы, не проливая.

Тут вдруг циничная Настя подскочила к чужой Иванне и давай промокать ей салфеткой уголки глаз, глядя по плечу. А заморенный Горлов вдруг абсолютно раскованно вышел из своего угла и разлил остатки «Пшеничной». Учтиво пожал руку Северину, они чокнулись. И все чокнулись и стали говорить, что вот маслята – это царская, царская еда. Что маслята и водка – это просто неразрывно и базово. И старались не смотреть на горящую огнем Валу.

Она оказалась такой скандальной. Она посмела высказать то, что нельзя было высказывать. Пока это было неизвестно, одна сторона могла не волноваться, а другая, хоть и волновалась, но теплила надежду. А теперь что? Теперь наступила такая беспощадная правда, что или вместе или врозь. Третьего не дано. Но Вале не было стыдно. Она напилась так сильно, что все уже забыла.

Она сидела и смотрела телик, ничего в нем не видя. Она хотела разбиться в лепешку и разбилась. Сделала все, и даже то, что не надо.

Ей нечего было терять.

Наступила правда. И наступила ночь первого дня нового года. Гости собрались и пошли, уже потихоньку, по-родственному говоря друг с другом и оглядываясь на странную красную Валю. Но провожали гостей почему-то Горловы, которые никогда ни во что не вникали. Каким-то звериным чутьем эти суслики почувствовали, что кроме них это никому не удастся. А Настя стала убирать со стола, что само по себе тоже необычно.

ПРОЛОГ БРУСНИЧНОЙ БРАГИ

Тихо было. Только щелкали счеты, шелестели папки, попискивали счетные машинки и калькуляторы. Ветер залетал в открытые фрамуги, и полоски жалюзи уютно шуршали в его порывах. Говорят, эту штуку придумали космонавты, чтобы этот шелест напоминал им о земле. Или полярники, которые живут в вечной мерзлоте. Один черт... «Канторские крысы» тоже прочно отрезаны от мира. Даже в перерыв нельзя сходить за проходную. Даже есть надо в строго отведенной столовке... Так думала Валентина, спеша на работу.

Она влетела, на ходу стряхивая пальто, запыхавшись. Марта уже гремела чайником, на ней была новая шикарная юбка в полоску, пышно собранная на фигурный бархатный пояс.

– Привет, Марта! Какая ты сегодня... – Валя шумно упала на стул. – Ну что за мука: таскаться в такую даль. Два троллейбуса мимо, в третьем, как под прессом. Ужас.

Наскоро накрасившись, глянула в зеркало и, тряхнув свежими кудрями, зашелестела формами.

– Ты слишком рьяный работник, – ехидно заметила Марта. – Потому тебе и оклад выше дали, хотя я же тебя учила, а не ты меня.

– Откуда видно, что рьяный? – простодушно откликнулась торопыга Валя.

– Тонак неравномерно.

– А! Сейчас, – и схватилась за зеркальце, а Марта за формы.

Пока Онтария не вошла – мощная, очень быстрая в движениях, лучистая бусами и улыбкой.

– Девочки, это не бюро анализа? Там на дверях ведь не написано.

– А-а! – засмеялись «конторские крысы», – третий день, как переехали, не до вывески.

– Ну и напрасно. По вывеске встречают, по уму провожают.

– Береги вывеску снова, а честь смолоду!

– Береги вывеску, пока ее тебе не испортили...

Ах, как долго они жили у плановиков, ни дать ни взять – бедные родственники, а тут сразу свой кабинет, да еще кладовка с розеткой. Девушки ее слегка обустроили и обклеили, поставили старый журнальный столик – чем не чайная комната? Чудо.

– Какие все деловые, чайник некому выключить.

– Девочки, – аукнула Онтария издали, – я позвала на чай Сонюшку Терентьевну.

– Зачем же эту выдру?

– Затем, что она начальник чего? Сами знаете. А нам все же нужна вывеска, да занавесочки, да вазочки под цветочки. Так?

– Нет, не так, – мрачно буркнула Валюша, – не украшаться мы должны, а судьбу замаливать. Не то нас живо разгонят.

– Вот ты и замаливай. А мы с Мартой насчет чая сообразим. Марта, иди сюда, у меня тут варенье, салатик из хека...

И они бурно звякали и шуршали. Все это здорово, но вот пришла квадратная Софьюшка Терентьевна в крутой рыжей завивке и индийской зеленой кофте. Она показала на комнатку, ахнула, подняла палец и села. Уютно стала прихлебывать.

– А это что?

– Картинки из «Плэйбоя».

Самые рискованные они завесили шторкой из джинсовой рекламы. Но она занавесочку откинула и... Немая сцена! Ковбой в расстегнутых джинсах уставился дулом прямо на нее! Сонюшка прихлебнула еще раз и подави-

лась. Моментально ставши красной, точно после парилки, она почему-то засуетилась и стала все отодвигать.

– Спасибо за чай, – заговорила она с сожалением, – от вас, девочки, не ожидала... Ну, вы тут работайте, мне тоже некогда.

– Другие веселятся... – протянула Марта, указывая на ковбоя.

– Она не замужем, – Онтария смачно намазала варенье, сама трясясь от смеха и капая вареньем с ложки.

– А занавесочки? – умильно напомнила Марта. – Неужели забыли?

– Какие уж тут занавесочки...

– Ханжой не надо быть...

– У меня дети большие, и то я смущаюсь, – Онтария вытерла слезы, – ведь в жизни такое редко видишь.

– А вот Марта не смущается, – радостно добавила Валушка, – она только когда с тахты упала, будучи в объятиях, тогда смутилась.

– Дикарева, получишь, – Марта грозно показала ей кулак.

Через десять минут этой разлюли-малины Онтария снова исчезла в потоке дел, а девушки снова строчили бумаги как ни в чем не бывало. Шел трудовой нормальный будень.

– Скучная штука сводки, – прошептала Валя под нос, – цехов-то, цехов. До ряби в глазах.

– С премиями было веселее?

Да, да, был процент премиальных у начальства. В бухгалтерии орали, в отделе труда округляли глаза... Одинаковая точка зрения, разная степень интеллигентности. Долго тогда копались в формах, отчетах, а потом обнаружили, что этот процент по сумме гораздо выше оклада. Но это же нехорошо, и из отчета приказано было изъять. Мало ли что вы там насчитаете!

– А температуру сгорания смазки? Помнишь?

– Сульфифрезоло. «Выясните теплоту сгорания сульфифрезоло при условии, что его никто никогда не сжигал».

– Вот-вот. Даже городская лаборатория не знала.

– Но мужику в котельной мы надоели.

– Только не ты. Ты, Марта, всем нравишься, ты очень сексапильная.

– Учти, это сейчас, при детях и муже-алкоголике. А представь в юности, когда у меня были мини-юбка, волосы белые до лопаток, талия в руку, а здесь – не меньше четвертого размера?

Закончили девочки строчить формы. Их так много, заполнять их так долго, а данных еще нет... Это угнетает.

Недавно убежавшая Онтария, лучась и сияя, опять взошла на горизонте, в руках бумажка: «в цех три человека».

– Сейчас начнутся звонки и репрессии, надо исчезнуть на время, – радостно сказала она. – Нас всего-то трое.

– Давайте в фотографию? А то разгонят – и памяти не останется!

– Давайте. У меня как раз прическа нынче...

Отвалили без шума и по дороге узнали новость: скоро дадут колбасу! И Онтария как член завкома, она тоже будет распределять – о! И лица на фотографиях вышли такие возвышенные.

В цехе Валя вынесла только неделю. В обращении со станком у нее не оказалось ни навыка, ни терпения: нажимала не туда, поворачивала не то, и станок останавливается. После этого подходил наладчик и презирал:

– Откуда только вас присылают? Ничего не умеете!

Валя помалкивала, не выдавала место работы.

На разгонке шаров у нее начало все ломить и болеть, и она была не в силах больше. Ее силуэт возник на рабочем месте, в бюро анализа.

– Привет вам, девчонки, – робко сказала Валя, оглядываясь. Что такое произошло, пока ее не было? Онтарии Николаевны нет... Марта воспаленно разговаривала по телефону, чайник никто не ставил. Как младшая, Валя исправила упущение, достала постылые формочки, но тут какой-то вихрь внес женщину в синем халате. Ей еще ничего не сказали, а она уже давай слезы размазывать.

– Почему это у нас только четыреста человек? Как это так вы считаете? Одних декретников восемнадцать, что же они, не люди? – закричала она в сторону Вали, та сидела ближе всех.

– Не знаю, мне про это ничего не сказали.

– Да как не сказали, для чего вы сидите-то? Справки вот.

– Ладно, давайте, я передам...

– Ты с ума сошла! – заорала Марта, кидая трубку. – Зачем взяла? На них же не отпущено, на декретников. Это не работающий состав.

– Чего, чего не отпущено?

– Колбасы, дорогая. Дали только на наличную численность: одиннадцать тонн.

– Их что же, придется делить? Как развешивать такую громаду? Целый склад...

– Как учили, – громыхнув столом, Марта достала пухлые ведомости. – На, сверяй четвертый цех по пропускам.

– Да разве мы сможем?..

– Сможем, если без патетики. Отдел кадров вон тоже сверял и не рыпается. А там одних цеховых инспекторов десять человек.

– А Онтария Николаевна где? А формочки что?

– Какие там формочки! Передача «Что? Где? Когда?» начинается! Что цех?

– Какой там цех! – невесело махнула рукой горе-экономист.

Они натянуто смеялись. Настроение никакое.

...С этого дня всех залихорадило. По коридорам заводоуправления на всех парах бегал народ со списками. Перед словом «список» сочувственно расступались.

По цеховым пролетам важно проплывали кары, груженные колбасой. Их провожали глазами. Никто толком не работал. Валька тыкнулась было в отдел труда за потерями рабочего времени, но ее сурово спросили: «Неужели больше делать нечего?», и она стыдливо закрыла дверь с той стороны. Проходя отсек, где располагались кабинеты директора, главного инженера и замов, Валька удивилась: там царила благородная научная тишина. Впрочем, им же не надо было бегать и нервничать, они были выше этого. Им все отложили секретарши.

Постепенный рост колбасного психоза привел к первой драме. В деревообделочном крановщица только поступила, боялась, что не включат в список по колбасе. Завидев электрокар с долгожданным грузом, она нажала «стоп» и полезла вниз разбираться. А тут начальник цеха идет, глядь – над цехом тяжелые древесностружечные плиты качаются на трех стропях, а одна стропя отвалилась и болтается. Начальника чуть кондратий не хватил. Он давай искать крановщицу, а она там, у ящиков, вся в ажиотаже. Он ей кричит: «Иди на кран скорей!» А она не разобрала, что он начальник: «Сейчас, подождите». Тот с маху и выдал ей, перевел в разнорабочие... Но колбасу она все равно получила. Выкусите!

Промелькнувшая, как видение, начальница их Онтария скороговоркой сообщила, что конторские будут получать последними. Хотели, правда, первым дать

бухгалтерам, чтоб зарплату не задерживали, но об этом узнали ремонтники-связисты и пригрозили, что обижать рабочий класс не дадут. Назревала сильная междоусобица. В отделе все время надрывался телефон.

– Вы что же... Это самое. Учеников тоже не включили?

– Учеников нет, не включили. Они не рабочие.

– На рабочей ставке, на полный день, значит рабочие.

– А нам сказали в отделе труда, что они в основной состав не входят.

– А вы и повторяете. Прихвостни.

Вот так просто маленькое бюро стало большим врагом народа...

В самый сумасшедший день, когда было проверено и сдано три огромных списка, принесли еще два. Позвонила Онтария Николаевна:

– Девчонки, сейчас тут в перерыв никого не будет. Бегите скорей, я хоть вас отоварю, а то ни с чем останетесь, горемыки.

Валька с Мартой побежали вдоль здания по улице, пока добрались, все мозги напрочь выдуло.

Увидели: серая нелучистая Онтария молча брякала что-то на весы. Даже выправку всю утратила, ссутулилась.

– Что это? – прибежавшие разинули рты.

– Сервелат. Велено оставить начальству. Забирайте свои палки и уходите. Да заверните, черт возьми. Деньги? Какие еще деньги, из зарплаты автоматически вычитут в бухгалтерии.

Лихорадочно заворачивая добычу в газету, как будто ее можно так просто завернуть, чтоб не угадать, девчонки увидели в углу копошащуюся в газетах Сонюшку. Она-то от какого цеха? От того же, что и мы?

В коридоре слышался мерный топот и гул голосов.

– Японский бог! Засекут цеховые, – дрогнула широкоплечая Сонюшка.

– А мы пойдем пятым этажом, а не улицей, – бросила Марта, которая опять не растерялась. Она мотнула головой, показывая путь, и они понеслись, как лошади. Впереди была необозримая бетонная дорога в наплывах раствора, как застывшая река. На пути попадались кучи досок и арматуры, их надо было перескакивать.

У большого пролета завиднелся дым. Пронесет или не пронесет? Люди в робах сидели и курили, ничего такого. Но бюро ускорило шаги, стараясь их миновать поскорее. Их заметили.

– Девки завкомовские бегут, – звонко сказал молодой голос, – уже урвали свою колбасу, заработали. Вот только каким местом?

Хохот, умноженный эхом, был ужасен.

– Давай отберем, – пробасил другой голос. – А? Небось, не пожалуются...

Громовой хохот!

– Марта, нам конец! – проблеяла Валюшка.

– Цыц! Бежим скорее!

Они задыхались. Двое, кажется, погнались за ними, остальные улюлюкали. Им казалось – подышают уже. Рот пересох, в ушах стучало, ноги не слушались.

– Если... бро... сим...

– Не канючь, – оборвала Марта.

Она была двужильная. По лестницам ссыпались уже на карачках. В бюро Марта тут же положила добычу за окно и твердой рукой стала умываться. А в Валентине все дрожало. Может, они бы ничего не сделали, но как упустить случай, как не поглумиться над «конторскими крысами»... И вообще, что это за жизнь, когда за кусок колбасы с тобой могут сделать что угодно... Уронив голову на руки, Валя разревелась... Надрывался телефон.

– Да, бюро. Со списками больше не работаем. А-ааа. Тебя, Валь.

– Да, это я. Кто-о-о? Ну, допустим. Ну, нравится. Мне? Альбом «Пинк Флойд»? А не жирно? Надо, наверно. А может, не надо? Как-то мне скользко... стыдно перед подружкой... Лучше уж не начинать! Да, ладно, договорились.

– Что такое, Валь, ты чего так позеленела? У меня есть салат, – мечтательно сказала Марта.

– Давай хоть выйдем из клетки на полчаса? Не хочешь?

– Ты выйди, а у меня денег ёк.

– Март, я не могу сегодня идти домой. А он настаивает. Он говорит, что принесет альбом и все такое. Да разве ж дело в альбоме?

– Стой, не ори. Хватит сопли на кулак мотать. Кто это – он?

– Это жених Иванны... Ну-у, не то чтоб.. Ну, типа, молодой человек. Я в полном ауте.

– Да почему в ауте? Тебе-то какое дело!

– Не знаю.

– Ах, сама глаз положила! Вот так плюшка. А то смотрю, такая тихоня сидит, а сама вон чего...

– Марточка. Я сразу ему стала говорить, что это нельзя, никак нельзя, но понимаешь, он не слышит...

– Сучка не захочет – кобель не вскочит! Хватит мне мозги пудрить. Мне-то что?! Замечтала отбить, так отбивай. Но это трудно, кстати. А потом можно и по рукам получить. Пойдем ко мне, – распорядилась Марта, – там можно найти закуски, да, кстати, и выпить!

Марта быстро убрала все остатки обеда и, остро щурясь в зеркальце, поправляла макияж и прическу.

– Что ты Марта, у меня и так сегодня тяжелый день... или вечер... – пробормотала Валя убитым голосом. – Так я же свалюсь...

– И очень хорошо! Он придет, увидит такое безобразие и все! Подумает, что ты алкашка записная. И рукой махнет.

– Да-а-а?

– Да-а-а, – передразнила Марта. – А как еще? Вон, уже первая смена пошла.

Дома у Марты и закрутилась карусель.

– Начнем с браги!

Брага была розовая и шипучая, как лимонад, нисколько не горькая.

– Да ты не бойся, это ж ягода! Брусника наголимая. Она долго не ходит, в ней дубильные вещества, ясно? Ну, давай за любовь!

– Так мы же вроде же хотели наоборот?

– Вот так все и будет!

А с браги не только ноги, но и язык уже задубел. Девочки Марты, одна со школы, другая из садика, смотрели телик, жевали сушки и смеялись над мамкой и ее теткой.

А потом! Потом пришел муж Марты и сказал, что хочет жрать. Марта метнулась туда-сюда, поджарила картошки с грибами, сметаной полила. Муж понюхал еду и перевернул сковороду ей на голову.

– А-а, обормотина! Горячо же!

– Вот и я грю, горячо!

Она собрала со стола, с головы, с пола и снова разогрела.

– Я те сказал, дай другое!

Валька, онемев, смотрела. И снова он перевернул сковороду. В третий раз Марте удалось навести порядок. Она молниеносно вымыла голову, опять все сложила в сковороду, но греть уже не стала. Утомленный семейной жизнью муж все съел не глядя и заснул тут же, уронив голову на стол. Непорядок... Марта оттащила его в кровать волоком, хихикающим до икоты детям дала каши молочной, посыпала изюмом и пошла провожать обалдевшую коллегу. У нее так быстро получалось! Всех размела по углам.

– Давай же, иди, не падай! Не качайся. Тут недалеко, через гаражи пройти и общага. Что слабая такая?

– Да как не кач... качай... ся. Эт брага твоя... Эт... я те дам.

– Да что мне! На фиг мне! Ты главное, этому не дай, который придет. Жених там чей-то.

– Что, что я ему буду давать? Неч... чего давать. Я бедная.

– Вот дурочка. Это он тебе даст альбом какой-то. Западный. Потом мне принесешь.

– Аа-а! – заорала вдруг Валька. – Где колбаса? Я так с ней пере... мучилась, а кол... колбаса где?

– Ой, она за окном на работе, не ори. Ты бы все равно не донесла. Иди. Ничего не будет до понедельника.

И она пошла, но это была не ходьба, а одно название. Она колдыбала так, что без слез не взглянешь. Земля бросалась ей в лицо, но ничего, зато жених отстанет, и она дальше будет жить со спокойной совестью. Конечно, обидно, такой красавец... Ну! На фиг.

В гаражах она поплутала, засмотрелась на луну и чуть не завывала с тоски... Ведь какая она ни есть, но это послано ей судьбой! А она все изгадила. И он посмотрит и уйдет на веки вечные. Ну что ж, значит, достанется более порядочной, пусть он Иванне лучше достанется...

К родному общежитскому крыльцу вышла Валька на четырех ногах... Ах, жалко он ее теперь не видит. Почему жизнь такая сволочь?

– Валька, чертяка, ты где так набралась? – ее увидели Гребенкина и Манзенко и живо внесли на этаж.

– Не трр-рогайте меня! – упиралась и дралась с ними полетевшая с катушек девушка. – Мне спец... спец-цаально надо такой, ой, быть, потому что свидание. Оно не состоится. Все пррродумано...

Вся секция сбежалась, чтобы ее откачивать. Каждый предлагал свои способы. Девка вроде хорошая, а тут такое несчастье, валится кулем. И кто ее так напоил?

Никто бы и не подумал на коллегу по работе. Вальку вывернуло пару раз, потом ее оттащили в душ, вымыли всю, переодели в чистый халат и еще таблетку алко-зельцера дали. Так что через полчаса она уже сидела на кровати у себя в комнате вполне вертикально. Дружба общежитская – великое дело. А Жанна Горлова все равно смотрела на нее с великим презрением. Дескать, плебеи все такие. И плебейки тоже.

И тут постучали, и вошел Северин Седов! Подтянутый, ясноглазый. «Жених чужой, чужой возлюбленный, на казнь мою явился ты? На эшафот принес цветы!»

Он дружелюбно протянул Вальке кассету с музыкой, но, видя ее торможение, сам нашел им же починенный магнитофон и вставил кассету! И у нее в комнате под ее внутренний плач загремела сверхъестественная музыка. Это все совпадало.

Валентина полетела в водопад. Она беспомощно смотрела на пришельца и, шевеля рукой, пальцами, давала знать: зачем, дескать, в поток бросил? Бросил! Но он только улыбался. Те, на пленке, не тонули, они неслись победно и грозно, а она тонула...

С нее тут же смыло остатки враждебности, и она глупо заулыбалась. Она уже забыла все, что было перед этим, предварительное питье браги, трехкратные грибы на ужин Мартиному мужу, мучительный путь через гаражи, манипуляции в душе... Она осталась перед чужим человеком безо всего. Что же это такое? Что за обработка? Может, какое психотропное оружие? На гнилом западе все это уже есть...

Седов сидел спокойно, слегка отвернувшись к окну, совершенно не замечая поглупевшую Вальку с красными щеками и лежащую на прогнутой койке бледную наяду Жанну Горлову. Пушистый свитер скрывал его плечи, на которые небрежно сыпались русые волосы, подхваченные кожаной плетенкой. Потом убавил громкость и доброжелательно сказал:

– Разумеется, лучше слушать в одиночестве, не торопясь, не отвлекаясь на разговоры. Но ведь сегодня у вас праздник, не так ли? Есть повод.

– Нет!!! – закричали обе неудальные жилицы.

Одна – потому что кровь плохая, другая – потому что уже выпила норму, и свою, и за того парня.

Седов мягко улыбнулся, видимо, его устраивало.

– Понимаете, – хотела объяснить не совсем протрезвевшая Валя, – у нас в отделе чего-то было уже в обед. А потом мы оказались у Марты, потому что у нее есть брусничная брага, очень сладкая. Ну, короче, я надралась, как сапожник. На четвереньках пришла. Ну, что с меня взять? И матом я ругаюсь. Хотите, покажу?

– Замолчи, – у Жанны вырвался то ли стон, то ли взрыд. – Не слушайте ее! Она кривляется.

– Зачем?

– Затем, что шиза такая.

– Никакой шши... шизы. Язык малость налево, глаза со стуком на пол, но поговорить можно. О чем поговорить?

– О чем-нибудь очень далеко... от брусничной браги.

– С-сейчас... Жанна, в-выйди. Нам надо поговорить.

– Но мне же плохо! Как я выйду? В постельном режиме!

– Тебе всегда плохо! А мне всегда хорошо! Значит, и я, когда твой муж придет, больше не выйду...

– Девушки, не горячитесь...

Жанка со стоном вышла, набросив на себя плед.

– Хорошо, я готова. Спросите меня что-нибудь. Мы же можем культурно посидеть!

Как он усмехнулся! Он усмехнулся так, будто все знал заранее.

– Какой у вас любимый писатель?

– Анчаров. Шестидесятник! Что молчите? Попались? Не знаете? Мне один мужик предложил замуж.

Ресторан, столик, все дела. А я ему: «Анчарова знаешь?» – «Кто таков?» – «А вот узнаешь, тогда и поговорим».

И рекламщица Анчарова победно посмотрела вокруг. Она думала: о, какая крутая, куда там! А он подумал: «Нашла чем отбиться».

– Анчарова знаю, – не удивился Седов. – «Теория невероятности», «Золотой дождь», «Сода-солнце»... и так далее. Знаю. Интересно, но не все. Популярные издания для домохозяек.

– Как?

– Так.

Тут у нее в горле пересохло.

– А у вас кто? Любимые?

– Например, Томас Манн. Айрис Мэрдок. Акутагава Рюноске.

– Ну-у, я не читала. Так нечестно.

– А вы почитайте. Поговорим.

Гитарные модуляции из магнитофона осыпали, словно кубиками льда. Это было что-то потустороннее, космическое. Работающий мотор уносил в мир иной. Ей стало невыносимо грустно, ей этот мир был недоступен. Она никогда ничего не поймет, и никакая брусничная брага ей уже не поможет. Сердце захлопало всеми своими клапанами и захлебнулось.

– Ну, всего доброго. Я зайду на днях. Я же только подарок занес. Отдыхайте.

И он вышел. А Валька почему-то заплакала... Она хотела вскочить, побежать, остановить... Но она же сама добивалась, чтобы он... А он...

Вместе с кассетой он оставил какую-то газетную вырезку, видимо, объяснение этой музыки.

«Ида Клен. Музыка – это причина любви.

У меня была совершенно потрясающая история, связанная с Pink Floyd. И она всё ещё, спустя несколько лет, пахнет для меня любовью... и музыкой... сумасшедшей

музыкой, ни с чем не сравнимой, самобытной, разрушающей для возрождения... такой, какой она остаётся на этих альбомах PF. Он был старше меня. Мудрее. С тонкой, чувственной натурой. Невероятный интеллект. И он был фанат Pink Floyd. В его классе были собраны все альбомы, он знал слова, перевод, историю создания, автора текста решительно всех песен PF. Я сама дочь музыканта и имею музыкальное образование, но никогда прежде мне не приходилось встречать человека, который бы так основательно и углубленно отдавался предмету своей страсти... стоит ли говорить, что ему не составило особого труда увлечь меня собою... и этой британской великой группой. Некоторые их вещи я, конечно, знала, но когда передо мной открылся остальной мир их творчества, свет померк для меня!!! Вся жизнь стала вдруг проживаться лишь для того, чтобы проходить под эту музыку! Слушала сутками, не выключая, одновременно жадно проглатывая всю информацию о группе, которую только могла найти... ну и, конечно, секс... о нем особый разговор... И как только ему удалось разбудить во мне это дикое желание? Господи, что со мной творилось! Такая отчетливая фиксация на песнях PF и эротизме всего, что имеет хоть какое-нибудь отношение к ним... он не спешил... многие песни PF растянуты настолько, что нам вполне хватало времени на эти неспешные, настоянные на чувствах и музыке поцелуи, времени на объятия, на прикосновения, времени на то, чтобы почувствовать запах, на то, чтобы насладиться всем этим не торопясь, времени на то, чтобы вылакать обратно у жизни всё то, что было недополучено торопливыми ночами, проведенными вне друг друга... Эта история давно закончилась, однако в моей светлой голове Pink Floyd вечно будет жить раскрашенный яркими теплыми цветами любви, привязанности, сердечного томления и психоделическими вспышками смысла своих текстов, накрученными на

память моей оргастической сладости...» Нет, это просто сумасшествие. Это точно совпадало с ощущениями Вали. Попробуй забудь... Это охмураение, перед которым нельзя устоять.

Записная книжка Северина Седова

Фильм «Стена» основан на концептуальном полуавтобиографическом альбоме легендарной британской арт-рок группы «Пинк Флойд». Главный герой – рок-звезда по имени... Пинк Флойд (а вы как думали?), сталкиваясь с «черной полосой» в жизни, впадает в депрессию и закрывается от окружающего мира, замыкаясь на собственных галлюцинациях, переживаниях и воспоминаниях о детстве. Стена – совершенно очевидная метафора этого отчуждения от мира. Пинк возводит эту стену между собой и обществом, становясь от этого еще более одиноким и несчастным.

Однако все вышеизложенное лишь один из немногих аспектов фильма, поддающихся более-менее однозначной трактовке. Большая часть образов может быть интерпретирована по-разному. Скажу лишь, что немаловажное место в «Стене» занимают такие темы, как: проблема «отцов и детей», взаимоотношения в семье, несовершенство системы образования, механизмы превращения демократического общества в тоталитарное, опасность фашизма и диктатуры, одиночество и отчужденность людей друг от друга, недостижимость полной свободы личности, постоянная угроза войны и те ужасы, которые она сулит. И все это без каких-либо диалогов, только видеоряд и потрясающая музыка «Пинк Флойд»!

...В первый раз я посмотрел этот фильм достаточно давно, но до сих пор помню то сильнейшее впечатление, которое он на меня произвел. Благодаря прекрасной режиссуре Алана Паркера визуальные образы прекрас-

но сочетаются с музыкой, поэтому каждый раз, когда я слушаю альбом «The Wall», я волей-неволей вспоминаю сцены из фильма. Дети, шагающие ровным строем в мясорубку; отрешенное и безучастное лицо Боба Гелдофа с выбритыми бровями; мальчик, находящий шкапулку с папиными орденами... Но самое замечательное в этом фильме – это анимационные фрагменты, сотворенные фантазией Джералда Скарфа: два переплетающихся цветка, символизирующих плотскую любовь; нацистский ворон, прилетающий в Лондон и заливающий его кровью; сама Стена, плотным кольцом окружающая Пинка; шагающие строем молотки и т. д.

Дебюсси и «Пинк Флойд». Для молодежной газеты «Огни Севера»

...Не странно ли видеть эти два имени рядом? Дебюсси – французский композитор начала XX века. «Пинк Флойд» – середина XX века, английская современная группа. Но в основе их становления есть некоторые параллели, связи, которые существуют между классической и популярной музыкой. По словам Стравинского, «в серьезной музыке письмо более изыскано». Видимо, то, что он определял как изысканность, и направляло музыку в классическое или популярное русло. Журнал «Музыкальная жизнь» пишет, что «Пинк Флойд» пользуется успехом не только среди молодежи, но и среди людей старшего поколения. И дело не только в удовольствии, получаемом от звуков. Эта музыка дает почву для игры фантазии. Ансамбль писал музыку для фильма «Забриски поинт» Антониони. Эта музыка кинематографична. Один из альбомов – «Темная сторона Луны». В самом начале слышны глухие удары сердца, они и задают ритмическую структуру музыки. Само сердце побуждало создать музыку, подчиненную его биению, и это биение прослушивается во всех темах. «Дыхание»,

«Время» – это пьесы фантастического, созерцательного характера... Клод Дебюсси – композитор и дирижер, мастер звуковой живописи. Его музыка отмечена тонкой поэтичностью и звуковой изобретательностью. Известно, что побудительной причиной для его прелюдий «Лунный свет», «Облака», «Игра волн» послужили... отражения в воде и чувства, вызванные ими... а также следы на снегу, бег облаков... Даже названия бывают похожи, хотя музыка различна.

Один альбом «Пинк Флойд» называется «Звери». В этом альбоме есть музыкальные образы собак, свиней, баранов. Удивительно, но у Дебюсси есть цикл пьес под аналогичным названием! Чисто музыкальными средствами он изобразил лебедя, слона, индюка... В музыкальной канве группы даже есть лай и завывания собак, это можно слышать в реальной деревне. В сочетании со звуковыми эффектами это сильное эмоциональное воздействие, но не самоцель. Под «свиньями» подразумевается буржуазия...

Кстати, звукоподражание применяется и в классике, например, во «Временах года» Гайдна – петух и прялка, в «Пасторальной симфонии» Бетховена – птицы, раскаты грома. Введение реальных звуков усиливает остроту восприятия. Неудивительно, что художник Брюллов держал у себя дома электрофорную машину, возможно, в ее разрядах он видел колорит гибели Помпеи для своего холста...

Как видим, аналогии существуют между разными жанрами музыки. Выдающийся швейцарский дирижер Эрнест Ансерме утверждал, что «современная музыка не может порывать с прошлым, не может вводить коренные новации». Всегда существуют эти скрытые связи, которые позволяют глубже познать и старую классику и новую современную музыку, как более молодую и менее изученную...

ЛЕПЕСТКИ

...Встает солнце, выливает вниз из своего вёдра тягелое, сладкое, оглушительное питье. Целый ряд цветов выстреливает ярко-желтыми лепестками. На темной зелени горят, мелькают теплые язычки. Так горели бы газовые горелки прямо из грядки... И вдруг лепестки срываются и взлетают дружно. Ветер сдул лепестки? Да нет же ветра! Цветы стали бабочками, и вспыхнуло живыми искрами холодное небо. Одна бабочка кружится над водоемом, танцует вместе с упавшими туда травинками, садится на лист, лист несет ее. Лягушка раскрывает рот на красивую захватчицу, но той уж след простыл.

... Когда Тоня строила дом, она мечтала, что детям будет угол. Они с мужем десятый год горбятся, два этажа вывели, нулевой – все никак. Но вы не думайте, они доделают и нулевой, там уже обустроен теннисный корт, но пол пока без покрытия. Хотели бассейн, но ладно уж, без бассейна. Дразнились дочери: бассейн выложить золотыми монетами, ни одной серебряной, будет хоть одна серебряная, не зайдем, побрезгуем, и родных не пустим, чтобы не позориться. Но позориться теперь особо некому. Старшая хоть и живет дома, но как бы уже отдельно, младшая тоже когда-то уйдет. Кому останется этот дом, эти невозможные хоромы: столовая, кухня, два кабинета, библиотека, ванная, два туалета, пять спален и веранда крытая? Тоня вымечтала этот дом, в котором будет счастье всей семье, а, может, и ее сеструхе Вальке, которую носит по белу свету, как перекаати-поле. Ведь когда-то надоест Вальке мотаться, и она приедет к Тоне и спросит: «Как же мы столько лет могли друг без друга жить, а?» И они перестанут разлучаться.

Старшая-то дочь у Тони такая красавица, просто сумасшествие, с шестнадцати лет мужики убиваются по

ней. Крутейшая грива разноцветных от природы волос – полосами темно-русыми и белыми, глаза хмельно сверкающие серо-зеленым, слишком тяжелые глаза для детского-то лица.

Коммерсант ее выслеживал, когда экзамены сдавала в колледже. Тоня сторожила ее, чтоб не бегала по вечерам, так этот коммерсант Гена складывал цветы на крыльцо. Выйдешь утром – ах-ах-ах! Прямо в конвертах сверкающих, с лентами, из цветочного магазина, а то и в горшочках, но тоже с лентами. Однажды Тоня пришла с работы, а старшенькая мимо нее вихрем: гулять. Какие могут быть гулянки перед экзаменом? Мама, я умру. (Умоляюще.) Мам, да ничего такого. Он просто дарит цветы, говорит всякое, в кафе водит – просто...

Ночью пришла, рот до ушей: любит. И бряк на трюмо пузырек с духами в бархатной коробке. И еще коробки. И шоколад. И Тоня не выдержала:

– И ты на это барахло польстилась?

– Не барахло, это стоит много сотен, сама видела.

– Ах, ты видела? А ты вот это не видела? – Тоня сделала грубый жест. – Когда дарят, приятно. А когда платить?

– Мам, ты плохо думаешь о людях. Гена бесподобный...

– А какой бесподобный? Ну, машина, ну, деньги, ну, в белых пиджаках. А сам лысый и лет на четвертый десяток...

Старшенькая рыдать. Вот так она экзамены в колледже сдавала, в лихорадке – все ночи по окнам прыгала, когда он из машины сигналил. Высунет голову в форточку и заливается смехом на всю улицу. Он что-то говорит отрывисто из открытой машины, а она прям из форточки готова выпасть. Гоняла ее Тоня от форточки, гоняла, потом экзамены кончились, надо на работу идти, а старшенькая как чумная: я не стану работать, да зачем мне работать, у меня и так будет ВСЕ. Глазищи в

пол-лица слезами налила, под ними круги в пол-лица, рот как малина рдеет, волосы как нимб разметались вокруг лба. Что ж, совсем обезумела девка, это в шестнадцать-то лет, а что будет в двадцать?

Тоня продернула от сорняков ряд с гортензиями. Вот, гортензии белые сестра Валя любит, а что толку? Ни кола, ни двора у нее, замуж не вышла, бросила юга свои да с разбитым сердцем подалась на севера. Любовь несчастная, видите ли. Так ей говорили: не мотайся, осядь тут, где училась. Тут родня, тут помогли бы с жильем. Нет, понесло ее. Посылок одиннадцать штук отправила. И зачем? На северах и еды нет, и климат жуткий. Надо бы ей кофту новую связать. Бедная, неудельная сестра. А вот был бы дом достроен, так было бы куда и сестру позвать.

...Бабочки сели обратно в траву и вспыхнули ноготками, настурциями, львиным зевом, бархатцами. Только что их была туча, от этого мелькания, трепеташороха рябило в глазах. И уже застыла туча из бабочек лепестками цветков, и Тоня стала поливать цветы, прибрала метлы и ведра, заведующая пришла как раз, она с утренней работы прибежала, моет в банке. Заведующей Вере Куцей, тайно прозванной Эволюцией за интеллигентность, все сочувствовали. Тяжелая история с сыном получилась в армии: все нутро отбили, а потом еще и мать в госпиталь не пускали. Кое-как через совет солдатских матерей удалось его из госпиталя увезти, и справку выдали — к службе, дескать, негоден. Вера стала выхаживать сына, не надеясь ни на что. Вот уже полгода это тянется, надо Вере успевать на трех работах, да творог из деревни возить, масло, сметану. Сама Эволюция ничего этого не ест, но все понимают, соглашаются внутренне, творог разбирают...

«Тонечка, вы два берете? Один? Ну ладно, один тво-
рог и сметана. И еще одно дело! Разумеется, меня пре-
дупреждали, но все-таки поймите правильно, случай
исключительный. Люди интеллигентные, о, это что-то.
Сама из номенклатуры, дочь в банке, зять в Питере. Сын
у них. Не выручите? Нет, в садик его проблемно, силь-
нейшая аллергия. Ничего, ничего нельзя. Вы уж как-
нибудь, Тонечка. Знаю, что сложная ситуация, дом, де-
ти, муж, все знаю, дежурите аккуратно, воспитателей
подменяете. Дети к вам льнут. Да никаких рекоменда-
ций, слова моего довольно. Сколько ни дадут, все боль-
ше, чем наши ставки, а питание у них будет
трехразовое... Совсем недалеко отсюда, квартал».

Антонина согласилась...

...Когда полощет дождь, Тоня садится пороть старые
пальто и платья. Она все это по швам разделяет, у нее
специальная штучка есть, загнуто-острая, чтоб не наде-
лать дырок... Потом все постирает, выгладит дорогим
утюгом марки «Ровента» на пару и начинает резать
квадраты или ромбы. Если ткань не сыплется, значит
можно резать зубчиками и шить наверх. Когда накопит-
ся квадратов целый пакет с ручками, Тоня кладет все на
пол и составляет узор. Бывает, она сидит над этим неде-
лю, бывает, месяц. Вся эта штука началась, когда она
купила книжку по лоскутному шитью, английскую. Там
все было показано, как делать. И Тоне полюбилось де-
лать из дерьма конфетку.

А когда показала заведующей, та просто села. И
всплескивая руками, не верила, что одеяло-то само-
дельное. Ткань новая, хлопок с блеском, вроде сатина. А
посередине огромный как бы пион. И поскольку лепест-
ки расходятся от центра до краев по кругу, в центре го-
лубовато-белое, а дальше все темнее, до густо-
сиреневого. Да... Белье постельное она давно научилась

шить, даже на заказ. И сестре свои изделия посылала, но сиреневое покрывало – такое ей впервые удалось.

Тоня долго смотрит на разложенные лоскуты, голову наклонит, все улыбается, мечтает, вертит так и сяк, отходит к окнам слушать дождь. Распахнет все окна на веранде, ветер раздувает занавески, и они по оконной раме скользят и бьются. А Тоня смотрит вниз со своего второго этажа и видит, как во двор машина едет, Гены этого поганого. И старшенькая, ясно, вылезает и бежит домой вся в ворохе букетов и бутылок с французскими духами. Купили девку за рубль двадцать.

А младшую Тоня никогда не видит и не слышит, когда та приходит. Тихо младшенькая идет, ключами не швыряет, кошку не пугает, и ботинки моет сразу. Тоне хочется спросить, хотя она и знает ответ.

- Ты будешь, родненькая, свежие котлетки?
- Не надо, у меня пост.
- Ты в сквер пойдешь с подружками?
- Я лучше почитаю.

Тоня смотрит в сад, как груши-яблони колошматятся, полощутся в дожде, ветки топорщатся, в окна лезут, будто что сказать хотят, мало им на улице пространства. Зеленые яблочки срываются и стучают по цветам, и цветы прибывает к земле. И как это одно растение топчет другое? Не может же этого быть. Надо что-то думать с дочкой. Надо увезти ее куда-нибудь, сберечь.

Тоня берет молитвослов и читает молитву ко всем святым и бесплотным небесным силам. Она просит огладить целомудрие дочери от насилия, и так каждый вечер и каждое утро.

Муж Антон приехал со стройки, где его бригады ставили бензоколонку по последнему слову техники. Он пять дней работал, ломил там, а на выходные приезжал. Раньше-то, при городской работе, мог кран подогнать, и раствору забросить, и рабочему дать подкалымить. А теперь не стало в городе работы, так он и рванул в село.

Всего и ночь езды. Да привозил свежего мяса по дешевке. Антон любил комфорт и ванну перед сном. А тут работа ломовая, в гору не глянуть, не отдохнуть.

Вскоре заведующая помогла ей купить путевку в хороший санаторий. Старшенькую собрали тщательно и увезли на такси рано утром, в четыре часа. Вывели ее, как больную, под белые руки. Вечером того же дня был Гена и, узнав, что любезной нет, умчался на своей поганой машине с перекошенным лицом. Он крикнул в окно, что сожжет дом, раз такое дело!

Дней через пять, когда Тоня была в саду с младшей, постучала в калитку девочка. Беловолосая, в шортиках, майке и с сигаретой. Тоня думала, что это к старшенькой подруга, и крикнула, что той нет! Но девочка помотала головой и сказала: «Я знаю, выйдите».

Тоня сполоснула руки в бочке, подошла. Девочка сжимала ручки на груди, бросалась курить, потом забывала о сигаретке, и та гасла. Девочка, запинаясь от волнения, просила тетю Тоню простить ее папу. «Ведь папа любит вашу дочь безумно, он сделает ее счастливой». Тоня обомлела, когда до нее дошло, чья это девочка. Генны поганого дочка! Ну неужели до такой он степени дошел, что подослал ребенка?

Да-а... Сюжетик. «Но вы не плачьте, девушка, никак я не могу вам ничего обещать. Они не пара, понимаете, ну вот и вы не понимаете». Проводив ребенка, Тоня долго стояла в саду, забыв про виноград и флоксы. Их розовые лепестки устилали землю душисто и немо. Сначала шапками идут, шапками, точно пена на варенье прет, а потом застывают, вроде облитые лаком. И вот уже смяты края, сдуваются шапочки, все. Все должно погибнуть нежное, чтоб опять расти. В мире полный ужас и бесчестие. А старшенькая далеко. Там есть охранник, его муж нашел за большие деньги. И он хорошо будет охранять.

А чтоб не плакала старшая, не металась, младшая Мила, как и Тоня, тоже сидит и читает молитвы. Утром рано, прежде всякого вставания-потягивания, в ночнушке, стоя перед массивными иконами босиком, Тоня читает тихо и страстно. И ночью, когда сидит на дежурстве, накинув старое пальто, положив молитвослов на старый детский столик с ежиком. Потому что старшенькая – вся Тонина любовь и надежда, вся мечта о чудесной беззаботной жизни, все то, что вытерпела Тоня, – это ради нее, старшенькой. Для ее непрерывной и нескончаемой радости, для сияния ее итальянского личика.

Сосредоточившись на том, чтобы отдалить беды от старшенькой, Тоня не была сурова с младшенькой. Она ее не уговаривала, просто за неимением сил говорила с той как с равной. И подвязывали виноград они вместе, молча, и старые кофты в церковь несли вместе, и на дежурство в ночь вместе шли, молча.

А однажды, когда младшенькая, поймав усталый Тонин взор, поднялась мыть посуду, Тоню вдруг осенило – ее по-настоящему, безмолвно, слышат и угадывают мысли. Ей несподручно было говорить вслух, иногда неудобно, ей казалось, что она все должна сама делать и умеет лучше других. Но младшенькая угадала.

А когда соседка попала в беду, они вместе побежали в церковь заказать молебен. Тоня, отстояв службу, засмотрелась на полупустой уже храм. Младшенькая молчала, устремив глаза под купол – не рассеянно, а пристально смотрела. В шелесте и гулкости большого помещения она не была случайной в луче света. Она была частью всего этого. Не потому, что знала молитвы, правила исповеди и всегда знала, куда и кому надо поставить свечу. Все это она делала легко, машинально, поглощенная другой, более важной мыслью. Как будто ждала младшенькая, что ее терпеливое бдение вот-вот вознаградится. Спокойно было лицо ее, спокойна сметанно-белая трепетная кожица, всегда опущены глаза

при очень поднятых бровях. А здесь – она стояла, устремившись вверх, и не было сомнений больше – она видела то, что не видела Тоня. Уняв счастливые слезы, Тоня прошептала: «они разные, разные». На выходе ее обнял ветер – шелестом и шепотом в уши. Листья над головой шевелились, пропуская вспышки и пригоршни солнца – его, солнца, отряхаемые лепестки. На Тоню тоже падал этот зыбкий золотой свет, и она думала об этом благодарно. И еще надо помолиться за сестру, рабу Божию Валентину... Чтобы разобралась она в себе. Хорошо бы судьба у нее сбылась. Удачная или нет, но сбылась. Вон родители болеют как, но они здесь, в одном городе, навестить можно. Эта же бестолковая сестра мотается по свету. Сколько можно мотаться?..

* * *

Мальчик, мальчик беловолосый в это время ждал, как все решится. Он сидел столбиком на необозримом диване, сложив руки на коленках. Ноги подогнуты по-восточному, штаники крохотные джинсовые в сверкающих заклепках, майка банановая желтая. Непослушный мальчик, он у доктора не хотел как следует открывать рот, и теперь мама Джина обиделась. Она будет греметь крышками, напевая, что-то варить, говорить по трубке, перекрикивая телевизор, потом открывать окно, кричать в окно с картошкой в руке. Она будет всю балабанить, не замечая его, мальчиковых, слез. А мальчик Кузя такой, он тоже первый не подойдет. Он тоже хотел бы смотреть телевизор и балабанить. И когда мама Джина отопьет из большой бутылки желтое, можно просить себе сок или коку. И ему бы тоже дали детский сок, а коку нельзя, покроешься. Мама Джина гремела, Кузя терпел. Потом пришла баба Ульяна, стала качать головой и молчать. Она платочком Кузины слез-

ки вытерла и на кухню. Ала-бала! Ала-ла! Стали на кухне с мамой кричать. Кузя терпел.

Когда папа уезжал на свою работу, он сказал:

– Терпи, Кузя. Все будет бананово.

И Кузя терпел, не орал. Но потом опять бананово не было. Что толку терпеть? И тогда он лег тихо на спинку и уставился на круглый аквариум у дивана. Там цветные конфетти кружилось замедленно, листики желтые и красные опадали, ниточки зеленые извивались. Рыбки шныряли как молнии – чирк, чирк. Им все можно, ему нельзя ничего. Автомат купить нельзя, папе звонить нельзя. Тогда он взял да и толкнул аквариум ногой! Сам не понял, зачем. Бдрямм! Он не испугался, а стал смотреть, что будет. Рыбки заскакали по коврам. В это время звонок у двери. Ку-ку, ку-ку. Папа звонок повесил для Кузи, чтобы лес был.

Вбежали баба Уля, мама Джина и тетя. Стали руками плескать да вздыхать. Мама и баба – ала-бала, ала-бала! Тетя рыбок собрала в баночку, аквариум подняла. На ковре полотенца разложила банные. Подошла к Кузе, погладила по голове и сказала:

– Скучно? Тебе скучно, Кузя?

Он закивал.

– А рыбки могут желание исполнять, знаешь? Но только золотые. А ты их вылил.

Кузя подошел, показал пальцем на вуалехвоста в банке, который не плавал, а тупо лежал на дне.

– Бо-бо.

– Конечно, Кузя. Болеет рыбка. Не делай так.

Он опять сел столбиком на диван.

– Кузяяя... – вкрадчиво сказала тетя. – Ты – Кузя, – и она положила ладошку на Кузину грудь. – А я няня Тоня, – и положила руку себе на грудь. – Няня. Подружимся, что ли?

Ладонь была тепленькая. Кузя взял ее руками и снова к себе приложил.

С первого дня голова у Тони загудела. Этот дом все силы у нее вытягивал, и не брезжило никаких просветов. Джина работала в банке, уходила рано, поэтому Тоня старалась смотаться на работу, убрать садик как можно раньше, сбегать домой, пошерудить на кухне, потом сразу в особняк Зерниных, кормить Кузьму, гулять Кузьму, потом разговаривать, заниматься, потом быстро на рынок, ребеночка-воспитанника на ручки, больно уж он тихо ходит.

По рынку Тоня неслась быстро, ведь мама Джина могла увидеть ее, и тогда все воспитание быстро бы кончилось. Джина наполовину грузинка, гордая такая. Чуть что не так – вскидывается.

Мальчик нежный, сонный и безразличный, только покачивался на руках, как на верблюде. Пока Тоня платила, он мог схватить яблоко, сливу, и продавцы даже не возмущались, махали рукой – идите, идите с ребенком. Но Тоня, отбежав, отбирала у Кузи все, что он прихватил. Не углядишь, в рот потащит. Так получилось однажды. Схватил клубничину, сунул в рот молчком, а проснулся после тихого часа страшной атомной войны. Мама Джина с работы, а тут не пойми кто сидит! Какой-то осьминог вареный.

– Кузя! Тебе нельзя мандарин! Ты сыпью покроешься!

Но стоп. При няне Тоне эти выходки прекратились.

А когда приехал папа из Москвы, он велел няне Тоне переодеть платье и идти в машину. Джина вышла в макиже, а он: нет, лучше Антонина Петровна поедет с нами, она с ребенком лучше справится, если что. И это маме Джине точно не понравилось.

И когда Тоня через неделю отпрашивалась на выходной, Джина не соглашалась. А Тоня сказала бесцветным голосом: «Извините, Джина, ко мне машина с бетоном придет».

Залить бетон надо было в нулевой этаж и на площадку перед домом.

Муж никак не мог, у него другой бетон на стройплощадке был. И когда водитель подогнал бетономешалку к дому, не торопясь вылил часть через рукав прямо в подвал, оставалось только разровнять. А часть в огромную мульдугу около ворот. И тут только увидел, что появилась около мульды тонкая женская фигура с тачкой и лопатой. И у него, закаленного человека, перевернулось нутро. Он понял, что это по ее душу пришла бетономешалка. Как же она сладит? И бригады все в работе. И, чтоб не смотреть, уехал с глаз.

ВОСЕМЬ МЕТРОВ ШЕЛКА

Несколько дней, даже не дней, а недель под знаком «Стены» «Пинк Флойд» прошли довольно уныло. Уже на улице жухли сугробы, оседали морозы, дули мокрые тревожные ветры, посверкивали солнечные, хотя еще и студеные дни. В такие дни у автосервиса сонно грелись машины, и над ними чирикали воробьи. А у Вали Дикаревой все еще не кончился сезон дождей, как сказал бы Сева. Они разговаривали о посторонних, далеких от Иванны предметах, как вдруг Валька с места в карьер начинала лить слезы. Что, бесит слово «бесит»? Но Сева был невозмутим. Он удивлялся внутренне, пожимал плечами в бежевом свитере или четкой, под джинсу, рубашке с погончиками. Ну, не может быть столько слез в одном человеке. И что за мировые проблемы она там вообразила? Что она сейчас вот ляжет на рельсы, пожертвует собой, и вслед за ней начнут падать все окружающие. Глупая бессмысленная истерика. Полная ерунда. Решает мужчина.

Вчера он хотел прийти и принести «Собачье сердце». Но забыл. Для нее это был сюжет номер один, а для него номер -надцать, делать больше нечего. А перед тем Дикарева позвонила той Никаноровой, что работала с Иванной, чтобы спросить про Иванну – как она, что. И Никанорова басом сообщила ей нечто, от чего мороз по коже. Состоялся же суд, в конце концов, и отцу Иванны дали четыре года строгого. Жуть, оцепенение... Что делать? Ведь надо было срочно лететь к ней, успокоить, утешить и наплевать на все личное. И тут Дикарева затылком, спиной, горлом пересохшим чувствовала свою подлость, но надо, надо идти. Да-а, это был тот еще черок. Стороны молчали. Утешение получалось слабое.

– Я должна тебе признаться, – прошептала Валя.

– А лучше б ты не признавалась, – прошептала Иванна.

- А ведь я тоже пережила... – продолжала свое Валя.
 - Подличать не надо было! – отворачивалась Иванна.
 - Да я сопротивлялась! – настаивала Валя.
 - Плохо сопротивлялась... – упрямилась Иванна.
- Это был диалог глухих.

Иванна цеплялась за остатки разума, Валя цеплялась за старую гитару. На что надеялась? Что жертва простит обидчика?

А на другой день пришел Сева. Синие сумерки уютно дышали в окно. В углу щелкал решетчатый нагреватель-камин. Вообще-то он собирался прийти в семь, а пришел почти в девять. За это время и помереть можно. Но Валюшка не имела права помирать. Ведь она обманывала подругу с ее молодым человеком, обманывала молодого человека, давая надежду, и обманывала себя саму. Она все еще на что-то надеялась. Надо было ждать разрешения ситуации. Но она вообще не умела ждать. Она то бегала по комнате от нетерпения, сшибая стулья, то некстати начинала мыть полы и тут же забывала об этом. Хотела включить радио. Она стояла, слушала романс «Как светло, как было зелено», понимала, что поют про нее, а с тряпки ей на ногу текла вода. Постепенно движения ее замедлялись, и она садилась за стол, уронив голову на руки, и странная Жанна Горлова жалостливо выносила из комнаты забытое ведро. У Жанны всегда была такая задача – вынести ведро, разрядить обстановку. Но на сей раз Жанна, наоборот, все усугубляла и запутывала. У нее была плохая кровь, и она чаще всего ложилась на кровать и отворачивалась к стене: делайте что хотите. Но вот пришел Сева, и надо притвориться, что все хорошо. Первые слова не получаются. Люди смотрят на «камин», тянут к нему руки.

- Я должна признаться... Я была у Иванны.
- А мы думали, что ты туда больше не ходишь.

- А там случилось.
- А что там может случиться?
- Их отца посадили.

Молчание.

– Это, конечно, неприятность. Но это их неприятность.

– Да неужели? Я-то должна утешать, а я наоборот.

– Да ты здесь абсолютно ни при чем. Решает мужчина.

– Я призналась, что мы встречаемся.

– Так вот почему ты такая невеселая.

Валя начала слезокапить.

– У меня это называется «лежать в отрубях», а у тебя это называется «невеселая».

– Никакой разницы.

– Разница есть! Еще какая разница! – заговорила Валя, давясь слезами. – Все спокойняк, а я в отрубях. Это один вариант. Все в отрубях, а я спокойняк – это другой вариант. Есть разница?

– Да, это нехорошо, – сказал он, нахмурясь. – Но надо пережить, смириться.

И они опять заговорили об этом, Иванна обоим была близким человеком. Следовало как-то сгладить ситуацию. Лечь на дно хотя бы на время. Некстати поднявшая с подушки голову Жанна вдруг промолвила, что оба говорят глупости.

– Вам, конечно, стыдно, но вы себе жизнь ломаете. А Иванне вы все равно не поможете.

Это был удар грома от тихой Жанны Горловой. Она всегда была какой-то засланной, оппортунисткой, тихушкой, мышкой, жуком-древоточцем. А тут вдруг – человек.

– Я все поняла, – плакса энергично высморкалась, – мы не будем встречаться.

– Это утвердительно или вопросительно? Если утвердительно, тогда я должен подчиниться. Видимо.

– Так ты-то что скажешь?

Он молчал.

– Не связывайся ты со мной. Я гигантская флюктуация, у меня бутерброд маслом вниз падает, причем всегда. Кто со мной свяжется, с ним будет то же самое. И у тебя все будет кувыркком, и ты будешь сердиться.

– Если бы я сердился, так я бы давно ушел.

– Молодец, – сказала с подушки Жанна Горлова, не открывая глаз.

И что она не могла помолчать-то! Вот тортом не корми, дай прокомментировать!

Видимо, в конце концов лимит слез был исчерпан. Эта фраза поставила точку в сезоне дождей. Валя поняла, что ей действительно не надо больше ходить к Иванне, и что Сева не идет к Иванне не потому, что он трус. А потому, что он не считает нужным объяснять женщине – когда, как и почему он ее бросил. И таким образом увеличивать количество ее горя. Жизнь разносила их быстрым течением в разные стороны, и правота эта была значительно выше, чем правота или неправота отдельных людей. На Валином языке это значило «у него с бабой все», а на Севином языке это значило – подчиниться жизни, ничего не оспаривать. И как примирить эти два понятия, совершенно не ясно.

Снова она провожала его до двенадцати ночи. Снова они замерзли оба до потери сознания, потому что пропустили столько автобусов. «Хорошо терпеть испытания, – говорил он, – когда во имя чего-то. Но когда человек сам ищет трудностей, это глупо». – «Да, – говорила она, – я зачоченела вся, и нам всю жизнь придется мерзнуть и чертыхаться». – «Надо решать проблему», – повторял он. И автобусные створки захлопывали его и уносили вместе с проблемой. Она бежала домой, нечуящими ногами наступая на ледок в лужах, запахивая

тонкое пальто, держа себя нечуящими руками. Она согласна была мерзнуть, лишь бы это продолжалось без конца. Дверь общаги была уже заперта, и вахтерша открыла далеко не сразу, а за Валькой втискивалось еще человека три, которые опоздали.

Значит, все, хватит притворяться, хватит пить и строить благородные позы. Уж и так насмотрелся он на нее, такую дураковатую во всех видах, уж и наслушался ее воплей и рыданий. А если и после этого он не возненавидит ее, пожалеет, то тогда он действительно душенька, древнерусский человек.

* * *

Когда одному плохо и другому плохо, и они друг от друга далеко, то можно сделать финт ушами. Надо полететь навстречу друг другу, презрев расстояния, и тогда минус на минус даст плюс. Дикарева не знала, что делать. А когда она не знала, что делать, она просто шла на вокзал. Выпадение в другой мир вышибало паникершу из привычной колеи, и ее слабые мозги в шоковом состоянии работали в совсем другом направлении. Вот и в последний раз, когда она гостила дома, родители обрабатывали ее так и эдак. После доброго и длинного семейного ужина, когда не хотелось думать ни о чем, отдыхать, просто, например, разбирать старые пластинки, они вызывали дочь Валентину на ковер и спрашивали:

– Тебе сколько лет?

Они задавали этот вопрос каждый год несколько лет подряд, как будто они не были ее биологическими родителями. Получив ответ, они мрачно качали головами.

– Ну? – папа грозно сдвигал брови. – Не засиделась в девках-то?

– Давайте не будем разводить пожиже, – резко отвечала Валя, – я никого еще не встретила.

И гордо уходила.

Уже за дверью она слышала, как родители, горячась, перечисляли все, что они для нее сделали: нашли самого ценного репетитора, умнейшего еврея, выучили в самом престижном институте, сапоги купили самые дорогие, на шпильках, и вообще никогда ничего не жалели. Даже и мужа они ей давно нашли, ну просто такой редкий человек: и врач, и борода, и машина, и двухкомнатная, и штаны синие в дырках, с биркой железной, и еще сам поет и рисует. Какого еще-то рожна? И после этого – вот она, благодарность. Дочке становилось очень душно.

Вот теперь, идя на вокзал, она перебирала в памяти все эти вызовы на ковер и думала, что же делать. Что делать, если нет даже кандидатов. Надо поехать к сестре, та встряхнет ей мозги...

Едва от дома сестры отъехало опустевшее такси, они обнялись и постояли на крылечке, качаясь, как рябины у самого тына. Они стояли, качаясь, а память вмиг переносила их в те времена, когда в кутерье сестриногo взбулгаченного ремонтом семейного гнезда они переговаривались о главном лишь урывками. В одной комнате стонали деды, в другой плакала грудная дочка. На кухне бурлил бак с бельем, и молчаливый краснолицый муж молча заделывал раствором трещину в стене. Поскольку трепетная Валька не была ни хорошей сиделкой, ни отменной стряпухой, ни штукатуром, ей быстренько дали в руки ребенка, чтобы он впустую не плакал. Так и запомнилась себе во время того приезда к сестре со свертком в руках. Она прихлебывала суп с ребенком в обнимку, она закручивала кран переполненной ванны с ним же в руках, она стояла со свертком полночи перед черным зимним окном. Ей уже казалось, что это ее ребенок, потому что счастье-то какое: она качает, и

племянница замолкает. В такие минуты не кажешься себе лишним человеком, и вообще, как-то не до глупостей, не до ерунды. Все хотели посидеть за столом, но не получалось. Вдруг после кормежки племянка прикорнула около двенадцати, и они живо наладили себе две рюмочки в ночи. Охватил какой-то неуместный ржач, было стыдно разливать, распивать, даже сидеть просто так, но сестра сказала:

– Хватит уже. Нам никогда не до себя. Ты мне кто – сестра или труба на бане?

Тогда она была усталая, круги под глазами, в старом халате, промокшем на груди...

Теперь она выглядела в сто раз лучше: младенцы в доме не плакали... А глаза смотрели с той же теплотой и тревогой.

– Ну, сестра, и что? Что смотришь, Тоня?

– Так что случилось-то там у тебя? Что такое, что лица нет на тебе?

– А вот что. Я предала свою лучшую подругу. Я бросила ее в горе, в то время как ко мне ходит ее молодой человек.

Они чокнулись рюмками и вошли в разум.

– Ну ты, милая, даешь, – сестра ласково погладила ее по щеке, – никак чужого мужика отбила? Раньше такого не было.

– Что ты, что ты, я не хотела! Он сам.

– Вот и славненько. Хватай и радуйся.

– Не могу, совесть мучит.

– Глупости, засунь эту совесть куда подальше. Это грубо, но справедливо. Тянуть больше невозможно. Ты говоришь, хороший?

– Бесподобный... А вот ты вышла, и что? Хорошо тебе разве? Вот такой марш по белью, по дедам, по ремонту...

– Трудно, конечно, но зато хорошо. И здесь мое место.

Все, как раньше, когда сестра была намного моложе. Только раньше они говорили с перерывами, на руках плакал грудной ребенок, и дальше они говорили вполголоса. А теперь они говорили вполголоса по привычке. «Как легко с тобой, как смешно! Годы идут, а ты – как коза по кочкам!» Так сказала сестра, и много-много дней потом помнила щека Валентины рубчики сестрино вельветового халата. Это же самое сказала Тоня однокурснице Хуторенко! Потому что, несмотря на развод и семейные дразги, она опять на коне: новая работа, новый любовник. И улыбка, полыхающая на всю улицу... Вот отчего светло в городе юности!

И на этих ночных посиделках вдруг опять стало ясно, что они очень друг другу подходят, что жить бы им вместе, много бы сил сэкономил они тогда. Но нет, надо ехать из этой родной хаты опять туда, в свое одиночество! Куда приходил этот человек, Сева Седов, и больше он не придет.

Раньше, пока быструю сестра убирала тарелки, Валуша качала племяшку. Ту самую, к которой теперь поклонники с цветами ездят! Она качала ее упорно и неустанно, не замечая, что кроха уже давно заснула, и качка методично продолжалась. И на вокзале привычная качка продолжалась, и потом у окна вагона, когда летели мимо навек любимые сосны, и потом в своей оставшей общаге, куда вернулась, усвоив механическое это качание, оно прилипло, пристало будто бы навсегда. И ловя себя на том, что опять стоит и качается, она усмехалась: быстро же ты привыкла! А, может, и напрасно уже привыкла-то. Ишь! Она старалась не думать про свои неудачные личные дела.

Они гуляли по знакомому городу и забежали в какой-то магазинчик в подвальчике, сестра указала кистью руки на отрез. Его померили – восемь метров белого креп-фая, шелк, ширина двойная. «Да куда столько!» – «Да берите, девчонки, чего уж тут отрезать».

Они и взяли. Потом стали его раскидывать на столе, отрез сползал, словно разлитая по полировке сметана, так, примерно, ведра два сметаны. Вскользь поговорили про фасон. «А что там мудрить? – сказала усмешливая сестра. – Попроще надо. Юбку пустишь длинную, полу-солнцем, с баской, а верх – с широченными руками. Тут главное, что ткани много, вся красота в простоте!»

Вот такая была поставлена точка над і. Сестра ее поставила. А Валя поставила ее внутри себя, успокоившись мыслью: «на всякий случай».

Да нет уж, не на всякий. Только на один единственный в жизни случай...

БРОДИТЬ ПО БЕРЕГУ ВДВОЕМ

Настал великий час великого субботника. Валя, Марта и Онтария сгребали мусор на подступах к очистным сооружениям. В небе тучи, хляби и дальний «рокот космодрома». В мусоре картонки, смятые треугольные молочные пакеты, ломаный коричневый бурьян и прошлогодние носки. В душе – лучше и не спрашивать. Территория очистки была такая гигантская, что заводоуправление растворилось без остатка. Каждый участок не видел следующего. Густо гудели машины, увозящие мусор. Репродукторы поднимали дух бодрой музыкой, но непогода все заглушала.

– Ну что, девчонки, после субботника ко мне? – проронила Марта.

– Да что ты, стеснять тебя! – отозвалась Онтария. – И ко мне придет сватья, ну ее на фиг.

Валентина молчала, что было на нее не похоже. Она – или рыдать, или смеяться, третьего не дано.

– А ты чего, Валентина, нарисована картина, не хочешь выпить? Мы же скоренько.

– Нет, мне надо срочно... Я договорилась... Один раз я уже выпила браги, это потом далеко зашло. К своим еле вышла. Нет, не могу.

Они на нее подозрительно так посмотрели. «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева...» Завывал ветер, на очистных гремело не прибитое кровельное железо. Чем не рокот космодрома?

– Я, девочки, быстро отнесу мусор и пойду, ладно? Вы не того, не обидьтесь...

– Да уж вместе отнесем...

Девочки удивились, посмотрели, но ничего не сказали.

Слом отношений совпадал с великим ленинским субботником. Это была такая неизбежная дань каждый год – отстоять несколько часов на холоде под сверлящими взорами начальства. И считалось, что это добровольно. Поскольку у каждой организации был свой рабочий график, не все совпадали с графиком поминовения вождя. За две недели до него хозяйки начинали считать лопаты, греметь ломиками, топориками и ведрами. То же самое и у Вали на работе. Когда запланированное подметание тротуара и уборка листвы с газонов оказалось невыполнимым, – все было еще подо льдом – всем выдали ломы и лопаты, разбивать лед, грузить его на тележки. Народ понимал, что вскоре лед растает и сам, но делать было нечего. Надо думать, на вождя от такой картины напал бы саркастический смех... После обеда, когда в большом холле сотрудницы собрались со своими баночками и чайниками, уже не так тянуло домой, но разбегались, впрочем, поспешно.

Обошла Валента корпуса, добралась до своей застрехи и уныло продолжила великий почин продолжительным мытьем полов. Она догадывалась, что у ее друга тот же самый ленинский график, но не знала, где его ловить – на работе или дома. А домой звонить страшно. Голосовые модуляции его матери вгоняли ее в невыносимый страх. Это был хорошо поставленный голос воспитанной дамы из благородной семьи. Поэтому Валента села перед окном с книжкой и решила подождать. Но день кончался, ничего не происходило. Ее соседка по комнате, Жанна Горлова, отработала субботник на прошлой неделе и теперь ушла в поход по киношкам на целый день. Ёлки-палки, самое бы время ему прийти! Не шел, не шел, не шел... Неизбежное потемнение за окном наполнило ее диким беспокойством, Валюшка побрела к телефону. По телефону ей холодно ответили: «Хоро-

шо, сейчас». «Прости, – сказала она вместо «здрасьте». – Ты сильно занят?» «Да, немного, а что?» – «Нет желания в нашу сторону проехать?» – «Сейчас я узнаю, не надо ли чего. Если что, перезвоню. Да нет, чего звонить. Я буду». Она поняла по паузам, что он обменялся взглядами, и матушка не против...

Апрель такой студёный был в том году! Подтаявшие дороги застывали ночами, потемневшая было река опять затвердела, и по ней продолжали вышиваться тропинки. Снежок, то летевший мелкой пудрой, то склеенный в большие лохматые хлопья, прикрывал талые места, и весна тут же превращалась в зиму. И вошел он, весь запорошенный, с покрасневшим лицом, потирая застывшие руки. И было удивительно это, потому что после девяти в общежитие не впускали, а в одиннадцать выгоняли всех, кто успел просочиться незаконно.

– Как пропустили?

– Сказал: «Сразу обратно». Убедительно сказал.

– Сейчас поставлю чайник!

Кто-нибудь знает, что такое костер на снегу, если ты не на лесной поляне, а в оцарапанной комнатке огромного скучного жилища? А делается этот так: выключается верхний свет, на пол ставится допотопный нагреватель в решетчатой обшивке, а на коробку от электроплитки – чайник и две чашки. При этом, конечно, желательно, чтобы у костра собиралось не более двух человек. Но если уж кому-то так повезло, что ближайшие соседи разводят костер в другом месте, будет праздник! Некоторые особо осторожные при этом вешали на дверь с внешней стороны картинку с костром, и понимающие люди после этого не ломились со всякою ерундой типа соли, спичек, хлеба. А если все-таки ломились, то смущенно лепетали: «Ой, пардон», и пятились назад. А еще хорошо, если у вас есть вентилятор, то его можно поставить куда-нибудь повыше на шкаф и прицепить к нему пачку целлофановых ленточек – они давали полную иллюзию шелестящей листвы. Как

говорится, голь на выдумки мудра. И таким простым способом было можно улетать в другие миры.

Предшествующие этому бедному пикнику тяжелые разговоры, разборки с Иванной, молчаливые клятвы: «Больше никогда, никогда...» ни к чему не привели. Вернее, они привели к полному бессилью. Бороться далее не хотелось, ведь самая тяжелая борьба – это борьба с собой, а другие кандалы в данном случае были не так страшны.

И Валента, раз уж она так виновата, и она заранее была виновата, ничего она теперь не докажет ни себе, ни Иванне, ни этому загадочному человеку. Пусть все идет как идет. Пусть тащит ее течение, и она даже не старается увернуться от камней, лишь бы только плыть и плыть, ощущая мощные толчки воды, ощущая стук сердца в собственных ушах.

То есть она покорилась обстоятельствам. Все тормоза, какие были, оказались сорваны. Прощайте, ребята, я покатилась в свою пропасть.

Неизвестно, что думал ее собеседник, загадочный человек. Что не время, не сейчас, что вряд ли стоит доверять истеричной особе, которая выплакала на его глазах не один аквариум слез. Да и теперь, у костра в комнатке как-то затравленно озиралась, ища за шкафом силуэт своей суровой подруги. Но особо думать об этом не хотелось. А вдруг она больше никогда не захочет так отвратительно рыдать, ведь иногда она совсем не прочь посмеяться. Прежние его девушки никогда не намекали ему столь прозрачно о том, что он нужен. У этой же все было написано на лбу, и если бы не пресловутый лимит слез, все было бы не так плохо. В конце концов, далеко не все девушки разбираются в английской рок-музыке, и многие явления для нее станут открытиями на всю жизнь. И что же она думала? Что, надраив полы, она как-то исправит ситуацию? Ясно, что не его круга, но тоже человек. Довольно открытый, до ужаса наивный, и пускай. Ему не хватало этой открытости. И если после

стольких месяцев она все-таки моет эти дурацкие полы, моет, значит ждет его, что бы там она ни говорила... Была в ней какая-то неистребимость. Эти немодные цыганские волны волос, эти серьги кольцами, эти длинные юбки, эта ненужная верность подружке...

Он долго ее никак не называл. Она его – «Сева», «Севочка». Один раз даже – «Перестань, Северин». И он – «Что, Валента?». Она даже испугалась: «Почему Валента?» – «Потому что валентность – твое свойство. От valēns – «имеющий силу»...

В одиннадцать в дверь постучали. Резкий распев вахтерши ударил по нервам: «Эй, гости, на выход! Кому сказала! Чтоб через пять минут забрали документы! Линейный отдел милиции в соседнем корпусе. На выход!» Бедная вахтерша, ей никогда не было двадцать лет, и она не знает, что такое костер на снегу. Он ушел, застегиваясь на ходу, и она так и не успела сказать, что ей пора ложиться в больницу, ну хотя бы предупредить как-то, что исчезнет надолго. У нее в глазах стояла странная картинка: они вдвоем идут по берегу, медленно, дыша полной грудью студеным речным воздухом, впитывая его, как воду, и ветер треплет их волосы, и им по многу лет уже, и эти многие лета они прожили вместе. А тут, если пойдет что-то не так, они не смогут быть вместе, не смогут бродить по берегу, бережно поддерживая друг друга. Все эти смутные сбивчивые рассуждения нельзя было втиснуть в обидные слова прощания. Пусть он лучше не знает.

Что касается его, то он с легким сердцем пошагал на автобус, чей временной интервал был минимум тридцать минут. Чтобы не примерзнуть к остановке, надо было ходить. Броуновское движение вокруг автобусного навеса совершали еще трое бедолаг, но все они знали, что им приходится отрабатывать, за такое и померзнуть не жалко. Железо, покрывавшее остановку, тоже было оторвано и скрипело. Замерзанцы били ботинками по стылой земле и прикуривали друг у друга.

ГОРЯЧЕНЬКОГО НА НОЧЬ

Одно дело целоваться до одурения в своей комнатке, а другое дело в доме чужом... В каморке, заваленной любимыми кассетами и журналами, заклеенной неземными лицами, Валя позволяла себе думать гораздо дальше того, до чего могло вообще дойти. Она еще только собиралась с кем-то пойти в кино, а в голове уже громоздились картины развода. Ну и на хрен надо!

Она еще только замечала, какими дивными стежками зашит его джемпер, а ей уже чудились ночь, бутылки, бег по дождю и пустота в душе. Но они уже целовались. Поэтому мысли заводили девушку далеко.

Девчонки в коридорах общежития с ним здоровались: «Здрасте, Сев-Сеич». Он думал: да откуда они меня знают? А ведь четкие люди же дежурили на вахте и с первого раза просекали, что за человек.

И приходили не вовремя занять то сахару, то соли, то есть просто поглазеть. А у Вали в это время все тело ныло от целования, и ей хотелось сразу всем им по башке, по башке. А Северин – ничего, полная невозмутимость в полосатой рубаше, расстегнутой ниже, чем надо. Античный, безмолвный. Кожа белая, тонкая, видно жилки на виске, на запястьях. И русые волосы до плеч. Прозрачные очи.

Белкова, которую все звали Желтковой, однажды вломила с топленным маслом, присланным из дома: дескать, понюхай, Валя, масло топленное прислали в посылке, не испортилось? А сама сует квадратную упаковку под нос Северину Алексеичу, а тот удивляется беспредельно. Вот этот изумленный чистый взгляд делал Северина Седова похожим на святого человека. Но он, конечно, им не был. А люди смущались конкретно.

Другое дело – в его комнатке. Там стояли камера и проектор, на стене висели не лица, а круги киноплёнки.

По ним нельзя было определить, кого и что он любит. На столе валялась книжка «Муви мэджик», там оказались лихие картинки со взрывами и морскими катастрофами, а текст был на английском.

– Это про что?

– Про чудеса кино. Про секреты съемок.

И все! Сева Седов был довольно скрытный. Валя шкурой чувствовала, что это человек не ее круга. То есть нет-нет, это она – не его круга. А чего ж он тогда... И после театра тогда целовал, и у киоска. И когда ее окликали из коридора девчонки, чтоб идти за свеженькими зелеными огурцами из «Тепличного», он тихо придерживал ее за руки: «Ты подумала, что будет со мной? Пока ты ходишь, меня арестуют...» Какие там огурцы! Она ведь даже цыпленка не смогла толком пожарить, так и замерз на подоконнике, бедолажка, поставленный в духовку, затем выдвинутый оттуда, чтоб перевернуть... А потом, пока она провожала Севу, она вообще не помнила про цыпленка, а только утром нашла на подоконнике пустую сковороду... Это были милые общежитские штучки.

Но здесь все было так страшно. Тут она была не просто девушка, а его девушка. Ей казалось, что высокопоставленные родители Севы тут же начнут обсуждать с ней Бергмана и Курасаву... Ерунда, конечно. Она боялась, они сразу будут против, заранее... Но ничего такого! Они просто проводили ее взглядом, кивнули «здравствуйте» и все. А Сева стал ей показывать пленки, которые наснимал в отпуске. И ей сильно понравилось кино про заштатный глухой городок. Людей там не было, были только деревья в бурю, молния, кошки перебежали дорогу, козы лихорадочно что-то жевали, а Ленин под удары грома вздымал в руке крест. То есть он, конечно, ничего не вздымал, просто ракурс оказался такой хитрый.

«А что ж я ничего не умею? – беспокоилась девушка начинающего киношника. – Он вон какой, а я...»

Потом к Севе кто-то пришел, и он надолго исчез поговорить на лестничной клетке.

– Помогите же...

Задумавшись, она оглянулась, вздрогнула было и замерла. Обычно ее на вы не называли, так что это «вы» вряд ли относилось к ней. Но из кухни прямо на нее плыла мать Северина, гордая и медленная, как белый пароход. Седые волосы собраны в прическу с гребнем, на темное платье накинута шаль, на подносе чашки, курящийся чайник. Загостившаяся девица живо протянула руки, но ей взглядом указали на дверь, чтобы она... просто открыла дверь.

– Спасибо! – спохватилась гостя и покраснела так, будто ее застали без одежды. Но она же помнит, что на ней была строченая джинсовая юбочка и бесформенная красная кофточка, предательски спадающая с плеча. Зачем же Сева ушел в такой ответственный момент?

– Пожалуйста! – все его кассеты и книги деликатно потеснились, чтобы встал поднос. – Пирог и отбивная. Чай и сливки. Попейте.

«Черт побъери!». Валента стала втягивать носом ароматы – сначала зажмурившись, потом открыла глаза. Отбивная переливалась в радужном пару от ярко-желтого до густо-чайного зажаренного цвета. Она была огромного размера, величиной с тарелку, видимо, ее отстукали тщательно, долго валяли в специях и панировке, применяли деревянный молоточек – она было тонкая-тонкая, с крапинками от молотка, отороченная светлым жирком, небрежно откинувшаяся на листья салата.

– Что ж ты на нее смотришь, как удав на кролика? – засмеялся Сева. – Вперед, в атаку.

Но оголодавшее Поволжье вдруг вспомнило, что отбивную принесли только одну, значит – сыночку. И вообще...

– Я не буду, не буду, – заупрямилась Валя. – Это тебе твоя маман приготовила, она на меня не рассчитывала.

– Но она ее готовила, когда ты уже была здесь... А один я тем более не буду! – улыбнулся Северин, поднабивая собеседницу. – Пускай пропадает. Зато чай со сливками. Щавелевый пирог. На вкус как яблочный.

– А можно я попробую сливки без чая? – вытянула губы трубочкой.

– Вперед. В атаку.

– А почему все атака? Это из армии?

– Нет, это из Ремарка.

– Я тоже читала Ремарка! – заорала гостья, радуясь, что хоть что-то она знает и может поддержать умную беседу.

– Я верю, не кричи... – он сдержанно улыбнулся.

– «Три товарища», «На западном фронте без перемен». Знаешь, что меня удивило? Что они умели радоваться жизни, несмотря на то, что жизни никакой не было. Без конца кто-то умирал, на войне или на гонках, а они сядут на очко и в карты играют, ржут не по делу. Как так можно? В госпитале: мужик раненый, лежит только боком, а к нему чешет жена, причем ведь ребенок явно чужой. Что делать? Ужасно натянутая обстановка... Палатные парни как-то в угол уползли, чтобы люди как муж и жена... Ничего, что при всех, под одеялом. Потом же ели колбасу, которую баба привезла, да смеялись. Мужик немец весь в поту, счастливый... Это не просто же гуманизм, это я не знаю... Сочувствие великое, жалость... Бесподобно...

– Любопытная интерпретация... Да ты сама же такая, впрочем. Жадная до жизни. Только там не мужик, а герр Иоганн... И видимо, не баба, а фрау Левандовская...

Сева увидел у Валентины усы от сливок и не тронул пальцем, а снял капли ртом.

– Скажешь – не хочешь? Хочешь, но упираешься. Ммму... Мулатка...

Но Валюшка уже не понимала не то что умных разговоров, а вообще не могла говорить. Она чуть жива от этого чая уже, когда он из твоей чашки пьет, языком по краю проводит, сливки слизывает с губ, на чай горячий дует и с чашки дует ей на шею, и шее тепло. Он медленно, медленно ее обволакивает, и она вся жидкая, как сливки в кувшинчике. Как он умеет целовать, он просто пьет ее кожу, глотками, несильно, плавно, и от этого кувшинчик все пустее, пустее, его надо заполнить... Она отворачивает голову в сторону и взгляд ее падает на отбивную. «Не судьба попробовать», – тоска запоздало мелькает в глупой Валькиной голове, но Сева очень-очень хитрый. Он, не отрываясь от нее, быстро берет ртом кусочек отбивной и несет милой в рот. А она, как зачарованная, смотрит и возмутиться не успевает. Так он добивается своего: кормит свою девушку и совращает заодно. А она, глупая, стонет от наслаждения, потому что не знает, что сильнее – наслаждение тающим мясом, или сладкий шелк его губ на шее, или сильное, жадное то, что начинает незаметно ее заполнять...

Она так стонет и мечется, сбрасывая с себя и строчечную юбочку и предательскую красную кофточку, краем сознания понимая: «Нельзя! В чужом доме! Войдут!» Но тут же сдается и растекается, как сливки, по чужой широкой тахте. «Быстрее!» – почти требует она. «Тише!» – останавливает ее он. «Делай больше, мне ничего», – стонет она. «Ни за что», – бормочет горячечно он. Почему такой вихрь беспощадный? Это сойти с ума, забыла всякую гордость. Нет у нее больше гордости, она падет в пучину радости, но падет вместе с большим потоком, с водопадом, в шелесте и брызгах, вот уже скоро, скоро...

Но раздается из комнат пронзительный крик:

– Сына, сына, иди сюда! Я жду! Ты слышишь?

«Сына» дернулся, застыл.

– Что еще такое ей приспичило? – забормотал он, напаривая брюки.

– Кто это? Маман?

– Да... Что-то случилось. Может, ей плохо?

– Не смей никуда ходить. Хотя б секунду... Ты что такое со мной сделал?.. И после этого – бежать?

– Как и ты... Ты притихни здесь, я вернусь скоро.

– Да не ходи ты!

– Не могу, надо...

Он трясущимися руками натянул джинсы на голое тело. Бросил ей плед, ушел. Валя лежала, вся разнеженная, заведенная до не могу, прислушиваясь к себе.

Ничего она хорошего в себе не услышала. Все заласканное тело ныло невыносимо. Облом хуже некуда. По башке бы надавать за эти крики в ночи... Чуть не заревела даже, но сглотнула дурацкие рыдания, скрепилась. Минуты летели все медленней, потом остановились часы. Она, дрожа от обиды, нашла свои юбочки-кофточки, оделась. Стала пробираться к выходу. Вот, получила. Нельзя до свадьбы, нельзя. Вот раскуражилась и получила!

Ужасно ясно представила, как они с Севой поженятся, и маман будет все регулировать. Циклы считать. Как Сева заболит, и она ему постелит отдельно... Нет, наверно, они не поженятся. У них ничего общего. Кроме Ремарка. «Ты прелесть, ты хлещешь ром и ворует булочки»...

Может, придумать для Севы сценарий? Чтобы он снимал не только хронику, но и художественное... Валя шмыгала носом и рассеянно одевалась.

У двери впотьмах столкнулась с крадущимся Северином.

– Ты куда? Назад! Трубы поют отступление.
– Ну нет, все.
– Обиделась.
– А ты думал. Воры тоже обижаются, когда им красть мешают. Я пошла, а то мои автобусы уйдут.
– Это, как его... А скажи мне одну вещь.
– Ну что?
– У тебя живот болит?
– Радуйся – болит. Ты доволен?
– Да. Ведь и у меня болит.
Они постояли, пободались тихонько.
– Ну, хоть что-то общее, – вздохнула Валя.
Сева засмеялся.
– Не хохочи. Смех убивает эротику.
– Откуда ты знаешь?! – трясся в пароксизме Северин.
– Журналы читаю... – она опять вздохнула. – Кстати!
Чего ей надо-то было? Таблетки от приступа?
– Да нет. Она, понимаешь, забыла мне дать молока горяченького на ночь. Вот я пошел, сам нагрел, выпил горячего молока с медом и спокойной ночи.
– Ну ни фиги же себе! Спокойной ночи называется... – Девушка рева-ревой, а тут что-то стал ее смех разбирать. – Ну, ты был хорош, конечно. Замок-то хоть на джинсах сошелся?
– Да плохо сошелся... Извини за такое обращение.
Хохотали бесшумно, как им казалось. Вышли, застегиваясь на ходу, ну и видок у них был. В подъезде Валька натурально застонала.
– Что, что с тобой? – испугался Сева.
– Прости, я лифчик забыла. Ой, дура, блин. Найдут же...
– Вот это ты зря! Вещдоки оставлять нельзя, следствие сразу установит.
Он еще раз вернулся и пошарил там, рискуя быть застигнутым и больше никуда не отпущенным.

Шли и непрерывно целовались. У киоска «Союзпечати», у театрального подъезда, у витой чугунной ограды, под фонарем. Доцеловались до того, что опять... захотелось... Мучение настоящее. А поскольку автобус все-таки ушел, Северин поймал случайное такси и Вальюшку в него погрузил. Дверью хлопнул со злостью.

– Нет, это кошмар. Ты не представляешь, как мне надоело тебя провожать!

* * *

Недошитое платье качалось на плечиках на ободранной общежитской стене. Воротник апаш и рукава покроя «принцесса» придавали ему старинный и одновременно походный оттенок. В костюмных фильмах тех времён то и дело мелькали такие воротники и рукава в сочетании с широчайшими юбками и плюмажами на шляпах. Такие платья отсвечивали атласом и бархатом на старых картинах, в богато иллюстрированных исторических романах. Конечно, к такому платью пошла бы кружевная шляпа с пером, либо пенообразными мелкими цветами. Даже двойной подол платья был уже отстрочен, и в подгиб была вставлена леска. Благодаря этому край длинной юбки в пол кучерявился винтом... Однако невесты уже заскакивали в загс с голыми руками и даже спинами, поэтому такие широкие рукава могли бы, наверное, вызвать улыбки гостей. Одного не хватало в этом наряде – сама двойная юбка да ещё и с баской не была пришита к приталенному верху, из пояса торчала наметка. Так вот эта наметка так там и осталась.

Ах, когда она шила это платье, все общежитие насмеялось над этой затеей, а многие страдальчески сдвигали брови, крутили пальцем у виска. «Видано ли дело – самой себе платье шить на свадьбу. Никак ты очумела, Валька? Да давай вон, кого хочешь попросим, и недорого

сделают. Ну что вот ты кулёмаешь? Ой, нехорошо, ой, примета страшная...» Валента никого не слушала. Она никого не просила помочь, и с вечным своим упрямством она твёрдо верила, что сэкономила большие деньги и сделала все правильно. «Отвяжитесь от меня, это всё бабкинство ваше старушечье. Вы знаете, какие я раньше платья шила? Портнихи не могли догадаться о покрое!»

Да, сделала она себе однажды подарок в сверкающей молодости. Просто увидела в прибалтийском журнале «Силуэт» обалденную выкройку, заняла у подружек деньги и помчалась в магазин тканей. И присмотрела она там фиолетовый шерстяной креп, очень мягкий, упругий, текучий, тяжёлый. Поскольку лишних тканей у нее в общежитии не было, она быстренько стащила с подушки наволочку и вырезала из нее верх платья. А когда сложила всё по насечкам ровненько, сама на себя в зеркало ахнула: драпировка начиналась на плечах, откуда складки стекались в точный угол на талии. Получалось что-то вроде накладной отделки, вроде съёмного воротника. Но в том-то была и хитрость, что это было сложено, а потом прострочено. Две ночи она морочила голову над этой драпировкой, а когда явилась на работу в новом платье, произошла немая сцена, как в «Ревизоре» Гоголя. И простонародная Валька с горящими щеками чувствовала себя фонтаном на площади. Драпировка стекала с плеч и углом собиралась на поясе. А поскольку юбка была длинная и годэ, остатки фонтана струились вокруг колен. «А ну-ка попробуйте, сумеете такое!» Но на такое никто не решался и даже не пробовал. На это могла решиться только Лидия, мать Валентины. Она однажды свела выкройку из немецкого журнала, сделала по ней платье – красивую шестиклинку, полочки верха в виде жилетки, на талии две жемчужные пуговицы и на рукавах по две, впереди глубокий вырез для манишки. Тайком свели выкройку две под-

ружки, потом весь поселок, и все, Лидия никогда больше то плате не надевала. В этом были женская смелость и аховый вызов...

Поэтому белое платье казалось ей очередным дерзким экспериментом, и никогда бы она не доверила это чужим рукам. Потому что тогда не распирала бы ее гордость, не кружил бы голову внезапный праздник, как от веселого дела рук своих. Но кстати, тогда никто и не поверил, что это она сама его сшила...

Что делать с несостоявшимся праздником? Может быть, разорвать его на разные обиходные тряпочки, как делала ее мать, когда вещь нельзя было надеть? А может быть, оторвать юбку и носить верх и низ отдельно? Но это же глупо. И блестящие шелковые нитки, которыми были отстроены края, сразу бы всё выдавали. Нет, место этому платью на помойке! Нужно взять эти плечики, повесить их на сетчатую оградку и так и оставить. Из окна можно посмотреть, как это изделие будет мокнуть под дождём, как его будет раскачивать ветер судьбы, как мимо, каркая, будут проноситься вороны и оставлять на нем свои сюрпризы. Жалко? Да нет, не жалко. Дело в другом – ей нельзя быть такой же глупой, счастливой, как это положено всем другим. То и дело проезжают мимо дома машины с новобрачными, но наблюдать за веселой возней у подъезда ей было уже неинтересно. Один вечер – и она перенеслась в другую жизнь, в другое существование. Там не было места никаким глупостям, драпировкам, буфам и прочим воланам. Может быть то, что связывало ее теперь с Севой, не поддается описанию, так оно непонятно и так огромно. А Сева-то что-то заподозрил. Недаром же, заставая ее в слезах или в мрачном рассматривании стены, он садился рядом на диван и, ухмыляясь, говорил: «А вот интересно, к такому покрою пойдут рельефы или вытачки?.. Или, может быть, «молнию» здесь нужно? Или просто карман?» Валья при этом начинала дико смеяться: «Что ты

говоришь! Молния или карман? Ты где это видел – карман на спине?» На это Сева ей неизменно отвечал: «У нас же должны быть общие интересы! Я не знаю, как ты отнесешься к группе «Супертрэмп» и вообще, насколько тебе близка английская рок-музыка? А я так могу поговорить про вытачки, видишь, я даже знаю, что такое буфы!» После такой заявки Валя хватала бумажку и начинала яростно ему рисовать, как выглядят буфы или чем отличается вытачка от рельефа. В этой чуши они заходили очень далеко, и причина слез обычно забывалась...

Большая трехкомнатная квартира буквально за два часа стала маленькой. Она будто съежилась, как сухофрукт при экстренной сушке в духовке. Вроде на вид то же самое, а края потемнели, и вообще появился вкус горечи. Некоторые очень любят темный горький шоколад, но это была чушь! Валюша любила молочный. Все было пропитано горечью в этом доме. Даже идя по прихожей из кухни в комнаты, она замедляла шаги. Вот именно здесь она и увидела отца Севы, в прошлом министра, когда впервые переступила порог этого дома. Седой министр стоял со шваброй в руках и монументально протирал полы. Взглянув на нее, он скорчил смешливую гримаску, сморщил нос. «Кажется, я перестарался с этой шваброй...» Они тогда, чуть раздевшись, бросив одежду на вешалку, прошмыгнули мимо, а ведь он был расположен поболтать. Он смотрел на них с добрым расположением. Что теперь говорить, у нее больше нет возможности поболтать с ним, пока он орудует шваброй...

ПЕННЫЕ БУРНЫЕ ВОДЫ

Да, они два дня назад целовались с Севой самозабвенно. И соответственно, поцелуи зашли далеко. Этого можно было ожидать! Ведь вместо костра у них был решетчатый нагреватель с пылающими красными стержнями внутри. Клеточки уютно плыли по стенкам, и было совершенно не видно, что это облупленные казенные стены общежития. Но она вспомнила вдруг о своем, о женском, и уперлась ладонями ему в грудь: «Мне это рано, мне надо сначала в больницу». И он как-то очень поспешно отвернулся, отпрянул... называй это как угодно. Видно, он подумал – ну, вот и хорошо. Но хорошо ли ей, запомнившей это?

Она упала нечаянно в этот поток, и поток ее потащил. Сперва по темным коридорам поликлиники, потом по светлым коридорам больницы. Она уже могла пошевелиться, попав на этот конвейер. Да, обнаружился гадкий опасный очаг, рано или поздно это все равно бы обнаружилось, так нечего ныть, выступать и беситься. Странное смирение ее охватило. А ведь у нее никогда не было смирения... Нигде у нас никуда не спрячешься, не скроешь свое уродство. Да и чем она, Валя Дикарева, виновата, если разобраться? Сначала их гоняли в колхоз... как сидоровых коз... каждый год. А потом через годы ругают, что так застудилась? Что теперь ругать, раньше надо было спохватываться...

Апрель на севере талый, но холодный, хрустящий на дорогах невидимыми льдинками.

Валя приехала в клинику рано, в приемном покое никого не было, только поблескивал мокрый пол. И она всматривалась в этот пол, будто хотела там разглядеть исход своего грустного дела.

Конечно, ее всю разобрали на анализы, ничего не оставили... Дали понервничать пару суток. Все это время она думала, что это уж наступил конец. И она думала, что Сева так думал. Но Сева так вовсе не думал. Она думала – что будет, если она умрет? И еще – что думал Сева про то, что будет после того, как она умрет? Чушь. Сева не думал, что будет, он не думал, что она умрет, наоборот, выйдет, как миленькая. Вот только прилично ли будет с ней поехать на дачу, ведь у них грядки, сарайчик и все. Или, может, ехать в другое место... Нейтральное.

И, кстати, Сева вовсе не знал, что думает об этом Валя. Какие-то изменения в судьбе, которые могли бы следовать за этой её больницей, это волновало, в первую очередь, женщину. Но не мужчину. Подумаешь, больница. Это заурядно. В больнице ликвидируют неполадки в каком-то женском механизме, чего особо тут расстраиваться? О чём распространяться? А Валя, не евши сутки до этой операции, думала, что не только её жизнь от этого зависит, но и жизнь её будущих детей, если они будут, конечно... И, в общем, она была недалеко от истины. Она стояла у окна, смотрела на зарождающееся утро, на хрусткий ледок на лыжах во дворе и на чёрное кружево веток на ярком, розовом утреннем небе. Вздвогнув на окрик: «Эй, Дикарева, в операционную!», она медленно-медленно потащила в ту сторону тапки, спадающие с ног. Большие больничные тапки, все про них знают. «На стол, да поживее!.. Повернись сюда... теперь сюда... руку дай... Ой, венки до чего худые! Ты наркоз-то как переносишь? Нормально?» Валя пожалала плечами, откуда она знала? Круг света над нею стал сужаться и вскоре погас совсем.

Она приходила в себя медленно и как-то рывками. То вдруг увидит свет, его вспышки, разговоры – тоже обрывками, как будто то увеличат громкость, то убавят... наконец Валентина очнулась от хохота. За окнами было темно, не понятно: ночь или вечер. «Пиить...» – проскрипела Валя чужим голосом. – «Ну вот, заговорила, да так кротко... нельзя тебе ещё пить, подожди немножко... вон, дай ей салфеточку». – «Пиийить...» – упрямилась Валя. Соседка по палате приблизилась и помочила сухой ее рот мокрой марлечкой: «Что же не сказала, что наркоз-то не переносишь?» – «Почему? Переношу я наркоз...». В ответ ей опять: «Ха-ха-ха! Да ты после наркоза-то сколько материлась – мамочка родная!» – «Матом?!» – подумала она ошеломлённо. «Кто это ругался матом? Я что ли?!» – в голове у Валентины всё мутилось и кружилось. Это значит, она, что ли, ругалась матом? Как вообще узнать – самое страшное теперь про неё знают? Или еще не всё? Что она ещё могла наговорить? На обходе лечащий доктор смотрел на неё как-то сочувственно: «Зайди-ка, деточка, ко мне». А сам поймал её в коридоре и доложил шёпотом: «Слушай, ну тебе надо это знать. В общем, когда я тебя порезал, я там кое-что обнаружил... Ну, то, что планировал, я, конечно же, сразу удалил, а эта вот штука была неясной этиологии. Ну, по правилам-то, я должен был спросить согласия родственников, но когда? В карте ничего не было указано, думать мне надо было одну минуту, не больше, в общем... Удалил я эту штуку, удалил всю левую сторону. Для верности. Ну, прости деточка, ну так получилось... Так вышло...» – «И что теперь?» – спросила Валя. Даже не спросила, а как-то пробормотала, в страхе. «Да ничего... чтобы рожать, у тебя есть шанс на правой стороне, она цела». И, погладив её по плечу, лечащий доктор побежал дальше по своим срочным делам, а Валя так и

осталась стоять у стенки, забыв, что шла в туалет. Она стояла, держалась одной рукой за стену, а второй за живот, из которого много чего убрали. Но легче от этого не стало. Лицо её пылало. Ветер из далекой форточки шевелил её длинный, серо-мраморный халатик в мелкую розочку. Вот тебе и кружево веток. Вот тебе и розовое небо... Она целые сутки плакала и, конечно же, наплакала температуру. А доктор пришёл, склонил голову набок и погрозил ей: «Что же это ты, деточка, а? Что это в тоску-то ударилась? У тебя тридцать восемь! Я тебе так скажу: с такой температурой я тебя вообще отсюда не выпишу. Что это ещё такое? Ты соображаешь?!» – «Да я соображаю...» – пробормотала Валя. Ну, формально так пробормотала, а, в общем-то, ей было уже наплевать, какая у неё температура. «А раз соображаешь, так и бери себя в руки! Жених-то есть у тебя?» – «Есть», – холодея, ответила Валя, хотя нужно было ответить: «Нету». – «Ну вот, давай, без фокусов, без психов. Успокаивайся, температуру снижай, и я тебя быстренько выпишу. И увидишься». Да, идя по коридору на другой день, она думала: «Хватит уж, правда. Даже если больно, надо делать вид, что не больно». Её вызвали в приёмный покой. Кто мог к ней прийти? Там сидела в красивой кожаной куртке строгая подруга Иванна. У неё причёска была, локоны навиты. На лице слабый, но чёткий макияж. Валя сразу ощутила, что на ней макияжа нет. «Ты как тут? – удивилась больная. – Ты как и откуда?» – «Да неважно, – ответила Иванна, не ответила, а отчеканила, – вот, пришла проводить. Что болит?» – «Живот болит...» – «Ну, поболит и пройдёт. Раз ходишь пешком, значит, живая осталась. А вот душа... с ней будет посложнее. Она быстро не проходит». Валя не знала, что ответить, и внимательно разглядывала красивую клетчатую юбку и рельефы на куртке. Иванна вынула аккуратный пакетик и протянула Вале. Сок яблочный, сметана, картошка в затуманенной баночке и рядом не-

сколько крохотных солёных огурчиков-корнишонов. «Спасибо, Иванна, – Валя осторожно держала банку, как хрустальную вазу, – я так рада, что...» – «Рада ты, конечно. Но не огурчикам. Ну, впрочем, оставим это. Ты что всё стоишь-то? Садись же!» – «Не могу я, у меня шов тянет...» Тогда Иванна встала, но медленно, с достоинством. Лицо её казалось бесстрастным, мраморным, лишённым радости и боли. «А ты-то как?» – нехотя, хрустя огурцом, спросила Валя. – «Я нормально. Я как раз нормально заживаю». Потом подняла глаза огромные, чёрные, очерченные тушью: «Ну ладно, мне пора». – «Уже? – удивилась Валентина. – Ты что, пришла, чтобы уйти? Давай поговорим, может?» – «А мы уже сказали всё друг другу», – сухо уронила Иванна. Её тёмные локоны были такие блестящие, такие пружинистые и пахли весенним ветром. Валя судорожно оглянулась: по коридору шёл Сева.

«Вот ты себя и выдала. Прощай», – она заспешила по коридору. «Надо же, ко мне пришла и от меня рванула на всех парах», – задумалась Валя. Северин и Иванна поздоровались. Только на полсекунды задержали они шаг, но задержали. Так вот зачем она приходила! Она приходила, чтобы его увидеть. Значит, она была уверена, что он может быть здесь! Интересно, каких подруг она обзванивала, чтобы всё это узнать? А, впрочем, наверно догадалась.

– Сева, откуда ты узнал, что ко мне уже можно приходить?

– Как откуда? По телефону. А что, рано?

– Да нет, не рано. Только я сегодня очень страшная...

– Почему? Как всегда.

«Он считает, что я всегда страшная», – усмехнулась она.

– Ну что же, идём в палату? Тут так много народу – каждый о своём.

Они потихоньку вошли в палату. Он в плаще, который тут же снял, воровато оглянувшись, и она в своём серо-мраморном халатике. Он улыбался почему-то. Чему он улыбался? Может быть, потому, что редко бывал в больницах? Скрывал свою растерянность? Вот четырёхместная хирургическая палата. И женщины в халатах. Они понимающе переглянулись и направились к выходу. «Чего это они?» – удивилась Валя. «Так понимают», – ответил Сева. И, наконец-то, вручил ей тюльпаны, которые были аккуратно упакованы в целлофан в необозримом его портфеле. А потом он достал ещё баночку такого странного жёлтого цвета. Неужели бульон куриный? Запах, такой волшебный запах пошёл из-под крышечки!

– Ух ты! – засмеялась она. – Надо же, бульон! А кто варил?

– Мама, – ответил Сева, – и сообщила, что его надо выпить при мне.

Короткая эта фраза загудела, как аккорд. Они счастливо переглядывались под питьё бульона. Бульон-то не вино. Потом он ещё улыбнулся этой необъяснимой своей тихой улыбкой и удалился. Чтобы отчитаться маме, как всё прошло. Валя смогла прилечь на кровать лишь на пять минут, после чего соседки по-деловому вошли из коридора, будто ждали.

– Ну что, что он сказал?

– Сказал, что бульон варила мама...

– Ну, всё понятно! Значит, она не против! Она в курсе, и она не против. Радуйся, Валента, и дай тебе Бог.

– А почему Валента?

– А потому что от слова «валентность».

Так они рассудили. А как она должна есть приближающийся обед после этого бульона – никому уже не интересно. Как учили. Бульон, конечно, сработал. На другой день доктор дал приказ Валью выписать. Она судорожно стала звонить по телефону Севе и говорить, что

ей пешком не добраться от больницы до общежития. И он её успокаивал, говорил что ничего, он возьмёт такси, чтоб не волновалась, такси довезёт. Ну и вот наконец-то наступила выписка. Валя долго сидела в приёмном покое, ей было стыдно, что она ходит ногами и не может добраться до общаги. Но Сева отвёз её на такси, и всё было нормально. Бок болел совсем немножко, в общежитии все вытаращили глаза, сбежались из комнат. Сева вёл Валю под руку, как суженый. Ох, но до этого было слишком ещё далеко. Оказавшись одна в пустой комнате, Валя не нашла ничего лучше, как лечь и заснуть. Она вымоталась за эти несчастные тридцать минут, пока ехала на такси. А если бы она шла пешком? Сева не оставил своих хлопот. Он прилетел на следующий день рано утром, снова на такси. «Что на этот раз?» – испугалась она. – «А ничего. Пора тебя откармливать!» Они поехали на рынок и покупали только то, на что ей хотелось смотреть и на что она даже пальцем боялась показать. И они накупили мяса, овощей, фруктов. Сева всё это принёс и сгрузил. Господи боже мой! Сколько же он потратил на всё на это? Бедной Вальке, не избалованной ни вниманием, ни деньгами, казалось, что было потрачено целое состояние. Но она взяла себя в руки, поставила в духовку мясо, и у них был длинный, роскошный обед. «Всё, – сказал Сева, – с этого момента ты уже не считаешься больной, ты уже здоровая». Подмигнул и вышел. Подарок судьбы. Все приметы этого подарка были налицо.

Судя по всему, самое страшное было уже позади. Позади были больница, мучительные мысли о будущем, всякие сомнения – всё, что Вале как индивидууму было не свойственно.

Валя всегда жила сегодняшним днем, но вот свалилось на нее откуда-то с неба это испытание, и она даже подумать боялась о том, что случится завтра. Приговор,

вынесенный доктором, толкал ее к действиям. Но что именно делать, она не знала. Да, невозможно. Но если проскочит какой шанс, упускать нельзя. Шансов будет очень мало. Больничный шел к концу, пора было выбираться на работу, впрягаться в привычную лямку будней. К тому, что до сих пор не было самым главным – заниматься делом. Но о деле думать не хотелось. Она тихо выбиралась на балкон своей секции, шурясь, всматривалась в туманную даль полей, которые простирались после заводской окраины. Все равно и эти поля будут скоро не видны, заводские корпуса их закроют. Валя смотрела вдаль и не видела там ничего. Валя смотрела вниз и видела обычную возню двора. Дворники, бабки на табуретках что-то продают. Кричащие дети из семейного корпуса. По утрам к открытию магазина подъезжают машины и разгружаются. И что, ничего, выходит, не произошло? С ума можно сойти. А действительно, все было буднично – люди утром уходили на работу, вечером приходили. И все? И это вся человеческая жизнь?

Иногда заглядывал Сева и спрашивал, не купить ли ей что-нибудь.

– Да что ты, – протяжно отвечала Валя. – Я же не одна, со мной рядом Жанна Горлова и другие...

Тут она лукавила. Жанна Горлова появлялась в комнате совсем редко и в основном для того, чтобы лечь в постель, плотно завернувшись в одеяло. А если с супругом приходила, так и вовсе приходилось выметаться.

– Да, хорошо, можно сходить в аптеку, чтобы купить там...

Она забыла, что надо в аптеке.

– Да, не успела придумать, – отзывался Сева, – ну, я приду.

Валя думала, что после больницы все пойдет по-другому. Но все было то же самое. Ужас. Солнце заливало золотом и теплом надоевший общежитский двор.

Где-то шла новая жизнь, которой так хотелось. Но стыдно же звонить Севе не по делу, стыдно признаться, что ей просто хочется, чтобы он пришел. Не на рынок. Не в аптеку. Не в магазин, а просто погулять. Наконец она осмелилась. Это произошло через пару дней у нее дома. Она боялась говорить о таких вещах по телефону. По телефону она поговорила с Мартой. С больничного ей выходить некуда: их бюро сократили. Ей придется временно поработать в профсоюзной библиотеке. А лучше бы она выматывалась с завода.

– Сева, я что хотела сказать. Нельзя ли в выходной или когда у тебя будет время... В общем, выйти...

– Куда? – удивился Сева.

– На природу. Ведь, как-никак, солнышко, лето бушует, трава вон какая уже. Природа. Понимаешь, о чем я?

– Природы завались на даче, – бодро ответил Сева, роясь в недрах швейной машинки.

– Я не могу пойти к тебе на дачу. У меня статуса нет, я никто. Был бы статус, ты бы меня познакомил, а так нельзя, без статуса... Как без штанов...

– Что ты несешь? – обернулся Сева, его брови поползли вверх.

– Ты ведь понимаешь, о чем я. Ну ладно... Не будем. Я и так их боюсь, они будут смотреть... Не будем. Лучше просто погулять, а не посягать на чью-то дачу...

– А, понял, – сказал Сева. – Тебе нужно свидание организовать? Так я тебе помогу. Что нужно для свидания? – он насмеялся. Как потом оказалось, он не любил пафос и других от него отучал.

– Да ничего не нужно. Специально не надо организовывать, может, просто без никаких там, – заикалась Валя.

– Договорились. Если на дачу родители не велят ехать, то встречаемся на автостанции. Знаешь остановку

рядом с автостанцией? Сможешь выйти из общежития так, чтобы оказаться на остановке часов в одиннадцать?

– Постараюсь, – насторожилась она, предчувствуя настоящее свидание.

Так началось другое время – ожидание свидания. То самое, желанное. Нагладила платье, оно было мраморно-голубое, ацетатное, воротник хомутик, юбка полусолнце. Вполне струящееся платье. Ожидание походило на легкий мандраж. Этот мандраж подтолкнул Валю к действиям. Сходила, осторожно спускаясь по ступеням, за бутылкой сухого вина. Добавив коробку фиников, они были самые дешевые, банку консервированной сливы, она успокоилась. Зачем сливы, она не знала, но ей казалось, что вино и фрукты это прилично. Она, конечно, видела, как в общежитии сидят где попало и пьют что попало. Но тут было совсем другое дело. Правда, открывашку она все равно забыла, и вообще сливы негодились, хоть и открытые...

Наизготовку: наглаженное платье, солнце выходного дня, легкий пакетик с сухим вином, вымытые, пышные и красиво завитые волосы, гулко бьющееся сердце. В автобусе, держась за поручни, она улыбалась, а ветер трепал волосы и платье. Типичная девушка перед свиданием. А что думал Сева? Он в это время ничего не думал.

Он проспал, во-первых. Во-вторых, в нем не было никакой такой поэзии, никакой подготовки. Смотри-ка, девушка хочет свидание. Что за ерунда? Она с ума сошла, деревенская какая-то. Что за представления у нее? Он встал в одиннадцать сорок, двинул на автостанцию, не торопясь, понятия не имея о том, что она за это время успела со светом белым попрощаться.

Несмотря на все это, они как-то увиделись и даже попали на обычный рейсовый автобус с маршрутом «Центр – Камышинка». Маршрут ничего хорошего не предвещал, но она вежливо спросила – далеко ли.

«Обычная река, – ответил Сева, – и совсем недалеко». Стоп, приехали. Посмотрев, как старенький автобус тяжело, вперевалку развернулся и, качаясь на ухабах, поехал обратно, начинающие влюбленные пошагали вдоль берега этой самой Камышинки. Валя вертела головой, что-то выискивая.

– Что ты ищешь? – осведомился Сева.

– Да эти самые... Кущи! Давай найдем кущи.

– Какие еще кущи? Что ты опять выдумала? – Сева так и прыснул со смеху. Потому что она все время нагнетала пафос, а он с ним боролся. Она была пионерка Советского Союза, а он Чайльд Гарольд или, того хуже, Генри Торо, один в лесу.

– Да так, райские кущи, – Валя не чувствовала, что ее слова звучат высокопарно.

И вот нашлись небольшие кущи, не райские, но вполне не истоптанные и зеленые. Расположившись под деревом на пригорке с видом на речку, Валя изящно присела и раскинула немудрящую скатерть-самобранку – вафельное синее полотенечко, винцо, финики, сливы.

– Что сие? – он страшно удивился и допустил ужимку лица.

– Так положено! – убежденно сказала Валя. – Вино и фрукты, понимаешь?

– Кем положено?

– Так показывают в кино.

Ну, не будем обижать девушку. Вон как она преисполнилась.

– Но что делать со сливами?

– Открывать! – воскликнула Валентина. – Только открывашки нет, потому что у меня и в общежитии ее нет.

С этим кое-как справились – на колечке с ключами оказался подходящий брелок.

Вино приятно зашипело в пластиковых стаканчиках. Птицы вежливо засвистели в куцах.

– Ты рада?

Валя неопределенно улыбалась:

– Не знаю, но, по-моему, сейчас что-то начнется!

Она не договорила. В кино на этом месте наступал черед целоваться! И она надеялась, что спутник ее об этом сам догадается. Но куда там. Спутник в это время бродил по берегу, что-то выискивая. Потом смастерил рогатку и прицельно бил по торчащим из воды камышам. Ветер лохматил его пепельную шевелюру.

«Ему скучно со мной, он даже не знает, что со мной делать, – испугалась Валя. – Как пацан, стреляет из рогатки. И зачем? Он же взрослый человек. И красавец такой!» – она присвоила ему такой статус. Но он ничего не знал и вел себя, как дитя.

– Се-ва! Иди сюда. Расскажи мне что-то из того... что ты вчера слышал по радио, по своему радио. Ты слушал радио ночью?

– Конечно. Слушал очередной выпуск передачи «Севооборот».

– Про деревню, что ли?

– Про какую еще деревню? Это про музыку. Сева Новгородцев ведущий, отсюда и название. Но это лучше слушать своими ушами, чтобы, так сказать, была диктатура слуха.

И стал говорить, сыпать названиями групп, которые были полной абракадаброй, английский язык – тема незнакомая. «Он любит не человеческое, я в этом не понимаю», – затосковала Валя. Плечо, повернутое к Севе, нагрелось, поцелуй не следовал. Свидание грозило срывом. В этот самый момент позади сидящих раздался бешеный треск и топот, мимо них прокультыхала корова и вошла в реку. Она шумно стала пить воду, пила, конечно, долго, с чавканьем и свистом, а потом в эту же воду пустила свою громкую струю. Не давая отдыхающим опомниться от шока, вслед за этой коровой в реку

вошли еще несколько и стали делать то же самое. Речная вода превратилась в мутный пенный поток. Может, их было шесть или десять, но Вале показалось – все сто. Девушка кипела, молодой человек сдерживал смех. Им явно стало не до вина и фруктов. Вода в реке шла бурунами, дымясь, точно в гигантском котле. Валя оцепенела.

– Что с тобой?

– Я... панически боюсь коров.

– Да чего тут бояться, это ж обычные коровы!

Губы не слушались Валу, как будто на морозе. Сева тогда подскочил, нашел рогатую палку и стал улюлюкать на коров. Но коровы не хотели уходить от найденного в жару такого славного местечка. Недовольно взмывая, они прошли вдоль берега, шлепая на землю горячие лепешки. Это было уже издевательство, потому что запахи соответствующие. Вот и стой тут в миазмах.

– У тебя что, свидание рушится? – веселился Сева.

И это тоже ужасало, его привычка стебаться. А он просто относился с юмором ко всему.

Но разводить пожиже было некогда. На спины им посыпался внезапный тяжелый, злой и холодный дождь. Они в панике бросились бежать, но не туда.

– Не в ту сторону бежим! – крикнул Сева. – Нам надо бежать к дороге, где ходит автобус, а мы?

– Давай хоть спрячемся куда-нибудь! Переждем! Не будем же мы с коровами пережидать!

– Дались тебе эти коровы. Я бы их даже не заметил!

– Да, тебе хорошо. Ты вообще ничего не боишься... Вон что-то желтеется, побежали?

Ринулись через кусты, хлеставшие по ногам. Все небо грохотало над ними. Заметив новенький желтый домик, как нарочно стоящий далеко от тропки, они свернули туда. И только забежав внутрь, они поняли, что этот домик – свежеструганный туалет! Пока, наверно, не

пользованный, но... Но все равно бежать было некуда. Гроза полосовала не дай бог!

Они медленно повернулись спинами друг к другу и стали выжимать мокрую одежду. Для чего ее, разумеется, пришлось снять. В этом плане Севе было легче. А вот ей как с ее платьем? Кстати, легкий летящий наряд с попаданием на него воды превратился в целлофановый мешок, плотно прилипший к телу, его и отодрать-то проблема... Да оно даже не выжималось, это платье из ацетата, предательское такое. Она боялась его снимать.

– Ужас какой, – приговаривала Валя, так жаждавшая свидания.

– Да брось, не смущайся. Я – спиной, выжимай. Сейчас дождь кончится! И пойдем.

– Куда же мы пойдем такие мокрые?

– На остановку! Ты слишком волнуешься. Сбрасывай платье, слышишь? Оно легче выжмется... Хотя бы встряхни.

– Оно никогда не выжмется... – мрачно сказала Валя.

Они стояли, стояли спиной друг к другу, не смея обернуться. Ситуация! Дождь все нарастал. Чем возвышенней ожидания, тем ниже и грубее падение. Не смерть, конечно, но такое гадкое воспоминание останется! Вдруг Сева заметил большой операционный шов? Заметил, конечно. А и ладно! Пусть! Сказав так в голос, они рывком обернулись, чтоб согреть друг друга. А согрев, замерли в поцелуе. Такое вышло у них свидание.

Гроза пролетела, как смерч, всё измочалив, всё перепутав. Корова на берегу молчаливо дожевывала консервированные сливы. Солнце капнуло лучом в высокое оконце строения. Давай выходить? Давай.

Валя потихоньку вышла, вокруг было марево и сверкающие капли. Сказка. Она марево заметила, а дороги нет. Однако на Севу можно было положиться. И он быстро вел ее за руку, обходя слишком высокую крапиву и кусты. Он не сказал ей, что все тут изъездил на велике,

боялся разрушить романтику. Ну и пусть думает, что волшебство. Смешная...

Автобуса ждали недолго. А когда его качало на ухабах, их слегка бросало друг к другу, и они несмело улыбались. Сидеть и то не могли из-за мокрой одежды. Это было позорное бегство со свидания, которого ждала она и которое стало обузой ему. Они по-разному видели мир, по-разному исполняли свои роли. Валя думала, что на нее возложено. А Сева думал – что за черт, она какая-то не такая, что с ней?

– Что с тобой сегодня?

– А что?

– Ты всегда простая, с тобой легко. А сегодня-то что? Ты все время оглядываешься, как летчик, за которым гонится фашистский самолет...

– Просто хотелось раз в жизни... А оно, как нарочно...

– Полно! Таких разов еще будет знаешь сколько? И не надо готовиться. Все прекрасное – нечаянно. Как пьянка внезапная. Может, вернемся?

– Нет! – закричала она. – Там коровы. Я теперь буду знать – не проси много, а то будет не свидание, а какие-то пенные бурные воды.

НАПУТСТВИЕ ИКОНОЙ

Она стояла, смотрела в окно, за которым бушевали деревья, точно большое варево зелёное бурлило. Она смотрела на это платье из белого креп-фая: на плечиках висел неоконченный наряд для принцессы с воротником апаш, с узкой талией и очень широкими рукавами. Юбка была у этого платья двойная – нижняя солнце, верхняя полусолнце – что-то вроде волнистой баски. Из талии торчала наметка. Всего-то оставалось соединить одно с другим и замочек-молнию вставить. Ан нет, не судьба. Долго стояла она и держала себя за плечи руками и качалась от непонимания, точно так же она качалась, как после поездки к сестре. Но здесь она качала саму себя, а не крохотную племянницу, утешая, успокаивая, не умея остановить крик отчаянья, готовый вырваться из самой глубины своей души.

Тем временем день кончался, и надо было что-то делать. Но что тут можно сделать? Глухая тоска не давала дышать. В такой момент только и можно понять, что значит «тоска железным кольцом сдавила горло». Но, в общем-то, где-то вдаль, в самом центре города люди умирали от горя. И, по сравнению с этим, думать про какой-то креп-фай было просто свинство. В таких случаях обычно нужны лишние руки, лишние ноги, лишняя голова: позвонить, сбегать, принести. Она посмотрела на себя в зеркало – ужаснулась мандариновой легкомысленной кофточке, быстро нашла всё чёрное, что у неё было, переоделась, умылась ледяной водой, бросила в сумку необходимые мелочи и кинулась было бежать. Ах, да, надо Жанке оставить записку. Жанка была уже готова быть свидетелем ее счастья.

«Жанна, не удивляйся, что меня нет, что платье висит. У Севы умер папа, свадьбы не будет. Я уйду к ним. При возможности позвоню тебе на работу».

Да, свадьбы не будет. Но свадьба должна быть праздником, царствием для неё, а ей ничего не нужно, ей нужно ему помочь. А может даже и всей семье. Нужно собраться, не рыдать. Нужно...

Она зашла в салон-парикмахерскую и сделала сверхкороткую стрижку, как у них в общаге говорили, «тифозную», максимальная длина – два сантиметра. Волосы нужны были для причёски, для того, чтобы вставлять в локоны белые цветы звёздочками. И никаких тебе звёздочек – это для других девушек.

Двери ей открыл Сева с потерянным взглядом, в какой-то старой чёрной кофте с катышками. Она ему шепотом:

– Я буду рядом, можно? На всякий случай. Мы личные дела отложим, пока есть более важное, глобальное.

– Не можно, а нужно. Проходи, спасибо за понимание.

Зеркало было завешено тёмно-синей тканью. Ткань была вытащена откуда-то из сундука и даже не подрублена. В большой комнате стояли вёдра с цветами, приготовленными для загса. В одном – розы, в другом – тёмно-красные гвоздики и белые хризантемы, её любимые. А ещё должен быть букетик для невесты, который она бросает, где же он? Хотя бросать-то ничего теперь не нужно. Они тихо присели на диван и долго молчали.

– Ты, самое главное, не волнуйся, – произнёс он шепотом. – Вид этих цветов, конечно, наводит на мысли, но в принципе они ведь пригодятся?

– Ну, а как же? На это тоже ведь нужны цветы.

Каждая фраза, даже самая простая, даже самая невинная, казалась кощунственной и грубой. О чём рассуждать, о какой выгоде? Пригодится – не пригодится, всё это чушь.

– Скажи, он долго болел?

– Да он ещё месяц назад начал жаловаться, постанывал. Почки давали о себе знать, но в больницу не лёг. Сказал: хочу Севин праздник поглядеть. Потом был приступ, увезли на скорой, стали воспаление глушить блокадой, а сердце не выдержало. Да я же тебе говорил.

– А? Да. Извини... У меня проблема...

– Что случилось?

– Мои родители приезжают завтра на свадьбу. Что с ними делать? Куда их?

– Раз приезжают, значит, встретим. Привезём сюда.

– У отца сердце никакое. Как бы не... Они ж не знают.

– И не позвонить?

– Нет, они уже в дороге.

Они опять помолчали.

– Сев, я могу что-нибудь приготовить. Простенькое, если надо, конечно. Вам, наверное, не до еды.

– Пойдём, заглянем в холодильник.

Он привёл её на кухню и распахнул холодильник. И там чего только не было: сетки с апельсинами, грушами, виноградом, окорок и колбаса в вакууме, штабеля бутылок.

– Ой, что это? Это всё откуда? Голод же в стране...

– Внимание, начинаем пионерскую зорьку, – почти пошутил Сева. – Это продукты по талонам.

– По каким ещё талонам?

– По талонам, выданным в бюро записи гражданского состояния. Только те люди, которые подали туда заявление, имеют право питаться. Так что еда есть, а вот суп можно сварить вот из этого цыплёнка, сумеешь? Хотя я и сам умею.

– Нет, ты плохо сумеешь, я женщина, я лучше сумею.

И она стала варить бульон и чистить картошку, и поглядывать в окно, понимая, что скучно, что радио нельзя включать, и что вот она теперь заступает на своё первое в жизни семейное дежурство. И надо снять пенку с бульона, чтобы суп был красивым, прозрачным...

– Сева, – надрывно раздалось издали. – Сюда иди, сыночек, скорей!

Сева был в дальней комнате и, видимо, не слышал. Она прошелестела через всю квартиру и, наклонившись к его уху, шепнула:

– Сев, иди быстрее, зовут тебя.

– Что? Что такое?

Он ушёл, а она стояла посередине комнаты, забитой цветами, почти под ноль обстриженная, жалкая, с чужим половником в руке. Кто она для них? Чужая. Ну, значит, так надо, она будет чужая, и все. Будет прибираться, суп варить или что ещё там нужно. «Оставь меня на крайний случай, на самый крайний, неминуемый, на край, на гибельный конец... И голос мой, как мой го-нец... Проникнет в бедные пределы твои, и воздух поре-дельный позволит мне дойти, домчать и вызволять, и выручать...» Сколько раз она читала про себя эти строч-ки Владимира Рецептера, твердила их, как заклинание. И оно помогало.

Сева, в свою очередь, тоже пришёл её звать.

– Идём, мы должны вдвоем, скорей.

– Куда идём? Что с тобой? Я боюсь.

– Не бойся, это просто.

И они вошли в спальню его родителей и встали как вкопанные. В комнате было почти темно, две большие полированные кровати угадывались в полумраке. Одна из них тоже была скрыта тёмной тканью, на второй, ук-рытая пуховым одеялом, лежала женщина в платке и стонала. Это нельзя назвать было плачем, это было выдавливаемое из груди, из горла страдание, которое хотелось скрыть, но нет, такое не скрыть.

– Мам, вот они мы.

– Сейчас, соколик, сейчас соберусь. Руку дай.

Женщина встала, попросила валенки, хотя за окном было лето, но она вся дрожала. Фелисата Петровна была

в бредовом, каком-то полухмельном состоянии. Он подал ей пуховый платок. Она сняла со стены икону Божьей Матери и седого старичка, как потом оказалось, – Николая Угодника. Подняв иконы высоко и поворачиваясь к молодым, женщина обронила только: «На колени». Голос не был приказным, только жалобным и усталым: «Деточка, ты хоть крещеная?!» – «Да, меня крестила бабушка». – «В старину без благословения родительского не женились. Угроза родителей не дать благословения кого угодно остановить могла...»

Глубоко вздохнув, прочла несколько молитв, можно было разобрать слова «Боже Пречистый, и вся твари Содетелю...», «Благословен еси, Господи Боже наш...» и «Боже Святой, создавший от персти человека»... Валя не понимала этих слов, но дрожь передалась ей. И она схватила Севу за руку, ища в нём защиты. Оказалось, он тоже дрожал. Это было существование в другом измерении, где другой воздух, другие потоки. «Чёрт, куда я попала, – мелькнуло в голове у Вали. – Зачем это всё? Что за представление? Хотя, это же чужой монастырь, тут про свое молчи. Лишь бы он меня не бросил». Но в памяти высветилось все – и больница, и сама в горошистой косыночке, кладущая крест за крестом, чтобы «Боженька пожалел» ...И мамино строгое: «Я не учила тебя молиться». А баба Тая её в церковь водила, когда жили у бабушки лето... И тут сомкнулись звенья какой-то неведомой цепи, так что даже никто не усомнился.

«Помяни Боже и воспитавших их родители: зане молитвы родителей утверждают основания домов».

– А теперь внимлите, дети мои. Коли уж так получилось, не вините себя. Скорбь наша бесконечна, но вы чисты. Перед Богом и перед людьми вы – супруги. Благословляю вас.

Она перекрестила каждого иконой, потом, положив иконы, каждого перекрестила вручную, поцеловав в

лоб. В этот момент Вале показалось, что она, стоя на коленях, как-то поднялась над полом. И краткая боль от неровной доски тут же забылась. Она поняла: здесь действительно другой монастырь. Её сердце билось взахлёб, а Севино лицо было покойно, веки опущены. Он весь был символом покорности. Тиканье будильника на століке стало оглушительным.

– А теперь идите, соколики. У меня сил нет.

Они встали и, попятившись, вышли, не смея повернуться спиной. А слезы текли непроизвольно, и ей вдруг состояние жертвенности передалось. Вступив сюда по доброй воле, она подчинялась не тому, что правило ее жизнью раньше. Теперь действительно наступала отрешенность, необходимая, чтобы все, все перенести!

А как же свежесваренный супчик? Или об этом нельзя в такой момент?

– Ну почему, я сейчас спрошу. Ей надо питаться, а то она совсем ослабнет.

Он, видимо, услышал ее суетливые мысли и не возмущился. И бесшумно налив в глубокую чашку еды, унес выходящий парок в комнату матери. А как бы она сама? Она еще не знала, как ее назвать, как ставить чашки-плошки на подносик...

Подошел к концу томительный и тревожный вечер в чужом доме. Но для Севы, может, вечер и не был таким – первый прилив горя прошел, звонил телефон, родичи прорывались сквозь треск помех. А ей никто сюда не звонил. Она должна была через три дня, положенных на свадьбу, выйти на работу прямо отсюда. Сидела, сжимаясь, тихо смотрела беззвучный телик, ничего не понимала, дергалась от каждой телефонной трели. Потом стала клевать носом от вязкости момента...

А ничего и не случилось. Никакого атомного взрыва, ни пропасти отчаяния.

– Нам дали разрешение, слышишь? – не она, а он достал простыни из шкафа. Потому что это был его шкаф, его простыни. Принадлежащего ей тут вообще не было.

Она кивнула. Руки-ноги не слушались.

– Может, пока не будем? – сбивчиво зашептала она, проваливаясь от стыда. – Мне написали в больничной карте, что не стоит рисковать до такого-то числа. Ты не против? Я бодрюсь, но мне еще плохо временами. Не вся зажила. Зашили, так сказать, на живую нитку...

И он кивнул. И погладил ее тихо по плечам, по лицу, по волосам. Спокойной ночи, братья и сестры, спокойной ночи, сироты казанские. Вы лишены первого, второго и третьего. Придется ждать милостыню. Чтобы дальше жить. Другого выхода не было.

НИ СВАДЬБЫ, НИ ПРОПАСТИ

Студеный вокзальный дождь, неразборчивые окрики репродуктора. Они с Севой бежали вдоль поезда в конец состава. Перрон давно закончился, под ногами хрустел мокрый гравий, поблескивавший от влаги. Поезд никак не мог остановиться, и они торопились догнать его.

– Да ты не беги, – бросал Сева, – ты стой на перроне, я сам их приведу.

– Кого ты приведёшь, ты же их никогда не видел?

Она продолжала бежать, хватаясь за бок. У нее болел шов, но говорить об этом стыдно.

– Да я так, догадаюсь как-нибудь. Ты ведь на них похожа?

– Как свинья на ёжа, – бормотала на бегу Валя, объясняя на ходу, повода вокруг лица растопыренными пальцами. – Похожа-то я на отца, рисунком бровей и рта, а цвет – материн.

– Замысловато объяснила.

В это время в проплывающем вагонном окне мелькнула перекошенная мать и замахала ей рукой. В точке остановки вагона насыпь оказалась очень высокая, и вагонная лесенка заканчивалась где-то на уровне плеч. Но советские люди ко всему привычные. Первым прыгал отец – он всегда первый на амбразуру – и снял тяжеленные сумки. Потом они вдвоем с Севой поймали летящую в пропасть мать. «Ой, Боже, живая!» Снятые с поезда родители жадно дышали мелким дождем и паровозной горечью. Они улыбались и как-то весело озирались вокруг.

– Какие сумки-то тяжелые! Мама, что там? Угол нашего дома?

– Как что, Валя? Приданое, конечно! Пять смен белья, все красивое, вышитое.

– Нет, ты погоди с приданным. – Отец во всем любил порядок. – Остановились все! Я ещё с зятем не познакомился.

– Ой, да! Посмотрите скорей, это Северин Седов. Короче, мой Сева.

Сева по-дурацки кланялся.

– Сева, это мама с папой.

– Я догадался.

Пока происходило рукопожатие под мелким противным дождем, и пиджаки неизбежно потемнели плечами, Валя смущенно выпалила:

– Большое вам спасибо, что вы вот приехали, но свадьбы у нас не будет. У Севы отец умер. И это произошло только вчера, и мы уже не знали, как вам сообщить. Но лучше сразу. Ведь народ же едет, не знает. А у нас так грустно все. В общем...

– Ты хочешь сказать, чтобы мы тут же шли на обратный поезд? – отец, похоже, не совсем понял, что произошло. – Мы как-то должны дойти все-таки до дома!

Мать стояла молча. В глазах ее был нездоровый блеск, и она что-то глотала. Видимо, те слова, которые рвались, но она их не пускала. На ней был новый, ни разу не надеванный плащ и прическа была. Она очень готовилась. Но теперь просто стоит под дождем. Судьба ее очень обидела.

– Предлагаю всем успокоиться, дойти до дома, выпить чай и отдохнуть.

– И что потом?

– А потом все решится само. Что тут на насыпи совещаться? – Сева давал понять.

Но они еще постояли. Отец глядел в сторону. Морщил губы, сжимал челюсти – его хватало сердце. Сева отобрал у него один из баулов и потихоньку пошел. Мать и Валя уцепились за другой баул, он, и правда, был каменный. Но всё-всё, баста, не до разговоров.

Содом: на диване ее отец с серым от сердечного приступа лицом, вокруг – бестолковая суeta матери. Она ходила с какими-то пузырьками и уговаривала отца их выпить, сразу все. Но отец отрицательно мотал головой, как усталая лошадь, и не реагировал на ее наскоки. В прихожей стояли несколько человек и обнимались молча. Это, кажется, Севины сестры и какой-то невероятный сутулый старик с белыми волосами до плеч и большой палкой, напоминающей ствол зенитного орудия. Из кухни в комнаты ходили туда-сюда еще четверо. В своей комнате по-прежнему стонала вдова. Там и сям стояли ведра с цветами, приготовленными для свадьбы. Только зеркала занавешены. Сева с подносом, на котором чашки и пузырьки, выбежал от стонущей матери и на кухню.

– Сева, – позвал его Валин отец. – Мне бы тебя на минутку.

– Как вы? – на крутом вираже спросил его Сева.

– Плохенько. Мне бы коньяку, если можно. Чего с этими каплями? Никакого толку.

– Я тебе не позволю пить коньяк в такой ситуации с таким сердцем. Это все равно, что скорую вызывать. Прямо можно сейчас! – вмешалась мать.

Сева сбегал за бутылкой в буфет и открыл ее зубами.

– Что такое? – воззрилась на него мать. – У вас нет открывашки?

Ее бесило все неправильное.

– Так он открыт уже, не волнуйтесь.

И плеснул в подвернувшуюся чашку. Отец принял пару глотков, посмотрел в потолок и начал розоветь.

– Ну, что смотрите, думаете, как бы еще по разу? – рассердилась вдруг мать и унесла бутылку. И только она ее вернула на кухню, как из нее сразу же стали разливать. Народу было много, каждый занимался своим делом, и соображать общий стол было просто некому. Ведь все ехали на свадьбу, но получили пыльным

мешком из-за угла. И все растерялись. Замешательство было настолько сильное, что все опять забыли познакомиться, хотя приехали из четырех разных городов и одной большой северной деревни.

Так пакостно Валя еще никогда не чувствовала себя. Родители не в своей тарелке, но помочь им нечем. Старик с большой палкой был самым страшным в этой толпе чужого народа, а красиво одетые сестры вообще ее не замечали. Такое чувство, что все оказались тут случайно, как в сломанном лифте. Распахнутый посудный шкаф смутно сверкал рюмками, а вынутые оттуда тарелки и супник сиротливо стояли на полу. Фортепиано завалено мокрой пестрой одеждой. Несколько пар обуви смотрело носками в самую дальнюю комнату, а несколько пар стояло где попало. Между ними, в ботинках на толстой подошве, вышагивал тот самый старик.

Валентина опять вспомнила, что надо бы что-то сварить, и стала пробираться на кухню. Там за столом сидели трое – двое мужчин в шляпах и куртках и пожилая женщина. «Здрасьте», – прошелестела Валентина и начала чистить картошку. Они на нее так посмотрели-посмотрели и молча протянули ей коньяк. «Да ну, – сказала Валюша, – что вы». – «А ну-ка, – сказала женщина, – давай без этих». Тогда она решила не спорить и проглотила коньяк. Пока люди в шляпах резали колбасу, женщина попросила ножик и тоже стала чистить картошку. А кто они такие – Валюша не знала. Но спросить про это – значило признаться, что не знает. А ведь подразумевалось, что все тут родня.

– А ты вообще-то кто такая? – заглянул на кухню беловолосый старец.

– Да я... типа жена, – так же непривычно тихо ответила Валя, хотя по жизни глотка у нее была луженая.

– Ух! Успел уже, – сердито заключил старец и поступал восвояси своею палкой.

Как оказалось, старец сей – родной брат вдовы, знаменитый профессор, пушкинист, обладатель премий и учитель многих поэтов. Сразу было видно, что он недоволен появлением Вали, но, чтобы не усугублять всеобщую растерянность, больше ничего не сказал. Да и говорил он в основном с сестрами Севы. «Папа, – плакали они, – что же ты, папа?..» – «Тихо вы, как там мама?»

Но Фелисата Петровна как будто очнулась от плача и всех позвала к себе. Там у них начался общий разговор, в который родители невесты боялись вмешаться, а деревенские с кухни вообще общаться ни с кем не хотели.

В это время, когда картошка уже закипала и булькала, дверь входная то и дело трезвонила. Несколько раз заходила почтальонка и приносила телеграммы – то скорбные, то поздравительные, вперемешку. Но это был как раз тот случай, когда телеграммы складывали у зеркала, не читая.

Пора было идти в загс, забирать заявление.

ПРОЯСНЕНИЕ ДАЛИ

Ниночка приехала в город в лесах ранним августовским утром. Распределение на местный пивзавод она получила легко, сразу после окончания пищевого техникума. По приезде ее поселили в маленькой комнатке в пристройке, примыкающей к столярному цеху. Днем стоял противный вой пилы и грохот, и после ночной смены было поначалу невозможно заснуть. Соседкой по комнате оказалась темноглазая, страшно обаятельная девушка, она тоже работала сменным мастером, поэтому они редко пересекались. У соседки было странное загадочное имя. Далина. Даля. Даль дальняя. А иногда вечером, когда обе были дома, они устраивали праздник. Они пекли оладьи на пивных дрожжах, ноздреватые и пышные, немного горьковатые, ели и запивали их пивом. Они знали, где, в какой емкости в подвале оно было самым лучшим. Несмотря на то, что днем еще было тепло, по ночам нещадно дуло в многочисленные щели в неприспособленной для жилья комнатенке, поэтому они топили печку, топлива для нее кругом было много. Особенно хорошо горели дубовые плашки от пивных бочек, девочки выходили вечером во двор с топором и сбивали обручи с бочек, а на растопку собирали разбитые ящики. От соседства со столяркой в комнате вкусно пахло сырым деревом.

Они сидели на полу около раскрытой дверцы печки, в ней переливалось яркое красно-желтое пламя огня, оно завораживало и располагало к откровенности и открытости.

Ниночка сразу же рассказала о себе. Сама она ленинградка, жила с родителями и братом в двадцатиметровой комнате в коммунальной квартире, где жило еще десять или пятнадцать соседей. Как она ненавидела эту комнату, перегороденную во всех направлениях, чтобы как-то отделить мать с отцом и ее с братом, как стесня-

лась этой тесноты, куда невозможно было пригласить своих друзей. Как не любила бывать дома и мечтала уехать куда-нибудь, только подальше от бесконечных ссор, дразг и хамства.

На последнем курсе техникума она познакомилась с Костей и влюбилась сразу. Костя учился в Техноложке, приехал откуда-то из далекой провинции и жил в общежитии, там всегда было весело, все помогали друг другу, помогли и Косте остаться с Ниночкой на ночь в комнате, ребята ушли кто куда. Началась прекрасная пора, когда влюбленные без усталости гуляли по чудесному городу и целовались, забыв обо всем. Ниночка очнулась только тогда, когда Костя вдруг спросил: «А почему ты меня не пригласишь к себе, не познакомишь с родителями? Ведь мы уже решили быть вместе?» Какой ужас! Ей надо было вести Костю в эту противную квартиру, знакомить с вечно хмурым и недовольным отцом, безропотной и забитой матерью, хулиганом братом. Что Костя о ней подумает? Ни за что! Она что-нибудь придумает, но не поведет его туда. Она долго отговаривалась, пока не нашла выход. Её подруга, еще по школе, жила одна неподалеку в отдельной двухкомнатной квартире. Ниночка попросила ее помочь ей встречаться иногда с Костей, когда той не будет дома.

«Это нечасто, я что-нибудь придумаю, но пока я не готова познакомить Костю с родней. Что он обо мне подумает, вдруг он меня бросит?» – беспокоилась Ниночка. Умудренная опытом подруга пыталась ее образумить: «Да он попросту хочет получить прописку и остаться в Ленинграде, зря ты волнуешься. Ему понравится любая родня». Но потом сдалась и разрешила Ниночке пользоваться квартирой. Туда Нина и привела Костю, наврав ему, что родители с братом уехали в деревню. Они изредка стали встречаться там до тех пор, пока Ниночка не поняла, что беременна. Костя был не против жениться, даже торопил со свадьбой, строил

планы: так как теперь у него будет прописка, он может остаться здесь, распределение в Ленинграде ему обеспечено, он на хорошем счету в деканате и т. д. и т. п. «Только рано, конечно, ребенок, – рассуждал он, – надо бы устроиться сначала, начать работать, пожить для себя, может быть, ты сейчас сделаешь аборт? Ты не думай, я дам денег на аборт и тебя не брошу, ты только не говори об этом родителям. Хорошо, что квартира у вас большая, хватит места, большую комнату можно перегородить для брата, в маленькой будем мы, а ребенок все-таки рано».

Ниночка поняла, что попала в западню, которую сама себе поставила, что подруга её была права: она ему не нужна, и, проплавав всю ночь, наутро пошла к врачу и вскоре сделала аборт. С Костей не встречалась, избегала его, а он поначалу искал её. Но однажды зашел в ту квартиру, где они встречались, и обман раскрылся. Подруга все ему рассказала, и... через месяц он на ней женился. На подруге, не на Ниночке. В оцепенении Нина плохо помнит последние месяцы учебы, она отказалась от распределения в НИИ пищевой промышленности, что было престижно, но безнадежно в получении квартиры и приличной зарплаты. Она выбрала древний провинциальный городок и уехала с намерениями никогда больше не влюбляться и поскорее выйти замуж, хоть за кого.

Эту историю Нина рассказала своей соседке по комнате.

А соседка по имени Даля рассказывала о себе мало, была осторожна и скрытна. Но ее мягкость, умение выслушать, безусловное понимание очень располагали. С одной стороны, ей нравилась Ниночка, её веселость, открытость и раскованность, та всегда была в настроении, никогда не унывала, со всеми была на ты, ходила на танцы, в кино и не понимала свою соседку, которая сидела дома, читала книжки или ходила в библиотеку, что

вообще Ниночке было глубоко противно. А с другой стороны, Дале такая поверхностность и легкомысленность Ниночки иногда даже надоедала.

Не прошло и месяца, как Ниночка познакомилась с местным художником, была у него в мастерской, в картинах его она ничего не понимала, но ей льстило то, что он предложил нарисовать ее портрет. После смены она уже не приходила, как обычно, домой, а оставалась ночевать у своего художника. Дале было интересно узнать, что он за человек, она переживала за Ниночку, которая совсем потеряла голову.

– Ты не представляешь, какой он умный, красивый и как он меня любит, – захлебываясь от восторга, рассказывала Ниночка. – Только ты никому не говори, ведь он меня уже рисовал голый и сказал, что лучшей натурщицы у него не было.

«Бедная Ниночка, какая же все-таки глупая, пусть хорошенькая, маленькая и пухленькая, но пустышка, ну никак не модель, – думала Даля, – просто он использует её, ведь ему надо же кого-то рисовать, а тут бесплатная натура».

– Боже мой, что за бред! Что ты делаешь?! Ведь ты пропадёшь, не верь ему, он тебя обманет! – волновалась она, отговаривая от поспешных шагов Ниночку.

И не без оснований, как впоследствии оказалось.

Тем временем наступила осень. В каморке при цехе жить стало невозможно, из всех щелей сквозило, по утрам невозможно было вылезти из-под одеяла, а вечерами после смены они наливали в бутылки горячую воду и укладывали их в постель и целую ночь, дежуря, поддерживали огонь в печке, благо топлива кругом было навалом. Но все равно было холодно и неудобно.

Подруги стали подумывать о новом жилье. Даля нашла комнату в маленьком старинном деревянном домике, почти вросшем завалинкой в землю. Комнатка была

уютная и чистая, хозяйка, на первый взгляд, добрая и приветливая, поэтому Далина осталась довольна. Они намеревались жить с Ниночкой вместе, но в это время та уже переехала к своему другу. Встречались они на работе, при пересменке. Ниночка рассказывала о своем обожаемом Диме, так звали художника, обещала познакомиться с ним Далю. Что ж, Даля была рада за нее, надеялась, что все будет хорошо, но внутренняя тревога не исчезала.

Однажды, на какой-то праздник, испросив разрешения у хозяйки квартиры, Далинка, приготовив ужин, пригласила Ниночку с Димой в гости. Они пришли вечером. Нина была в шикарном по тем временам сером джерсовом костюме. «Дима привез», – похвасталась она. Дима оказался бородатым мужчиной невысокого роста, совершенно заурядной внешности. Гости принесли вино и цветы. Даля оценила и то и другое. Гости хвалили все, что приготовила Далинка, благо что ею была пройдена школа кулинарии в общежитии. В комнате, где она раньше жила, обитало еще двенадцать девчонок. Они жили коммуной, все готовили по очереди, и там поневоле она научилась готовить.

О, эта историческая вечеринка. Выпили вина, разговорились, оказалось, что у Дали с Димой много общего во взглядах на прочитанные книги, просмотренные спектакли и фильмы. Даля была в ударе, обычно спокойная и сдержанная, несколько зажата, подвыпив, становилась разговорчивой и раскованной. Темные волосы ее, завитые на пиве, разметались волнистой копной. Единственное нарядное платье из полосатого струящегося крепдешина с накинутым бархатным жакетиком делало ее очень романтической. И она это чувствовала.

Болтая обо всем, смеясь и радуясь тому, что они так хорошо понимают друг друга, они и не заметили того,

что Ниночка уже давно сидит задумчивая и тихая. «Что это с ней? – спохватилась Далинка. – Да ведь она ревнует, боится, бедняжка, что опять подружка отнимет у нее жениха». Быстро свернула разговор и, как бы нечаянно, зевнула. Ниночка поняла сразу же, что пора уходить, и с радостью заторопилась домой. Больше Даля не приглашала их к себе. А вскоре Ниночка ушла с работы, и Даля потеряла ее из виду.

* * *

У самой Далинки жизнь проходила довольно скучно. Работа занимала большую часть ее жизни. Как ни странно, но ей понравилась её работа, нравился запах проросшего ячменного зерна, пахнувшего иногда свежим зеленым огурцом, а иногда свежей корюшкой. Нравился запах и вкус горячего сула. Нравился даже запах пивных дрожжей и, конечно, живой процесс получения пенистого напитка. В её смене работали только женщины, гораздо старше её, годившиеся ей в матери и даже в бабушки. Она никак не могла заставить себя называть их просто по имени, на чем они настаивали, и называла, например, Евдокия Ивановна или Александра Михайловна, и на «вы». Это их удивляло и поначалу раздражало, но потом все привыкли, и некоторым даже понравилось.

Вначале ей тяжело работалось посменно. Первую смену она не любила, может быть, потому, что постоянно ждешь непрошенных гостей, которые могут прийти и оторвать от работы, указать на недостатки и упущения, надо было быть всегда начеку. Самая любимая смена – вторая, после четырех. Начальство ушло по домам, посетителей не бывает, спокойно работаешь, самое главное, спать еще не хочется и время пролетает быстро. Но ночная смена! Боже, как тяжело! Спать хотелось ужасно, глаза слипались и с трудом открывались, но заснуть она

не могла, где только ни прикладывалась: на столе, у стены, составляла стулья и, подложив под голову книги, пыталась заснуть. Бесполезно. Она маялась сама и не давала расслабиться своим рабочим. Только где-то прикорнет бедная женщина, как тут как тут – мастер, Далина Алексеевна, как ночная сова, не спит, все видит и всем не дает покоя.

В одну из таких темных ночных смен случилось ЧП. Евдокия Ивановна, пожилая варщица, прикорнула у теплой стенки варочного котла и очнулась только тогда, когда из кипящего котла, как ключом кипящее молоко, вдруг стало выливаться желтое сусло. Когда на шум и крики подошла Далина, все было уже непоправимо: из котла вытекла почти половина ценной жидкости, из которой впоследствии, при брожении, получается пиво.

Даля растерялась. Такое случилось на смене впервые, и она не знала, как поступить. Евдокия Ивановна плакала, причитала, что теперь ее оставят без премии, вычитают недостачу, а еще хуже – уволят. Что делать? Опытные и ушлые женщины обступили со всех сторон Дालю и стали уговаривать её не сообщать начальству, они знают, как скрыть недостачу, они никому не скажут, и никто не узнает. Далинке было жаль бедную, так переживающую женщину, к тому же и самой не хотелось признаваться, что не уследила... Что ж, честная Даля поддалась на уговоры и не доложила начальству. Это ей оказалась наука на всю жизнь. Она не подумала, что практически скрыть было невозможно, все передается по смене, надо быть тогда всем в сговоре. Тем более, что ее сменщицей была толстуха Антонина, она терпеть не могла Дालю, во-первых, потому, что та была с высшим образованием, а у Антонины только техникум. И хотя она, конечно, знала больше, и у нее был опыт работы уже значительный, но карьерный рост был все-таки у молодой Дали, которая, поднакопив опыта, могла ее обойти. Во-вторых, муж Антонины, Николай, механик

завода, влюбился в Далину Алексеевну, как только она появилась на заводе. Что бы ни случилось на смене у Дали, сразу все быстро устранялось. Николай и сам в любой свободный момент прибегал в цех, чтобы просто посмотреть на молодую и нездешнюю романтическую особу. В те годы Даля была похожа на актрису Майю Менглет в фильме «Дело было в Пенькове», на нее трудно было не обратить внимание. Сначала Даля смущалась, а потом привыкла. А самое странное, что и Николай ей понравился. Иногда она пристально смотрела на него, на его крепкие и сильные руки, на его высокую фигуру в ватнике или в робе, и ей было не противно. Напротив, что-то вздрагивало внутри. Когда Даля и Нюночка еще жили на территории завода, он часто приходил к Дале, если она была свободна. Девушка не пускала его в комнату, и они стояли в закутке, где их со двора не было видно. Далина смотрела в его серые глаза, на его твердые, как казалось, красивые обветренные губы и с ужасом думала, что ей до боли хочется, чтобы Николай ее поцеловал.

Однажды он, точно угадав ее мысли, крепко обнял, прижал к себе и попытался поцеловать. Даля с трудом вырвалась из его рук, заплакала и запретила ему приходиться к ней, а вообще прекратить все отношения, ведь у него жена и двое ребятишек.

Нечего и думать, Антонина знала о чувствах Николая, и случай на смене был хорошим поводом отомстить Далине.

На следующий же день Далину вызвали к главному инженеру. Начинаящий технолог сразу же поняла, почему ее вызвали, тряслась как в ознобе и, чуть не плача, зашла в кабинет. Главный инженер – высокая полная женщина с добрым, но некрасивым лицом. Эта женщина, её манера разговора с людьми, то, как она с отчитывала молодую специалистку, произвело на Далину

ярчайшее, сногсшибательное впечатление... Надолго запомнив этот эпизод, она в разговоре с людьми всегда старалась ей подражать. Мудрая женщина не стала её ругать, унижать, а нашла такие слова, что после них Далинке стало так стыдно и обидно за себя, что она пообещала не только ей, но и самой себе никогда не пытаться скрыть то, что скрывать нельзя. И не врать, так как обман всегда раскрывается и остается только стыд и позор, а, главное, не делать подчиненных своими сообщниками. Где бы Даля в дальнейшем ни работала, а стаж на производстве у неё был значительный, она всегда помнила тот печальный опыт.

Она не держала зла ни на Антонину, ни на своих рабочих, она винила только себя, в смене у нее с тех пор всегда был порядок, ее бригада шла впереди других смен по качеству работы.

Вскоре ее опять вызвали к главному инженеру, и та предложили ей новую должность – заведующей производством. На этой должности работала женщина, милая и добрая, у которой недавно, глупо и неприятно, умер сын – задохнулся пьяный рвотными массами. Бедная мать не пережила такого позора и горя, страшно запила и лечилась в психиатрической больнице. Ждали, когда она из нее выйдет, уволится, и тогда Даля займет ее место. А Далине и хотелось бы работать в этой должности, ей льстило это назначение, но и какое-то внутреннее сопротивление, то ли жалость, то ли несправедливость по отношению к этой женщине, отравляли радость, и она сама старалась как можно дальше отодвинуть это назначение. Но, как ни отодвигай жизнь, она свое возьмет...

* * *

Свободного времени хватало, и Далина Алексеевна успевала просмотреть все спектакли в театре, фильмы в

кино, устраиваемые в бывшем дворянском собрании, концерты она тоже не пропускала, но самым ее любимым местом оставалась библиотека. Даля обычно садилась около окна под раскидистой китайской розой, с этого места ей виден был весь читальный зал. Она окидывала его взглядом, но никогда никто не привлек ее внимание.

Как думали немногочисленные приятельницы, в библиотеку она ходит неспроста, а с целью знакомства, завязывания контактов определенного сорта. Может быть, она была бы и не прочь, если бы хоть кто-то маломальски ей понравился. Впрочем, она особенно об этом не задумывалась. Сидела, читала. Читала много: то новый толстый журнал, то модную книжку, то просматривала альбомы с репродукциями картин известных художников, то перечитывала русскую классику. Так она заново перечитала «Войну и мир» и искренне удивлялась, почему в школе читала только мир, войну вообще пропустила, а описания природы ей казались скучными. А тут она наслаждалась, жила там, купаясь в чувственных волнах языка. В этой библиотеке она наконец прочитала всего Достоевского, полюбила Тургенева. Как ей было хорошо! Прочитав особенно понравившийся ей отрывок из книги, она отрешенно устремляла взгляд куда-то далеко-далеко, забыв обо всем. Иногда не замечая того, как по щекам катятся слезы. Душа трудилась! Спасибо за это старинной библиотеке!

А что? Хорошо было сидеть за столом, подперев голову рукой, задумчиво глядеть в окно или ловить ненужные тебе взгляды ненужных людей и читать, читать, уже не заботясь о том, чтобы рассказывать о прочитанном на экзамене, просто читать для себя, для собственного удовольствия, погружаясь в интересный, захватывающий мир чувств, ощущений, приключений, любви, всего того, чего недоставало сейчас в ее жизни.

Как-то она на несколько минут ушла перекусить в соседнюю пирожковую, где продавали удивительно похожие на мамины пирожки и плюшки. Она всегда брала два пирожка и запивала их кофе с молоком, тогда полнота ей еще и не снилась, сколько бы ни ела, всегда была стройной, но худенькой не казалась. А когда вернулась, села за стол и открыла недочитанную книжку, то нашла в ней свернутый пополам тетрадный лист в клетку. Развернула его. «Милая незнакомая девушка!» Так начиналось письмо, написанное четким угловатым почерком. Она подняла глаза от листа и оглядела зал. Кто мог оставить этот листок? Никто не смотрел в ее сторону. Она решила, что это письмо написано не ей, а какой-то другой девушке, которая забыла его в этой книжке. Как интересно! Прочитать что ли? «Каждый день я жду того часа, когда снова приду в библиотеку и увижу Вас на обычном месте у окна. Мне нравится смотреть на Вас. Кто Вы? Учитесь? Где? Или работаете? Я хотел бы подойти к Вам, поговорить, познакомиться с Вами, но Вы всегда так заняты, так строго смотрите на всех, что я не решаюсь и опять только смотрю». Подписи не было. Она еще раз обвела глазами зал. Может быть, вот этот парень, что сидит через два стола от нее? Она решила понаблюдать за ним, но он ни разу за все время не поднял глаз от книжки. Нет, не он, а, может, вот тот? Или этот? Стало очень интересно наблюдать за залом. Кто же выдаст себя? Приходя в читальный зал, она уже ждала продолжения, ждала новых писем, и они приходили. Теперь она уже не сомневалась, что письма написаны именно ей.

Однажды из очередного письма она узнала, что незнакомец накануне вечером провожал ее до дома. Он трогательно описывал, как она шла через мост и вдруг оглянулась, как бы почувствовав его взгляд, как он растерялся и был готов убежать, как хотел и как страшился подойти познакомиться. Какой-то бедный влюбленный

романтик! Ну кто же это, в конце концов? Она все-таки должна найти его. И нашла. Впрочем, она его давно уже заметила, когда небрежно и вроде бы невнимательно обводила глазами зал. Мужчин в зале вообще было мало, там сидели смешливые и развязные студенты, шкодливые школьники, очкастые молодые люди, видимо, аспиранты, бородатые, может быть, профессора, как она представляла. Но они нисколько её не интересовали. А этого молодого человека, сидящего всегда лицом к ней, всегда на своем обычном месте, но никогда не смотревшего на нее, она заметила. Он был блондин, а они всегда ей нравились, кудрявый, что не очень, с мелкими чертами лица, что, впрочем, его не портило. «Ну почему он демонстративно не обращает на меня внимания? Ведь я чувствую, что это он», – возмущалась Далина.

В очередной раз получив письмо, она вышла из зала и встала в коридоре, за дверью, понаблюдать, может быть, кто-то и выйдет следом за ней. Её расчет оправдался. Вышел как раз тот парень, что обратил на себя её внимание и, значит, тот, что написал ей письмо. Он прошел по коридору мимо, не заметив её. Оказывается, он был невысокого роста, но это её не удивило, а подтвердило правило – она всегда нравилась мальчишкам меньше её ростом. К сожалению, ничто не дрогнуло в её душе. Он был ей не интересен! Но дело не в росте. Мысль к нему не летела, воображение не рисовало бесед с ним.

Он назначил ей свидание. А она пришла, встала в стороне и издали смотрела, как он с цветами ходил взад-вперед по улице, около кинотеатра. По-видимому, он все понял, и на следующий день она не увидела его на привычном месте. Стало скучно и неинтересно, она уже пожалела, что разрушила этот чудесный мир чувств, а с другой стороны, зачем продолжать и обманывать бедного мальчика? Она больше никогда не видела его в библиотеке, забыла об этом случае и только

через много-много лет вдруг вспомнила и пожалела бедного юношу, когда сама наткнулась на неудачу. И поразилась собственной черствости и нечуткости души. Но все же Даля была так молода, так лучезарна, вся жизнь впереди. Перед ней расстилалась бесконечная дорога, уходящая вдаль. И эта дорога манила ее новыми встречами.

В это время у Дали только-только разгорался роман с Юрой, офицером соседней воинской части, находящейся на берегу реки, через дорогу от пивзавода. Однажды, возвращаясь после вечерней смены домой, она заметила, что от ворот воинской части отделилась высокая фигура и двинулась за ней. Было темно, на улице не горел ни один фонарь, только луна слабо освещала низенькие покосившиеся дома, редкие деревья и кустарник. Даля испугалась, но, следуя своему принципу – не стараться убегать, а пытаться разговорить преследователя, что ее однажды выручило в подобной ситуации, она остановилась, подождала догонявшего ее человека и увидела высокого чернявого мужчину в форме старшего лейтенанта.

– Вы что, не боитесь? Почему вы, молодая девушка, ходите одна по ночам? – нагнав ее, спросил он.

– Боюсь! Но бежать ещё страшнее, ведь на этой дороге можно на шпильках ноги сломать. Почему вы идете за мной? – возмущалась Далинка. – Я иду с работы, что ж поделаешь, провожатого нет.

– Можно я буду провожать вас? Я давно заметил, как в разное время вы бежите по этой улице в это страшное здание пивзавода, и я удивлялся: неужели эта красивая девушка работает там?

Так они познакомились, и он действительно стал встречать и провожать Далию, а когда он по каким-либо причинам не мог этого сделать, он предупреждал и даже давал «конвоира» – солдатику из его части. Дале

очень нравилось его внимание, обязательность, порядочность и теплота в отношении к ней.

Вскоре он признался ей в любви и сделал предложение. Далинка долго сомневалась, ведь она не любила его, он ей только нравился. Юра уговаривал, уверял, что он её любит, а она потом, привыкнув, полюбит тоже, что пока он живет при части, но вскоре получает квартиру, она переедет к нему, а летом у них будет свадьба. Он уже написал обо всем родителям, они согласны. Пришлось и Дале написать своим, о чем она потом сильно пожалела. А тем временем Юра уже стал своим человеком в доме. Он понравился хозяйке Вере Николаевне, так как переделал массу всякой работы по дому, вел чинные с ней разговоры, пил и хвалил её чай. Та в ответ нахваливала Юрия, поощряла его, что очень Дालю возмущало.

Однажды он зашел за Далиной, они собирались в кино. Он сидел за столом и смотрел журналы. «Отвернись», – скомандовала девушка, он послушно отвернулся и, только одевшись, она заметила, что ему все прекрасно было видно в зеркале стенного шкафа. Возмущенная, Даля повернулась к нему, но он уже схватил ее за плечи, прижал к стене, стал целовать, умолять её позволить ему, наконец, всё. Она бешено сопротивлялась, но вдруг почувствовала, как что-то твердое уперлось ей в низ живота. Настолько твердое, что больно. Невольно она опустила глаза вниз, и увиденное вызвало такое сильное отвращение и гадливость, что вся гамма чувств невольно отразилась на её лице. Юра все понял и, поспешно застегнув брюки, пробормотав ругательство, выбежал из дома.

Первые два дня Даля не волновалась, когда Юра не встретил и не проводил её, мало ли какие могут быть дела у военного. Но прошла неделя, а от Юры не было никаких известий. Вера Николаевна замучила её своими вопросами, куда пропал Юра, почему он перестал

приходить, и горе-возлюбленная решила зайти в часть. Замполит ответил, что этот офицер попросил перевести его в другую часть и уже отбыл к новому месту назначения.

Даля вышла оттуда как оплеванная. Её таким образом бросили! Она тогда еще не понимала, что отчасти сама была виновата в том, что произошло, ведь так с мужчинами не поступают. Ей было жаль себя из-за этой неудачной попытки выйти замуж, но что она могла сделать. Если честно, то Юру она не любила, хотела просто обмануть себя, думала, что можно жить с женщиной, не любя его. С другой стороны, она впервые подумала тогда о том, что с ней не все в порядке в отношениях с мужчинами. Почему она с таким трудом с ними знакомятся? Почему ей так трудно решиться на близость с ними? Почему она не может полюбить? Где причина всего этого? Ей было неприятно об этом думать и страшно за свое женское будущее. Но самым неприятным для нее в этой истории оказалось то, что она потропила написать своим родителям. Конечно, они радовались, что наконец их дочка выходит замуж.

Никто не забыл любовной драмы в институте. Первый год Далины после поступления принес немало потрясений. Фестиваль молодежи и студентов в Москве взвихрил удивительную атмосферу, она носилась в воздухе – так по шальному острому ветру узнается весна. Романтичный молодой человек всерьез увлекся Далею, потом бросил учебу, а роман перерос в скандал. Вмешались его родители, их разлучили. Оба оказались самолюбивые и гордые, Дале пришлось сделать то, чего она делать никак не собиралась. Но бросать институт тоже не хотела...

И тут опять такой удар! Мама решит, что Даля сама виновата: вдруг «пошла по рукам»? Поэтому Юра ее и бросил. Всей истории она никогда маме так и не рассказала. С таким грузом невесёлых мыслей она прожила холодную зиму.

Наступила весна. Далина любила весеннюю пору в городе. Любила березы, которые росли вдоль улиц, таких берез она не видела ни в одном городе. Любила тополя с их удивительным запахом детства и старинные деревянные дома. Она часто представляла свою жизнь за этими маленькими окнами, в комнатах с печкой и старинными сундуками. Ее манили уютные дворики с изумрудной травой, по которой так приятно походить босиком. Нравились бульвары с гуляющими и сидящими на скамейках чистенькими старушками в пыльных, в панамках и дореволюционных шляпках. Она тогда для себя решила, что когда состарится, то постарается быть такой же чистенькой и аккуратной, в шляпке и в перчатках.

Этой весной произошел случай, который предопределил дальнейший ход событий.

Однажды, возвратившись с ночной смены домой, не раздевшись, она прикорнула на кровати, как вдруг в комнату зашла квартирная хозяйка и сообщила, что к ней должен зайти молодой человек, приехавший из Ленинграда. Он рассказал Вере Николаевне историю их с Далею любви и расставания, что наконец-то он узнал её адрес, написав её родителям, и рад, что нашел её. Даля, услышав это, вскочила с постели, сна как не бывало, быстро оделась и, не сказавшись хозяйке, поспешно выбежала из дома. Сначала, оглядываясь по сторонам, бродила по городу, везде ей мерещился Борис, ее институтский друг... Она боялась его увидеть, хотя столько ночей мечтала об этом. Не понимая себя, ругая и жалея, она металась по городу, пока не вспомнила о том, что у нее есть местечко, куда она может на время спрятаться. Села на автобус и уехала в деревню Пищалиху, в нескольких минутах от города. Там, в деревенском доме она жила, устроившись на работу на пивзавод. Прописки и

жилья у нее тогда не было, и её приютила работница её смены. Там она прожила около месяца, пока ей не дали ту комнатенку при заводе. Спасительницу звали Аня Смолина. Это была невысокого роста, некрасивая, но душевная, уже немолодая девушка. Далина искренне желала ей счастья, и они, несмотря на разницу в образовании, возрасте, положении: она – мастер, та – простая рабочая, дружили. Аня оказалась дома, поняла Далю сразу, приготовила ей постель, напоила крепким чаем и выслушала невеселый рассказ о её несчастном романе. Аня уговаривала беглянку встретиться с Борисом, раз он ее искал, нашел, приехал, то, значит, он её любит, а ей надо его простить и забыть все то плохое, что с ними было. Но сбежавшая сама от себя девчонка категорически отказалась даже видеть его, не говоря уже о прощении.

Далинка всласть наплакалась, напилась чаю и уснула. Вечером они договорились с Аней, что она поживет у нее выходные, а потом они вместе пойдут на работу в первую смену.

Она вернулась домой вечером после двух дней отсутствия. Её встретила рассерженная Вера Николаевна, она отругала её за то, что не предупредила, что так с людьми не поступают, Борис ждал ее до вечера, а потом ночным поездом уехал в Ленинград. Рассказала, что он приходил на завод, искал ее и там, обескураженный и раздосадованный, оставил ей письмо. Она подала письмо Далине, а та порвала его на глазах у Веры Николаевны, даже не вскрыв.

– Да-а-а, и характер у тебя, а на вид и не скажешь, – удивлялась хозяйка. – Что же ты будешь делать теперь, как ты будешь жить? Да почему ты с людьми так?

Вера Николаевна была простым честным существом и такие прыжки в поведении не одобряла.

– Как-нибудь проживу, – отвечала Даля и надолго погрузилась в тоску и отчаяние.

Из этого мрачного состояния её вывело сообщение о том, что ее родителей перевели в город Калининград и вскоре они должны туда переехать. Её почему-то очень взволновало это сообщение. В библиотеке она взяла все возможные книги о Калининграде-Кёнигсберге, географический атлас, где отыскиала этот город, и стала с каким-то трепетом ждать, когда ей представится возможность приехать туда, к ним, в гости. Это была уже почти Европа, даже не Ленинград. В эту весну она купила себе красивое английское пальто с поясом – бордовое, кашемировое, а к нему белые низенькие чехословацкие ботиночки и шикарный велюровый берет и стала ждать возможности поехать туда. Некоторое время она работала без выходных, и у нее скопилось две недели отпуска.

Накануне отъезда Далина решила зайти в картинную галерею, она любила туда ходить. Бродила по залам, смотрела картины и удивлялась таланту художников передавать чувства и настроение людей, вот как, например, на этом портрете. На картине была изображена молодая беременная женщина, она сидела вполоборота, полуобнажена, ее левая рука придерживала на правом плече красное покрывало, правая рука безвольно лежала на кушетке, лицо опущено вниз и хотя не видно выражения глаз, во всем облике, лице, позе видно страдание. Да ведь это же Ниночка! Боже мой! Она с нетерпением посмотрела на подпись: Д. П. Да, это она и это Дима, тот художник! Далина долго стояла у картины, потом решила посмотреть еще и... опять Ниночка. На картине, спиной к зрителю – женщина, каких любил рисовать Рембрандт, почти Саския, пышная и рыхлая, она обернулась и смотрит прямо в глаза. В них ничего нет, пустота. Какой-то ужас! Страх за Ниночку почему-то почувствовала Далина. Она кинулась к служительнице узнать что-то о художнике. Но в тот день она не узнала ничего, а вскоре картины сняли с выставки как

развратные, буржуазные и антисоветские. С тем она и уехала в Калининград.

Возвратившись, она решила непременно найти Ниночку и узнать о ее судьбе и судьбе художника. Как-то разговорившись на смене с Аней Смолиной, она нечаянно узнала, что та очень хорошо знает Диму. Оказалось, что он её троюродный брат, но они почти не общались, так как их родители когда-то что-то не поделили. Даля узнала, что Дима женат, но с женой живет давно врозь, их ребенок у родни в деревне. Аня пообещала узнать о судьбе Ниночки. Она поехала к родне в деревню, встретила с Диминой женой, которая в курсе отношений Димы и Ниночки, она даже с ней познакомилась, представившись знакомой Димы. Оказалось, что Ниночка не знала о том, что Дима женат, что у него есть ребенок, жила у него в студии, в чердачном помещении и, конечно, рассчитывала, что Дима женится на ней. Но художник не торопился с женитьбой, а Ниночка на свой страх и риск решила родить ребенка. На седьмом месяце беременности – видимо, тогда и был нарисован портрет, который висел в картинной галерее – Ниночка, оступившись, упала с лестницы. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, узнала, что она родила мертвую девочку, а сама сломала руку. Выписавшись из больницы, Ниночка вместе с Димой уехала в Ленинград, и след их затерялся. Как они будут жить после таких потрясений? Бог весть.

Вскоре пришел вызов из Калининграда, и Далина Алексеевна уехала, думая, что навсегда. Но судьба распорядилась иначе. Небольшой, но милый провинциальный город не отпустил ее, и каждый год она ездила сюда.

Прошло лет десять после всех описываемых событий. В очередной приезд Далина решила зайти на пивзавод.

Она прошла тем путем, которым ходила на работу, прошла мимо воинской части, подошла к воротам, через которые проходила в цех, потом зашла в заводоуправление. Прошла по кабинетам. Знакомых никого не встретила, зашла к секретарю, спросила главного инженера – та ушла на пенсию, директор – на повышение в управлении, а Антонина работает начальником цеха. Только механик Николай совсем спился.

Далина вышла из здания, в это время люди шли со смены. Вдруг к ней подошла пожилая женщина, в которой она с трудом узнала Аню Смолину. Они обнялись, обрадовавшись друг другу. На ходу Аня рассказала ей, что вышла замуж, они получили квартиру, у нее дочечка, а вот муж пьет безбожно. «Пойдем посмотрим, как я живу», – предложила Аня. Они пошли к ней, долго сидели и вспоминали то хорошее время, когда были свободны и казались счастливыми или были ими. Даля спросила о Ниночке и Диме. Он, говорят, уехал в Москву, картины его здесь не выставляют, подробностей его жизни она не знает. Вспомнили Ниночку, посетовали на ее судьбу. Даля рада была встрече, все разговоры с Аней всколыхнули ее душу. Но больше никогда ее не встречала.

Приехав в Калининград, она решила разыскать Ниночку и написала письмо в адресный стол Ленинграда. Указала фамилию, имя и отчество Ниночки, примерный адрес жительства на ул. Скороходова на Петроградской стороне. Долго не было ответа, но все-таки канцелярии хорошо работали в те годы, и, к большой радости Дали, пришел новый Ниночкин адрес... Она тут же села и написала ей письмо. И о чудо! Ниночка ответила. С опасением вскрывала Даля конверт, боясь прочитать о чем-то нехорошем. Ниночка была удивлена и рада тому, что ее разыскали, никто в городе не знает о том, что произошло с ней в провинции, вспоминать об

этом ей больно и страшно. После того, как она бросила работу, ее долго не увольняли, так как она была обязана отработать три года после распределения, и она никуда не могла устроиться, жила с Димой, ожидая, когда он придет и принесет какой-нибудь еды. Дима злился на нее, она поняла, что стала для него обузой. А потом выкидыш, сломанная правая рука, бездомная и больная, она решилась уехать домой, к родителям. Те, поругав, простили, и она осталась жить с ними. К тому времени брат уже ушел в армию. Надо было устраиваться на работу, она решила съездить за документами. И там случайно встретила Диму, она опять оказалась у него в студии, опять началась та ужасная жизнь с постоянными попойками, безденежьем и унижениями. В тот момент он и написал ее второй портрет. В конце концов Дима просто выгнал ее из студии, когда однажды привел туда очередную любовницу-натурщицу. Нина пошла на завод и, упав в ноги директору, выпросила приказ об увольнении с такого-то числа. Приехав в Ленинград, почти сразу же устроилась на завод «Степан Разин» сменным мастером. Там вышла замуж за хорошего человека, муж не пьет и не курит. Родила сына. Живут хорошо, тихо, и, слава богу, что муж ничего не знает о ее прошлом и не дай бог, если узнает. Далинка ответила ей, рассказала о себе, о своей семье, о том, что бывает в маленьком провинциальном городе, но никогда не встречала там Диму. Они с Ниночкой обещали писать друг другу, но больше писем не было, видимо, ни той, ни другой сказать друг другу больше было нечего.

Даля умолчала об истории с Юрой. Ведь она опять его встретила в старом Доме офицеров, куда случайно зашла пообедать. Юра знакомился с нею заново и никак не хотел признавать, что они знакомы давным-давно. Он кормил ее богатыми обедами и засыпал цветами. У Дали сердце щемило от этих ухаживаний, ведь она чув-

ствовала себя виноватой. Конечно, в ресторане они затеяли опасную игру, которая могла вполне кончиться скандалом. Но это было так таинственно, так невероятно. Самое потрясающее то, что Юра в это время служил уже в Калининграде и свадьбу они сыграли именно там. Далина семья приняла Юру просто и сердечно. А Юра вырос в детдоме и в их доме по-настоящему отогревался. Даля была в белом гипюре, с высокой прической и на шпильках, как кинозвезда. А мама даже на фотографиях вытирала слезы. Нашла ли Даля свое счастье? Или сумела так настроить себя, обошлась без него? Для Валенты это осталось тайной. Даля работала, прилежно растила сына, который потом пошел по стопам отца-офицера, всегда чутко заботилась о муже, не забывала родных... Ее семья казалась просто идеальной. А на свадьбу Севы Даля приехала первой. И, ни о чем не спрашивая, обняла Валентину. Сразу было понятно, что она золотая.

ТОРЖЕСТВО В ОДЕЖДЕ ГРУЗЧИКА

В нереальной ситуации, когда душевный раскардаш накладывается на невероятную суету людей, когда физически невозможно понять, что же делать дальше, как раз и приходится принимать самое важное в жизни решение. Все смирились с тем, что праздник не состоялся. Никто даже не обсуждал, что с этим делать, с этим ничего нельзя было поделать. Катастрофа потери, нахлынув, похоронила под собой все. За окном стеною стоял серый ливень. Стена эта была столь плотной, что, направив на нее свет, можно было бы показывать кино. Но Валя ничего не видела на экране. Наброшенная на плечи чужая жизнь колола кожу, а руки не попадали в рукава. Бегающий туда-сюда Сева, недолго думая, просто взял Валью за руку и повел вон из дома: «Я возьму тебя за руку, через самое страшное переведу».

«Не бойся – это словно листок упадет под ветку,
это словно ночью умолкнет последний шум,
это словно с горы увидишь ту сторону света,
это словно за мыслью уходит блаженный ум.
Не бойся – это словно вдруг утихнет море
и до горизонта блеском покроется глубина.
Не бойся, будет легко, легко, как дождем промоет,
легко, как перед солнцем истаивает луна.
Не бойся – это словно тонешь в легком тумане,
темнеют ручьи, тропинки, весь мир, весь небесный свод.
Держись за мою руку, она тебя не обманет,
она – последние узы, пока не отвалит плот.
Не бойся, будет блаженно, словно в летнем уборе
белую легкую пряжу сбрасывают тополя.
Будет, как переход от боли к иной боли,
и отразится в озерах опечаленная земля.
Не бойся, это так быстро, словно капкан негромко
захлопнется и закружится вокруг нас простор бытия.

Держись за мою руку – она былинка, соломка,
непрочный мосток через речку из сказки про муравья.
Когда-то, еще ребенком, ты переходил по слеге
Через овраг, не глядя в страшную черноту.
Держись за мою руку и тихо за мной следуй,
и я тебя через это медленно переведу».

Так писала поэтесса Десанка Максимович, ее словами мог бы сказать Сева, но он не был так выпспренно говорлив, он делал все молча. Он демонстративно открывал рот, показывая, что у него есть заявление, и тут же закрывал его, передумав... Вообще, у него были такие повадки, что обалдеть. Когда все поворачивалось серьезно, он притворялся. А когда делал вид, что притворялся, это означало: «да все же серьезно...»

«В общем, сцена по нем плачет», – вздыхала Валя.

Городской дом культуры, нерушимый, как интернационал, в торжественной белой лепнине, был спешно перелицован под загс. Его увешали шарами и текучими огоньками по перилам лестниц. Был он полон оживленной толпой людей, которые щебетали и каркали на все лады, прихорашивались перед зеркалом и громко окликали друг друга. Три новобрачные пары уже спустились по торжественной лестнице, и где-то вверху готовились к церемонии еще три. Гулкий кувшин Дома культуры до краев был налит «Свадебным маршем» Мендельсона.

– Постой секунду внизу, я только заказы на съемку и на шампанское аннулирую.

Сева подержал ее за руку и проникновенно посмотрел в глаза. Он, видимо, не доверял ей – хорошо ли она понимает происходящее? Поскольку она кивнула, он все-таки для надежности спрятал ее в гардеробе и убежал. А Валя подумала: «Я предмет. Меня припрятали в кладовку». Пока Сева ходил по своим неизбежным

делам, по лестнице стали спускаться следующие три пары. Опять грянул «Свадебный марш». Праздничный конвейер работал в полную силу. Запись, гости, шампанское, музыка, съезжание вниз по коврам, цветы, залпы: «Горько!» и – по машинам. Вале не было места на этом празднике жизни. Она смотрела, вытянув шею из двери гардероба, на шаги невесты по ковровой дорожке, на то, как струился шлейф от платья и не замечала, не чувствовала слез на лице. Но распорядители подмечали все.

– Девушка, вы с ума сошли, вы понимаете, где вы находитесь? Здесь нельзя с таким лицом стоять!

– Это же не примета, это же угроза какая-то! Сейчас же перестаньте!

И две дамы в белом форменном стали быстренько Валу за белые руки уводить долой. Но Валя уперлась, как ослик, вывернувшись от распорядителей:

– Не трогайте меня! Я, может, сама невеста и сама должна тут стоять!

Распорядительницы, чтобы не делать большого шума, промокнули ей платочком глаза и побежали дальше. Гром Мендельсона возносился все выше, звучал все настойчивее, бил в голову, становилось душно, и что-то подступало к горлу и просилось наружу. Так требуют выхода слезы, когда их сдерживают и не пускают. Да, ей нельзя просто жить, как все! Или сначала заработать то, что хочется, или отработать, но мечта не свалится тебе на голову просто так...

Опять появился Сева – как долго его не было, можно не раз жениться за это время – и с трудом разыскал зареванную невесту среди чужих плащей и пальто.

– Я все сделал, а ты что тут делаешь? А почему это ты?.. Все понятно. Отравляющая атмосфера. Давай быстренько зайдем к столоначальнице и бегом-бегом отсюда.

– Нам бы заявление забрать... Ах, не вы, а где?.. Подождем...

И вошла тут искомая дама в белом пиджаке и с лентой от плеча до талии.

– Что хотели, молодые люди?

– Нам бы заявление забрать.

– Что так? Повздорили? Но ведь это дело поправимое!

– Нет, нам забрать.

И тут она их узрела наконец. Перед ней стояла странная пара: девушка с тифозной стрижкой, слипшейся от дождя, сильно заплаканная, в джинсовом плаще, в хлюпающих туфлях. Молодой человек, одежда нищенская до неприличия: позапрошлые джинсы с поредевшей на коленях тканью, оранжевая футболка с силуэтами «Битлз» на груди и мятый вельветовый пиджак, тоже очень мокрый, мокрые пряди длинных, по плечи, волос. Если девушка вошла, опустив голову, то он, напротив, держался гордо, смотрел пристально своими пронзительными игольчато-серыми глазами. Они были похожи на хиппи.

– Ну, говорите же, что стряслось?

– У него... То есть у нас отец умер, – подала голос девушка.

– Ах, это траур... Но ведь траур не кончится быстро, он не кончится никогда. Значит, вы никогда не будете вместе?

– Извините, нам надо забрать заявление. Нам назначено на сегодня.

Столона начальница вдумчиво шуршала папками.

– Послушайте, ребятки, – произнесла она спустя вечность. – Оказывается, ваши документы давно готовы. Внимая вашей просьбе, я их теперь же порву. Но вы еще раз подумайте, зачем это? Вижу, что вы не дети, вам не по семнадцать, значит думали, что делали. Предлагаю документы забрать, и все.

Они молчали.

– Выйдите на минутку и посоветуйтесь. Вот оно, ваше свидетельство о браке, новенькое... не жалко рвать-то?

– Позвольте, но нужны хотя бы свидетели...

– Процедура требует, конечно. Но какие вам сейчас свидетели – на кладбище поедете? Вот я ваш свидетель – годится?.. Дама молчит, она против?

Сева вздохнул. Ему предстояло объяснить Фелисате Петровне, почему он не сделал так, как она просила. Потом покосился на Валю с ее отсутствующим лицом и махнул рукой.

– Уговорили. Мне кажется, дама не против. Дама, ты как?

– Наоборот, я «за», очень даже... – мрачно ответила дама.

Столоначальница вручила им свидетельства, попросила обменяться кольцами, они два раза переодели, и все неправильно. Ему, наконец, на мизинец ее кольцо, а ей на большой палец его кольцо.

– Поздравляю вас, ребятки. Идите с Богом.

Они вышли в дождь, опять помудрили с кольцами, кое-как разобрались, и он ее начал продолжительно целовать. Острота ситуации, что ли? Он целовал ее среди бела дня, прислонив джинсовой спиной к холодной стене городского Дома культуры, где шла регистрация браков. Мендельсон продолжают греметь, толпы гостей продолжали выходить, невесты подбирали подолы, их осторожно усаживали в машины и везли на торжество. А у них ни торжества, ни машин, ни подобранных снежно-белых подолов, никакой этой суеты, будь она неладна...

– Не знаю, как тебе, а мне так легче стало. Я люблю все доводить до конца. Тебе-то легче или наоборот?

– А кольцо-то ведь тяжелое... Веришь, и вспомнить нечего будет.

– А мне будет, что вспомнить. Окинь меня взором – я ж пошел в одежде грузчика жениться! Сам от себя не ожидал.

– Так откуда же ты выкопал это шмотье? Я у тебя этого пиджака ни разу не видела.

– Ну, я специально. Мне же еще в морг бежать.

– И больше некому?!

– Некому. Я сам такой крутой, аж страшно. И женитьба, и похороны в один день.

И тут солнце вышло. А дождь ещё не совсем кончился, и невероятные сквозные лучи, преломляясь в каплях, озарили жизнь словно изнутри. (Грибной – значит солнце с водой, и Ленин такой молодой...)

Прокравшись в квартиру, будто бы они совершили что-то неприличное, незаконное, тем более не советуясь со старшими, они прислушались. Все было тихо. Валин отец не стонал от сердца, Севина мать тоже не стонала. Вошли они на цыпочках в большую комнату. Навстречу им поднялась мать Вали и, не давая им опомниться, выдала скороговорку:

– Мы лучше поедем домой, у вас тут дела поважнее, чем чарки распивать. Вот на этой книжке вам общий подарок, а поскольку мы билеты уже взяли, держите. И держитесь друг за друга.

– Мам, ты нас хотя бы уж поздравила, что ли, – смущенно пробормотала Валя...

– С чем это, интересно?

– А вот, – помахала окольцованной ручкой.

– Держите меня, – воскликнула мать. – Держи меня, Петя, – уже обращаясь к мужу, лежащему на диване.

Беглые объятья поставили точку в этой краткой мизансцене. После чего Сева, вздохнув, невежливо налил себе полстакана водки, выпил одним духом и отправился в морг. Валя потом не раз убеждалась, что этот нежный на вид, усмешливо-аристократичный молодой человек, типичный представитель богемы, а также

нетипичный представитель дворянства, был очень сильным и в опасных ситуациях не терял рассудка. Но вот этот жест при оцепеневших родителях, которые бог знает что могли подумать, был просто великолепен. Тут вбежала целая вереница родичей – сестры, дядя, тетя и племянница из деревни, он их посвятил в суть события и был таков. Оставил всех с этим фактом наедине.

* * *

Многочисленные благородные родственники, члены почтенного семейства, даже не вникали, почему Сева, этот тонкий стебель, повел себя так экстремально. Просто деньги, отданные в морге за одевание покойного, куда-то испарились, и Сева, не желая никого травмировать, принял на себя весь это немыслимый груз – немыслимый и с точки зрения бытовой, и с точки зрения человеческой. Казалось, он не был способен на этот рывок, но забота о матери, о сестрах, страх за их нервы и сердца сделал его роботом. Когда он затруднялся, то шел к сторожу и спрашивал: как? Сторож всякий раз участливо интересовался: «А ты водки выпил? А надо вот так...» И к назначенному часу все было готово. Сева даже успел прийти домой и переодеться. Перегаром от него несло за километр. Валюшка все знала и смотрела на него с уважительной робостью. А ведь до этого она ни на кого не смотрела с робостью.

Фелисата вела себя тихо. Но на последнем прощании с телом вдруг страшно завывала. Дочери в испуге стали гладить ее по плечам. И она тут же замолкла. Валя, напялив кружевной черный шарф, стояла поодаль и дрожала. Седой старик с палкою все время придерживал Фелисату и отнимал ее от гроба, когда она уж очень заходила в плаче. Было видно, что это люди совсем, совсем иного сорта, даже в подобной ситуации они не хотели публично выражать свои чувства.

Мистический момент: склоняясь над гробом, сестры, до невозможности разные, вдруг стали невероятно похожи на свою мать. А Сева – на лежащего перед ним отца. Будто бы свет нездешний, уходя из одних, падал на других и оставался так призрачной серебристой пылью. Странно, но даже в гробу Алексей Седов был мини-стром – и чело высоко, и рот властно сжат, и крупный нос, раздув ноздри, был готов втянуть мокрый воздух вместе с дождем. Издали подтягивались какие-то знакомые Севы, оставляли цветы у ног умершего, пожимали руку своего друга и исчезали. Седой старик говорил речь, в которой Валя не понимала ни слова. Это была такая умная речь. Мы все умрем, никто на поверхности надолго не задержится, в этом – основной залог развития, надежда на «светлое будущее для всего человечества» и даже «свет в конце тоннеля» для тех, кто только вступает в жизнь, поскольку наше здешнее пребывание всего лишь «миг между прошлым и будущим». Нормальных людей не хоронят тайком, да еще выбив предварительно пафосный участок на элитном старом кладбище, сообщив об этом достижении ритуальных услуг в СМИ. Нормальный человек должен оставить здесь после себя куда больше, чем то, что он сможет забрать с собой. И этот человек оставил, причем настолько много, что надо быть достойными его. Она понимала только, что нужно быть достойной этого человека и этой семьи. А как? А кто его знает...

Незадолго до этого Фелисата выглядела бесспорно благородной женщиной, совершенно гибкой и молодой, и тут в один день вдруг состарилась лет на тридцать. Глубокие складки на лице, такую же складкой рот, низко повязанный черный сатиновый плат – все это показывало, что она стала другим человеком. И только по жестам, по тому, как подходила к ней, наклоняясь заботливо, дочка Даля, было понятно, что это та самая Фелисата, хотя и вдова.

Поминальный стол абсолютно не запомнился невероятной для тех времен сменой блюд, мало кто говорил, больше молчали, а Валя бегала и бегала кругом этого стола с тарелками, кастрюльками, бокалами для воды и чая. Она бегала и совершала лишние движения, и ее потряхивало очень, поэтому посуду она ставила мимо. Но тут быстро и бесшумно подходила Даля и уносила подносы от Валиных рук. И гладила ее по спине.

Вале виделась звенящая вереница бутылок, которые будто бы сами срывали с себя пробки, шествовали по столу, расплескивая содержимое, и плавно опускались на пол у стены. Это были слабоалкогольные и крепкоалкогольные напитки, которые предназначались для тостов в честь нее и в честь избранника ее. Но горькую чашу наполнили они, а не сладкую. И тем означили – отныне этот день будет в их семье не днем радости, а днем скорби.

ПРОЩАЙ И БУДЬ ПРОКЛЯТА

Здравствуй, Валя. Требовался нам, конечно, серьезный разговор, но беру пример с Северина Седова и пишу письмо, так проще и легче. Да и сколько уже переговорено нами. Вот и пришел конец нашей дружбе, конец, которого ни ты, ни я не ждали, во всяком случае, так быстро. Но вовсе не потому, что мне «противно на тебя смотреть», как любила повторять ты в последнее время. Причина глубже и серьезней. Я начинала объяснять ее и раньше, ты либо не понимала и переводила разговор на другое, на более мелкие вещи, либо... плакала. Попробую объяснить еще раз. Поймешь – хорошо, а нет – так бог с тобой, тебе же легче.

Причина – Северин Алексеевич, ему судьбой была уготована роль лакмуса в наших отношениях. Твоя любовь ко мне не смогла устоять перед любопытством к новому человеку, оказавшемуся рядом. Тебя даже не остановило то, что этот человек – мой любимый. «Мне было с ним интересно!» – говорила ты. Что говорить, такой интерес – сильнее дружбы. Интерес к нему, тогда еще чужому, победил меня, тогда уже любимую. И это произошло как раз в тот момент, когда случилось несчастье в нашей семье, посадили отца – и от меня отказался мой любимый. Не слишком ли много на одну душу сразу? И заслуженно ли такое? Ты сострадала как будто. Но такого рода сострадание – это еще больше...

Почему так получилось? Ты говорила, что не соглашалась, прогоняла его, а он приходил снова. Может, я поверила бы всему по неопытности, но увы, я была в твоей ситуации. Раньше я тебе не рассказывала этого, чтобы не давить на тебя.

Была предыстория, когда я училась в институте на первых курсах. Было тоже трудно, но я понимала, что иначе потеряю подругу, вообще просто пожалела ее. Была я молодая тогда и мало что понимала в жизни, а

сейчас ведь мы с тобой уже старые, за двадцать пять, как говорится. И честно, я старалась найти причины, которые бы тебя оправдали.

Они все могут быть только в одном. Ты его любишь. Но ты же сама говорила, что для тебя он не стоил столько, сколько стою для тебя я.

Однако боль причинять ты ему не можешь (прогнав), «ведь он не сделал тебе ничего плохого»... А что плохого тебе сделала я, что ты не побоялась причинить боль мне? Где логика? Ты же умная и должна была знать, ты знала, во что выльется эта история. Тяга к штампам в паспорте дала о себе знать? Ты всегда хотела замуж. Даже в городе юности ты когда-то поехала к субъекту, которого в институте не любила! Зачем? Ведь смешно начиналось, смешно кончилось – постояв в проходной завода, вы пошли к нему в общагу, он запирает дверь, на носу висела капля, ты давилась от смеха, ты разбила телефон, вылезла через балкон к соседу, бежала долго по трамвайной линии... Ты хотела мне доказать, что у тебя, дурнушки, тоже есть личная жизнь? Ну, полно. То, что так усиленно доказывают, неизбежно вызывает подозрение.

Как я надеялась, что ты сама все поймешь. Но когда ты в последний раз со вздохом сказала: «Я перед тобой ни в чем не виновата», я поняла – это конец. Ты так уверена в своей правоте! Пройдет время, и в какой-нибудь совершенно другой ситуации ты снова предашь меня, как предала сейчас. И снова будешь уверена в своей правоте и непогрешимости... Извини за громкие слова... Что ж, блажен, кто верует.

Я же не верю ничему, ни твоему сочувствию, ни состраданию, ни желанию помочь. Дружба ушла, вернуть ее не удастся. Многое мы научились беречь – время, деньги, нервы... А чувствиночку?

Ты меня без конца спрашивала – почему шишки достаются тебе, а вот ему – ничего, ведь он же был ведущей силой?... А вот почему. Он отказался от меня, и его

больше не интересуется мнением на его счет. А тебя интересуется. Вот и получай. Высказываюсь тебе.

Ты поразительно непоследовательна! То убеждала его, что у меня глаза как драгоценные камни, то скрывала от меня ваши встречи с ним. То говорила, что все он, то защищала его, говоря, что он нормально ко мне относится... Но позволь и этому не поверить!

То письмо он писал мне тогда, когда уже приходил к тебе — я сопоставила даты. Значит, и там все ложь. Значит, случилась на земле еще одна подлость.

Окружили вы меня, конечно. И не нападали, и не отступали. Как будто блокада, ни туда, ни оттуда. Ну, ничего, прорвемся. Не думай, что у меня в душе ненависть против вас, ее нет. Все мы слабы. А чья вина, если один оказался слабей другого?!

Попробуй, найди себе такую подругу, как я. Попробуй полюбить Северина Алексеевича так, как любила его я. И вам будет легче жить на этом свете, чем пришлось мне. Извини за самонадеянность, но это будет непросто. Наверно, это неумелое письмо. Но сказала бы я еще хуже. Может, даже так, как моя мать? «Ну и пригрела ты змею на груди». Хотя такое определение слишком значительно для тебя, маленькая воришка. Сможешь ли ты жить, невзирая на то, что счастье свое построила на предательстве, прошла по живому человеку? Этого я уже не узнаю. Прощай... И будь проклята.

* * *

Несколько лет спустя Валентина случайно оказалась на встрече с женщиной-психологом. Та беседовала с залом, давала советы по гармонизации семейных отношений, людей со сложными ситуациями записывала на прием. После окончания программы она вдруг сама подошла к Вале и шепнула ей на ухо: «Я вижу над вами черный столб. С вами не все в порядке. Как чувствуете

себя? – «Да ничего, – стесняясь, ответила Валентина, – только родить не могу». – «Милая, в храм идите, да поскорее. На вас такое повешено, что страшно. Проклятие снять нужно. Обратитесь к батюшке. Крещеная? Идите с Богом, больше ничего вам не скажу». И ушла. А на Валю так все смотрели, вся толпа людей. Валя боялась очень, попросила знакомую отвести ее в храм за вокзалом. Подошедшему к свечной лавке батюшке передала все, что говорила ей женщина-психолог. «Что я тебе посоветую, дочь моя? На исповедь сходи, да две службы постой так. Сама молись, проси. Молитвослов-то есть? Бог милостив».

ГОЛУБИ НА СТОЛИКАХ

Гости разъехались. Скорбные дела были окончены и, казалось бы, наступило время обыкновенных серых будней – надоедливых, скучных по обычаю, но таких необходимых и долгожданных в дни потрясений. Вале нужно было идти на работу, Севе – готовить бумаги для аспирантуры. Но они притихли каждый в своем углу – в одной комнате, но каждый в своей комнате. Вошла Севина старшая сестра Даля и тихонько села на диван, разглаживая на коленках сатиновый каймовый фартук.

– Я пока не могу уехать от мамы, – тихо проронила она, – подожду, пока она оправится. А вам бы надо куда-то исчезнуть на время. Сын у нас в спортивном лагере, папа по путевке уехал, а ключ от моей квартиры – вот он. Вы тут обсудите между собой, если найдется другой вариант – ключ отдадите обратно. Но послушайте меня: если не дашь себе глотнуть воздуха, скоро совсем сил не станет. К маме можете не обращаться. Я ей все сказала, и она не против. У меня есть энная сумма, можете прямо сейчас сходить за билетом.

То, что она сказала, не укладывалось в голове. Даля как старшая из детей по нраву была великая хохотушка, а только авторитет у нее был самый высокий. Бывало, разрыдается Фелисата Петровна, вся во власти своего горя, а Даля подойдет к ней и начинает уговаривать покушать. Нелепость, казалось бы, но очень действовало. Валя все это слышала через дверь и удивлялась, примеряла на себя: вот бы она матери такое предложила. Пулей бы от нее летела, а то и получила бы вдогонку отрывистое: «Тебя не спросили!» Нет, идти отпрашиваться Вале не хотелось. А Сева вынырнул из бумаг: «Пошутила, что ли?» Но Далина не уходила и продолжала смотреть вопросительно-настойчиво.

– Не хочу никуда ехать, – подал, наконец, Сева свою реплику. – Да и обстановка как-то, знаешь... Мы с

тобой-то сколько не виделись? А тут ты к нам, а мы – на вокзал.

– А ты послушайся, братец Иванушка, сестрицу Аленушку, сестрица-то дело бает, – почему-то дурашливо ответила Даля.

Валентине ехать захотелось, но она не вникла еще в систему их отношений и боялась получить по носу. В своей-то семье она бы точно получила! А здесь царили другие законы – все действовало по умолчанию, но будто угадывая интересы другого. Здесь не было места фразам «Тебя не спросили!» или «Пошел вон!». Сева посмотрел на нее и все понял. Он потом часто так делал, и она взрывалась фонтаном пузырей: а как же он догадался?

Согрели чай, у них чай пили подолгу, два раза в день, один раз утром, второй – в полдник. Вечером они непонятно как вышли прогуляться и оказались у вокзала.

– Ага, значит, ты тоже подумал?! То же, что и я, значит, подумал!

– Ничего я не подумал, я думать не умею – подчиняюсь обстоятельствам.

– Так ты паспорт, значит, не взял!

– Все я взял, что я, маленький?

Повертев перед ее носом билетами, Сева увидел на ее зажмуренном лице такую дикую радость, такое неистовое не пойми что, просто махание кулачками и топотание каблучками. Значит, он все правильно решил. Еще через двое суток они, бросив сумку в Далиной квартире, пошли гулять по городу. Сразу было заметно, что Сева тут не впервые, он шагал тихо, но уверенно, сворачивал в незаметные арки, зарешеченные дворики, практически ничего не разглядывая кругом. Зато Валюшка зевала по сторонам так, что то и дело от него отставала.

Приморский город с явным отпечатком капиталистического запада, старинными зданиями готического

стиля, с неожиданно советскими красными трамваями как-то сразу не подпускал к себе. Особенная робость охватила Валу у могилы философа Канта.

Сева молчал и думал, она дергала его за рукав – «А туда пойдем? А туда?», но, столкнувшись с его взглядом, умолкала.

Влажный ветер с моря заставлял дрожать плечи, а солнце пекло головы, и все это так резко противоречило друг другу, что невыносимый ужас и мрак вскоре рассеялся, оставшись далеко позади. Сейчас они могли говорить о чем угодно, только не о смерти. Трудно было перестроить себя. Они, оглядываясь, боялись нарушить свое внезапное смешное безделье. Казалось, не заслужили, казалось, виноваты. Но никто не был виноват. Они пришли в кафе с открытой террасой, устроились за столиком с тентом, заказали на ужин запеченную на углях форель. И пока готовилась эта форель, они почти прикончили бутылку вина. Пришлось заказывать вторую.

Машинально кроша выставленный заранее черный и белый хлеб, они вдруг увидели, что на столик садятся голуби и клюют сладкие крошки. Валя резким движением согнала особо нахальных, но Сева остановил ее: «Перестань. Зачем?» Голуби прилетали, махали крыльями, стучали клювиками по столу. Валя по привычке спрашивала:

– О! Это мы не слишком? Все, наверное, дорого...

А Сева ей отвечал:

– Да не очень. Слушай, ты можешь отвлечься от материального?

– Могу, конечно. Но если я сильно отвлекусь, то денег точно не хватит.

– Так давай еще что-нибудь закажем, чтобы ты была сытехонька?

– Ну, тогда я хочу салат «Столичный», копчености и сладкое.

Бессильный Севин смех означал, что она все это получит. Ну что ж поделать, это была вечно голодная общежитская девушка. И она в своей прямоте и простоте этого не скрывала. Другая бы притворилась: ой, нет, не надо. Что уж было притворяться, ведь Сева и так ее насквозь видел. На другой день было гуляние и музей янтаря.

Что это за место! Никакая пещера сокровищ не сравнится с ним! Янтарь светлый, темный, прозрачными каплями, медово-масличными прожилками! Ларец «Императрица» прямо как торт кремовый. Шахматы янтарные! Горящие в подсветке, как рюмочки с коньяком. И бесконечные россыпи бус и колье, несметные груды растерянного в бегстве чужого богатства. Вот по этим гулким коридорам и было бегство. Под этими сводами отзывалось и множилось эхо отдельных вскриков... А там еще и другие залы, в них мошки и крохотный жучок, запечатанные в золотом плену. И ясный кораблик, замерший на янтарных волнах... И лучи от солнца – светлые до белизны на темно-янтарном полукруге неба... Так все тонко, так жизненно... Все желтое, но ведь ясно же, что небо... А сова, а половинка яблока, а нежные лепестки парусов на корабле. С ума бы не сойти...

Сева смотрел, как она ахает, трещит и хватается за грудь, и думал – когда начнет просить? Но она даже и не подумала просить. А когда он поздно вечером вытащил из кармана ниточку необработанного углового камня, она даже заорала: «Не я, не я!» – « Ну, конечно не ты. А я. На!»

И опять столик с голубями. На третий день – поездка за город на роскошные пляжи и парки. Сева взял с со-

бой в рюкзак десять бутылок пива, и они здорово повеселились, после чего она пошла купаться в студеной волну. Людей на пляже было очень мало по причине ветра и легкого шторма. Ну, Вале-то надо было все и даже больше! Она пошла купаться до одури. Холодно ей не было, страшно тоже не было. Она моталась по пляжу в купальнике и норовила встать «руки в боки» на фоне тепло одетых гуляющих. Сева это сразу просек, и хулиганских фотографий получилось много. На четвертый день начались температура и злой собачий кашель.

– Сидим дома? Лечимся?

– Еще чего! Я потом себе не прощу!

– А я?

– А ты мне будешь горчичники клеить.

Оставшиеся дни несвадебного путешествия проходили по одной и той же схеме – вечером горчичники, горячее вино и мед, утром – ноги в руки, заскочить за едой – и на пляж. Вечером – горчичники, горячее вино и мед...

На черно-белых фотографиях того времени в кадре на расстоянии руки с трудом умещались два смеющихся лица. Он – с длинными волосами и в черных очках, она – в тифозной стрижке, сморщив нос, ухаживаясь, держала его за шею. Еще на этих фотографиях она скакала, как коза, в купальнике на фоне прибоа, сутулых фигур в капюшонах и куртках. Белый мраморный столик, заставленный тарелками и бутылками, изображал также голубей, клюющих хлеб. Потом – целая серия в зоопарке и совсем немного – в музее Чюрлениса.

Чтобы попасть в этот музей, пришлось ехать на поезде в Каунас. По вагону ходили милиционеры и тыкали пальцем людям в паспорта. Что им было не так? Дрожа, они вышли в Каунасе и прочь от вокзала, чтоб от них отстали стражи порядка. Немного побродили по улочкам, которые были чисто умытые и цветные, как новогодние комнаты. А в музее – картины, музыка, все

пронизано одно другим и полное ощущение, что это не на земле. И это все обуревало Валюшку на чувственном уровне, хотя до того она ничего не знала про Чюрлениса. Стоя в слезах перед книгой отзывов, исписанной разными иностранцами, она так и не смогла собраться на пару вежливых фраз. А Сева ей просто сказал: «Вот, теперь ты знаешь хоть что-то мое».

Поездка была такой насыщенной, что отпечатались внутри них, растянувшись во времени. Им показалось, что это было долго-долго, целый месяц, даже два, но на самом деле это длилось всего девять дней. Вскоре холодный солнечный город погас, как на экране, и сменился привычным дождем и желтыми пятиэтажками родного города. Подходя к дому, она вдруг сказала: «Знаешь, когда я приехала сюда впервые, я никак не могла запомнить дорогу к дому Иванны. Но я находила этот серый дом, который она мне показала, дом с выдающимися вперед вертикальными плитами по фасаду... И от него уже шла. Меня все время что-то приводило сюда, как говорят, «ноги сами принесли». Однажды я так целый час вокруг него ходила – уйду, сверну, потом еще раз сверну... Глядь – опять этот серый дом...» – «Сочиняешь или правда?» – «Да честное слово! Я ведь не знала тогда, что это дом, где живет Северин Седов». – «Это мистика. То, что Иванна этот дом знала, понятно. Но ты же не знала». – «Я не знала, но ты ведь ко мне приехал в город у моря. А я была в пеньюаре». – «Коварная! Ты долго вынашивала свои планы! Ну, вот мы и дома». – «Почему-то я боюсь заходить». – «Хорошо, давай пару кругов дадим».

Они обошли дом медленным шагом. Ее сердце билось, как тогда, когда она заблудилась здесь в первый раз. Обошли еще круг и взошли на крыльцо. Марш начинался.

Часть вторая

ДО ТОГО КАК

В пустой квартире было тихо, и по комнатам гулял ветер. Он изредка похлопывал дверцей шкафа или незащелкнутой фрамугой. Занавески небрежно гладили подоконники, шевелили забытую газету. А где жильцы? Их не оказалось. Валя с Севой прокрались в дом, как нашкодившие коты, но крались-то они зря. Отсутствие хозяев сделало их смешными и все-таки заставило вздохнуть с облегчением.

– Представь, Сева, как бы мы жили, если бы жили одни. Не боялись бы мы. А то вечно.

Сева пропустил это мимо ушей. Он отнес чемодан и сумку в самую дальнюю комнату, распихал куртки по шкафам и пошел ставить чайник.

– Выпью два чайника, – объявил он.

– Вдохлеб! – сказала Валя. – А кроме чая что?

Но незримая сила сплющила их и уронила на диван. Что-то больно впилося в спину, послышался жуткий скрип, комната вертанулась вокруг своей оси. Толчки неприличного, пьяного момента еще не кончились, как в прихожей послышались шаги и шарканье. Скорей! Скорей принять вертикальное положение. Руки и ноги не слушались. С хрипом кипел чайник и хлопал крышкой как оглашенный. Сева вскочил первый – «А ты как будто переодеваешься!» Вскочил и пошел к людям. Валя пыталась прибраться на диване, обнаружила расческу, впившуюся в спину. В прихожей Фелисата и её дочка Даля приехали с дачи, они оживленно обсуждали новости, что бочка зеленая потекла, что замок с кладовки опять пропал, а вот лук еще цел, они его выкопали и разложили в домике на мешке...

– А где же Валентина твоя?

– Она там переодевается. Мы только с вокзала.

– Я думала, вы на самолете.
– Ну да, до Петербурга, оттуда на поезде.
– Да пускай, мама, зачем она тебе? Я сама подогрею им рагу. А это что?

– Скумбрии копченой немного привез. Пахнет хорошо, да?

– Так я-то знаю. Маме отрежь. Сева, ты дай мне продуктовый кулек, я тут все разберу. Как все прошло?

– Купались в Светлогорске.

– Да что ты, холодно.

– Нет, это здорово все. С пивом на берегу.

– Ну. Парнишка с пивом наперевес.

Валя вошла, сильно робея, поставила продуктовый пакет. Фелисата сразу ушла.

Даля тут же разобрала пакет.

– Смотри-ка, халатик мой тебе как раз. Я довольна, а ты?

– Да, спасибо. Не разобрала еще сумку – глядь! Висит такая прелесть. А что Фелисата Петровна ушла сразу?

– Устала.

Конечно, Даля всегда был дипломаткой, но Вале сразу не захорошело. Что-то не так, значит. Они вкусно поужинали этим рагу Далиного приготовления, потом Сева ушел крутить радио, и Даля отнесла маме подносик с едой.

– Не обращай внимания на мамины молчанки, – сказала Даля, обернувшись от раковины с посудой. – Ты погоди пока, тарелки не ставь в шкаф, я хочу на полочке прибраться.

– Ой, да там наверно грязь, крупа просыпана... Может, я сама?

– Вместе быстрее. Я домою, а ты доставай пока все. И обоину принеси из кладовки, полки-то застелем.

Валя метнулась, принесла, но сердце у нее предательски застучало. Даля, прекрасная и нарядная даже

после дачи, с прической, в халатике, из-под которого выглядывала ажурная коричневая кофточка. Она лучше всех из родни приняла Валю. Не могла она представлять для нее угрозу. Но что тогда? Почему так страшно?

– Скажи-ка, Валя, а кто такой Марат?

Валя не просто вздрогнула. Она даже дернулась всем телом, уронив коробку с рожками.

– Ну, это парень у меня был – там, на юге.

– И вы собирались как-то оформить отношения?

– Не знаю. Он официально делал мне предложение, все знали. Но потом женился на другой.

– Ай-яй-яй. А Сева знает?

– Я ему рассказывала. Но так, не очень. Мне до сих пор обидно. Я к нему как к человеку, а он как этот...

– А вот твои друзья, которые из ансамбля, ты хорошо их знала?

– Да ну, ничего хорошего. Они играли в ресторане, и мы просто... Аа... Ты имеешь в виду, встречалась ли я с кем-то из них? Даля, ты никого их не знала. Почему ты так спрашиваешь, с прицелом? Тебе кто-то рассказал о них?

Далина расстелила кусочек обоев на чистой полке и шустро расставила тарелки, банки со специями, чашки...

– Ты помнишь, когда я приехала папу хоронить, я рассказывала вам с Севой свою историю жизни, да? У меня тоже не все было гладко и благополучно. С мужем Юрой я вообще два раза знакомилась. Но ты понимаешь, до того как вы начнете с Севой свою совместную жизнь, а вы и так ее уже начали – вам надо все друг о друге знать. Ну... Чтобы потом не рвать на себе волосы.

Валя сидела как каменная. Она пыталась Севе сказать, что он у нее не первый, но тогда предстояла операция, которая могла закончиться плохо. И на фоне этого рассуждение о девочке-недевочке казалось сюсюканьем. Речь шла о том, есть ли будущее, это значит, будут ли дети, или она вообще провальный вариант и где-нибудь есть опухоль. А потом вовсе стало неважно. Но она

прекрасно понимала, что и она не первая у Севы, так что криминал стал неактуален.

– Нашей маме уже несколько дней звонит какая-то женщина, – продолжала Даля, гремя черепками. – Говорит, что подруга Иванны. Предупреждает, что Седовы приняли в дом проходимку и вообще неизвестно кого. Что она, эта проходимка, поспала с половиной города на юге. А нужна ей квартира. И нужен человек, который прикрыл бы ее шашни своей чистотой и порядочностью. Погодите, она еще покажет свое истинное лицо. Мама и оборвала ее. И лекарства пила. И милицией грозила. Нет! В трубке говорят, звонят из желания защитить. И все продолжается... Эй, ты меня не слышишь?

Лицо у Вали было не свое, а чье-то красное и пухлое, с растянутым ртом. Подбородок дрожал, а звук был невнятный: «Ззз... Зззз».

– Что ты бормочешь? Чего сразу в истерику впадать? Разобраться надо – кто это сделал, что надо. Мама сразу хотела. Но я ей сказала – пусть сами разбираются.

– Ззз... зачем? Я и так уйду. Пожалуйста...

И она повернулась, пошаркала в прихожую.

– Эй, куда ты? Сева!

Но там уже хлопнула входная дверь. Сева ничего не слышал, он сидел в наушниках. Пока Даля до него достучалась, прошло минут десять. Сева вышел во двор и стал осматривать потемки. Нет, ну на полчаса оставить нельзя. Уже что-то придумала, соскочила, побежала. Чуть что – сразу надо бросаться с балкона. Это неужели все время такое будет? Нельзя ли вообще избежать эксцессов в первый же вечер приезда? Он несколько раз обошел вокруг дома, надеясь, что она делает то же самое. Все-таки холодно, она могла замерзнуть в халате... Потом увидел – стоит между двумя гаражами лбом в стенку. Взял за руку, повел: «Хватит уже играть».

Она молчала. Даля объяснила ему шепотом, что же, в конце концов, случилось. Не хотелось травмировать

маму. Но кого-то все равно травмировать пришлось. И потом все затихло. И больше в тот вечер никто предысторию отношений не обсуждал. Что там было до того как... Ну, звонили и звонили. Валя пыталась сказать, что все эти детали – про ансамбль, про Марата – могла знать только Иванна. Но она ли это звонила или ее подруга Диана, она же супруга Альбы, – неизвестно. Матушка Фелисата все равно по телефону узнать не смогла, тем более что Диана вообще никогда не звонила Севе домой. Сева общался только с Альбой, а не с его женой. Возможно, в день свадьбы тоже звонила она, чтобы испортить всем настроение. Она, наверно, была не в курсе, что произошла смерть папы, и событие перешло совсем в иную плоскость...

Валя молчала несколько дней, и это было необычно для человека, который даже десять минут помолчать не мог. Сева даже шутил: «Сегодня ты еще не молчала свои пять минут». Да не было их, этих пяти минут в природе. Но вот она молчала. Сева знал все. Но это на его поведении не сказалось. А на ее поведении – да. Она теперь подолгу рассматривала какую-нибудь простую вещь – ложку, вилку, стакан, который мыла под краном. В окне она рассматривала каждый кирпич на трансформаторной будке напротив, на которой расплывчато было начертано «Не входить. Высокое напряжение». Напряжение – да, высокое... Потом – железные столбы с бельевыми веревками. И как на них женщины развешивают простыни, обширные пододеяльники, разнопестрые полотенчики. Женщины с тазиками вели себя вольно, по-хозяйски. Едва намеченную клумбу, поросшую лохматой травой, из которой храбро лезли длинные чахлые саженцы берез. Какой-то человек в медалях посадил их, и вот, выжили. А как она выживет?

Потом села шить длинную юбку годэ. И однажды, оглянувшись, нет ли кого поблизости, негромко сказала: «Хотела замуж? Хотела. Получила замуж? Получила».

РУБИЛОВО

Первая осень новой жизни, первый сентябрь и октябрь. Тепло неимоверное. Уж и бабье лето давно прошло. Солнце как густой мед. Ни ветерка. Ощущение долгого пристанища, дома. Начинаящая жена Валента Седова вошла в прихожую, споткнулась да с размаху встала на четвереньки.

– Обалдели! Кто накидал тут? Искалечилась вся, – закричала она, ожесточенно потирая обе коленки.

Мелькнула радостная догадка об арбузах, так как в городке у моря в таких количествах закупали только арбузы.

– Это мой сыночка принес капусты! – радостно возвестила Фелисата из своей комнаты.

– А зачем мешками?

– Посолить бы. Ты за солью сходи. И за сахаром-песком, и яблок два кило.

Валя схватилась за голову. Подразумевалась акция, видимо, одна из семейных традиций, которую придется поддерживать. Ей хотелось сходить в клуб самодеятельной песни, судя по объявлению, клуб собирался давно на одном и том же месте. Но вместо этого ей пришлось быстренько смотаться в лавку, переодеться и мыть баки и ведра. О своих интересах уже не шло и речи. Она начала резать капустные кочаны, хрустя большим длинным ножом. Потом увидела, что получается слишком большая порция и не умещается в тазике при перемешивании. Пригоршни летели на пол. Тут пришел усталый Северин Алексеич и тоже засучил рукава. Кашу поел, стоя у холодильника, второпях, даже не разогрев. Жуя, оценил размах работ. Теперь он строгал ярко-оранжевую морковку на терке, а она рубила и мяла капусту. Возня была молчаливой, только радио чуть дышало в ухо, передавая интервью с поэтом. Поэт говорил путано и невнятно, зато интересно читал: «А когда ты

пришла на рассвете, то ли боль, то ли хмель хватая, Он подумал, что это ветер обнимал тебя, дорогая. А когда ты пришла под вечер, он стелил тебе поцелуи, И шептал, как посол на вече: «Я тебя все равно ревную».

– Что ты насторожилась? – спросил Валенту Северин.

– Я в этот город приехала из-за поэтов. Иванна сказала, что здесь прямо так по улицам ходят живые поэты.

– И что такого?

– А то. Вот, я слышу – поэт. Надо же.

Потом матушка Фелисата пришаркала, велела положить на дно бачка яблоки, прежде чем трамбовать туда капустный ворох.

– А зачем?

– Привкус дают, милушка. Когда дойдем до дна, поймешь, зачем.

Валента положила один слой, часть яблок. Потом еще слой.

– Откуда ты знаешь, сколько надо соли? – наивно спросил Северин. – И сколько сахара?

– Это происходит машинально. Я же с матерью дома солила.

Ее руки, покрасневшие от соли, защипало, и она слизывала сок с ладоней. Он насмешливо любовался. Грудь дышит, ходит – море волнуется раз, море волнуется два – глаза сливовые сощурены, рот полуоткрыт. Ишь, вошла в раж.

– А знаешь, я однажды видела кино. Оно запомнилось. Ты не видел? Название не помню.

– Ну, о чем там?

– Да там, кажется про шпионов, про спецслужбы какие-то. Отправили мужика с заданием, а он попал в один поезд с бабой, и они перепутались документами, ужас. Что началось. Ее убить решили. Но она-то при чем? Баба в ужасе, глаза со стуком на пол – в гостиницу

не селят, как найти того мужика, тоже не знает. Как начала там бегать, икру метать...

– Кто?

– Ну, эта баба.

– Может, не баба, а мадам Леман?

– Так ты смотрел!

– Не смотрел, но догадался.

– Ах ты!

Она свалила в бак очередной мокрый ворох, стала уплотнять кулачками...

– Слушай, надо поменьше морковки, а то на всю капусту не хватит. Гляди, капуста порыжела.

– Следи – я тебе подаю объем, а ты сама-то регулируй. Так чем кино-то запомнилось, так и не сказала.

– Да понимаешь, красивая баба, и так зря погибать. У нее волосы густые такие, сверкающие, волною. И лицо мадонны. Чистота божественная...

– Не баба, а мадам Леман.

– Ты опять? Учишь меня, как правильно? Не буду больше рассказывать....

– Извини. Мне это мешает. Продолжай.

– Да чего тут продолжать, зачем, если ты ко мне придираешься?

– Не придираюсь. Знаешь, в чем там дело?

– Ну. В чем?

– В том, что это всего лишь маскировка под детектив. На самом деле, та же банальная лав стори. Тебе ведь в финале было все равно, получится операция у спецов или нет, так? Главное – что они не встретятся.

– Ну, допустим.

– К поэту ты прислушалась, потому что любовь. В фильме тоже одну любовь заметила. Потому что в этом ты вся. Дело не в мадам Леман, а в тебе.

Валента перестала рубить капусту и принялась смотреть в окно, где густо шевелилась зеленая, а местами рыжая листва.

– Это плохо? Это примитивно, да?

– Ну почему. Просто ты такая. Просто это факт.

Наступило долго натянутое молчание, прерываемое только стуком ножей, скрежетанием терки и хрустом кочанов. За окном в птичьем посвисте остывал горячий морковный закат.

Сева усмехался.

– Ты говорила, что Анчарова любишь. За что?

– За жизнь. После его книжки хочется жить. Да он еще и подсказывает – как. «Творчество как способ жизни, причем лучший ее способ».

– Значит, это учебник. Или свод проповедей, как в православии.

– И ничего подобного! Где ты видел проповеди с таким громким смехом? Оно все весело. Нет, это не просто чтение, это великая радость. Заводит сходу. Кстати, ты помнишь, что я же в библиотеке работаю?

– Допустим.

– Так вот, я там нашла адреса, написала в Москву, в Центр авторской песни. У них есть поклонники творчества. Может, ответят. Там народ деньги собирает на памятник, я тоже помогаю.

– И что же будет?

– А будет то, что я буду не одна. Ведь раньше у меня были друзья только в «День за днем», а теперь будут живые люди, понимаешь? И мы встретимся. А кто-то сможет в библиотеке выступить. Ты представляешь, я стану частью целого движения... Хорошо бы сделать так, чтоб его никогда не забыли!

– Это конечно, хорошо. Мы тоже встретимся.

– А вы – это кто?

– У вас свой фан-клуб, у нас свой. Это радиослушатели Севы Новгородцева. У него будет день рождения в Лондоне, в следующем году. Помнишь, как я ночью слушал передачи?

– Конечно.

– Так вот. Один из организаторов, Татищев, уже внес меня в список. И я поеду оформлять визу.

– Ого, – она с уважением смотрела на Севу.

Потом она подставила горящие от соли руки под воду, и в той струе воды напоследок вспыхнул закат.

Все! Солнце село за горою. Значит, фантазии и байки становятся реальностью. Так-так. Но на границу придется собирать деньги, много денег...

– Ну что, последние три кочана?

– Хочется понять? Угадал?

– Да, хочется. Морковки нету больше, так что тоже приступай к рубке.

– Да и так слишком много нарубили!

Да, два бака были уже полны, наступала очередь ведер.

Пришла матушка Фелисата, чтоб не сказать свекровь Фелисата, которая принесла чистые марлечки и показала, как надо установить в бак банку с водой вместо камня. Чтобы груз был. Вид у матушки был кроткий и сочувствующий, но она была довольна происходящим дальше некуда. Видимо, такими и чудились ей семейные домашние вечера сына, и может быть, она уверяла себя, что он тоже от этого получит удовольствие. Но, судя по увлечениям Северина Алексеича, это было маловероятно. Фан Севы Новгородцева Сева Седов за рубкой капусты. А если бы матушка послушала дальнейшую беседу за рубкой капусты, очень удивилась бы.

– Понимаю тебя, – произнес Северин с улыбкой, – я сам себя чувствую дураком в этой ситуации. Есть люди, живущие в согласии с традициями, а есть те, кто и думать о них забыл. Сами по себе традиции – это неплохо. Хуже, когда они становятся обязателькой других! Я не однажды подумал об этом, читая одну английскую книгу – «Уолден». Автор – Генри Торо, но я ее так запомнил, по названию. Это самая скучная книга на свете, но

нет ничего лучше, чем читать ее, лежа на диване, когда дома никого и все тихо.

– Что же там такое, что ты читаешь такое скучное?

– Мысли умного человека про устоявшиеся представления своего времени.

Автор писал о том, как устроено общество в Англии в семнадцатом веке, но если сравнить с нынешним днем, многое окажется верным и для нас сегодня. К этой мысли неизбежно приходишь в самых разных ситуациях. Он – глядя на своих соседей фермеров, живущих во всяком случае не хуже других слоев населения, я – глядя на соседей по даче. Он, например, видел, что им приходилось работать двадцать, тридцать и сорок лет, чтобы действительно стать владельцами своих ферм, которые они или наследовали вместе с закладными, или покупали на деньги, взятые займы. Треть их труда шла на оплату дома, но долги обычно они так и не выплачивали никогда, в смысле всей суммы. Правда, долги часто превышали стоимость самой фермы. В любой округе не нашлось бы и дюжины ферм без долгов. Какой смысл обрабатывать землю на таких условиях? Никакого. Поэтому писатель Генри Торо впал в отчаяние, пытаясь понять смысл такой работы. Так, наследуя землю, человек обречен был на бесконечный рабский труд на этой земле. Это ведь очень тупо? Подобное можно видеть и в нашей жизни, в наше время. Нужно покупать мебель, годами за нее расплачиваться, нужно работать на даче, копать огромные, никому не нужные гряды... надрывая жилы... до могилы. Рифма, да. У людей не хватает решительности выйти из этой колеи.

– Ты считаешь – то же самое с солением капусты?

– Абсолютно. Нам она сто лет не нужна, ее можно в магазине купить, но над нами есть авторитет предков, поэтому мы благоразумно соглашаемся, чтобы не идти на конфликт... с поколением.

– Да уж, себе дороже. Так получается, это великая книга? Но если ты с ним не согласен...

– Да нет... – Северин мыл посуду, стол, пока Валента устанавливала банки в бачках и покрывала все это сооружение марлей.

– Есть такие места, где с Генри Торо нельзя не согласиться в его оценке.

– Например?

– Например, в его рассуждениях об одиночестве.

То, что он говорит об одиночестве, на самом деле не одиночество, а общение с другими существами, даже стихиями. Как говорил Бродский? Как, ты не знаешь, кто такой Бродский? Одиночество – это человек в квадрате... Хотя одиночество в молодости – нечто иное, чем одиночество в старости. Ведь одиночество в молодости жизненно необходимо, как, например, вода. Это наслаждение. А в старости оно настолько неприятно, что лучше избегать... Сколько было Генри Торо, когда он писал это? Во всяком случае, относительно молодым. Но моей юности это было очень созвучно, а моя жизнь тогда была наполнена одиночеством.

Для меня Уолден – возможность держать фигу в кармане. Так же, как и рок-н-ролл. Отделиться от того социума, который везде, во всех сферах. И чувствовать себя защищенным в этой скорлупе.

– От чего защищенным? Может, ты антисоветчик?

– От чего, от кого... Давай уж чай пить? Мы, кажется, закончили свой рабский труд. Даже сушка есть, с маком.

КНИГА УМИРАЕТ

Конечно, домашние сценки в повествовании о женщине нашего времени неизбежны. Борьба с едой, нескончаемый быт, сложные отношения в семье иного социального статуса – все это интересно и злободневно, в какую бы эпоху ни происходили события. Но работа занимает у человека полжизни. Где работает героиня – это не менее важно. Это ведь ее осуществление как личности.

Автор – литературному негру В.

А тем временем на новой работе у Валентины началась горячка. Отделом культуры было выдано предписание провести конференцию, да такую, в которой бы острые проблемы современности сочетались с попытками обновить работу библиотек. Валя, затянутая широким поясом в новый фиолетовый костюм, с трепетом вникала в название отделов – книгохранение, абонемент, МБА, читальный, – пыталась запомнить расположение фондов и понять систему внесения новых книг в каталоги. Она еще только первые шаги делала в этих священных коридорах, а ее уже ставили на прорыв. Видимо, надеялись, что она сгоряча не поймет и что-нибудь как-нибудь совершит. А справедливую критику ей потом обеспечат.

Валентина после экономического бюро постепенно ожила, ей нравилось работать с людьми. И хотя сначала она сидела у каталога на справках, а потом перешла на абонемент, она каждому читателю стремилась помочь. Она так и не привыкла за все годы работы отсылать посетителей куда подальше, потому-то ее как раз посылали часто. И она знала, каково оказаться в шкуре посылаемого... «Как ты хочешь, что бы обращались с тобой, так и обращайся с другими».

В тот день с утра она сидела и читала жесткую по содержанию бумагу из отдела культуры. Бумага была невнятная и состояла из общих фраз. Но фразы валились на нее точно камни, от этого дрожали руки и дергался глаз. Как назло, прежняя главная методистка ушла, новая еще не пришла, так что новенькой пришлось проводить конференцию самой. То есть ей требовалось найти докладчиков, человек так десять, заказать им сувенирные папки с канцтоварами, обзвонить столовые и обеспечить два дня заседаний чаем и пирогами. При этом ей советовали разнообразить состав выступающих от библиотекарей до научных сотрудников, привлечь студентов, обеспечить всеобщую явку, отпросив их с работы и с учебы в будний день. На все про все – две недели. Хотела интеллигентную работу – получила интеллигентную работу.

Кулуарные слухи, тайные сговоры и подавленные скандалы с морем слез нигде не фиксировались, но в день конференции в холле висел сверкающий белым пластиком транспарант:

«Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, любители чтения, почитатели книги!

В начале 2000 года в городе на областном уровне проходил Конгресс в защиту книги и чтения. Выпущено Обращение. «Просим Президента РФ объявить первый год третьего тысячелетия «Годом Книги». Поддерживая и продолжая эту инициативу, МУК «ЦБС» проводит сегодня конференцию «Книга сегодня и завтра». Ведут конференцию ведущий библиотекарь ЦГБ Валентина Седова и заместитель директора по науке Ирина Кож».

У входа в читальный зал стояла завитая на бигуди Валюшка и выдавала всем входящим канцелярские голубые папки, содержащие блокнот, ручку и Обращение в защиту книги, которое надо было принять в финале. Дрожь ее колен вполне сошла бы за стук сердца. Мест в читалке не хватило, стульев добавляли из книгохране-

ния и кабинета директора. Первым, конечно, выступал депутат Заксобра:

«На Руси издревле существовала любовь к книге, к чтению. Эта любовь и по сей день является показателем культурного, нравственного здоровья нации, показателем ее жизненной силы, способности выстоять под ударами судьбы.

Нас тревожит, что в обществе пропадает отношение к книге как к произведению искусства. Дельцы, озабоченные получением прибыли, низводят ее с высот духа до положения самого обычного товара.

Нас беспокоит, что дети настойчиво вовлекаются в сферу компьютерных игр, в мир агрессивных детективов и жестокой фантастики, калечащий их души.

Мы озабочены тем, что в результате непродуманной налоговой политики многие книжные магазины, чтобы выжить, вынуждены сдавать торговые площади в аренду предпринимателям, а книжные магазины – храмы знаний – превращаются в базарную толкучку. А в сельской местности книжные магазины и отделы просто закрываются.

Чтобы противостоять натиску бездуховности, торгашества, недостаточно полумер, должны быть предприняты активные шаги со стороны государственной власти.

Одним из первых шагов должно быть воссоздание сети государственных книжных книгоиздательств, способных противостоять стихии рынка, диктующего сейчас в этой сфере свои законы. Должны быть предусмотрены и налоговые льготы для изданий художественной литературы, а также и учебников для детей. Необходимо вернуться к принципу комплектования библиотек на государственной основе, а также снизить тарифы на пересылку, чтобы книга могла дойти до самых отдаленных уголков страны». И так далее еще пять

страниц доклада, который был написан другим человеком, но хорошо выучен.

Валя подумала, что депутат, видимо, и должен был решать эти проблемы, причем еще до конференции, но был занят важными госделами и теперь искренне озабочен. Зато вовремя подоспел опоздавший и запыхавшийся пятый филиал. Голосом утренней свирели пятый филиал прозвенел: «Сегодня я хочу сказать о победах и поражениях большой литературы!» И все захлопали, непонятно только чему – победам или поражениям. Но пятый филиал не сдавался.

«Что может согреть наши души и сердца больше, чем соприкосновение с прекрасным! Что может быть лучше хорошей литературы, которая побуждает человека развивать лучшие качества: любовь и уважение к людям, доброту, гуманность, стремление к самосовершенствованию. А главное, литература приучает людей думать о своем предназначении в жизни, о необходимости сделать что-то для ее улучшения, принести пользу обществу. Литература сейчас, обогнав кинематограф, заняла первое место в духовном просвещении людей. (Ой ли? – подумала Валя.)

Снятие цензурных запретов дало возможность писателям писать так, как они хотят и о чем хотят. Многие известные современные авторы продолжают писать интересные и актуальные произведения – В. Распутин, И. Бородин, В. Крупин, А. Варламов, О. Павлова и др.

Среди авторов развлекательной литературы заслуживают внимания А. Бушков, Д. Петров, А. Воронин, П. Дашкова. Они стремятся создать не просто детектив, но поднять в своих книгах важные нравственные проблемы: наказуемость зла, деньги любой ценой, новые русские с их барством и ограниченностью. В стремлении к правдивости безусловные победы сегодняшней литературы.

Но более десяти лет свободы на российском просторе обернулись и рядом поражений на литературном поприще. Многие так называемые новации направлены на разрушение традиционного ядра русской культуры. Зона стыда, столь сердцевинная для русской литературы, все больше сужается. Появляется на книжном рынке много низкопробной книжной продукции с элементами «клубнички» и нецензурной брани. Многие современные авторы в своих книгах создают антиценности, пропагандируют зло и его торжество над добром. Происходит, как писал В. Шаламов в «Очерках преступного мира», романтизация уголовного мира, а главным положительным героем становится вор и бандит – В. Шитов, «Собор без крестов»; Т. Полякова, «Моя любимая стерва», «Мой любимый киллер». Эта часть современной нашей литературы как бы сомневается в вековых народных ценностях – в любви, в материнстве и детях, в вере, в церкви. Русская литература всегда трепетно относилась к вопросу о смерти. Сейчас же мы видим у многих авторов, что жизнь человека теряет свою ценность, а убийство становится обычным делом. Зло торжествует. Причем писателями становятся не только заложниками, но и проводниками этого зла. Это ли не поражение русской литературы? Коммерция захлестнула сегодняшний книжный рынок, литература часто становится просто средством добывания денег и превращается в штамп. Часто на титульном листе обозначен не один автор, не говорит ли это о «бригадном» подходе к созданию новой книги? Во многих произведениях нет больших человеческих тем, герой в них живет своим личным миром и дальше него ничего не видит. Кажется, нас сейчас захлестывает литература разложения. Положительного героя не найдешь...

Однако жива еще надежда на серьезное отношение литературы к миру и самой себе. Общество обязательно среагирует на это. Хотя сегодня порой оно воспринимает

писателей всерьез только во время очередной предвыборной гонки. Без большой идеи нет большой литературы, без героя в среде подлинного бытия нет и настоящего творчества. Настоящая русская культура не подвергается тлению, не покрывается ржавчиной, и значение ее не уменьшается».

После окончательного вывода грянули аплодисменты и тут же посыпались реплики.

– Девушка, ваша информация уже устарела!

– Милая, а где взять текст доклада?

– У вас в папочке!

– Ну и приоритеты. Вы их провозгласили, а мы не согласны. Странная вообще иерархия.

Но на вопросы только десять минут. Следующий! Первый же доклад грозил поломать весь распорядок.

Следующая была замдиректора. Она рассуждала о библиотеке будущего двадцать первого века из века настоящего.

«Что представляет собой библиотека на рубеже века – традиционное начало главенствует или новые технологии? Примиримость нового и старого? Утверждение традиционного? Библиотека – одно из консервативных учреждений – что об этом думают профессионалы-библиотекари? Одно из мнений (убеждений) связано с появлением новой культуры – электронной. Электронная библиотека – это нечто отличное от традиционной.

Библиотекари городского уровня (сотрудники МУК «ЦБС», школьные библиотекари) не осмысливают разницу между накоплением БД и электронной библиотекой, одна из причин в том, что полученное образование у библиотекарей не связано с электронной средой.

Знания об электронной библиотеке и путем знакомства с периодическими изданиями – это часто единственный способ получения новых знаний. Электронная библиотека воспринимается как что-то очень далекое.

Не буду вникать в эту проблему глубоко, на конференции за техническое обеспечение отвечает фирма МЕ-ЗОН, она что-то покажет нам из этого «далекого будущего».

Есть мнение некоторых библиотечковедов, что электронная библиотека – это библиотека новой цивилизации. А традиционная с ее огромным книгохранилищем превращается в государственный музей книги...»

А Валя честно слушала, внимала. Она каждый день стучалась о ломаные стеллажи и перспективы никакой не видала. Приходит человек, и куда ты его тащишь? Конечно, к допотопному деревянному каталогу. Какие там перспективы!

О, компьютерная тема забила как фонтаном еще не раз. Профессор Бара говорил о дьявольском поспешении. Текст доклада, представленный предварительно, казался не таким категоричным.

«Современное чтение можно охарактеризовать тремя определениями: отрывистое, судорожное и беспорядочное. В 1986 году «Плаху» Ч. Айтматова читали все: и учитель, и мореплаватель, и плотник. Сейчас и у того, и у другого, и третьего – нет денег. Приходится выбирать: выписать хотя бы один «толстый» журнал или лишить ребенка далеко не лишнего куска хлеба.

Нет «чувства локтя» в читательской среде – нет и единого информационного пространства. А есть – информационное бесправие: книжные цены давно уже не кусаются – кусать некого; издательская политика, как и политика большая, зависит от толстого кошелька, либо от вкусов начальства (и еще не известно, что хуже); подлинная национальная художественная литература игнорируется; разгромленные в начале 90-х писательские союзы влачат жалкое существование, постепенно превращаясь в нечто среднее между клубом «по интересам» и домом престарелых; телевидение смакует агрессивно-вульгарные клише типа «мочить в сортире», а потом

эстетски сюсюкает в кругу одних и тех же лиц; Интернет, «великий и ужасный», совершенно недоступен большинству народа. Литература лишена цельности, разбросана, как острова в океане:

«Теперь она, как в дымке, островками
Глядит на нас, покорная судьбе...»

(Н. Рубцов, стихотворение «Поэзия»)

Библиотеки – такие же островки культуры, на их небольших площадях теснятся миллионы, но что они читают?..

Известно, что литературу можно брать, во-первых, – для развлечения, во-вторых, – для получения информации, и в-третьих, – для души (нумерацию можно, кстати, менять произвольно, как кому нравится). Хорошее развлекательное чтение (например, роман Ю. Полякова «Козленок в молоке»), бесспорно, имеет право на существование, но ведь речь идет не о чтении... Господствует, к сожалению, чтиво. Зверские детективы, полубезумная фантастика, якобы любовные романы и прочая, и прочая. На низменных инстинктах толпы жирует булгаковский «Массолит», высмеянный сатириком на многие века вперед. Дошло до того, что детективы стали писать «бригадным» методом. Вспомните у Михаила Афанасьевича: «Я не писатель, я – Мастер!»

Библиотекарь не должен опускаться до уровня ширпотреба и барахтаться в этой жиже, он просто обязан воспитывать хороший вкус у читателя, точнее, восстанавливать то, что разрушено так называемой «массовой культурой». Нет сомнения, что библиотечный работник так и поступает, но, увы, и он не свободен от соблазнов.

Популярность – вот что сбивает многих с толку. Но популярность, даже слава, как известно – дым... Писатель Боборыкин в свое время был популярнее Чехова, а Арцыбашев – Бунина. Кто, кроме специалистов и от-

дельных любителей, о них сейчас помнит? Надо искать истину не во временном, а в вечном. В классических произведениях можно обнаружить и бездну информации («Война и мир» Л. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» Шолохова), и напряженнейший сюжет («Преступление и наказание» Ф. Достоевского); в трагических книгах А. Солженицына «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» можно найти великолепные юмористические сцены и блестящую сатиру, а в сатирической сказке В. Шукшина «До третьих петухов» – подлинную трагедийность.

А мы спешим, мы – торопимся, глотаем все подряд, тщимся быть эрудитами, не успеваем прочитать одного автора, как тут же не успевает прочесть и другого... К чему эта гонка с препятствиями от одного «дутого» имени к следующему?.. Недавно нашей кафедре литературы госпедуниверситета состоялось обсуждение романа Алексея Слаповского «День денег». Общий вердикт: низкий уровень, и прежде всего низкий уровень языка, а ведь язык – основа основ художественной литературы как искусства слова.

Признаемся сами себе: нами не перечитаны (а значит, и не прочитаны как следует) А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой; мало кто прочел полностью «Пирамиду» Л. Леонова, «Красное колесо» А. Солженицына.

Современной русской литературой в литературоведческой науке считается, кстати, весь период от 1956 до 2000 года, то есть вторая половина уже закончившегося века, а то, что происходит на нынешней писательской кухне, называется современным литературным процессом, и расхлебывать его может только рискованный критик, но никак не литературовед.

Подлинную оценку ставит время. Пройдет свой срок, и мы будем читать и перечитывать то, что окажется достойным великой русской литературы».

Ах вот как! Значит надо подождать полсотни лет? Всего ничего! В душе у Валентины все-все кипело. Большой ученый авторитет посылал проклятия сотням читателей. Среди белого дня, причем открыто!

Он учит библиотекарей хорошему вкусу, мама родная, не барахтайтесь в жиге! Участники конференции заметно побагровели, но поздно. Валентина испугалась, что ее убьют. После профессора читальный зал просто загудел.

– Что ж вы предлагаете, уважаемый? Вернуть цензуру?

– А вы сами компьютером, значит, не пользуетесь? Перьевой ручкой лекции пишете?

– Полно вам нагнетать. Даже неудобно...

Но две задорные студентки немного разбавили атмосферу своими восклицаниями. Одна, вроде Оля, восхитилась Пелевиным. И ясно, что ее познания были свежи.

«Мир Пелевина. В. Пелевин – один из самых популярных современных писателей, номинирован на Государственную премию за 2000 год, его произведения переведены на множество языков, он обладатель премии Малого Букера. Но, несмотря на это, его творчество оценивается весьма неоднозначно. Главным предметом дискуссий можно назвать специфику писательского мастерства В. Пелевина. Дело в том, что эта литература лишена многих черт, которые позволяют ее считать художественной[†]. Во-первых, это особый неэмоциональный стиль, в котором свободно сочетаются книжные традиции и произвольность устной речи (создается впечатление, что автор пишет «как попало») ...Пелевин «рассыпает» традиционную структуру романа нового

[†] А. Генис. В. Пелевин; границы и метаморфозы» // Знамя. 1995, № 12, с. 210.

времени не от неумелости, а потому, что она перестает адекватно отражать действительность, которая предстает раздробленной и алогичной. Возможно, поэтому Пелевин возвращается (может быть, инстинктивно) к первоосновам, к истокам романного жанра, в частности к традициям античного сатирического романа... Но он вводит в действие не просто умного рефлексирующего героя, но – героиню. Которая много мягче, сочувливее героя, и это крайне неожиданно для плутовского романа «Священная книга оборотня «...»

А вот вторая студентка говорила о городском самиздате, который снова расцвел пышным цветом, несмотря на свободу книгоиздания, и надо же, несколько раз упомянула Северина Седова, издававшего журнал о рок-музыке. Вечером Валентина прибежала домой и стала его трясти как грушу и раскачивать: «Колись, какой у тебя был самиздат!» Сева же, имевший неприятности с органами из-за этого журнала, говорить ничего не хотел. Значит, правда, был замешан... И она опять подумала – что за человек? Реально, в нем есть что-то от черного ящика. Однажды она уже навязывала ему это сомнительное определение, когда боролась за счастье любимой подруги Иванны. Он тогда только плечом двинул да бровью повел. Но ведь с налету не понять. Тайны сплошные. И чем он простодушнее на вид, тем более уклончив. Сидит, усмехаясь, в наушниках и вдруг как тихий взрыв: кто он?

Во второй день конференции тоже было много докладов, но далеко не все темы удалось получить на руки. Валя зачем их так упорно собирала? Затем, что ей было сказано – по результатам сделать сборник статей для отчета перед отделом культуры. Как сказал бы Сева – отписка объемом двести страниц.

И были там откровения девушки с абонементов Зои Маркиной. Скромный статистический отчет, из которого

было понятно, что посещаемость одной из лучших библиотек города стремительно падает, что делают ее студенты, да и то в сессию, а когда сессии нет, то ходят лишь пенсионеры по два человека в неделю, чтобы полистать периодику, да школьники. И им все равно, какие мероприятия проходят в библиотеке, они на них даже не оглядываются. Вот детский отдел, те молодцы, загоняют сразу по три класса, и отчет в порядке. Это был живой свидетель развала.

Вот Маркина утверждала, что все бесполезно, а Колызова, наоборот, салютовала, как много прошло вечеров, и надо это расширять, потому что народные ремесла расцветают, выставки мелькают, как карусель, и книги не пылятся на полке потому что. Колызова вообще была оптимистка и никогда-никогда в жизни она не призналась бы, что какие-либо шаги к людям были напрасны.

И вот несчастье, Валя Седова потом от нее и загорелась. Никогда в жизни Седова не получала денег так мало, как в одной из лучших библиотек города. Но этими жалкими крохами она была счастлива, так ей понравилась эта работа. Какое заблуждение!

Однако на споре статистики и общения конференция не закончилась. Оказалась в программе седая писательница Бархоленко, которая после всех библиотечных передраг взяла невероятно высокую ноту. Доклад писательницы удалось сохранить в первозданном виде, ибо она как аккуратный человек прислала его заранее как в электронном виде, на дискете, так и в печатном. Валента, хлопая глазами, пыталась вспомнить, читала ли она что-то, написанной этой писательницей, но не вспомнила. Она шепотом спросила у замдиректора, но та была далека.

После конференции первое, что сделать пришлось – это побежать бегом к девочкам-библиографам, и они выдали очень полезную информацию, что писательница приехала из далекого Урала, где была овееяна заслуженной литературной славой, на местном уровне пока не очень известна. Но, даже не зная книг, легко было убедиться, что эта женщина – настоящая писательница.

«Художественная литература магична. Она убеждает, вводит в резонанс, гипнотизирует. Художественная литература – род заговора, доброго или злого, плача или молитвы. Мы смеемся, негодуем, любим, подражаем. Слово нас обучает и программирует. Это обучение идет с момента рождения – чтобы человек оптимально действовал. Оптимально – чтобы он сохранял свою жизнь, свое здоровье и жизнь, и здоровье окружающего мира. Это минимум. Максимум – чтобы он что-то улучшил, ничему не навредив... В идеале художественное произведение должно методом соучастия читателя или зрителя в предлагаемых событиях анализировать реальность и исследовать алгоритмы решений встающих проблем. Что побуждает писателя писать? Сложнейший вопрос. Нет времени проанализировать его полно. Но произведения, созданные с целью наживы, получения известности, самоутверждения, подражания, удовлетворения нездоровых пристрастий, а также по причине глупости следовало бы лишить гражданства. Если бы мы предложили авторам издавать свои произведения анонимно, нам удалось бы сохранить немало материальных и духовных ресурсов. Даже калек было бы меньше.

Эпос, сказки. Ни имени, ни платы, а читаем до сих пор. Почему? Видимо, текст содержит настолько явную красоту и мудрость, что это никому не надо втолковывать.

...Если рассматривать Книгу как явление только современное, качества эти определить невозможно. Если

кто-то скажет, что писателем должна двигать любовь к человеку, то необходимо найти определение понятия «любовь» и ответить на вопрос: к какому человеку? Любовь к деспоту, любовь к сироте, любовь к экстремисту, любовь к извращенцу, любовь к дураку?

Или пусть писателем двигает стремление к истине. Опять: к какой истине? Что есть истина сегодня? Сегодня, когда подаем нищему, а он миллионер, когда видим обман и соглашаемся, когда верим, если нам врут, и возмущаемся, если слышим правду. Не договорившись о терминах, мы лишаемся возможности понимать друг друга.

Для приближения к более точному смыслу требуются дополнительные слова: любовь-ревность, любовь-ненависть, любовь-жалость. Иногда нужно очень много слов. В конце концов истинная книга превращается в термин.

Можно предположить, что это показатель глубокого неблагополучия народа, переставшего дифференцировать новые явления повседневной жизни, особенно в духовной сфере.

МАЙЯ – НИРВАНА – ПРАНА – ПРАЛАЙЯ – ПРАКРИТИ – АТМАН

Сотни, если не тысячи действующих понятий космоса, Бога, состояний души и духа, свойств небес и земли – неисчерпаемое богатство и Великая Поэзия и мудрость Индии. Мы этого, к сожалению, не имеем. И тем не менее, надо как-то пробиться к первородным понятиям, чтобы непонимание и несогласие свести к минимуму, а лучше и вовсе избежать их.

Кто-нибудь задавался вопросом, откуда начинается книга для общего чтения? С законов Хаммурапи. И если не с них именно, то с чего-то, им подобного. Со скрижалей Моисея, например. С того, что некоторые сообщения стали высекаться на камне. Устная традиция передачи сказаний существовала параллельно. Сказа-

ния будут записаны позднее. Поскольку Восток был закрыт от нас на тысячелетия, то я говорю об афро-европейской традиции в варианте не только жреческой доступности».

Рассуждения писательницы не вызвали в Валентине никакого протеста. Наоборот, душа ее волновалась и билась внутри, обозначая болевые точки, не задетые ранее ни чем подобным. И все унижения, связанные с беготней и хлопотами по организации конференции, уже не вызвали в ней досады и стыда, а напротив, примиряли со всем происходящим.

Валентина пришла домой, опять дрожа и пылая от неведомых смыслов.

На планерке ее выругали за плохое техническое обеспечение, неправильное количество кофе, чая и плюшек, многочисленные опоздания участников. Разумеется, там сидели представительницы двадцати филиалов одной из лучших библиотек города, и все слышали этот позор. Но она-то, красная как рак, почти не реагировала. В ответ на ругань она произнесла, что ей нужна настольная издательская система, если он хотят от нее получить какую-либо книгу. И чтобы ей выделили деньги на цветы и достали микрофоны для организации встречи с писательницей Бархоленко. У них в фонде ее книг нет, но надо сходить в областную, там есть. От такой наглости замдиректора просто остолбенела.

И встречу она провела, и пришло более тридцати человека. И были настоящие сшибки мнений, дискуссии и вообще что-то немыслимое. Завсегдатаи библиотеки, ветераны библиотечного дела, сидели, расширив глаза, потому что никогда такого не слышали, не видели. Но через год наступило очередное сокращение, и Вале пришлось уйти в другой филиал, и все решили, что это

все из-за плохой конференции. В целом Валентину Седову увольняли из этой библиотеки трижды. В течение последующих лет библиотеки закрывались, людей увольняли, книги выбрасывали в мусорные ящики. («Это еще ничего, – комментировал Северин, – будут книги и на площадях жечь, история знает такие примеры».) А если людей не увольняли, то закрывали филиалы. Так что ей коллеги дали кличку «Валька-терминатор».

Это было верно лишь отчасти! Пока библиотека была жива, Седова написала в другие библиотеки, в том числе столичные – как у них дела с Анчаровым. Большинство ответивших впервые слышали это имя. И тут она разочлилась. Забыть книжку-весну, заставившую ее жить и радоваться, было невозможно. Да и вообще, что бы сделала Женька Якушева на ее месте? Неужели села бы в уголок и рот лейкопластырем заклеила? Да не может этого быть. Она потихоньку стала искать по букинистическим каналам книжки Анчарова и попутно читать, дарила их библиотекам. Ей стали писать. Как оказалось, Анчарова любила вся страна, оставалось только свести этих людей вместе. И никакое закрытие библиотек тут помешать уже не могло.

Когда она впервые поехала на встречу в Москву, в группе уже было двести человек.

ДЕТИ ОТ РАЗНЫХ БРАКОВ

Начинающая жена Валентина Петровна Седова старательно исполняла свои супружеские обязанности. Приходя на кухню, она рыскала в поисках сырья и тут же, оглушительно гремя кастрюлями, принималась кашеварить. Но когда она уходила в процесс, то не замечала уже приготовленной до нее стряпни Фелисаты. В результате получалось две кастрюльки, и Сева попадал в тупик, за которую приниматься прежде всего. А поскольку есть в три горла он не умел, то одна из кастрюль оставалась недоеденной и попадала в холодильник как неликвид. Фелисата требовала, чтобы ее кастрюля съедалась первой, а Валента – чтобы ее. Международная напряженность росла. И деликатному человеку приходилось жертвовать собой.

Вот эта самая жена как-то сидела на кухне, чистила картошку, а за спиной соловьем заливалось местное радио: «Дорогие радиослушатели! – вещал чарующий мужской бас под разливы гармошки. – В эфире передача «Земляки»...» И вдруг сквозь гармошку она еле слышала какие-то страшные, убийственные слова: «Ну, кого ты нам привел, сыночка? Это же продавщица. У нее вроде есть образование, но воспитание... Посмотри. Она ругается, речь, как у базарной торговли. Но и это можно пережить. А то, что она тебе наследников не даст – это серьезно». – «Не расстраивайся, еще и год не прошел. Все наладится». – «Нам таких не надо... Слышишь? Может, пока не поздно, отпустить ее?» – «Нет, не хочу. Не думай об этом. Я тебе сейчас чай с молоком принесу. Ты лекарство уже приняла?.. Вот и хорошо».

Когда Северин Алексеевич появился в кухне, Валентины Петровны там уже не было, на плите в кастрюльке мирно булькала картошка. Он заварил чай, поставил на поднос сахарницу с колотым сахаром и щипчиками, молоко, заварной чайник, чайную пару, сухарики...

Начинающая жена, закрывшись в ванной, неслышно плакала в полотенце. Это ладно, что грубая, это правда, могла бы и придержать язык. Но то, что не дает наследников... Как так можно заявлять, ведь была же операция. И вдруг она поняла – выставят. Она – второй сорт, она не годится. «Нам таких не надо!» И ей придется снова собрать свои узлы, уехать в общежитие. И она никогда больше не увидит Севу. Ведь он послушный сын, так ведь? Послушный. А я умирай, да?

И снова уткнулась в свое полотенце.

Начались хождения по мукам. Врачи разводили руками. Анамнез сложный, хроническое воспаление, да еще оперативное вмешательство. Мало, мало шансов. Да? Да может, и ладно? Нет, не ладно. Два года промыкавшись по процедурам, Валента почти смирилась с приговором. Она стала реже целовать любимого, редко, но жестко, она уже прощалась с ним. Уговаривала себя, что придется отсюда убираться и нечего зря привыкать. Прибыла на очередной прием к врачу, скучно спросила, долго ли ей еще ходить на электрофорез.

- Пока не надоест. А что?
- Да вот, задержка вроде. И конечно, надоело.
- Сколько? Хотя бы примерно, сколько? – врач всполошилась, как на пожар.
- Где-то неделя.
- Святые силы! Что молчала? Отменить электрофорез! Немедленно. И ходить ко мне каждый день.

Пока Валентина выхаживалась, Северин держал удар на другом фронте, дипломатическом. Уговаривал, успокаивал. Он не любил, когда его принуждали к декларациям, но тут перед ним сидела его мама, и в глазах ее плескалась вековая тревога. И ему приходилось искать высокие слова, которых он привык избегать – о терпении, о сочувствии, о гуманности. Валента бы это

услышала, у нее бы зубы заболели. А то два воспитанных человека уговаривали друг друга быть еще лучше, смешно. А ее, грубую и невоспитанную, вовсе перестали трогать. Да и бесполезно бы было, потому что стало ее постепенно ломать так и этак, и изжога ее травила, и сердце болело, и тошнило всяко, и выворачивало. Она становилась очень тупой, плохо понимала человеческую речь, вроде бы думала о чем-то своем, но на самом деле ничего она уже не думала. И когда у нее участливо спрашивали, какой у нее токсикоз – первой или второй половины – она не знала, что ответить: «У меня и первой и второй половины». И анализы тоже были плохие. Врач ужасалась, что большая прибавка веса, прописывала отварного судака и фрукты. Как издевалась. Уже начались продукты по карточкам, и людям стало не до судака. Но Валенте было наплевать уже на все.

Верткая, живая и жгучая, прыгучая Валентина, скользя на руку, на слово и на поступок, замедлилась и стала личинкой. Затылком понимала, что нехорошо такую быть, она и раньше-то не блистала, а тут вовсе стала спать на ходу. И в такой момент, перед уходом в отпуск, ее послали в школу молодой мамы, она все отходила, все записала в тетради и кварцевание тоже прошла. Когда пучеглазые, очкастые, с животами, лягушки хороводом шли перед нею, ей так смешно было. Смеялась, на нее оглядывались. А со стороны она тоже была такой.

Особенно страшно было по ночам. Тело, как огромная гусеница, не слушалось, душило ее так, что перехватывало горло. Ночь бесстрастно проливалась в комнату мерцающей синевой, но Валента больше не понимала ни красоты, ни важности окружающего. Было душно, жарко, и она мешала жить себе самой и хотела взорваться...

В родильном доме был кошмар. Словно в сумеречном аду, все крутилось и вертелось перед глазами, а ее тошнило, и сердитые санитарки в халатах кричали на

нее, чтоб она сама убирала за собой и выносила тазик. Зареванная мокрая женщина просила их: «Пожалейте», но ее одергивали: «Ишь, корова». И наконец, взрыв боли, колючей и жгучей, располосовал ее всю. И стало темно.

Северин сдавал жену в приемный покой вечером и начал звонить в роддом назавтра не с самого утра. Что-то подсказывало ему, что процесс будет ох, непростой. Зимний снег сверкал, как в Новый год, радости никак не добавляя. И, как рыба, он раскрыл невольно рот, легкие метелью опаляя...

Потом в десять позвонил. Неизвестно. Потом в двенадцать. Живая девочка. Три пятьсот. Уф-ф... Кажется, все живы, подробности потом.

Цветы не приняли. А сгущенку, яблоки, чай взяли. «Поздравляю... Леля спит?» Купил коньяк и пошел на работу. А когда розовый сверток был доставлен домой, там было вымыто. Новая кровать уже стояла. Валентине было стыдно, на листке выписки стояла огромная единица. Ее нарисовали с нажимом, даже бумагу прорвав. Педиатр потом спрашивала, усмехаясь: «Что вы там такое натворили?!»

Важная Фелисата в стареньком бархатном платье удостоверилась, что дитя не спит, развернула и пересчитала пальчики – на ручках десять, на ножках десять. И, довольная пересчетом, ушла к себе.

Первые месяцы Леля так худела, что все пугались. Пришла педиатр и сказала: «А вы знаете, молоко-то у вас есть, только грудь неразработанная, дочка не может ничего высосать. Несите весы, будем измерять в граммах. Северин бегом из института принес точные весы, стали измерять. Было не больше сорока граммов вместо положенных семидесяти. Тем более малышка на железных весах получала стресс. От кормления до кормления не выдерживала. А потом, отпив немного, засыпала от

усталости. И снова не вытерпливала время. Махнула мама рукой и стала давать по требованию. Так и выжили!

Живая девочка! Черненькая, с острым носиком, огромным темными очами. Роковая девушка. Она пришла к ним не просто так, абы когда, а именно когда они были расстроены и не уверены в себе. Когда по медпоказаниям прийти ну никак не могла. Но она пришла, пожалела их. Даже не она, а кто-то свыше. Не потому ли, лежа в пеленках и рассматривая родителей внимательными темными глазищами, она была похожа на божественного младенца, ангела, летящего в облаках. Одно слово – княжна. То есть дочь князя Северина.

И жизнь обрела смысл! Преодолеть все – усталость, злобу, неверие, непонимание, лишь бы малышка важно восседала на своем королевском креслице и гремела погремушками. Хитренькая такая. И черные кудряшки вокруг головы.

Справившись с маминой трудной грудью, княжна Леля обрела противную привычку повисать на ней, сомкнув зубы и спать. При любой попытке освободить грудь Леля приоткрывала хитрый глазок и наблюдала за этой возней. Мол, я тут и все вижу. И не отда-ам! Молодая мать нервничала. Так как она много раз видела на картинах и в кино, какое это счастье – кормить ребенка. И нежные мадонны откидывались на бархатные подушки в истоме, чудом не уронив ребенка. А может, многочисленные няньки стерегли это кормление, так и не дали бы упасть. И шелковые одежды на них красиво струились и ниспадали. Но Валентина Петровна не испытывала никакой такой истомы, потому что ей было все время больно от хватания соска зубками, да и взлядов дочки исподтишка она побаивалась. Если бы кто-то вздумал написать с нее в тот момент картину, там вышла бы гримаса, будто рядом визжали пальцем по стеклу... О, счастье материнства! Разное оно у всех.

Вдруг княжна Леля перестала брать грудь. Не то чтобы повиснуть, так нет, она вовсе стала выплевывать. Выплюнет, посмотрит искоса, усмехаясь. А ей и года не было. Валентина Петровна, натянув ставшее тесным зеленое креповое платье, бросилась к врачу, как волна на берег. Северин в это время нервно гулял с коляской под окнами поликлиники. И думал: «Все время какие-то проблемы у нас... Чем еще могу помочь? Пеленки? Я, вроде, каждый вечер все выстирываю, вот вчера опять сорок штук, благородная норма. Особенно много этих, зеленых, в клетку. Но жена то и дело плачет. Может, из-за мамы? Но мама такое смирное существо, все сидит у себя, выходит, только плач слышав. И Лелю умеет быстро убаюкать... Тихо, тихо, княжна Леля. Еще поспи...»

И тут, как нарочно, вышла на крыльцо женской консультации Валентина Петровна. И, как обычно, в слезах. Плащик раздувался от ветра в одну сторону, зеленое платье в другую. Волосы метались вокруг головы, как сигнал бедствия. Что там опять?

– Ужас, – прошептала она.

А глаза так и сверкали от слез.

– Толком говори.

– Беременность четыре недели почти. Потому княжна Леля и грудь не берет.

– Ты не справишься. То есть тяжело будет. Да нет, я рад, конечно. Но...

– Да просила, просила я направление. Умоляла.

– И?

– И не дали. Врачиха прямо в обморок: я тебя лечила два года! А ты такая-сякая. Не дам, сказала, направление. Прямо обтекла вся...

И опять же: им привалило счастье, которого они ждали. А когда через полгода снова привалило, тут-то супруги и попали впросак. Вот как все относительно. Они шли с сидячей коляской, со спящей Лелей, у которой полные щечки падали на плечи. Шли по много-

людному тротуару, и ветер кидался в них листьями. И они печатали шаг, сжавши рты, и совсем-совсем не напоминали счастливых людей. Это не был ни свадебный марш глупой молодости, ни задранные хвосты телячьей радости. Скорее гремучая смесь горя и счастья... Они были в таком сложном состоянии, которое невозможно выразить словами. На другой день Северин сказал: «Хочется все же посмотреть, какие будут глаза. Такие же, как у Лели или нет...»

К местному клубу самодеятельной песни приближался праздник. Сначала он приближался месяцы, а теперь уже часы. И Валентина Петровна, которая забредала туда посидеть, захотела стать частью этого праздника. Принести туда что-то от себя. С песнями выходило не очень – странная мелодика, резкие повороты, одно слово в строке... Тогда она стала просто учить клубные песни, чтобы петь вместе. Ее это и будоражило, и дух поднимало. Ходила, как правило, одна, если с дочкой было кому остаться. У нее в тетрадке уже был Визбор, «Телефонный разговор»: «Здравствуйте. Да... Але? Что за шутки с утра... Ну, почему удивлен. Я даже очень рад...», и, конечно, «Солнышко лесное». «Крылья сложили палатки, их кончен полет... Крылья расправил искатель разлук самолет...» А какие неожиданные затаенные радости налетали с песнями Окуджавы! «Неистов и упрям гори огонь, гори, на смену декаблям приходят январь». «Не обещайте деве юной любви вечной на земле» – про декабриста Анненкова. И особенно про Надежду: «Все то же на ней из поплина счастливое платье, все так же горяч ее взор, устремленный в века...» В Окуджаве никогда не было официоза. Он был негромкий и проникающий в самое нутро. Все то же на ней из поплина счастливое платье, все так же горяч ее взор, устремленный в века...» Был даже любимый Анчаров: «Говорил мне отец – ты найди себе слово» и «Россия».

«Полустаночек» уже пели по телевизору! Даже такие простые слова она не могла запомнить, сколько ни учила, а вот стала подыгрывать на гитаре, так и запомнила. Но все это дома. В клубе стеснялась.

А тут решила – блинов им напечь. В клубе всегда было бедно с едой, так же, как и дома. Тогда Валента наморщила лоб и тесто навела. Блины получились хороши, не прилипали, кастрюля большая. Так она и стояла довольно долго, пристально следя за двумя скородами. В общем, даже и времени не заметила. Отложила семье, все остальное – в широкую кастрюлю. Покормила проснувшуюся княжну Лелю кашкой и поехала в клуб.

Собрание оказалось многолюдным и шумным. К обычной программе прибавился чей-то день рождения. Пели самозабвенно. Блины тоже шли на ура. Когда стало темнеть, засобирались домой. Леля обычно тихо сидела, но тут как-то забеспокоилась, и ее не утешали ни сушки, которые про запас, ни сладкая водичка в бутылке.

Дома Валенте стало плохо и мокро. Позвонила Севе. Позвонила сестре Тоне. Та в крик – поезжай в роддом, у тебя срок на носу. Прибежал Сева, отобрал телефонную трубку: «Хватит уже болтать по телефону, потом с сестрой поговоришь...» И вызвал скорую.

Отвезли. Через два часа все было кончено. Стремительные роды. Живой мальчик. И никаких единиц. Северин: «Тогда было в первый раз, опыта не было. А ко второму разу уже научилась. Способная. Даже боюсь предполагать, за сколько ты справишься в третий раз».

Фелисата выплыла, развернула, посчитала пальчики. Десять на ручках, десять на ножках, и еще один, где надо. Прекрасно! И Валента только вздохнула: «Теперь, надо думать, не выгонит...»

Дети оказались – небо и земля. Если княжна Леля была вареной и висела на кормлении по часу, то Леня быстро проглатывал порцию, срыгивал воздух и отрубался. И быстро вставал. Если Леля спала по ночам, то Леня не спал категорически. Так это ничего еще, но он своим возмущенным криком будил Лелю. И вот такая картина: супруги разбегаются в разные комнаты, один ходит со старшим ребенком, показывает снежок в окно, а второй с младшим поперек дивана.

Если Лелю можно было успокоить разглядыванием снежка за окном, как он там серебрится, то Лене хотелось света, игрушек и забав. Если Леля лепетала слова уже в десять месяцев, и Северин Алексеич при этом шутил, что у нее благодаря брату ускоренное взросление, то Леня решительно молчал до трех лет. Врач советовала подрезать уздечку, но Сева пообещал подрезать уздечку врачу.

Если Леля умела играть одна, то Лене подавай компанию. Он всегда хотел такую же игрушку, как у Лели, и если у обоих был одинаковый, то все равно хотел и Лелину тоже.

– Что случилось? – вопрошал Северин Алексеич, разнимая двух- и полугодовалого. – Вы что, как будто от разных браков.

Валента так и села, причем неожиданно, так что нижние пуговицы от халата сразу полетели. Северин Алексеич, оглянувшись, ничего не понял: «Что за выстрелы?» А ее разбирал глупый смех. Смех на фоне разгрома игрушек и стульев, на фоне многочисленных веревок с ползунками, колготками и одеяльцами мог показаться диким, но ничего. Умение смеяться над собой в дурацких ситуациях – тоже неплохо.

Дети от разных браков! Фраза, повторенная на вечеринке с друзьями, стала крылатой, ее подхватили. После чего Северин, будучи под градусом, однажды изрек:

– Кто у нас идет в садик? Ты или я? Надо, видимо, забирать обоих детей – и от первого, и от второго брака.

Валя прыснула:

– Если не забрать ребенка от первого брака, он уже сам придет. Дорогу знает.

Только они знали, что садик во дворе и бояться вообще нечего. Надо ли говорить: друзья и родные теряли дар речи. Воспитательницы перешептывались: «А на вид такая хорошая семья!» Соседка, приходившая звонить по телефону, посетовала: «А зачем вы при детях? Пусть лучше не знают!»

Легенда получилась живучая. Фелисата не уставала пенять детям, что они густо сеют сомнения в неокрепших душах.

– Погодите, они вырастут и начнут вас допытывать, кто их настоящие родители.

– И мы им ответим!

А участковый педиатр, подписывая бумаги с направлением Лени в профилакторий, уточнила:

– Так, это у вас ребенок от второго брака, а ребенок от первого брака разве не будет посещать? Они же у вас вместе проживают? Так и надо обоих.

Северин Алексеич и Валентина Петровна только переглянулись...

Записные книжки Севы Седова. Двойная фантазия

У каждого человека есть, по крайней мере, две судьбы. Одна – та, которую прожил он сам, и такая, какой он ее воспринял. А другая – та, которая воспринимается другими. Можно прочитать сотни критических статей о Ленноне, но так и не понять его. Можно прочитать все его интервью, где он сам говорит о себе, но и они никогда не поставят все точки над «і». То же самое можно сказать и о Йоко Оно. Это для нас более чем мифы и более чем живые люди – если о них только читать. В живых они превращаются, когда слушаешь их музыку. Например, альбом «Двойная фантазия». Есть миф о Тристане и Изольде, о Ромео и Джульетте. Есть миф о Джоне и Йоко. История любви Джона и Йоко – самая необычайная и одна из самых удивительных.

Чем различается любовь между представителями одной расы и разных национальностей, знает только тот, кто испытал и то и другое, например Джон Леннон. Чем отличается любовь мужчины к женщине младше себя и намного старше себя – знает только тот, кто испытал и то и другое. Например, Джон Леннон. Можно написать ещё несколько абзацев такого рода о нём как об одном из протагонистов легенды о Джоне и Йоко. Библиография о Ленноне огромна. Легенду о Джоне и Йоко писали они сами. В каждом альбоме Джона есть песни о Йоко. Джон и Йоко – разрушители стереотипов.

Говорят, что любовь – это вовсе не беседы по разные стороны одного стола. Но Джон и Йоко полюбили друг друга во время таких многочасовых бесед, причем чаще даже не за столом, а по телефону. А чтобы сохранить Джона, Йоко, его жена, изгнала его. Позволила ему вернуться только после того, как он «созрел», по её мнению. Йоко сильна своей природной мудростью, основанной на тонком чутье, позволяющем сбавывать

чувству меры там, где традиционно оно может не быть. Но это чисто японское. Это, возможно, давало повод навешивать на Йоко ещё и грех разрушителя «Битлз». Люди никогда не понимают, что, искажая судьбу своего недруга, они искажают и собственную судьбу. Или даже коверкают. Такова участь клеветников и сплетников. Если бы всем людям научиться жить с оглядкой на чисто человеческое... Это – маленькая история. Однако, для такой маленькой истории нужно и скромное предисловие. Абсолютных истин в любви и рок-музыке не бывает, поэтому на данное предисловие не стоит ссылаться, как на фактографию. По идее, её здесь и не должно быть. И не надо бы писать фразы, которые обладают двусмысленностью, безапелляционные заявления в любви и рок-музыке вредны и, как правило, ошибочны. В связи с этим автору предисловия приходится ограничиваться размышлениями вокруг да около. Или, наоборот, только констатировать. Например, у Мика Джаггера есть друзья: Пол, Джордж и Ринго. Те же друзья, вместе с Джаггером, и у Йоко. Да и то об этом говорить можно с опаской – ничего нельзя идеализировать, ничто не абсолютно. Итак, данная история состоит не только из предисловия, но и из текстов песен альбома «Двойная фантазия». Точнее, это подстрочный перевод их песен, поэтому русский текст не обладает той выразительностью, которая звучит в английском. Да это и не обязательно, потому что музыка говорит сама за себя, и лучше всего держать тексты перед собой во время прослушивания альбома.

Начинаю сначала (Леннон)

Наша жизнь вдвоём драгоценна, мы повзрослели, и хоть наша любовь уж несколько иная, давай воспользуемся шансом и улетим куда-нибудь вдвоём. Уже давным-давно как мы живём, никого не осуждая. Я знаю, время летит слишком быстро. А когда я вижу тебя, дорогая, мне кажется, мы опять влюблены и как бы начи-

наем сначала. Каждый день мы занимались любовью, почему бы нам не сделать её приятной и простой? Настало время расправить наши крылья, и полететь, и не пропустить ни дня, моя любовь. Чтобы начать сначала. Начать сначала! Почему бы нам вдвоём не укатить куда-нибудь подальше? Мы принадлежали бы друг другу, как это было в прежние дни. Дорогая.

Целуй (Йоко Оно)

Целуй, целуй меня, любимый. Хотя один раз поцелуй. Но целуй, целуй меня, любимый, хотя один поцелуй, но целуй! Что смерть, что жизнь. Нежное сердце, холодные рывки. Целуй меня, любимый, я истекаю изнутри. Это невозможно рассказать, я могу только показать тебе мои мучения. Тронь, тронь меня, любимый, хотя один раз, но тронь. Тронь меня, любимый, хотя один раз, но тронь. Что я, что ты. Разбитое зеркало, белый террор. Тронь, тронь меня, любимый, меня сотрясает изнутри слабеющий звук детского колокольчика в моей душе. Целуй, целуй меня, любимый...

И так во всех песнях. Сначала идёт реплика Леннона, далее реплика Йоко Оно. Они резонируют. Они выпивают друг друга и резонируют друг на друга. И если всё-таки это не разговор одного и того же человека, то это разговор двух по одну сторону стола, не спорящих, но продолжающих начатые другим фразы.

Я теряю тебя (Леннон)

В какой-то этой странной комнате, под вечер. Да, сомнений нет, я теряю тебя. Провода запутались, связь оборвалась. Я не могу даже позвонить тебе, могу только кричать о том, что я теряю тебя. Под гнётом нерешительности теряюсь. Чувствую – ты ускользаешь, ускользаешь, теряю тебя, теряю. Говоришь, что тебе чего-то не хватает? Но я напому кое-что: ужель обязан адской

жизни я посвящать себя? Довольно страдать, хватит страдать, я знаю, покончив с этой адской жизнью, тем самым боль тебе я причиню. Так что, готова ты переступить черту? И слышать ни о чём я не хочу, я теряю тебя, теряю.

Я иду дальше (реплика Йоко Оно)

Прибереги приятный разговор к моменту, когда тебе повезёт, сохрани поцелуи в понедельник для своей стеклянной леди, я хочу правды и ничего больше. Я иду дальше, я иду дальше, а ты звонишь. Ты мне не лжёшь, ты знал, что тебе повезло со мной в этой жизни. Своими пальцами пирог не трогай. Ты знаешь, я всё это вижу сквозь твои разглагольствования. Я хочу правды и ничего более. Да, я иду дальше, я иду дальше, а мы созваниваемся. Когда ты сердился, в твоих глазах была любовь, когда ты был в печали, в твоём голосе была мечта, и вот теперь ты улыбаешься мне. А я иду дальше.

Перевод альбома похож на диалог двух человек. Но есть моменты, где два голоса сливаются в один. Это, например, текст под названием «Прекрасный мальчик»:

«Закрой свои глаза и не бойся, чудовище ушло, оно далеко, а здесь твой папа. Прекрасный мальчик! Перед сном прочти свою короткую молитву. Пусть с каждым новым днём будет лучше и везде становится всё лучше и лучше. Прекрасный мальчик, по океану уплывая далеко, могу я терпеливо ждать, пока ты подрастаешь. Я чувствую, мы будем вместе, только нужно быть терпимей на этом длинном, долгом пути, а это трудная задача на этом длинном, долгом пути. Но тем временем, прежде чем перейдёшь улицу, возьми меня за руку, и то, что сейчас ты занят своими разными делами, всё это называется жизнью, прекрасный мальчик, дорогой Шон...»

Однажды, на одной из вечеринок, на глазах у Йоко он берет за руку какую-то девушку и ведет ее в другую комнату. Он хочет сделать жене больно, отомстить за что-то. На следующий день Йоко сама предложила пожить отдельно, и Джон уехал в Лос-Анжелес. Там его жизнь напоминала золотые времена «Битлз». Леннона ждут на всех вечеринках в Голливуде. У него новые друзья по рюмке, а партнерши сменяют одна другую. В таком угаре он пишет несколько замечательных песен, которые поднимаются на самые высокие строчки хит-парадов. Казалось, он должен чувствовать себя счастливым, но каждый вечер напивается и устраивает скандал. Он тоскует по Йоко. «Я просто обезумел, это был потерянный уикенд длиной в полтора года – это саморазрушение от разлуки».

А потом Джон увидел бывшую жену в Нью-Йорке. В вечернем платье с высокой прической она была загадочно-далекой и привлекательной. Они снова бросаются в объятия друг другу. Теперь Леннон четко осознает, что с возрастом он становится другим, что с ней его творчество отстывает, но без этой женщины он просто погибает. Семья снова поселяется в Нью-Йорке. После нескольких неудач Йоко снова беременеет. Чтобы сделать подарок мужу, она искусственно провоцирует роды, и их сын Шон появляется на свет в день рождения Леннона.

Джон живет на седьмом этаже в своей резиденции. Почти никого не видит, кроме сына и Йоко. Она работает на первом этаже, в своем бюро: умножает миллионные состояния Леннона. Они сказочно богатеют. Джону это безразлично. Жена настолько занята бизнесом, что доходит до нелепости. Чтобы повидаться с ней, Джон должен был заранее звонить в бюро и договариваться о встрече. Однажды Леннон пожаловался секретарю, что

не может заниматься с Йоко любовью, потому что ей всегда некогда.

Накануне своего сорокалетия у Леннона будто открывается второе дыхание. Он записывает альбом, который критики называют возвращением[‡].

Узнав от Альбы том, что на свет появились мемуары «китаянки», с которой Леннон провел полтора года ссылки вдали от Йоко, Северин не бросился тут же переводить их. Почему? Потому что этот союз его никак не заинтересовал. Потому что самым притягательным для него, законченного битломана, был все же не распад группы, а история меняющейся личности. Он особенно верил в высокие отношения, но помимо всего, его задела сила чувств. Понимание. Невысказанная тяга к идеалу, какой должна быть для человека семья.

[‡] Фаустов С. Двойная фантазия : пер. с англ. альбома Д.Леннона и Й. Оно. URL: <http://www.proza.ru/2016/05/18/643>

ИСКОСА

Когда он шел по лестнице мимо, он лишь искоса глянул на женщину с ребенком, которая спускалась вниз, когда он подымался. И не было в этом взгляде никакой, даже случайной заинтересованности... он мог смотреть так на что угодно, машинально и рассеянно, думая о своем. Так смотрят на предмет сквозь предмет. Этот человек – сосед сверху, с которым один раз Северин словом перекинулся. Повод был пустяковый. Сева достал из почтового ящика польский журнал по искусству «Штука», а этот господин, оказавшись рядом, вдруг возразил:

- Это мой журнал, почтальон ошибся...
- Нет, простите. Мой.
- Что за ерунда.

Два интеллигентных человека резко уступили друг другу, и тяжелый глянцевый журнал шлепнулся на кафельный пол. Смущенный Северин сказал:

- Минуту.

И открыл свою дверь ключом. Собеседник, напротив, не смутился никак, а раз его не пригласили, молча у ящиков почтовых стоял. Сева быстро вернулся и показал пачку предыдущих номеров журнала. Претендент молча пожал плечами и пошел к себе. Удалось ли его убедить, непонятно. Ну, несколько позднее, может, месяца через два, они опять столкнулись у почтового ящика, оба одновременно вытащили два одинаковых журнала! И оба, усмехаясь, стали их с хрустом листать! Это было еще как убедительно. Стало ясно – это не конфликт, совпадение интересов. Листатель на два этажа выше был известный художник, с дипломами лауреата, с публикациями. Он художник, поэтому журнал по искусству – его прерогатива. Его позвал в этот город местный мэтр, ему даже квартиру дали.

Для простых это было немыслимо. Тем более, в подъезде жили люди из органов, внутренних органов. Ясно, почему они имели жилье в центре, в новом доме. Но приезжий этот? Такой нерусский, молодой, легкомысленный, хотя были жена и дочь, черненькая и в очочках. И Валя несколько раз слышала, как ему соседи выговаривают, что жена его не по графику пол моет. «Да, в следующий раз, обязательно», – вежливо отмахивался иноземец и сбегал. Он сразу стал загадкой, и дело творил загадочное. И сразу мороз по коже. Они что, обалдели? Все равно что инопланетянина заставить полы мыть...

Из «Штуки» Валя узнала, какие могут быть «концептуальные» картины, например, там была репродукция картины «Автобус», где люди сидели вперемешку с трупами. И Сева как-то интересно все это толковал... Валя спрашивала соседей, и вдруг Руфинка сказала, что да, знает художника и даже дружит с ним. Как это? Как можно дружить с инопланетянином? У Руфинки была строгая бабушка, которая замечала дружбу со странным соседом. И когда Руфина притащила домой небольшую работу приятеля, на которой угадывалось ее личико, бабушка погрозила пальцем. Личико было не то чтобы особенно красиво. Но выпуклые серые глаза, полуоткрытый рот, рыжие пышные волосы – сразу отличали ее от других девушек. Да ничего такого. Но погрозила! У Руфины были все репродукции его работ – большие цветные фото. Ударило сразу цветом, этой леденящей сиреневой синевой. Эта синева обрушилась на Валью как цистерна с водой. Хотелось зажмуриться и закричать: «Ухх!» Впиваясь глазами в этот цвет, Валя пламенела лицом. Холод работ переходил в горячку ощущений. Картины были явно «не наши». Хотя ничего запрещенного в кадре не попадалось. Крыша, антенна с проводами. Старые, отлетавшие свое самолеты. И сам, пробегаю-

щий по лестнице, глядящий мимо, искоса, и узкоглазые японки на стене.

Северин был у него дома, но работ там не оказалось – они находились в мастерской. А бывало, перебрасывались словом на лестнице. Там на окошке притулилась предусмотрительная консервная баночка для окурков. Однажды Валентина, таща двоих детей с улицы, бросила взгляд чуть вверх и обнаружила двух мужчин в дымовой туче. Они оживленно говорили о чем-то, роняя пепел мимо банки, жестикулируя, смеясь и хмурясь одновременно. Искоса глянули на нее, пока она входила в квартиру, и продолжили о своем. И ее обожгло это разграничение. Она хотела бы постоять с ними, но надо было срочно кормить и укладывать детей. Что-то стиснуло ее. Только ли мужское высокомерие? Ну, Сева – понятно. Актуальность Валентины как женщины после двоих детей сильно упала. Пополнела, устала лицом, ходила в балахонах. В ней еще можно было узнать девушку с глазами-сливами, упрямую и гневную. Но задор был уже не тот. А поскольку задор не тот, ей уже не удавалось внезапно повиснуть на шее кроткого и молчаливого мужа... она уже не была уверена, что это ей просто сойдет с рук. Нет, он вытерпит от нее все, но в том-то и дело, что он просто терпел...

А тут ей Руфина предложила сходить в мастерскую Яна тогда-то. Поднимаясь по лесенке, она не чувствовала, как тяжело нести Леню. Ее внесла наверх неизвестная сила. Ян проговорил: «Руфина, но вы тихо?» – «Да, еще бы». Они шепотом обсуждали картины, Леня тараторчил, тянул ручки в разные стороны. Но не захныкал. А запах. В мастерской пахло красками и маслом льняным отбельным. Этот запах сильно кружил голову, и вело ее от этого. На какую бы картину ни смотрела она – все везде проступало его лицо. Но она рядом и не может проговорить ни слова. Она не знает этого языка, на котором говорят с художником. Она даже не знала, как его

похвалить, чтобы ему было приятно... Как страшно быть тупой, косноязычной. Перед тобой высшее существо. А ты не можешь слова ему сказать. Вот Сева бы смог!

Она боялась обойти его со спины, но обошла. Он крыл холст белой краской.

– Цвет... ну вот синий цвет... как ударная волна. От него качает.

Он улыбнулся:

– Может, есть вопросы?

– Да, есть... Сева говорит, что искусство строится по концепции. У вас какая концепция?

– Это просто. Это называется трансреальность. А что еще говорит Сева?

– Он всякое говорит. Мне это не запомнить. Потому что Сева как пропасть. Столько всего знает.

– Ну, так держитесь поближе к пропасти. Увидимся.

И они пошли назад, потому что ребенок захныкал, оттого что жарко, наверно.

И она была счастлива малостью такой.

А Руфинка сказала, что не надо было отвлекать художника. Но зато теперь можно всем говорить, что знакома с таким-то!

– А он же грунтовкой занимался, не картиной, – бодро откликнулась Валентина.

– Ооо, – протянула рыжая Руфинка, – да ты мать, того...

– Ничего такого, – передернула плечами Валя, – и ничего не того, я в картинах ничего не понимаю... Просто интересно.

Конечно, она не понимает! Столько на нее когда-то Долганов времени убил, показывал альбомы по искусству, да объяснял, какая разница между голыми и нагими. Но то картинки. А тут живой творец. Вот, вчера деньги занимал, Сева велел не отказывать, сколько бы рублей в доме ни было. Творец в жесткой клетчатой ру-

башке и шарфе сидел перед ней в мастерской и щурил от дыма восточные черные глаза. Такой небрежный, небритый, глянул искоса. И все. И ей так было стыдно, что она не умеет говорить на его языке. А Руфинка с ним говорить не боялась, и появлялась рядом с ним во время работы, иногда появлялась и на его полотнах.

Она пришла домой, облегченно сбросила с плеч старое пальто, раздела детей, Леня с ней был, а Леля из садика, ее забрали по дороге. И быстрее картошку чистить. Дети привычно и деловито переворачивали кресла. Ведь они понимали, что мама сейчас занята и не будет их одергивать, не до того. Они стоили кошмарные городушки из одеял и покрывал. Чтобы дети не дрались попусту, их перехватывала бабушка Фелисата, но тут она молчала, может, спала. Ну, они построили свое безобразие, то есть невообразимую баррикаду из подушек, покрывал и кресел, видимо, устали насмерть, забрались туда и затихли. Наварила Валя картошки, встряса из банки капусты и пошли детей искать. Раскопала покрывальную крышу, ффу, какая пылица, глаза со стуком на пол... Дети спали, не в то время и не в том месте. Она их стала перетаскивать в район детской и их двухэтажной кровати. Леня расхныкался. А Леля молчала, она всегда молчала как княжна, вся горячая и текучая. Померила температуру – тридцать девять. А десятый час вечера. Надо до утра доживать. Дала аскофен, эритромицин, есть, конечно, никто не стал. К двенадцати поднялось под сорок. Стала делать обертывание с уксусом и с водкой. Аскофен, значит, не подействовал, и аспирин тоже. Вроде к двум ночи сама сбила температуру. Леня не сразу, но заснул. А что с девчонкой делать? Заснула Валентина на детской кровати одетая. Когда пришел Сева, она даже и не слышала и не почувствовала...

Утром вызвала врача. «У вашей девочки, видимо, коклюш, я сообщу в садик, чтоб на карантин поставить. И вы утверждаете, что все прививки делали? Что-то непохоже... Сестра придет, мазки возьмет, укол сделает. Поите много, она задыхаться будет. При ухудшении вызывайте скорую».

И Валя схватила за свое горло, будто она уже сама стала задыхаться. Несколько дней следующей недели слились в один продолжительный однообразный кошмар. Леля кашляла так, что наливалось болью сердце. Валя держала ее за спинку и пыталась поить, девочка, так и не переставая кашлять, только переводила дух, едва успевала глотнуть и опять заходилась. Уколы с антибиотиками ставили уже дважды в сутки. Валя, глядя на эту страшную карусель, молча плакала. Чтоб не реветь, умылась ледяной водой и впервые за несколько дней подняла глаза на себя. Последний раз смотрела в зеркало, когда собиралась в мастерскую идти, на лестнице ее ждала Руфинка. А в зеркале такие потухшие глаза, круги под ними такие же. Глянуть тошно, как печеное яблоко вся. И тут – ахх, горячим плеснуло в лицо. И она с красным-то лицом, вспомнила этого человека, будто он рядом сейчас. Наверно, это связано – и дочка заболела поэтому. Что делать со жгучим чувством вины? Его же не избыть. Господи, прости идиотку. Глотнула раз, другой. И было это все мельком, не впрямую, а искоса, издали, будто даже со стороны упрекнули ее.

Маман, почувствовав, что Ленечка в опасности, все время уносила его к себе. И он-то тихо себя вел, как будто понимал, что Леля сейчас играть с ним не может. Леля болела стремительно и бурно – неделю с температурой, потом пошло на спад, на спад, уколы отменили, и только несколько красных точек остались на лобике. Но Валя внутренне пережила немую страшную травму. Она как-то вся осунулась, как-то устала душой и телом. Она ведь обычно-то все хотела есть, отщипывала кусочки от

хлеба, облизывалась на масло, на варенье, на все, чего было мало. Она, воровато оглянувшись, выхватывала из холодильника кусочек сала с перцем и, зажмурясь от удовольствия, жевала, как давным-давно, в детстве, ела соленый гриб из чужой банки. И Сева, внезапно прижав ее за шкафом, сразу все это прочитывал и неслышно смеялся, расхотев целовать...

А тут она ничего не приворовывала, просто стояла возле плиты, машинально помешивая суп. И в стену кафельную смотрела. Она ничего не хотела. Невкусно все было. Некая природная жадность, привязка, что ли, толкала ее положить что-то в рот, кого-то поцеловать. Бабка про нее говорила – «яка солоща», сладкоежка. И посмеивалась. Ну, уж бабка-то разбиралась. Вкус жизни Валушка попробовала на язык.

В течение жизни случаи еще пару раз повторялись. Горький случай произошел с малышом Васей, которого она взяла из больницы. Был у нее знакомый поэт Куммер, с которым она могла по три часа говорить по телефону. Она не могла понять даже, что ее притягивает в его речах, потому что он так мрачен и вместе с тем оскорбительно ироничен. Куммер был охранником в какой-то конторе, и, когда на вахте все было тихо, читал ей стихи. Она опьянялась этими стихами, просто забывала всякое время и место, где она находилась. И вот, сидя дома на больничном с Васей, – он, в общем, никогда не болел – она заговорила по телефону и не заметила, как пятилетка забрался в ванную, где остывали кастрюли с кипятком. Воды горячей до этого не было долго. Он все плескал в них веревкой, потом показалось мало, перелез в ванну, да и шарахнулся там в кастрюлю, поскользнувшись. Он, кажется, даже не крикнул, а когда мать, вздрогнув, бросила трубу болтаться на проводе, вбежала в ванную – Васька сидел в мокрой майке и скулил.

– Вася, что с тобой? Почему не позвал?

– Нельзя кричать... когда по телефону... – и он показал ручку. Там медленно, но верно вздувались волдыри.

– Ой, мама! – не подумав, орнула хрипло Валя.

Тихо подошедшая Фелисата рукой показала, чтоб его из ванны достали, потом взяла его ручку и повела к себе в комнату. А ей, надо сказать, дети сдавались сразу и без крика. Она помазала ему чем-то руку, завязала, пошептала – иди. Он вышел к Вале шмыгая, но успокоенный, и она передела его, виновато чмокая и заглядывая глаза. Он маленький был более темнокожий, а потом как-то посветлел и стал напоминать молдаванина, только волосики черные лохматились очень. И пока длинно и трудно заживал ожог, она виноватилась за разговоры с Куммером и долго ему не звонила.

Валя была влюбчивой до безобразия. Каждого человека она додумывала. Однажды побывав там, где человек-загадка создавал картины-загадки, она уже о нем не забывала.

Очень уж поразили ее сбитые и лежащие на брюхе ИЛы. Такая была в них грусть и ненужность! Как в любой человеческой душе, которая потерялась и не нужна никому. Тогда модно было изображать всякое индустриальное, но у соседа-художника даже провода над крышей, даже высоковольтные опоры смотрели с полотен печально и абсурдно. Тускло поблескивало железо, а за ним беспощадное синее небо... Помнился человек-приобретатель, он навалил на себя всякое барахло, и это его раздавило. Вертелось слово «Икар», но в связи с чем? Тот Икар давно забыл о полетах.

Обломанное дерево во дворе, распахнутая дверь, красная рубашка на плечиках. Это была данность, выхваченная их жизни, но за ней сквозила грусть и романтика. Верх романтики – его картина со стоящей на мостике женщиной. Это откровение.

Это смотрела с полотна реальная женщина, ее горделивая красота, ее прощание. Говорили, что это жена Алиса. Но отчего столько горечи? Язык печали был привычным, Ян был не из тех, кто распевал гимны... Хотя его девушка-строитель в сапогах и с цветком разве не гимн? Она стала таким же символом, как и женщина на мостике. Валентина видела репродукцию девушки-строителя и бытовках, и в общежитиях, и в кабинах КРАЗов, точно так же и женщину на мостике – в библиотеках, учреждениях, разных конторах.

Валентина не умела выстраивать концепции и давать грамотные комментарии, да она и не понимала тех картин. Только чувствовала их мистическую власть. Сева много рассуждал с Яном и спорил, а позже написал статью о его картинах – «Кубик Рубика».

На тот момент самое мощное по силе воздействие шло от писателя Анчарова. С ним Валя сравнивала все, что ее поражало. Мечтатель, философ, шестидесятник, его глубокий оптимизм и творческий настрой дали ей немыслимую энергию, помогли найти себя. Художник же, наоборот, «размагничивал» ее напрочь. Выбивал из рук и книгу, и гитару, и рисовальный карандаш, погружал в отраву разочарований. И с этими полюсами внутри надо было жить.

А времени на себя не было вообще. Затянув песочный пестрый халат на желтые витые веревочки, она кипятила в баке простыни, уталкивая их деревянной двойной держалкой. Потом снимала, тащила в ванну полоскать, на плиту ставила булькать перловую кашу, и она должна была булькать четыре часа! Старая машинка «Рига» отстирывала слабо, да и чем? Порошок и мыло тоже были по карточкам.

Однообразные кастрюли, стирка и картины соседа – это тоже были дальние полюса. Вся реальная жизнь казалось нудной отработкой для того, чтоб увидеть

настоящую жизнь на картинах, о которых ходило столько разговоров, а видел мало кто. Некоторые работы он вообще никому не показывал, так говорила Руфинка, рыженькая сероглазая, с пухлыми губами и пухлыми веками.

А там были немыслимые женщины, например, одна женщина в шляпке – стерва, как почему-то запомнилось. Была работа «Голубой дым», где из-за ног мужчины выглядывали две крохотные женские фигуры соперниц. Была обнаженная женщина на фоне лоскутного одеяла. Сияние тела и сумрачность лица, затаенность и равнодушие, целомудрие и цинизм немо кипели на этом удивительном полотне. Что-то накатывало волнами, возмущая, пьяня и поддразнивая. Помнила Валентина и свое изумление: а что тут такого, чтоб нельзя было выставлять?

В какой-то странный пасмурный день Сева пришел с работы пораньше. Поел пшенки с кусочком рыбы, посмотрел в окно на низкие северные тучи и попросил Фелисату недолго присмотреть за детьми – Лелей, Лелей и Васей. Недолго, потому что к нему вечером придет Альба, и они с Валею быстро вернутся. Потом сказал Вале: «Собирайся, бедная ты наша. Пойдем в гости к художнику. Вижу, тебе интересно, а одной тебе проблемно. Давай вместе сходим, я договорился...»

Это был молчаливый праздник.

Художник и преподаватель, они пили вино, разговаривали, как равные, а Валентину никто не спрашивал ни о чем, она безнаказанно бродила по мастерской и рассматривала картины. Играл большой катушечный магнитофон, неразборчиво хрипел свои песни Юрий Шевчук. У этого Шевчука, кажется, была дружба с художником, поэтому записей было много. Ощущение запретности было невероятное, шевелились волосы на голове. То, что было на экране телевизора и по радио – это одно. А тут – это было совсем другое, «западное».

Художник однажды проронил, что Пентагон – так прозвали в народе громадное здание областного правительства – раздавил патриархальное лицо города. Наверно, потому, что административный небоскреб не совпадал, противоречил...

А потом он уехал... из города, из страны, из их привычного узкого подъезда. Кто говорил, что в Германию, кто говорил – в Америку. Телефон Седовых поставили на прослушку, хотя им никто не звонил, кроме родственников. Да и сам художник исчез из поля зрения, не простившись. Как будто он просто мимо проходил! Черненькая девочка в очочках и ее красивая мама уехали. Теперь у Вали появилось много вопросов, но отвечать на них было некому, кроме Севы. Да и у того осталось недоумение – он сам уехал или его «уехали». А еще осталось чувство непонятной, прохладной тоски.

ЗА ПРЕДЕЛЫ КВАРТАЛА

– Сев! – позвала Валентина Петровна из прихожей, таща ноющих детей. Леля ничего, она всегда была более смирной, а вот Леня верещал, не хотел идти ножками. Вася с Леней почти одногодки, но Вася смирнехонек, а Леня как барин какой. – Сев, мы из поликлиники, коляску занеси!

В ответ раздалась тишина. И тут же грянула катавасия раздевания, набрасывания по сторонам штанов и колготок, взлетающих на двери, а коляска стояла бы на крыльце до вечера, только сосед из внутренних дел добровольно заталкивал в подъезд, чтоб никто не утащил, а дальше как хотите.

Частенько Северин Алексеевич отсутствовал дома, потому что ездил в командировки. Конечно, он работал в том же институте, который закончил, но не всегда полный день. К тому же занятия можно было иногда перенести, если что. «Перенос занятий я переношу легко», – замечал Сева. Поездки не были новостью для Валентины, потому что все равно она большую часть времени проводила дома, потому что оказалась в двух декретных отпусках подряд. Один декрет плавно перешел в другой! У нее были каши, сковородки, компотные и суповые бадьи, постоянное урчание стиральной машины, периодическое шкворчание на газу серых оладий из дешевой ржаной муки... Леня и Леля в это время либо рвали детские книжки, либо дрались. Свекровь качала головой, и звала внуков к себе, и сидела с ними, пока у нее не начинала болеть голова.

Лишь иногда Валентина все бросала, останавливала этот конвейер, брала в дрожащие руки старый журнал мод и, прислоняя выкройку на окно, сводила ее на кальку. И представляла, как мило будет смотреться эта юбочка из клетки или эта курточка из плащевки. Как

правило, получалось не так уж мило, но ведь эту песню запекает молодежь... эту песню не задушишь, не убьешь... Особенно сильно ею овладевала страсть сшить одинаковые костюмчики на детей из сорочечной ткани в яркую красно-синюю клеточку.

Гуляли с колясками они всегда по очереди. Если Валентина гуляла, то Северина, как правило, не было. Если Северин был дома, он тащил коляску в парк, и тогда можно сделать что-нибудь полезное. Перебрать шкаф, например. Потому что если перебирать шкаф с детьми, то их же не вытащить из норы шкафа, и тряпки из сеток не отобрать, и они, в конце концов, рушились в этом шкафу, все перемешав.

А вообще муж Северин был всегда на работе, он был на работе днем и вечером, он был на работе по будням и по праздникам, расписание занятий никогда не совпадало с какими-то праздниками. Валента, например, шла гулять с колясками и никогда не спрашивала, что уж там у него было такое важное. Может, приехали вечерники, или внезапное заседание кафедры, или банкет с коллегами. Это уже было не важно. Когда Северин Алексеевич в очередной раз смотался из дома на три-четыре дня, Валента не удивилась этому, она знала, что все равно появится, улыбнется с закрытым ртом и окажется, что наступили выходные! Потому что освобождались руки от детей, колготок, чашек и мисок. И как же она скучала, его не видя.

Сева приехал домой с утренним московским поездом. Он попытался поспать, а потом все равно начал хрустеть пакетами, и на подоконник высыпалось очень много красивых фото мальчиков и девочек, каких-то листовок, буклетов, значков и книжечек...

Она на это только посмотрела, подумала, что денег ушла прорва. И спросила:

– А куда ты ездил?

– В Москву, – буднично ответил Северин Алексеевич. При этом он как-то жмурился и лучился. – Ну да, в Москву, на радио «Европа Плюс».

И ушел на работу, заскочив в душ и легкий серый джемпер переодев. Это было так странно: «Европа Плюс» в голове у Вали никак не укладывалось, какая связь. Вопросы, которыми он занимался на работе, – это лекции, студенты, изобретения. Это не было похоже ни на образование в вузах, ни на какую-то технику, а на что это было похоже? Вечером она все-таки пристала, живо переворачивая стреляющие рожки на сковородке. Она, с паузами:

– Ну, давай, рассказывай про радио «Европа Плюс».

Северин в это время боролся с заползанием на него двоих детей. Если Леля карабкалась по столу и покрытому пикейным одеялом сундуку, а потом на голову и на плечи, то Леня подлез под столом и распластался на торсе, он всегда искал легкие пути. Муж, как мог, молча пожал плечами.

– Как же, такая известная компания – и ты? Что ты там делал?

Дети, пыхтя, устраивались: кто на торсе папы, кто на плечах, потом менялись местами.

И все же, пока фыркали две сковороды: с рожками, а потом с соевым мясом, Валя услышала поразительную историю. За это время она попыталась часть скормить детям, часть отнести бабушке, полив сметаной...

Сева тоже поел, но эпизодично. Зато устроил детям морскую качку на своих коленях. Они повизгивали, но не сильно.

– Сев, что ты делаешь? Свалятся!

– Им не так далеко падать.

Дело было так. Сева всегда увлекался какими-то сногшибательными западными журналами. Одно время он читал польскую «Штуку», потом пришел черед «Поиска». Именно из этого журнала появилась стран-

ная игра «Лабиринт», которая шла из номера в номер. Все выпуски прочитал, смысл понимал, и заинтересовался, и загорелся всерьез. Решил создать русский аналог игры! Для этого ему пришлось перевести несколько страниц из каждого номера. Получилась небольшая книжка-руководство. Художественные элементы тоже присутствовали, ведь, кроме сюжета, там появились интересные характеры. Они вели игру каждый по-своему. В конце концов Сева взял и пошел с переводом в издательство, где работала его хорошая знакомая. Цито! Хорошая знакомая посмотрела-посмотрела и говорит: «А давай попробуем?» Для этого они создали макет книжки своими силами. Как же заручиться информационной поддержкой? Сева на свой нос обратился туда-сюда, позвонил-написал. Реакции не было. Взял телефон радиостанции «Европа Плюс», позвонил туда. Они сказали: «Письмо, письмо, письмо». Ладно, направили. И почти сразу же его пригласили для беседы! Недолго думая взял свой макет книжки «Лабиринт» и поехал туда. Заместитель начальника компании – первый заместитель директора или второй заместитель директора, они с Севой договорились, что по выходу книжки ее начнут рекламировать на радио, а тираж будет примерно тысячу. Ну, по советским временам это было не так страшно. Конечно, чуть позже выяснялось, что преданность этой затее была разная... Однако на тот момент Сева приехал домой с победой, в издательстве тоже все обрадовались и стали думать, как бы подешевле выпустить эту книжечку. Среди знакомых хорошей знакомой нашлись такие, которые вызвались напечатать книжку быстро и дешево. Смотался в Гродно, там он действительно заключил договор от имени издательства, и было решено сделать для пробы сто тысяч штук...

– Стоп, Сева, – Валента гремела посудой и прислушивалась, почему слишком дети орут в комнате у

бабушки Фелисаты. – Ты ж говорил, что денег у издательства не было, даже на зарплату не хватало... И откуда же эта баба... то есть хорошая знакомая могла надыбать жуткие суммы на печать? Ты что, опять в командировку на свой поехал?

– Да у нее были случайные знакомые, которые шутя могли дать в долг сколько угодно. За командировку мне вернут!

– Вот это кремлевское мечтание, – покачала головой Валента. – Я вообще обалдеваю. Я просто вся не могу!

Все бы ничего, но вскоре разразился кризис... Хорошая знакомая Севы, то есть к тому времени уже директриса издательства, надыбала денег у приятеля по преферансу с обещанием покрыть после реализации. И внезапно обесценились все деньги, предназначенные для создания «Лабиринта»! Добрая типография в Гродно оказалось полностью без заказов и без бумаги, которые для этих заказов были предназначены...

– Привет. Вы мне звонили?

И так по несколько раз в день.

Менеджеры с радио «Европа Плюс» заседали и спрашивали, когда же, наконец, появится книжка.

Северин отвечал:

– Пока проект в работе и обещать ничего не можем. Что касается в генеральном смысле – все остается, как договорились.

– Договорились. Но не очень хорошо...

Что нехорошо – не спросил. «Лабиринт» так и не вышел. Пропал в лабиринтах обманов, амбиций и развалившейся дряхлеющей экономики.

Дальше была интересная история издания одного зарубежного поэта. Как говорили по телевизору: «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Зарубежные поэты, как оказалось, это не те, кто прыгает на сцене, это

часто эмигранты. С довольно трагической судьбой. А их предки были владельцами огромного имения недалеко от города. Да, это была фантастическая история, на этот раз получилось создать событие культуры.

Оказывается, музейное объединение заинтересовалось развалинами усадьбы, и у них получилось с финансированием. Выделенных денег хватило на восстановление здания и на издание стихов эмигранта! Консультантом стал сын эмигрантского поэта, который редактировал в столице «Ридерз Дайджест». Туда-то и рванул Северин Седов для того, чтобы сын поэта проверил тексты. Эта книга получила огромное хождение не только в пределах города, но за пределами страны. Так вышло, здесь дело закончилось хорошо, потому что сын поэта не только консультировал, но и распространил информацию по своим каналам. Поэтому книга вышла, нашла читателя и спустя много лет ее все еще разыскивали специалисты и спрашивали, где можно найти и за любые деньги купить «Путь усталости». В общем-то история этого издания – это еще один неоспоримый факт незаурядности Седова. В проекте он принял такое живое участие. Просто ему было интересно, и много тайн не открытых еще осталось... Валентина тогда сильно удивилась, ведь Северин без конца занимался зарубежными музыкантами, а тут – поэт, да еще русского происхождения.

Получив драгоценную книжку, всю в печатях и штампах скитальца, она наскоро вытерла руки о полы пестренького халата и испытала внезапный испуг и дрожь. Особенно ее задели строки:

«Губ твоих румяных зрелый мед
Береги для радостных и чистых,
Но топи во мне неверья лед
Тусклым блеском глаз твоих лучистых.
Ласковая, боль мою уйми,

Слов не трать ненужной укоризны.
Просто в руки голову возьми,
Убаюкай песнями отчизны.
Память стран чужих и городов
Бременем тяжелым горбит плечи.
Эту пыль и сор пустых годов
Только ветер родины разметет.
Расскажи, какая там весна,
Так же ли голубоглазы дети,
Так же ли страны моей леса
Дышат дремной сыростью столетий?
Я давно и здесь и там чужой,
Я боюсь уйти из мира лишним,
Руку дай – за времени межой
Страшно нищим встать перед Всевышним.
Берлин, 1943»*.

Глаза почему-то защипало. И она, нервно листая дальше, вдруг поняла, как ей жалко эмигранта. И еще, что стихи написаны женщине совсем другой породы, чем она, Валя. Что ей смертельно хочется голову его в руки взять и убаюкать, и боль унять, но не упадет ей никто на колени, это невозможно. Не тот случай. Потом она заперлась в ванной и тихо стала перебирать струны старой гитары, чтобы шанс был еще и еще раз повторить обжигающие слова. Она слышала, что Фелисата с трудом переваривает ее нытье и шаркает туда-сюда мимо ванной и ворчит, но из ванной Валенту никто выгнать не мог. И душа могла плакать свободно.

Однажды Валента спросила Северина:

– А почему, Сева, ты никак не успокоишься? Мало тебе своей работы в институте? Ты все время делаешь какие-то посторонние дела. Зачем тебе все это надо?

* Владимир Гальской Путь усталости, Вологда, Грифон, 1993.

Он пожал плечами, распутывая какую-то микросхему и припаивая паяльником проводок:

– Просто я живу в своем квартале: работа, дом, садик, но этого мне мало. Мне бы хотелось жить одновременно в нескольких кварталах, понимаешь? Меня тут приглашали в одну интересную контору...

– Какую?

– Медицина.

Валентина открыла рот и забыла его закрыть. Как говорится, вся не могу.

– А какое ты имеешь отношение к медицине? Приборы, техника?

– Да нет, это ближе к прогнозированию.

Да, на все его хватало, на много-много интересных проектов. Кремлевский мечтатель, не перечесть, что он уже придумал, что он еще мог бы придумать. Человек невероятных возможностей. Если бы не семья, то он, наверно, был бы успешным бизнесменом или издателем. Его как-то приглашали в компанию к одному деятелю, который заработал на своем кооперативе «Техника» огромные деньги и стал первым официальным русским миллионером. Вообще потом не вылезал из телевизора! Надо же, никого не боялся. Но Седов отчего-то не пошел. Иначе ему тоже пришлось бы эмигрировать.

БОРЬБА С ЕДОЙ И ЕЕ ОТСУТСТВИЕМ

– Дети мои, идет великое празднество, я не настаиваю, чтобы вы отмечали его, как настоящие христиане. Но если вы разрешите...

Фелисата Петровна долго сидела вместе с детьми за ужином, а в конце запнулась, разгладила кружавчики на рукавах.

– К этому действу надо готовиться заранее, и вот вы меня, может, не послушаете, но я тут подумала, приготовила списочек.

Она положила на кухонный столик тетрадный листок, заполненный выпуклым бухгалтерским почерком. Валька так и вытянула шею от раковины с посудой, подумав про себя: «Опять, небось, какую-то чушь выдумала. Того, что она написала, ни в одном магазине нет».

Сева, однако, аккуратно подбирая пшеничную кашу с тарелки, благоговейно взял листок и стал читать.

– А вслух? – возвысила голос Валя.

Она давно поела, «похватила», как выразилась свекровь, и теперь в аккуратном халатике с фартучком, как глупенькая, нехотя мыла посуду.

– Да ну, ты сама потом прочитаешь.

Фелисата как-то подобралась, и было видно, что ей не по себе. Она вроде и стеснялась, и в то же время долг надо было исполнить.

– Яйца, – вдруг ясным удивленным голосом сказал Сева. – Пять?

– Пять десяточков, – деликатно поправила Фелисата.

За яйцами надо было ехать на птицефабрику, причем нужно было ехать загородным автобусом и стоять часов пять. Дело в том, что пока яйца везли с птицефабрики в город, они исчезали по знакомым водителям, либо рассылались в той организации, которой данный водитель был чем-то обязан. В магазине десять ящиков кончались за пятнадцать минут. Валя как себе предста-

вила... Она посмотрела на список из-за плеча такими глазами, что Сева поймал это взгляд и не дал высказаться.

– Значит, яйца – это самое легкое, – проникновенно сказал он. – Яйца я беру на себя. А что тут у нас еще?

Далее по списку были полтора килограмма сливочного масла – это надо было заказывать знакомым в район, да и то не факт, что привезут. Судак мороженный мог быть на рынке, но это если привезут, а в настоящее время там были только хек и мойва. Потом буженина по-царски или окорок запеченный домашний, два-три килограмма. Сева по очереди выкликал наименования, и морщил губы от смеха, и не давал жене высказываться.

– Это куда мы денем такую прорву еды, маман? Это неужели же мы хотим пригласить гостей (вполголоса: «когда самим есть нечего»)? Или мы не хотим их пригласить – сами все употребим?

– Сыночек, – назидательно покачала пальцем Фелисата Петровна, – это же великий праздник, и к нему надо готовиться заранее. А я вот вижу, что Валентина твоя неопытная, вот и хочу подсказать.

– А при чем тут мой опыт? – вскричала Валя. – В магазинах ничего нет, уже введены карточки, а маман стоит и рассказывает сказку «Тысяча и одна ночь». Это только люди с большими знакомствами могут себе такой стол позволить, но не мы. Севка – аспирант, а я – библиотекарь. «Обломись, бабка, мы на корабле»!

– Ах, – сказала Фелисата, опускаясь, как в воду, в тихий обморок.

И слегла на два дня. Лекарства и чай Сева носил ей на подносе.

– Видимо, вы хотели праздновать Светлый День с пустым кипятком и корочкою хлеба... – запела свою песнь Фелисата, как только здоровье позволило ей

встать. – Кстати, Валентина, тебя в семье учили правильно месить кулич?

Валента вся кипела.

– Тесто я могу сделать обычное и дрожжевое, а какое надо?

– Да, нужно дрожжевое, но его придется сдобить двукратно...

– Да, я знаю, что такое сдоба – яйца, масло, сахар и молоко. Так зачем же дважды? Можно все вбухать за один раз.

Фелисата глубоко вздохнула

– Севочка, скажи Вале, чтобы она не взметала крылья. Я – хранитель семейных ценностей. К ним можно прислушиваться, а можно не прислушиваться, я, однако, скажу все до конца, позвольте уж мне. Та вот, заквасить нужно накануне, потом ночь постоит первая сдоба, перемесить и на выстойку, потом второй раз сдобить и месить четыре часа.

Валента оторопела.

– Я что, с дуба рухнула, заниматься таким рабским трудом? Неважно, по какому поводу!

– Я же и говорю, Валя, – Фелисата, по всем признакам, теряла терпение, голос ее подрагивал, – ты еще неопытная, тебя в семье не учили правилам кулинарии, ты сама питалась чем попало – обедками и на ходу, и сыночку хочешь так кормить. Но в нашей семье есть традиции, и ты их должна знать. Если не будет судака, можно заменить карпом, я покажу, как фаршировать. Ну, а с куличом разберемся перед тем, как его выпекать.

Сева все еще пытался обернуть разговор в шутку.

– Мы займемся обменом опытом между поколениями! – бодро объявил он, наливая чай. – Раз опыт накоплен, его надо перенимать, чтобы было что передавать своим детям и внукам. Ну, когда они будут!

– Деточка, ты давно не фаршировала зеркального карпа? – таков был следующий выстрел.

Валька как можно тише положила в раковину недомытую поварешку, вытерла руки и сказала:

– Мне, конечно, жалко вас огорчать, но я несколько лет питалась супом из пачки и уж точно никогда никого не фаршировала, вам ясно? – тут уже в ее голосе что-то металлическое проявилось. Она вышла из кухни и притаилась в самой дальней комнате в старом кресле. Ей так страшно стало. Сева и маман еще продолжали некоторое время ворковать, а потом он пришел и сказал:

– Не о чем расстраиваться, я буду приносить очередной кусок, а ты будешь заниматься термообработкой. Да что ты, рыбу, что ли, не жарила? Жарила, конечно!

Валя не ответила. Ей не хотелось вспоминать про тошнотворную чистку скользкой рыбы и про операцию в больнице, где ее саму потрошили, точно рыбу.

Поскольку список был необъятный, она его до конца даже не дочитала.

– Слушай, – сказала она, – вот не дает мне покоя этот окорок по-домашнему. Это что?

– Ну, это обычный скучный кусок свиной ноги с последующей термообработкой в духовке.

– Видимо, он дорогой?

– Конечно! – воскликнул Сева. – А ты думала, традиции – это просто так тебе? С традициями надо ухо держать востро. Маман знает толк, доверься ей. У нее были приемы гостей и столы на пятьдесят персон.

– Где пятьдесят персон? В ресторане? – не поняла неопытная женушка.

– Да нет, дома. Это раньше мы жили в двухэтажном доме, и на втором этаже у нас была парадная столовая.

– Мать моя женщина! – испугалась Валентина. – Я чокнусь! Да и зачем мне это надо? Это, может быть, раньше у вас было столько друзей, а теперь меньше. Фаршировать карпа, четыре часа месить куличи, да я сбегу!

– Не выдумывай! – Севу сотрясал беззвучный смех. – Мне казалось, ты более хозяйственная и смирная, в смысле, воспитанная.

– И на какие это деньги она так гуляла? – задалась глупым вопросом неудалая хозяйка. – Как вас только отец мог и содержать с такими запросами? Министр, что ли?

– Да, – отозвался Сева, – мой папа был министр пищевой промышленности такой-то ССР.

– Ой, – опять сказала Валя, – Нет-нет, да есть-есть. Ты еще скажи, Севка, что у тебя благородное происхождение, чтоб я сразу уже окочурилась.

– Ну да, – спокойно отозвался Сева, роясь в своей папке и раскладывая перед собой пасьянс из газетных вырезок. – Мамина родня происходит из волжских дворян, обнищавших, правда, а это и есть благородное происхождение. Мамин папа, а мой, значит, дед был когда-то раскулачен и сослан на Соловки. Тогда как он вовсе не был кулаком, а деревенским Кулибиным и сам по себе изобрел маслобойку...

– Ой, почему ж я раньше тебя об этом не спросила? – забеспокоилась женщина без происхождения. – Мне тут в театре показали председателя нашего дворянского собрания, эту дворянку, – издали и то страшно. Как держится. Будто все и вся вокруг грязь.

– Да брось! – совсем развеселился Сева. – Что пластинку-то заело на одном месте? Чем больше человек выпендривается, тем дешевле стоит.

– Ладно-ладно, – пробормотала Валя и потянулась за своим журналом. – Не будем. Я попробую, постараюсь, прости меня. Ну, не разводиться же из-за свиного око-рока по-домашнему.

– Вот именно! – сказал Сева. – Придется учитывать приоритеты.

Каждое утро Фелисата робко выглядывала на кухню и, если там уже было пусто, садилась неторопливо пить чай по-английски. А чтобы она могла это сделать, заранее один пакет молока оставляли как НЗ. Но молока часто не хватало вообще, и Сева принес ей однажды сухое молоко, сказав: «Маман, это вот белый порошок на черный день». Он любил всякие контрасты. В другой раз ему привезли из района баночку разливной сгущенки, и никто уже не трепал другим нервы из-за какого-то там чая.

Последнюю неделю перед светлым праздником маман совсем перешла на хлеб и воду, она держала строгий пост и совсем ослабела. Валя значение слова пост понимала, но никогда не переходила от слов к делу, поэтому ей было сложно понять состояние Фелисаты Петровны и чем она могла помочь. Однажды, чтобы поддержать разговор, она несмело поинтересовалась размером окорока, который заготавливала лично Фелисата, будучи министершей. Фелисата на нее странно так посмотрела и сказала с достоинством:

– Какой мне окорок привозили, тем я и довольствовалась, Валентина, и замечь, никогда не капризничала.

– Ах, привозили... – неопределенно протянула бракованная невестка. – А вот если некому привозить? Вы, мама, когда последний раз были в магазине?

– Ну, как только пошла на заслуженный отдых. Лет пятнадцать тому назад мы посещали с мужем продовольственный, да и то он сам все покупал, а я в кондитерском разглядывала витрину.

«Ой, мама родная», – подумала Валя, а вслух сказала:

– У нас витрины давно пусты, там и разглядывать нечего. Я могу в духовке сделать мясо, но не свиную ногу, она туда не влезет... ничего, если оно не будет являться огромным окороком?

Ответа не было. Какой ответ подразумевался, неизвестно. Но ясно одно: она полезла волку в зубы и конкретно нарвется с этим окороком. Ясно, что судак не взялся ниоткуда, потому что его не было нигде, а если и был, то не смог нарушить закон сохранения энергии. Двух дорожущих карпов удалось купить на рынке, и раскрасневшаяся Валька, шмякнув их в огромный желтый таз, принялась чистить. Она с детства не переваривала запах сырой рыбы, страшно морщилась и гримасничала при этом. Когда выплывающая на стрежень Фелисата Петровна обнаружила непослушную невестку в ванной, та была густо заклеена чешуей.

– Ах, ты, – запела свою арию Фелисата. – А косыночку, перчаточки. А с рыбкой ты что такое делаешь?

– Так чищу же!

– А зачем голову отрезала?

– А как же? Всегда!

– Да нет же, у фаршированной не нужно голову отрезать, и отрезать-то надо умеючи. Вокруг жабер кругло, а ты – напрямую! Полспинки отхватила! На выброс...

– Предупреждать надо было, – пробурчала огорченная Валя, снимая чешую с носа.

Старушка старательно вымыла раскирдаш в ванной, развешенные по бортикам внутренности и чешую прибрала, сама вычистила все снаружи да изнутри, а потом показала, как нужно икру карпа смешать с рисом, яйцом и луком, положить обратно внутрь и защепить прищепками. Потрясенной новоявленной кухарке была преподана спокойная наука борьбы с сырьем, результатом которой было превращение скользкого, вонючего и темного куска рыбы в ароматное зажаристое чудо, истекающее соком.

Она помнила, как дома жарили рыбу, такое было, да, но ее просто обкатывали в муке и шлепали на сковороду. А вот эта длительная, изматывающая возня не могла

ей даже в страшном сне привидеться. Гигантский карп на круглом блюде, усыпанный иголочками укропа, прикрывшийся кружочком лимона, представлял собою зрелище, которое хотелось сфотографировать и повесить на стену, и лучше бы боязливо поесть вместо него перловой каши с томатным соусом. Сева сдержал обещание и с большими трудами притащил с работы две клетки яиц. Это была отдельная канитель по окраске, для чего не один месяц копили луковую шелуху, и отдельная канитель по наклейке на них фестонов из цветной бумаги. Но апогей наступил вместе с куличом.

Значит, первая выстойка кончилась тем, что тесто уплыло. Дрожжей, что ли, переборщили, но кастрюля быстро обвешалась сосулями, те потекли на подоконник. А потом, когда кастрюлю заперли в холодильник, тесто сбежало и там. Потом вторая выстойка – получили уже две кастрюли теста. Андерсен отдыхал с его горшочком каши! Кусая губы, Валя стерегла вторую выстойку и потом, стараясь его месить как можно аккуратней, буквально горела под надзором свекрови. Обмануть ее удалось часа на два. Пока же куличи были в духовке, Валя варила обливную глазурь. Мама родная, еще и глазурь! Ее зло разбирало, но она молчала. Не покоришься – выгонят дворяне, и поминай как звали ласкового Севу, красавца и озорника. Да еще и детей отберут, ужас.

– Ты все запомнила, Валя? – добивалась Фелисата. – А то вот послушай-ка, что написала моя дочка Евдокия про мои пироги. Это такое праздничное письмо.

«Действо под названием «Пироги».

Время – 3-4 часа.

Место – пироги любят тепло, чистоту и воздух.

Идея – дать радость любимому существу.

Исходные продукты – Мука, Дрожжи, Молоко, Масло, Яйца, Соль, Сахар.

Инструменты – Руки, Ложка, Нож, Кастрюля, Весёлка, Кисточка, Противни, Скалка, Сито.

Спецодежда – Фартук, Косынка, Полотенце.

Начинка.

Мясо нарезаем кусками, заливаем кипятком и варим с добавлением Соли и Лука 20 минут. Бульон сливаем в отдельную Кастрюльку. Мясо со свежим луком прокручиваем на мясорубке, добавляем Соль, Перец и Бульон, хорошо перемешиваем.

Тесто. Первое преосуществление.

В тёплое Молоко положим Соль, Сахар, Яйцо, Дрожжи и, подсыпая просеянную Муку и подливая растопленное Масло, крутим и вертим – слева направо и справа налево, поднимаем снизу и нажимаем сверху, и подхватываем, и ворочаем, и месим. Уже и устали немножко, и надоело, но продолжаем месить, представляя при этом, что невидимый столб Добра и Любви устанавливается между нашей Кастрюлей и Небесами. Тесто становится эластичным, однородным, «тягличным» и напоминает большую тяжёлую женскую грудь. Счищаем Ножом со стенок приставшее тесто и формируем каравай, гладкий Ком Теста, наливаем в руку ещё немного растительного Масла и усердно вымешиваем ещё, стараясь, чтобы в этом каравае образовался пузырь с воздухом, потому что Тесто очень любит Воздух.

Накрываем Кастрюлю Полотенцем и ждём, когда Дрожжи сделают своё дело и увеличат объём Теста в три раза.

Пироги. Второе преосуществление.

На стол подсыпая муки и вываливаем на него поднявшееся и ставшее лёгким Тесто, формируем снова из него каравай, и пусть оно снова постоит и «подойдёт». С

этого момента с ним надо обращаться мягко и нежно, не мять и не давить. Начинка у нас готова, чистые противни смазаны маслом, Духовка включена.

Ножом отрезаем от каравая кусок Теста, делаем из него некую колбаску и нарезаем её на кусочки, чтобы сформировать из них уже маленькие каравашки, величиной с девичьи грудки. Пусть тоже постоят, «порасходятся».

Потом раскатываем Скалкой или лепим руками из Теста лепёшки, накладываем на них Начинку и сочиняем Пирожок, защипывая пальчиками краешки. Укладываем их на смазанные маслом Противни шовчиком вниз на некотором расстоянии друг от друга, потому что на противне им снова надо «расстояться» и не слипнуться.

Спустя некоторое время помажем их Пёрышком или Кисточкой взбитым Яйцом с добавлением столовой ложки Молока и – ставим в Духовку при температуре 175–200 градусов на 15–20 минут, пока не подрумянятся.

Выкладываем пирожки на чистую Доску, смазываем их растопленным маслом, накрываем сначала чистой бумагой, а потом Полотенцем – им хочется «отдохнуть».

И вот Пирог готов, румян и свеж, на радость мне и вам!»

Валя уронила праздничное письмо. И долго сидела, открыв рот, полностью оглушенная. С ее точки зрения пирог – это одно. Это – жратва. А вот с другой, незнакомой – совсем иное. Творенье волшебства. Да что ж это такое, елки, выходит, она вообще ничего не понимает в жизни?

ТРЕБУХА НА ДЕСЕРТ

Грозное урчание разносилось по квартире Седовых. Но эти звуки издавали не тигры, не леопарды, в общем, не живые существа. В ванной урчала старая стиральная машинка «Рига», забитая до отказа простынями и пододеяльниками. А в кухне урчал старый холодильник «ЗИЛ» пузатой советской конфигурации. А еще он вздрагивал в конвульсиях, когда его подолгу не размораживали. Его будто лихоманка начинала трясти, и он дергался и даже менял звук урчания, переходя на низкие тона.

Валя устало облокотилась на холодильник, дожидаясь закипания перловой каши, но «ЗИЛ» внезапно шарахнул ее током. Руки ее были мокрыми от стирки, вот он и не стерпел. Валя вскрикнула, в глазах у нее потемнело.

– Черт! Проклятый агрегат!

– Тише, – посоветовала проходившая мимо кухни Фелисата, – и не зови его, а то взаправду придет.

– Холодильник стреляет! Током! В меня.

– А ты новый купи, он стрелять не будет, – с достоинством парировала Фелисата.

На это сказать было нечего. Ни нового холодильника, ни стиральной машинки Вале было не видать, как своих ушей. Денег не хватало и на еду, муж только поступил в аспирантуру, на аспирантские сто рублей. А крупу выдавали по талонам, так что... Вот она и стояла перед этим холодильником, кусая губы, сжимая кулаки и вполголоса матеря его на чем свет стоит. Громко нельзя – услышит свекровь. Потом придется на колени вставать, прощенья просить, знакомая бодяга, все как всегда. «Ну, что? Ты не против получить премию, скажем, четвертак? Тогда веди себя хорошо». Стоило Валентине попросить у свекрови прощения за грубость и покаяться в грехе сквернословия, так сразу, точно по

волшебству, ей в кармашек опускали рубли. И это был убедительный довод, еще какой...

Тут очень вовремя позвонил знакомый фермер, у которого они несколько раз копали картошку. Он за работу не мог платить, зато иногда подбрасывал еды. То два толстых кабачка, то тыкву, то пол-утки, потому что целую утку не мог, у него в городе еще дочка-певица на попечении была.

– ...Говорю тебе – на остановку иди, – пророкотал фермер, будто продолжая начатый разговор, такая у него была манера. – Подкормиться, что ли, не хочешь?

– Сумку или мешок брать? – не удивилась Валя.

– Да не, тут так просто не перевалить, люди же кругом. Потом тару отдашь.

Валя испугалась, но на остановку побежала прямо в халате. Она знала, что фермер в городе бывает редко, и ему всегда некогда. А перловая каша по талонам так надоела, так надоела... Холодное сентябрьское тепло погладило Валью по щекам, ветер дернул, задирая, халатик. «Да ты еще мне!» – отмахнулась Валентина.

Фермер Клавдий, сам перебивавшийся с хлеба на воду, потому что не успевал платить кредит за трактор, оказался в городе по финансовым делам. Он подтащил к Вале раздувшуюся сумку-самошитку, которая оплывала чем-то темным.

– Неужели столько мяса? – на вид это напоминало свернутое мокрое одеяло.

– Не мясо, но есть можно, – подмигнул красный фермер, вытирая пот. – Рубец его, девка. Иди, порадуй своих.

После чего сел на свой недооплаченный трактор, обдернул новый джемпер «Союз» поверх старых в гармошку брюк и поехал дальше – к дочке или к сыну. Валя схватила сумку и поняла, что руки сейчас оторвутся. Сумка была длинная, как колбаса, и закручивалась

ручками. Попыталась подтаскивать – сумка стала рваться. Ах, ты... Обратно с остановки она шла в три раза дольше, а в прихожей так шмякнула грузом об пол, что свекровь вышла из своей комнатки и посмотрела. На ней было старенькое бархатное платье, теплая пуховая шаль и валенки.

– Что это за страсть еще?

– Понимаете, мама, это рубец. Говорят, он съедобный. Сейчас буду его готовить, ну... если вы мне подскажите. Я его никогда в глаза не видела.

– Готовить-то просто, главное вымыть тщательно. Мой сперва, да хорошенько, потом поставь сварить в большой посуде, дальше посолить, скатать в трубочку... Ничего страшного. Выкладывай в ванну. Да прежде унеси белье, чтоб мыло не капало, куда не надо...

И ушла. Ну, спасибо хоть подсказала! Валю часто удивляло, что свекровь, казалось бы, дворянского происхождения, а понимала в таких грубых вещах. Не должна бы такая светлость понимать такую низость, все это забота кухарок и домработниц, но вот смотри же, понимала. А у Вальки в роду одни кучера и кухарки, так ей сам бог велел.

Валя достирала белье, прополоскала, вынесла на уличную веревку, потом вывалила в ванну то, что в сумке было.

Мамочки. Это вправду было похоже на ворсистое одеяло. Она попробовала просто полоскать в воде, но тут пошла густая вонь, клубами, точно дым. В воде отделялся от одеяла мутный мусор, и сразу вода становилась грязью! Ужас. Как бы не засорить канализацию! Смывать воду и наливать новую получалось медленно. Ух, какая тяжелая штука! Тогда Валя схватила жесткую щетку для ванны и стала продирать так называемое одеяло этой щеткой. Но толку все равно было мало. Примерно через час бесполезного битья выглянула Фелисата:

– Что-то ты за детками в садик не идешь?

– Бегу!

И хотя детсад было не так далеко, только через двор перескочить, все равно сроки все прошли, и дети сиротливо стояли за запертой калиткой. Ух, воспиталка наверно обижена!

– Дети! Вы остались одни?

– Да уж, мамочкин. Райсовна тебе звонить пошла.

– Простите. Там у меня такое ЧП.

– А что? Опять прорвало батарею?

– Да нет, там такое одеяло, короче... Полная ванна одеял! Выходите!

– Нет, тут замок!

– Лезьте через забор.

– Нет, мамочкин. Попадет! Стой тут.

Но воспитательница долго не шла, потому что не могла, естественно, дозвониться до Валентины, поскольку бабушка подходила к телефону далеко не всегда... Потом выглянула, махнула рукой и за ключом от калитки побежала.

– Что ж вы!

– Да мы это самое... Простите.

– Да вечно вы, Седовы!

Дома Валя судорожно подогрела перловку, сдобрив ее топленым австрийским маслом. Дети, Леля, Леня и Вася не очень любили топенку, но другого не было. И они были в курсе, что возмущаться не поможет. А в это время их отчаянная мать продолжила свое сражение с серой требухой, заполнившей ванну. Сражение напоминало размазывание глины по глинобитной стенке хижины. Кишки были какие-то жирные, поэтому пришлось их мыть горячей водой да с содой. Ну, не будешь же тратить на это дефицитный стиральный порошок. С содой пошло дело получше, но смывание пришлось повторять раз пять: то горячей, то холодной.

Главное, запах никак не уходил, как будто в ванной взорвался унитаз. Валентина почти не видела детей в этот ужасный вечер. Сначала они, переглядываясь, сидели перед кашей, потом у бабушки пили чай «со слоником», потом перед телевизором. И тут было для всех очевидно, что она абсолютно не занимается детьми, как любила говаривать Фелисата. Пришел Сева, стал искать жену, и бабушка задумчиво сказала: «Не трогай ее, сыночек, она злая сегодня». Будешь тут злая. Надо было выбросить и не биться, как рыба об лед. Подкормиться! Легко же она поймалась на эту фермерскую удочку. А соскочить не получилось. Он, небось, сам не захотел возиться, вот и сделал бабе развлечение!

Ближе к полуночи Валя вышла из ванной красная, как рак, разрезала ворсистое одеяло на части и поставила варить с солью, лавровым листом и перцем. И легла. Ей приснился снегопад в виде... каши. В Новый год Сева всегда шел через окно на выступающую вперед, как терраса, крышу первого этажа и набирал в ведро нетронутый снег, чтобы погрузить в него шампанское. И не важно, удавалось ли добыть шампанское или вместо него было детское шампанское, шипучка просто. Так вот, в ее сне с неба густо сыпалась манка, и Сева шел на крышу, набирал ведра и тазик, шел снова. А поскольку Фелисата была умная, она ему через окно подавала наволочку, и в нее тоже насыпали... То-то было счастья, когда запаровала белая пышная каша в кастрюле. Взрослые ели с австрийской топпенкой, а дети – с вареньем...

Ночью сквозь длинный сюжетный сон Валя вспомнила, что на кухне кипит рубец, и вскочила, как ужаленная... И почти вовремя. Вода выкипела за несколько часов, и дальше уже была бы не варка, а какое-то тушение-томление... Термообработка с добавлением пряно-

стей. Бабушка, кажется, велела свернуть, так Валя и свернула, закатав в целлофановые пакеты, которые тоже были дефицитом. О том, что это еда, она уже как-то не думала... И сунула в холодильник подальше с глаз. Ей все время казалось, что надо это спрятать, спрятать. И что же это получилось в конце концов?! Да что-то отдаленно напоминающее холодец, только без бульона. Упругое нечто, с тонкой прослойкой мяса. Дети, конечно, это есть не стали. Они понюхали, пожали плечами и не решились. Настоящие дети партизанского подполья. Сева осмелился попробовать, густо наперчив и намазав горчицей. Картина поедания Севой дурацкого рубца трогала за сердце. Откинув русую прядь, он изящно намазывал горчицу на это нечто, потом тонко резал. И не моргнув глазом, отправлял ломтики в рот, промокая губы салфеткой. Он вообще любил порассуждать на тему важности вторсырья. Любого, в том числе и субпродуктов. Что это хороший резерв для народного хозяйства. Да, смешно. Валя ела зажмурясь, боясь, что ее стошнит. Она, если б знала, что самой придется это есть, так не стала бы и стараться так.

К общему удивлению, понемногу семья, исключая, конечно, Фелисату, постепенно домучила неведомое кушанье. Сева сказал, что это излишество, что в следующий раз он обойдется и без него. Перловка не хуже...

Это было очень редко – помощь извне. Валентине Петровне на работе принесли сухих грибов. Они были черные, легкие, скрученные и резко, волшебным пахли. Но у Валентины Петровны дома грибы никто не готовил, она не знала, как их сделать. Она помнила, что грибы – это такие коричневые оладьи, их солили в бочке и держали в погребе... Просто взяла и замочила сухие грибы в воде и крышечкой прикрыла. Она также помнила, что у нее в холодильнике стоит бульон и как его

можно заправить картошкой-морковкой, и это прокатит. Но пока она думала, пока перекладывала простыни в шкаф – шкаф просто распирало от постельного белья, наскоро выстиранного и не всегда поглаженного... Фелисата все проверяла и, увидав такой неприличный ворох, она вздыхала – «Ну почему таким крутнем? Почему не погладить?» Но Валентина Петровна отмахивалась, не до того. Где уж тут твердые квадратики накрахмаленных простыней у Иванны! Пока что она решила все это дело как-то сложить, а то дверца шкафа давно не закрывалась. Тем временем Фелисата неслышно прошмыгнула на кухню и втихую сварила замоченные грибы, а также сбоку пристроила кастрюльку с отварной картошкой. Издали посоветовала Вале довести грибной суп до кондиции, то есть заправить жареным луком, а грибы перекрутить на мясорубке. Она любила пастообразные супы.

Валентина, устав бороться с тряпками, задумчиво пошла на кухню и стала честно доводить до кондиции грибное варево, все делала тщательно, лук резала мелко, обжаривала его с мукой и маслом сливочным. Но вот грибной суп подошел к финалу, он булькал и дышал лесом в старой эмалированной кастрюле.

И тут она вспомнила про бульон, который тихо пропадавал в холодильнике. Если его сегодня не использовать, то придется вылить.

Стоп! Что-то такое знакомое. Уже однажды речь шла о грибном супе, это было в прошлой жизни, в городе у моря... Валентине Петровне стало тепло затылку, и она, удивляясь безмерно, взяла и вылила куриный бульон в грибной суп. Вкуснее будет.

Вскоре подошло время обеда, и она всех позвала к столу. Сева съел пару ложек и объяснил, что суп очень жирный. Фелисата, едва понюхав, вылила тарелку обратно в кастрюлю. Валентина была в обмороке. Он очень напрягалась, чтобы не зареветь, и ей это удалось.

Молча съела она две тарелки – за себя и за того парня Севу. И ушла подумать в старое кресло в самой дальней комнате.

Сева обратил внимание на это зрелище не сразу. Потом понял – думанье длится слишком долго, Вале это несвойственно.

– У нас снова трагедия, или я что-то пропустил?

– Все шутишь? А я в отрубях. А ты спокойняк.

– А что? Я тоже должен быть в отрубях?

– Если вам не нравится, как я готовлю, готовьте сами.

– Ну-ну. С супом мы, конечно, пролетели, но это лишь трагическая случайность.

– Куда?! Куда пролетели?

– Суп есть невозможно, но ты ведь юная, растущая луна.

– Какая луна!

– Не знаю, как вы, а мы едим грибы отдельно, курицу отдельно.

– Подумаешь, графье!

Сева сходил куда-то в книжные шкафы и принес «Кулинарию», открыл на супах грибных. В составе курица не значилась.

– Дело не в капризах свекрови. Просто бульон в нашей семье считается еще и лекарством. Помнишь, я приносил тебе в больницу куриный бульон? Вот он тогда был лекарством. А в грибном супе он как собаке пятая нога. Ни богу свечка, ни черту кочерга.

– Так он бы пропал! Вылили бы.

– А мы и так его вылили. Ты уж следующий раз старайся, но не перестарайся. Маман у нас человек с тонким вкусом, для нее это как бестактность. На севере растягивают еду... Мало ее, понимаешь? Не на столе, конечно. Исторически мало... Поэтому сваливать в кучу две еды не стоит...

ПРОМЕНАД НЕЗАВИСИМЫХ КОШЕК

Валю вязал сон по рукам и ногам. Сел ей на плечи и свесил ножки. Она три раза вставала к младшему Лене, чтобы дать ему попить. Что такое? Мало поел накануне? Когда видела, что предыдущая чашка вся выпита, брела на кухню делать новую. Она шла, неуверенно ступая ногами. Оторванная подошва загибалась, пружинила, это придавало походке дополнительный спотыкач. Ситцевая ночная рубаха сидела как смятый бумажный кулек. И вот этот кулек шерудил в кухне без света, потому что со светом сон пропадал начисто и надолго. Иногда выходила часто не спавшая ночь Фелисата, советовала, что лучше дать попить... И включала ненавистный свет. Она один раз насоветовала киселик, он так-то сытный, но пока киселик варился и остывал, подымалась старшая Леля, приходилось поить и ее. После этого попробуй всех уложи, даже и с киселиком фиг получится. В совершенно тупом состоянии Валя тащила кружки, теряя тапки, ворча на детей, на бабушку, а заодно на Севу, который слишком часто мотался по командировкам, а, кроме того, где-то сидел с друзьями.

И только она легла, сон тут же ушел. Дети ворочались, ныли, мамали, а тем временем за окном светлело. И вот в этой светлеющей полуночной мгле просочилась в комнату кошка с балкона. Это был на самом деле не балкон, а огороженная крыша, заставленная коробками, но кошки там независимо пробегали. А порой интересовались и заходили.

— Брысь! — зашикала на нее сонная Валентина, но кошка убежала не в окно, а на кухню и там прижукла. Где же веник? Валя так нервничала, что не сразу нашла веник. Тем временем дети Леля и Леня оживлялись и тоже начинали активно шикать. В семь утра надо было вставать и вести детей в садик. При полном отсутствии

сознания тормозная мамочка надела розовые гольфы на мальчика, коричневые на девочку, а надо было ровно наоборот, одновременно перепутав и футболки – с черепахой Ниндзя досталась Леле, а с куклой Барби – Лене... Леля, то есть княжна Леля, как истинная женщина, сразу заворчала и не переставала ворчать, пока мама не переодела ее как следует. Ладно, хоть с шортами не надо было церемониться. Тут надо заметить, что приемный сын Вася во время разборки с гольфами скучно сидел на стуле уже полностью одетый и мирно спал. И никогда не понимал. Почему такая возня из-за тряпок. Ему было наплевать, что на нем надето. Когда открывалась входная дверь, он на автомате вставал и шел в ту же группу, что и Леня... Отведя детей в сад (чад в сад, как говорил Сева), Валентина пришла домой и рухнула снова на диван. Свекровь заглянула в комнату, окинула взором привычный раскардаш и покачала головой. «Батюшки!» – запричитала она, подбирая детские трусы и колготки, а также подцепляя за ручки пустые чашки из-под кефира.

Чашки даже не успели стереться из сознания, как через комнату к окну деловито затрусили две кошки. Они были довольно худы и явно отличались от сытых соплеменниц из соседских квартир. Наверно, это были бродячие неместные кошки.

– Брысь! – хриплым басом сказала Валя.

Но кошки лишь оглянулись и мяукнули, но не испугались. Почему их две? Утром была одна! И какая наглость. На работе оказался санитарный день, так Валента, напялив старые брючки и рубаху-размахайку, машинально бродила с губкой возле цветов, затем их же и поливала. Хорошо хоть, что не требовалось для этого ясной головы и быстроты движений. Ее кто-то окликал, просил что-то принеси из подвала, ее звали к телефону, но она только плечами пожимала – скажите, что уже

ушла. Так что вернулась рано и до садика еще часок поспала.

Потом дети стали везде бегать и качаться на дверях, а двери подозрительно трещали. Макароны Валента задумала по-флотски, но, поскольку мяса не было, она отварила соевый гуляш да с жареным луком – ура, получилось почти похоже. Отнесла мисочку Фелисате – и та приняла... Правда, не призналась, различила ли подделку. Можно было еще постирать слегка, немного, на пару закладок. Дети упорно мамали. Так, надо читать книжку. Это превратилось в тяжелую повинность. Увы, как правило, первой начинала засыпать именно мама. И чем дальше она читала, тем неразборчивее становилась ее речь, которая превращалась в кашу, а то и вовсе переходила в сопение. Как же ненавистна была эта книжка, особенно со слипающимися глазами.

– Мам! – кричала Леля, – Чего ты так непонятно читаешь! Ты что, опять заснула?

Ответа не было. Они хихикали, свешивая головы с верхнего этажа деревянной кровати.

Мамаша натурально клевала носом. Книжка соскальзывала с колен. Наконец дети нехотя засыпали.

Выйдя из ванной около двенадцати ночи, мама увидела кошку, которая крадучись шла в туалет. Женщина схватилась было за веник, но сильно громко шерудеть было нельзя, дети уже спали.

Кошка снова спряталась. Окно в детской было закрыто... Показалось, что ли?

Да, в открытую форточку кошка забраться, конечно, могла. Но почему она не бегала как заведенная по комнате? Всё должно было нервировать ее... Нет, ничего подобного: кошка зашла, спрыгнула с подоконника и спокойно двинулась на кухню, как будто находилась у себя дома, как будто на кухне ее должна была ждать угодливая хозяйка с ножкой цыпленка либо еще какой-нибудь вкусностью.

Один раз эта кошка черно-белая с рыжим пятном на хвосте зашла на кухню, и, не обнаружив там ничего съестного, побрела обратно. Она потянулась, поцарапала диван, выжидательно уставилась на Валентину Петровну. Будто это она, кошка, хозяйка здесь. А не Валентина. Рассеянная хозяйка в халате с тяжелой от недосыпа головой на нее не смотрела. Боковым зрением заметив движение, пробормотала: «Брысь». Кошка пожала плечами – такой ответ ее не устраивал! И снова пошла на кухню, хозяйка автоматически последовала за ней. Что могло понравиться кошке? Ничего не нашлось, кроме молока, но кошке молоко не понравилось. Все же стала лакать, презрительно поглядывая через плечо. «Ну, ты и наглая, – сказала хозяйка. – Ну, ты вообще». Глянула на часы – четыре утра. Это смущало. Похоже, часы суток совсем перепутались.

Валентину Петровну беспокоило также, что кошка вскоре привела подружку. На кухню они потрусили уже вдвоем, и пришлось выгонять их веником. Они вроде ушли, но медленно...

Одну или две ночи удалось поспать спокойно. А через несколько дней или часов глазам предстала пугающая картина – кошки прыгивали подоконника и молча шли на кухню. Их было уже три или четыре, это был разговор. «Мы так не договаривались», – бормотала Валентина, идя за веником, веник кошки не переваривали, одно даже щелканье веника вызывало у них вздрог. «Так вот, нашла средство», – обрадовано думала Валя и ставила веник около постели. Ночью или днем цепочка бегущих куда-то кошек уже не удивляла ее, наоборот, Валя хватала веник и успокаивалась.

Но что-то пошло не так: вдруг три-четыре штуки свернули с привычного пути на кухню и нырнули под диван. Это еще что такое? И стала шарить под диваном веником. Не вовремя проснувшаяся Лёля пошла по

своим надобностям и увидела маму на четвереньках, шурующую веником около дивана.

– Мама, что ты там делаешь? Ты мячик достаем?

– Какой еще мячик, – воскликнула Валентина, – туда кошка залезла, сейчас я ее выгоню!

– Мама, какая кошка? Наша или чужая?

– Сейчас увидишь, вот как получит веником...

Под диваном было тихо. «Сейчас, сейчас, – накалялась мама, – сейчас я наведу порядок... А кошки нет, я вообще удивлена». – «Она, наверно, уже убежала?» – подсказала Леля. Они на цыпочках пошли к окошку. Окошко было закрыто, убежать через закрытое окошко было бы затруднительно. Леля вздохнув, забралась в кроватку. Было около четырех утра. Валентина глянула на часы и задумалась: это, наконец, было странно. Ну да, наверно, существует где-то привидение, но чтобы привидения приходили в виде кошки? Это совершенно невыносимо! Мало того! Просто даже днем, разбирая посуду после еды, Валя вдруг видела нечто ее потрясшее: из большой комнаты на кухню шла та же самая кошка, черно-белая, с рыжим пятном на хвосте, но только эта кошка была в пиджаке... «Брысь!» – машинально сказала Валя. Кошка, одернув пиджак, ушла в туалет и закрыла за собой дверь. Ничего не оставалось, кроме как включить там свет.

Всю неделю Севы дома не было. Даже хорошо – не надо вздрагивать и ждать – вдруг он идет? И опять под газом? У него там образовалась какая-то компания по дегустации пива... После чего Сева стал приходиться под газом, а свекровь, конечно, укоряла Валю – это он из-за тебя. Типа, с горя.

Она, конечно, ушла на работу в тот день, но вечером позвонила сестре Тоне. Все рассказала: и как кошки в окно закрытое входят, и как под диваном в засаде сидят, и как молоко не любят, и, наконец, как ходят в туалет в

пиджаке. Тоня думала недолго и велела обратиться к психиатру. Пришлось согласиться и замолчать. Но обращаться к психиатру Валя боялась. Стыдно было, невозможно... Что бы она ему рассказала?

Рассказала бы всю эту нелепую историю про кошек, которые даже не пробегают, а прогуливаются по квартире, как по бульвару какому. Мимо их дома пролегал широкий тротуар, по которому гуляла молодежка. Его так и называли – «променад». Да и маленький пиджак клетчатый на кошке очень смущал. Да, когда-то ей хотелось такой же, но это не значит, что кошке позволено воображать... Когда приехал Сева, она ему ничего не сказала, зато слышала, как свекровь жалуется сыну, что Валя гоняет кошек. Делать, что ли, больше нечего? Ужас. Сева пообещал приостановить дегустацию пива и побольше гулять с детками после садика. А Валя вскорости получила от сестры какие-то успокоительные таблетки и тайком их ела. То ли пион, то ли персен. Ну, не в больницу же, правда, идти....

Кошки стали реже приходить. Но в любом случае они теперь обозначали не живых настырных тварей, а непростой и непонятный женский невроз. Непонятный всем, в том числе и Фелисате, и Севе, всем, тем более самой Валентине. Валентину всегда поражала видимая сторона явления. А невидимая от нее почему-то ускользала. Она, например, чувствовала, что что-то творится, но не могла понять, в чем суть. Иногда, правда, понимала, но с большим опозданием.

Она досадливо ворочалась перед сном, стоня с дивана мяукающих тварей.

– С кем ты там разговариваешь? – удивлялся Сева.

– Да ни с кем, – бормотала жена, – ходят тут всякие... Я просто вспоминаю, все ли поставила в холодильник.

– Так ты скажи, я сам поставлю. Только все затихли, после чего хотел сосредоточиться, а ты опять разговариваешь.

– Ну, поставь суп с клецками.

Сева шел на кухню в ночи, шарился по подоконнику и столу, находил только кастрюлю с пшенкой. Ставил, шел обратно!

– Спи, клецки ты сварешь завтра.

Но назавтра оказывалась, что пшенка была специально оставлена, чтоб навести на ней олады, добавив кислого молока. «Квашенка», так называл бабушка не тайно постаревшее молоко. Хотя обычно его быстро выпивали, и скваситься оно не успевало.

Она уже ничему бы не удивилась, так как окружающее менялось все быстрее и быстрее. Да, в семье Дикаревых, ее родителей, котов никогда не бывало, но здесь то другое дело. У Седовых коты бывали. Недаром Фелисата сотни раз поминала кота Барсика.

– Опять вы! – воскликнула мать. – Кот же будет урчать, просить есть, качаться на шторах...

– Брось, мамочкин, он будет спать целыми днями... Погладь! Быстро погладила!

Валя машинально погладила полосатое тело. Пожала плечами. Она не видела никакой пользы, но ясно было, что придется то и дело сдавать детские анализы «на яйцеглист».

Кот по имени Кошка оказался не первый и не последний. По очереди они приносили то одного, то другого. Или другую. Например, очередной кот сбежал гулять по крышам и не вернулся. Или вот один у них был такой – всегда лазал по чужим балконам и шарил в посторонних сетках. То мороженую рыбу вытащит, то просто несъедобный предмет типа вяленой таранки. Естественно, воришку могли шугануть, могли прищемить

дверью. Он однажды пришел, принес с собой бедовую свою голову, а голова-то сплющена по диагонали. Ворюшка перестал хворать и тоже убежал. Короче, коты попадались какие-то бродячие. Однако законы социалистического общежития понимали, причем своеобразно. Утром кот прибежал на кухню подкормиться – пока варилась еда для семьи, а потом, когда запахи вихрем неслись по жилищу, он опять прибежал.

– Тебя что, на шестипитовое питание надо ставить? – враждебно интересовалась хозяйка.

– Мяу! – отвечал кот по имени Кошка.

Кот сердился, если на него не обращали внимания. И начинал ходить в ботинки, либо делал прямо на прибранную кровать в детской. Поэтому реальный кот сильно отвлекал от кота-призрака. То одно покрывало начнешь стирать, то другие ботинки вымываешь. То котиный тазик начинает источать сильное амбре, то на косточку припрятанную наступишь... Весело, в общем.

– Сев, а Сев. Я больше не могу!

– Да неужели? А, по-моему, у тебя большие внутренние резервы.

– Нету! Нету, говорю.

– А что такое?

– Да вот, посуды для кота больше нет. И для детей тоже. Кто выбрасывает котиные блюда?

– Наверно, я. Мне не хочется, чтоб они путались в раковине с человеческой посудой.

– Да что ты, я их мою отдельно!

– Неужели моешь?

– Да-с! Только у меня все равно осталось четыре блюда. Понимаешь?

– Кот! – позвал он издали кота по имени Кошка. – Верни на кухню посуду из ресторана.

В тот день особенно все накалилось. Леля и Леня побежали погулять у крыльца. Им сказали – мама постирает, а вы гуляйте у крыльца, чтобы из форточки можно было дозваться.

И они не ослушались. Они гуляли рядом с крыльцом, потом напротив. Во дворе же был старый деревянный дом, вокруг разные кусты и бурьян, в котором можно было с головой прятаться. В деревянном доме проживали пьяницы, выходившие проветриться. Он стояли, курили у дверей или в этих самых кустах. Бывало, они уставали курить и падали в кусты лицом вниз. И тогда бойкий Леня подбегал к двери деревянного покосившегося дома и звонко кричал: «Упал! Лежит!» Компания не сразу реагировала на детский крик, мало чего там крикнет ребенок, играющий у крыльца. Но Леню уже стали мало-помалу признавать, поскольку он зря никогда не звал. И выходили, забирали пьяницу. Как раз осень настала, листья с жестяным шорохом завалили пустырь вокруг деревянного дома, и налетающий ветер кружил эти листья, превращая кучи в маленькие смерчи. Дети с восторгом били палками по этим кучам.

Валентина завела старую стиральную машинку «Рига», то и дело поглядывая в окна вниз, на бегающих ребят. Она мешала в баке белье, потом мешала в кастрюле серые рожки, потом выжала серое белье, которое уже не взять ни стиркой, ни кипячением. Глядь в окно – нет детей. Быстро стала одеваться. Только, значит, открыла дверь – на пороге очередной пьяница из деревянного дома. Такой вообще живописный пьяница: в резиновых сапогах, тельняшке, поверх тельняшки жилетка из карманчиков, в шапочке растянутой в полоску. А в руках у него дети Седовы, все мокрые, неизвестно в чем. Валентина остолбенела.

– Что это, что это, как это?

– Не шебутись, мать... – нечленораздельно просипел мужичок в тельняшке. – Ето твой?

– Мои, да, а что?

– Так забирай, – он их держал на весу, и, пока держал, с них натекло по большой темной луже.

И он их положил сразу Валентине в прихожку. И ушел!

Глядь, а они скользкие. Отправив детей гулять в новеньких пальтишках, накануне присланных сестрой То-ней, Валя не сразу уразумела, что они мокрые насквозь, но молчат. Только икают. Пальтишки были немецкие, с иголочки, у Лели темно-красное, типа шинельки, с погончиками, а у Лени темно-синее в клетку, с капюшоном. И запах страшный, как из туалета. Бросилась их раздевать, пытаюсь расспросить, что случилось.

– Мы гуляли у крыльца! – предупредила Леля, пытаюсь стащить сапожки.

– А дальше?

– За деревяшкой, где листья! – Леня уже дошел до майки.

– Помойка с крышкой, – добавила Леля. – Мы хотели достать фантики.

– И упали! – весело закончил Леня.

И перед Валею ворох грязных одежек и два чумазых дитяти. Она вся кипела. И сваливая в белую ванну внезапную вонючую грязь, не сразу осознала, что это беда не самая великая. Упали. Могли утонуть. Помойка была глубокой, с жидкими мыльными помоями. Спас пьяница, который вышел покурить. Но лицом в грязь не ударил. Мама родная. Еще немного, и она ни за что не дозволялась бы их из своей форточки. Наскоро вымыв детей, положив перед ними по миске рожков, она принялась за испорченные пальто. Но, смыв в нескольких водах, поняла, что порошок кончился, а вонь только усилилась. И сажные потоки из них продолжали течь. Залила водой и разрыдалась. Им не в чем было идти в сад наутро. Надо бы найти старые куртки... Резко войдя на кухню проверить поедание рожков, она спугнула кота

по имени Кошка. Который сиганул с окна и опрокинул кастрюлю с тестом – целый поток плюхнулся на пол и дальше, по всей кухне. Дети радостно завизжали, и она отвесила им затрешины. Они побежали, конечно, к бабушке Фелисате жаловаться. Там долго ей ныли, какая мама плохая. А тут пришел с работы отец, то есть добрый Сева, вершитель справедливости, и они ему тоже рассказали. А Валя почему-то рванула в большую комнату и рукой разбила оконное стекло. Видимо, захотела выйти через окно.

Сева, не раздеваясь, погнался за женой, чтобы не дать ей разбить все окно, он захватил с двери большую простыню и хотел ее связать, но вовремя увидел, что из руки хлещет кровь. Тогда он замотал руку какой-то наволочкой, а потом уже все тело простыней.

– Если не перестанешь, вызову скорую, – сказал он.

Посадил ее связанную на диван, аккуратно разделся, разулся, погремел холодильником.

– Вы, дети, еще десять минут посидите с бабушкой. А я маме дам лекарство и приду.

Сева, разумеется, был выдающийся человек. Он быстро налил лекарства два раза по полстакана, дал маме и себе. И сказал:

– Что бы там ни случилось в мире, у нас все живы.

Они еще посидели так, помолчали. И маме стало жарко, несмотря на то, что накрученная на нее простыня была еще влажная. Она ему рассказала события дня, постепенно выпутываясь из простыни, потом руку из наволочки. Но кровь снова пошла от глубокого пореза, пришлось залить йодом и забинтовать как следует. Они занимались этим честно и тщательно. Потом целовались. Потом Сева говорил:

– Только представь – их бы сейчас не было уже. Представила? Ну вот. Кровиночки. Так что я сейчас загорожу дыру оргстеклом. А ты больше так не делай, ладно? А то дорого стекла-то теперь вставлять. Я тебе

лекарства еще дам, ты сиди тихо. Пальто мы новые купим.

В большой комнате стекла больше не бились. А в другой, например, в детской, еще много раз бились. Валя уйдет с коляской гулять, ключи потеряет, потом как? Приходится к соседке идти, чтобы через нее выйти на крышу. А с крыши, если окно разбить ногой, можно войти в детскую, открыть входную дверь изнутри и завезти с улицы коляску. Так что Сева несколько лет не мог вставить стекло капитально, и правая фрамуга вообще составная была.

Валентина сидела тихо в подушках, дети к ней перебежками пришли и лежали в обнимку, и кот лежал, по имени Кошка. А Сева быстро доел рожки, вымыл тесто на полу и крутил свое радио. Комнату заполнила рок-музыка.

КОРОЛЕВСТВА

Он всю жизнь мечтал, мечтал. Это была абстракция попытка выдать желаемое за действительное. Да, магнитофонные кассеты были забиты Джон Пилами и Севоборотами, но до людей было не дотянуться... Княже... Древнерусская красота и – отторжение русской жизни? Как это? Он такой ясный, такой русский, но душой жил не в России, а где-то там. И что же он получил от своего увлечения, если мечта не сбылась?

(Автор – литературному негру Л.)

Было дело, Сева съездил не просто за пределы квартала, а в три настоящих королевства – Бельгийское, Нидерланды и Соединенное Королевство, Великобританию. Он всю жизнь собирался поехать в Англию, но так получилось, что он получил порцию с довесом. В группе было около сорока человек из России, Украины, Белоруссии, ехавших на автобусе, а потом присоединившиеся из Германии и другая часть группы, прилетевших в Лондон на самолете из США.

А объединила всех одна смелая идея – поехать в Лондон на день рождения известного радиоведущего русской службы Би-Би-Си Севы Новгородцева. Как он сам сказал: «Впервые за много лет получилась такая странная встреча – слушатели вдруг приезжают через пять стран на автобусе к источнику радиоволн». Когда в предыдущем году все отмечали его день рождения в Нижнем Новгороде, то сама поездка из Москвы на автобусе чрезвычайно понравилась всем. И кому-то в голову пришла мысль – а на следующий год что делать? Сева в Россию не приедет, тогда надо всем к нему ехать!

Алексей Татищев, главный организатор, говорил: «Перед поездкой в Лондон мы на сайте объявили свободную запись. Записалось более сотни человек, из

которых после оформления документов осталось шестьдесят шесть – совершенно спонтанно – по количеству Севиных лет».

Итак, выбрали ехать на автобусе. Связано это с тем, чтобы не только выбирать маршрут путешествия самостоятельно, но и независимо бродить по городу во время экскурсий.

Наверно, какое-то туристическое агентство охотно взялось бы за это, но никто и не подумал звонить в туристические агентства. Народ ринулся в путешествие абсолютно самостоятельно, на свой страх и риск. Могло получиться, а могло и сорваться. Но, как оказалось, все предварительные договоренности, а также те, что заключались прямо на месте, выполнялись идеально. Позвезло! При полном комфорте в современном автобусе («Монстр, – как потом сказал Сева, – какие еще никогда не подъезжали к Би-Би-Си»), полной свободе маршрута, стоимость на каждого участника была по меньшей мере в разы дешевле, чем могла бы быть по путевке турагентства, потому что в организационном плане поездка была непростой. Но всех держала и вела любовь к рок-музыке. Вот теперь и скажи, что Седов неправ. А он прав, говоря «искусство номер один – это музыка». Ну, Валя-то бубнила свое, ей казалось, что искусство номер один – это литература. Но ее же никто не поддерживал. А Севу Седова поддерживал Альба, и не только он, но и еще сорок незнакомых человек со всей страны. Вот как надо путешествовать!

Так побывал Сева Седов в Польше, Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Англии. Маршрут был у каждого на спине, потому что Алексей Татищев, координатор мероприятия, всем выдал футболки специально для этого евротура. Он оказался дальним родственником известного в прошлом веке французского кинорежиссера и комедиографа Жака Тати, его фильм «Время развлечений» получил приз на одном московском

кинофестивале. У Севы Седова была книга про Тати, странно, что его фильмы нигде и никогда не показывали. Так вот, Татищев по Интернету разыскал недорогое агентство, которое предоставляет автобусы для зарубежных круизов, и таковое оказалось в Риге. На поездку дали новый автобус «Сетра» выпуска две тыщи такого-то года, с двумя водителями, которые всегда были одеты в белые рубашки.

По каким-то причинам они не могли въехать в Россию, поэтому группа загрузилась в автобус только в Минске, до которого добирались на поезде.

Татищев четко и хищно разметил маршрут. На день люди останавливались в каком-нибудь большом городе, а на ночь ехали в недорогой отель маленького городка. Стоимость двухместного номера примерно тыща с чем-то на человека за ночь плюс завтрак утром.

Водитель не мог находиться за рулем более восьми часов в сутки. А два водителя – не более шестнадцати часов. В автобусе было специальное устройство, записывающее на диск время езды. Если при проверке окажется, что лимит был превышен, то водители штрафуются огромными штрафами, что-то вроде двух с половиной тыщ евро. Так что к отелю спешили, чтоб не ночевать на обочине.

В автобусе каждый делал то, что хочет, а выбор занятий был. Можно было слушать наушники от МРЗ-плеера, Сева при этом слушал местное радио и новости, как привык; можно было смотреть кино на двух мониторах, пить чай или кофе, заваривая их в одноразовые стаканчики из специального кипятильного бака, наверное, он называется «титан»; можно было отоспаться за все предшествующие недосыпы либо выпить водки с соседом, что Сева и сделал с удовольствием. Можно было фотографировать или снимать на видео проплывающие мимо ландшафты. Боже, какой это был комфорт. Севе даже не хотелось выходить из прохладного автобуса в эту знойную жару, от которой бодрости не прибавля-

лось. Итак, выехав в девять утра из Минска, около трех часов потратили на пересечение границы в Бресте, так что границу пересекли уже где-то около 17 часов, вечером проехали мимо Варшавы и уже ночью, даже глубокой ночью, во втором часу, подъехали к городу Свободжин, где поселились в отеле.

А утром, сразу после завтрака, не теряя времени, поехали дальше, на Берлин.

Берлин встретил жарой. Воздух казался густым, как повидло. Первое – Берлинская стена, разрисованная точь-в-точь как стена местного вагоноремонтного завода. Огромная стройплощадка в центре, на Александерплац, со множеством кранов.

Берлин заштамповали футбольной символикой прямо посреди реки Шпрее, и даже шар на телевышке был стилизован под футбольный мяч. Берлин как столица футбольного королевства, решил Сева. Когда солнце стало заходить, а жара спадать, захотелось даже гулять. Перед Бранденбургскими воротами стоял огромный футбольный мяч, это был музей футбола, где, в частности, среди других экспонатов, выставлялись перчатки немецкого вратаря О. Кана.

За Бранденбургскими воротами был установлен огромный экран, перед которым на огромном пространстве могли смотреть футбол болельщики. Гид сказал, что в тот день, когда играла Германия, на этот экран смотрели около миллиона человек.

А в этот вечер, это было 5 июля, в другом немецком городе играли Франция с Португалией, и народ собирался перед этим экраном и другим, установленным на олимпийском стадионе.

Гид советовал туристам посетить ресторанчик с собственной пивоварней, он так и называется пивоварня Георгброй, рядом с памятником Св. Георгию. В нем Севе довелось увидеть причудливый медный пивоварочный агрегат, полакомиться фирменным блюдом из свиной

ножки с картофелем, капустой и фасолью. Сева только задумался – а как он съест такую огромную порцию? – как над ухом услышал: «Бери две!» Оказалось, подъехала еще одна группа, и среди них племянник Влад, сын сестры Далины. Он выехал из Калининграда и догнал группу в Германии! Какое там «две»! Они вдвоем, два взрослых мужика, не смогли одолеть одно это блюдо. А к нему прилагался фужер пива и рюмка с двадцатью граммами ледяной водки, и все это за десять евро. Вот навсегда запомнился Севе этот обед! Они оба осоловели от еды. Осовели или осоловели?

Накушавшись «до глаз», родственнички пошли искать Рейхстаг. Оказалось, что он расположен напротив олимпийского стадиона, куда валил народ, чтобы на экране смотреть футбол.

Сева с племянником подошли к Рейхстагу и встали в очередь на посещение. Пускали-то бесплатно, но с капитальной проверкой вещей и багажа через рентген, как в аэропорту. У многих вещи были с собой, и служащие методично все перебирали.

Лифт поднял на крышу. И вот тут можно было убедиться, что снаружи Рейхстаг обыкновенный старинный памятник архитектуры, государственное здание, конечная цель Второй мировой войны, но только снаружи, а внутри – дизайнерский, технический и архитектурный хайтек, на создание которого тратили двадцать шесть тысяч евро за квадратный метр.

Особенно впечатлял купол Рейхстага, по внутренней поверхности которого можно спиралевидным пандусом подняться на вершину и убедиться в торжестве. У каждого посетителя могло быть свое торжество – духа ли, демократии ли, разума, победы, неважно, но модель диалектической спирали к этому подталкивала. Правда, Сева был далек от какого-либо торжества. Он, частица народа победившего, ступил на землю народа побежденного, но он чувствовал скорее скорбь, чем радость.

С купола можно было видеть футбол на экране стадиона, а можно было видеть панораму Берлина в дымке и мареве жары под последними лучами солнца.

Запомнился тротуар на набережной реки, который подсвечивали фонари прямо на земле, как светлые точки. Толку от них никакого, свету они давали мало, зато как уютно и комфортно! С этим ощущением уюта и комфорта он будет встречаться повсеместно.

Вечером по Унтер-ден-Линден толпы французов пеших и на машинах с флагами и гудками пели Марсельезу, празднуя победу Франции. И вот вновь ночь в идущем автобусе.

В королевстве Бельгия. Брюссель для Севы Седова изначально был интересен тем, что в нем жил лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин. В 1917 году родители вывезли его из России, и позже в брюссельском университете он создал школу, целое научное направление, которое и по сей день питает идеями целый ряд наук от физики до философии. Главные его научные достижения связаны с процессами зарождения порядка из хаоса, с направлением «стрелы времени» и с тем, как существующее переходит к возникающему, как будущее зависит от настоящего. Со своими сотрудниками он придумал «брюсселятор» – химическую реакцию, точно периодически впадающую то в состояние хаоса, то в упорядочивание, энтропия в системе то растет, то падает. Сева Седов видел из окна автобуса этот университет, облицованный плитками шоколадного цвета, но не успел сфотографировать. А мысли, которые пронесли в голове, так там и остались... Как же обидно было узнать, что даже памятник Пригожину есть, но к нему не поехали. Да лучше бы и не говорили. Зато другой памятник заставил его в улыбке расплыться.

Показывали королевский дворец и расположенный напротив него парк с оврагом. В нем, прямо на дне оврага, стоит бюст Петру I, а неподалеку в гроте

скульптурная фигура лежащей женщины. Этот памятный ансамбль воздвигли в ознаменование того исторического факта, что царь Петр во время своего посещения Брюсселя был приглашен на званый ужин к королю. Его долго ждали, но так и не дождались. Когда же на следующее утро слуги пошли искать пропавшего царя, оказалось, что он спит на дне оврага в объятиях местной красавицы. Бельгийцы бережно сохранили для потомков и сам данный факт и его атмосферу в бронзовых изваяниях. Интересно, что местная красавица лежит с книжкой. Это очень важная деталь, потому что она ставит в тупик. Это плюс Петру I, с необразованной он бы не стал разговаривать. Видимо, он тогда понял, что образованная красотка важнее разных там королей!

Показали и памятник писающему мальчику, который стоит на углу перекрестка, доступный обзору и возможности сфотографироваться на фоне него, и показали также памятник писающей девочке, который спрятан где-то в тупиковых кварталах, и даже за решеткой, поэтому не только сфотографироваться на фоне него невозможно, но даже заснять нормально памятник не получилось. В этом простом факте Седов увидел одновременно и проявление свободы и проявление связанной с ней сдерживающей морали. В эту коллекцию «писающих» легко «вписался» бы памятник писающей собаке в провинциальном «городе в лесах», который на самом деле – памятник столбу, на котором в прошлом веке был установлен первый электрический фонарь. Вот полная коллекция.

Яркий Брюссель оказался очень цивилизованным, олицетворением европейской классики, будто стоящий выше всех политических и культурных устремлений и течений. В этом смысле он близок к Санкт-Петербургу. Брюссель горд собственной независимостью. Видимо, такой и должна быть столица королевства. Именно брюссельские фото занимают больше всего времени на

разглядывание. На них оказалось столько подробностей, что приходится смотреть в увеличении. Ну, Сева так и думал, сначала заснять, а смотреть дома. Человеческий взгляд не может охватить все сразу...

После Брюсселя по пути автобусная орда ненадолго заехала в Брюгге – маленький городок с футбольной командой «Андерлехт», у которого московскому «Спартаку» однажды посчастливилось выиграть.

Наверное, все жители Брюгге занимаются рукоделием и изготовлением сувениров, потому что магазины полны самых причудливых фигурок и изделий, выполненных весьма виртуозно. Да и сам город Брюгге как игрушечка, в котором можно жить долго и спокойно. Сева Новгородцев потом сказал: «Народ в восторге от Европы, особенно им понравилась Бельгия, так и было».

Это памятники писающим. А как быть живым людям? О туалетах надо сказать особо, а именно, о них можно сказать, что они везде, и при этом добавить, что они не видны.

Евротур позволил эту тему испытать на себе на протяжении тысяч километров, сравнить туалеты и обнаружить общее, а главное: где они, где их искать?

Обычно туалеты обозначаются знаками или подписываются. Обозначения разные, но понятные, очень похоже, как в России. Однажды на лекции Сева на доске стал рисовать мелом схематическое изображение неподвижной опоры механизма, и кто-то из студентов сказал: «Это же женский туалет!» Ему пришлось согласиться, потому что так и было. А в Академгородке под Новосибирском есть бар «Деканат», там на стене периодическая таблица пищевых элементов, столы исписаны всякими каракулями, а на двери в туалет написаны две греческие буквы «пи».

Так что написать можно что угодно. В Польше пишут WC (watercloset). Заходишь в кафе и говоришь

официантке или бармену, указывая на дверь вдали: «Вы же там?»

В Польше и других странах может быть написано на двери слово «Toilet», или «Toilette» (тряпочка по-французски), кроме Англии. «Where is toilet?», этот вопрос поймут везде. В связи с этим вспоминается анекдот. Кажется, его в «Севообороте» рассказывали.

Американец приехал в Англию и спрашивает у англичанина: «Где туалет»? Англичанин отвечает: «Пройдете прямо, а потом направо, там увидите дверь с надписью «Джентльмен», несмотря на это, можете заходить».

В Англии обычно пишут «Gentlemen» (или «Gents») и «Lady». Впрочем, бывают и исключения, в лондонском пабе «Sherlock Holmes» на двери написано было именно «Toilet».

За посещение туалета не надо платить, если сидишь в кафе или на улице. Если же заходишь по пути с улицы, то признаком приличия будет оставить 50 центов в специальной тарелочке. Надо постараться увидеть ее и не делать вид, что не замечаешь ее. То же и в мотелях, которые у автострад. Кстати, именно в мотелях видны не две, а три двери в туалеты – еще одна дверь была со специальной символикой для инвалидов.

Амстердам – город во многом необычный, и в отношении туалетов тоже. Гид специально инструктировала всех по поводу туалетов. Для мужчин туалеты находятся прямо на тротуарах. Они похожи на кабинки для переодевания, какие стоят на пляжах, только поменьше. У них нет нижней стенки, так что видны ноги, а в верхней части стена в виде сеточки, так что человеку видно все, что происходит вокруг. Такие туалеты даже обозначены на картах Амстердама, которые на стендах повсюду установлены в городе.

Для женщин таких туалетов нет, поэтому им приходится заходить в кафе и там за посещение же платить по

меньшей мере 50 евроцентов, поэтому дамам в Амстердаме требуется брать денег больше, значительно больше. Угнетение!

Тема туалетов для путешественников, и не только для них, прозрачна, как прозрачен туалет на цокольном этаже в большом берлинском гараже, где он был расположен просто за тонированными стеклами, и всегда видно, занят он или свободен. Неужели всем это нравится?

В двенадцатом часу ночи 6 июля путешественники выехали из Брюгге, а к часу ночи были уже в Депанне (De Panne), французском курортном городке на берегу Северного моря. Татищев говорил, что он посылал имейлы в двадцать отелей Депанне, и три из них откликнулись на бронирование мест. Группа разбилась на два отеля, и там говорили, что впервые видят русских туристов, обычно, если останавливаются, то в Кале, городке, откуда отходят паромы в Англию. Тем не менее, когда ночью Сева сотоварищи пошли посмотреть на море и спросили у первой попавшейся велосипедистки, как пройти к морю, она спросила по-русски: «Вы русские? Ну дак вон туда к морю!»

Седов искупался в полной темноте, но, вглядываясь в черную морскую даль, чувствовал – для достижения цели завтра эту даль надо пересечь. О уже не думал, трудно это или нет. Его несла сила, которой не было названия. Он увидит Лондон, иначе зачем столько ждал, столько ночей не спал. И это все правильно.

Не было, не было времени даже побродить по Депанне. На следующее утро после завтрака вся орава стала загружаться в автобус. Настало утро 7 июля, день рождения Ринго Старра, все должны были приехать в Лондон!

В Кале происходила процедура пересечения границы. Необходимо было заполнить небольшую бумагу с

вопросами, среди которых был даже такой: «Где в Англии вы будете жить?» Алексей сказал, как писать: отель «Кестлтон» на Сассекс гарденс. По-английски, конечно.

С бумагой и паспортом решили подойти к стойке, за которой сотрудник пограничной службы ставил печать и заносил данные в комп. У всех спрашивали о чем-то. У Севы спросил: «В первый раз в Англию»? «First», – ответил Сева Седов.

Во всем этом был какой-то торжественный настрой. В груди подрагивало, постукивало. Момент, ради которого проделан огромный путь, вот он уже тут, рядом, недалеко. В 15 часов на автобусе въехали на паром и разбежались по палубам, благо что было где разбежаться. Там можно было сменить евро на фунты. Они покупались еще в Москве, но пока были не нужны, на обратной дороге не истраченные уже меняли на евро.

Интересно не столько внутреннее содержание этого парома, «ferry», как его называют, с его ресторанами, кафе, магазинами, игровыми комнатами и многим другим, хотя и там было интересно, Севу больше волновало море, отплытие, прощание с континентом, ведь впервые он отрывался от него. В проливе был туман и очень оживленное движение судов. Он стоял на палубе, и, хоть был и сильный ветер, смотрел по сторонам, на уходящий след и вперед, где мог появиться Альбион. Наконец, фотоаппарат запечатлел его белые известняковые берега, увидев которые, великий Юлий Цезарь в свое время назвал остров Альбионом – белым. На фото как раз получился типичный туманный Альбион. Начиналось это заморское Соединенное Королевство.

В Соединенном Королевстве

Автобус ехал по левой стороне дороги. Впереди в окне дорожный щит, на котором было написано – Лондон, 53 км. Там были и другие названия городков, они мелькали, не запоминаясь... Седов поймал себя на мысли,

очень поразившей его – было ощущение, что он приехал домой, что он возвратился домой, где жил в своей молодости! Он каждый день читал новую свежую газету Morning Star, как слушал каждый день BBC World Service, и вот теперь наяву перед глазами то, что где-то в памяти засело и лежало, как некий сундук, и вот он открывается, и не как старый сундук, а как реальный мир, настоящее королевство. Это ощущение не покидало несколько часов, пока новые реальные образы Лондона не вытеснили старые. Да, это было интересное чувство.

Проплывающие мимо окна ландшафты были ровны, ухожены, кое-где на склонах холмов бродили овцы, что напомнило стихотворение, написанное Севой, вот отрывок из него:

Овца – ты газонокосилка,
Вернее, газоножевалка,
Зеленого бархата гладких холмов
Невольная ты создавалка.

В каком-то из Рок-посеков он прочитал его. К отелю Kestletone Hotel на Oxford Gardens они добрались уже в восьмом часу вечера. За стойкой портье сидел араб. В следующие дни сидели другие портье, но тоже арабы. Панцирев говорил, что почти все владельцы отелей в Лондоне – арабы.

Седов с Владом разместились в номере № 201 на третьем этаже, но по английским нормам это был второй этаж, second floor. Когда он приходил брать ключ, то говорил арабу: «Two, zero, one», можно было и иначе сказать.

В номере был телевизор, окна с поднимающимися рамами, туалетная комната цельнопластмассовая с душем, очень компактная.

Сразу возникла проблема. Взятый в дорогу кипяильник для кофе не подходил к розеткам. Сева

несколько минут соображал, как расплющить или обтесать вилку до плоского состояния, пробовал даже о каменную стену, но тщетно. Пришлось покупать в магазине переходник за три с половиной евро. Не до следующей ли поездки?

Часов в девять вечера Татищев собрал у крыльца народ и сказал, что поведет на Oxford street, Picadilli, Trafalgar Square и другие места, по пути и в пабы. По пабам.

«Я ему не поверил, – писал потом Сева, – мне казалось, что невозможно в этом огромном городе вот так за три часа обойти пешком все. Но оказалось, что мы были в общем-то недалеко от всех этих достопримечательностей».

С Алексеем пошла большая толпа, человек 30, все те, кто был в Лондоне впервые. Скоро оказались на Oxford street, а потом и на Picadilli, в Soho, и на Trafalgar Square. Татищев непрерывно что-то рассказывал, но народ больше глазел, тем более что идти с ним все время рядом было невозможно. Вихри толпы быстро разносили путников из России по сторонам. И как только все не потерялись в тот момент – обалдевшие, смеющиеся.

Вечерняя прогулка по Лондону оставляла впечатление праздника. Севе казалось, что это его внутреннее состояние, но, как казалось, все люди на улице ощущали то же самое. И те, что в группе, и просто прохожие.

Неожиданно оказались у витрины музыкального магазина – Татищев знал, куда вести. На витрине стояли саксофоны, старые, тусклые, бэушные. Именно таким должен быть настоящий инструмент, старинный, со своей историей. Татищев показал на один и сказал: «Вот такой нужен Севе». Он потом говорил: «Однажды, проходя мимо витрины музыкального магазина, Сева показал Ольге на витрину с саксофонами и сказал: «Вот – лучше этого ничего нет». Так и купили Севе Новгород-

цеву саксофон Селмер 1954 года, с которого потом делали современные саксофоны».

Во время прогулки, уже ночью, Татищев порой отвечал на звонок с вопросом: «Где вы?» Если потерявшийся был, например, из Сибири, значит, сигнал шел туда, потом обратно, при этом заблудившийся был где-то в сотне метров.

Прогулялись и до Биг-Бена и прошли по набережной Темзы, посмотрели на ночной London Eye, гигантское колесо обозрения.

Конечно же, зашли в паб. Он назывался «Sherlock Holmes». Влад купил Севе какое-то пиво и разговорился с барменшей, молодой девушкой. Сева думал – о чем он так с ней бойко разговаривает по-английски, и при этом они улыбаются? Оказалось, что она из Латвии и говорили они по-русски.

По сути это не паб, а музей великого сыщика, на стенах экспозиция, связанная с ним – лупы, часы, скрипка, трубка, какие-то документы, и много-много всего другого, райское место для фанов.

В пабе было шумно, накурено, играла музыка. Музыка хорошая – современный британский рок. На обратной дороге зашли в парк, Седов сфотографировал светильник, который освещал снизу куст. Толку от него никакого, зато свет создавал уют и комфорт.

На следующий день была экскурсия по Лондону на автобусе. Иногда останавливались и выходили, чтобы поближе посмотреть какой-нибудь памятник. Остановились около Альберт-холла. Сева сразу увидел афишу с Рэем Дэвисом. Он его хорошо помнил. Когда-то у его был список любимых групп, и группа «The Kinks» была третьем месте после «Beatles» и «Rolling Stone». Рэй Дэвис с братом Дейвом создали «The Kinks» еще в начале 60-х годов, и Сева порадовался, что такой музыкант еще выступает, да еще в Альберт-холле. Приятно, что Лондон еще сохранил имена той поры, когда Сева так сильно хотел побывать в Лондоне!

Владу потребовался туалет. С каких-то задних дверей он нашел его в этом театре. Весь автобус ждал его, потому что Влад не мог так быстро из него выйти, что-то там его привлекло. Теперь, в отличие от всех, он мог сказать: «Я был в Альберт-холле!»

Затем группу повезли к Буш Хаусу, на Би-Би-Си, на Севοоборот. Это было 8 июля, суббота, в 20 часов по местному времени должна быть эта передача.

Би-Би-Си – это радиостанция, которую Седов слушал всю жизнь. В середине шестидесятых он делал уроки под передачи этой станции. Читает учебник, а сам слушает про семью Левиных, была такая передача. Помнит ли ее сейчас кто-нибудь? По Би-Би-Си в то время если не каждый день, то через день говорили про «Beatles», передавали новые песни. Обязательно вечером по пятницам слушал «Программы рок-музыки из Лондона», начиная с Тони Кэша, Барри Холланда, Сэма Джонса, Севы Новгородцева. Но об этом подробно написано в книге «Сева, НОРИС, рок-н-ролл»... Внезапно Севе подумалось: «А можно ли Севу Новгородцева назвать королем? Наверное, да, он король радиожурналистики. Это звание ему можно было бы даже дать за одни только рок-посевы, не говоря о Севοобороте и других проектах. Слушаешь Севу всегда затаив дыхание».

Что ж, они приехали к королю. Тем более что Би-Би-Си – сама королевство в королевстве.

В Буш Хаус запустили только тридцать два человека. В студию больше нельзя по противопожарным требованиям. При входе секьюрити в белых рубашках каждому входящему прилепили на грудь золотую наклейку – «гость Би-Би-Си». Ах, как потом смотрели все остальные на обладателей наклейки. Вечный сувенир.

Сева начал было фотографировать, но тут же подошел охранник и велел спрятать фотоаппарат. Он успел заснять только прозрачный экран, на котором транслировалась передача Би-Би-Си. Оказалось, что изображе-

ние на него передает спрятанный в клумбе с цветами проектор. Всех повели через внутренний дворик Би-Би-Си в подвальное помещение, где их встретила приветливая женщина, которая сразу стала разливать вино из бутылок в стаканчики. Бутылок была целая батарея. Это никого не удивило, все знали, что Севоборот всегда в прямом эфире появляется с вином.

Зашли в студию, в ней стоял шестиугольный стол, о котором все слышали, но никто не видел, кроме Татищева и Панцирева. На нем была сигнальная лампа и микрофоны. Сева не запоминал специально эти детали, но они сами влетали в голову и там оставались.

Татищев стал рассаживать всех, организовывая порядок на первом ряду стульев для тех, кто должен был говорить во время передачи. До начала оставалось минут двадцать. Подошла работница и сказала, что для профилактики желающие могут сходить в туалет, потому что во время передачи, понятно, нельзя. Несколько человек пошли. Сева оставил свое вино на полу напротив стула. Вернувшись, не обнаружил ни вина, ни стакана, а самое обидное – место было занято! Он пошел в угол студии, но там мест не было. Казалось, что вот сейчас секьюрити отправят за стекло в аппаратную всех лишних, лишние ушли, но тут Виталий Бусарев подвинулся и усадил Севу. Тот расположился на двух стульях, благо никто этого не заметил.

За столом сидели Сева, Леонид Владимирович, Алексей Леонидов, Татьяна Берг, Алексей Татищев, Сергей Панцирев. Постоянные ведущие и гости. Они прослушали новости, как это всегда бывает перед Севоборотом, потом позывные, и передача началась. Передачу всегда можно услышать по real audio, скачав с сайта www.seva.ru.

В конце передачи Седов поднял руку, и Сева дал ему слово. На последних секундах успел сказать. А вскоре после передачи пришла из дома СМС: «Молодец, успел

сказать, слышали». И это было какое-то ликование невозможное, полное ощущение свободы и полета над всем миром. А ведь это просто причастность, просто единство со всеми товарищами, которые замирали у приемников, как он. И все!

Пробрался через толпу Леонид Владимирович, с которым переписывались, а встретились впервые. Он сказал, что письма Седова выделяются среди других, и дал визитку с электронным адресом для продолжения переписки. Он сказал, что завтра не сможет быть на дне рождения, потому что к нему приехал внук, и он будет общаться с ним.

Жаль, в этой суматохе и тесноте пообщаться подольше не было возможности!

После Севоеборота странники около часа шли пешком до отеля. Потом встреча с Владом, которого не было на Би-Би-Си, сидели в пабе с Guinness'ом, который уже успел полюбиться Севе и Владу. Этот напиток густой и темный, бармен мастерски наливает его, регулируя толщину струи, а в конце он тонкой струйкой рисует на пене розочку. Первый глоток полон пены, она густая, клейкая, ее можно жевать. Ровно в двенадцать ночи бармен ударяет в колокол, и все бармены исчезают, больше не у кого попросить Guinness. Паб не закрывается, но пива больше не продают! Вот так все молча и значительно.

Темза

По Темзе надо было проплыть до Гринвича, совершить по нему прогулку, а потом – к Севе Новгородцеву, который недалеко там живет, к нему на лужайку, где он поставил палатку для гостей.

На речном вокзальчике недалеко от Биг-Бена автобус всех высадил, купили общий билет на всех. На билете, как оказалось, было написано, что путников всего

шестьдесят шесть! Столько же, сколько Севе Новгородцеву лет!

Здесь же на пристани к ним присоединился гид, говорун и шутник. Группа погрузилась на двухпалубный кораблик, поплывший вдоль реки. Плыть надо было недалеко, наверное, километров семь. Набережных почти нет. Все берега застроены зданиями, которые стоят стеной прямо в воде. Интересна архитектура этих зданий, отразившая все эпохи последних столетий, включая и последние годы.

Проплыли вблизи London Eye. Оказалось, что на колесе около тридцати пяти гондол, в каждую из них помещается человек пятнадцать. Билет стоит тринадцать фунтов. Если прикинуть, за сколько времени колесо даст один оборот, то можно прикинуть выручку, которую получает мэрия, если это ее собственность.

Гид рассказал анекдот про Темзу. В кабинет к джентльмену врывается слуга с криком: «Наводнение на Темзе! Спасайтесь!» Джентльмен говорит: «Выйди и доложи, как положено». Слуга вышел, потом заходит и говорит: «Сэр! Темза вышла из берегов, наводнение! Надо спасаться!». Джентльмен говорит: «Выйди и доложи, как положено». Слуга выходит, потом стучит в дверь, заходит и говорит: «Темза, сэр».

Скажите, это анекдот про чопорность англичан, про их невозмутимый характер. Но на Темзе думалось, что соль совсем в другом! От Лондона до моря всего двадцать километров. Уровень моря всегда постоянен, даже с приливами меняется не сильно, поэтому наводнений на Темзе в принципе быть не может. А потому и анекдот этот абстрактный, абсурдный, невозможный, и смеются над ним только англичане, которые знают суть. Сева задал гиду вопрос: «Бывают наводнения на Темзе?» Он сказал: «Хороший вопрос». Сева был уже готов услышать, что нет, конечно, не бывает. Но он сказал, вот в таком-то году Трафальгарскую площадь затопило так,

что люди ходили по груди в воде. Очень редко, но бывает, что прилив (может быть, в сочетании с парадом планет) случается очень большой и вместе с ливневыми дождями действительно может затопить Лондон. То есть смеяться над анекдотом – смеяться правильно.

Путешествие по реке напомнило Севе Седову и Дж. К. Джерома с его повестью «Трое в лодке», только та троица плыла вверх по течению до Оксфорда, а данная компания – вниз. Один из персонажей повести, Гаррис, называл реку «старушкой Темзой». Действительно, она видела римских легионеров, теперь Севу Седова!

День рождения Севы Новгородцева. Королевство Битлз

От Лондона до Ливерпуля ехали часов пять. Это ж портовый город, поэтому ждали, что будет окраина города, как и оказалось, она состояла из длинной череды мрачных кирпичных двух- и трехэтажных домов, будто весь город такой.

Вспомнился Севе профессор Майкл Николсон, который избрал город в лесах для неофициального визита, когда там проходила международная конференция на тему провинциальности. Он прочитал доклад «Провинциальность как явление английской литературы». Он говорил о провинции, но той, которую знал или представлял себе по европейским меркам. Даже будучи уроженцем Ливерпуля, он не смог привести явных провинциальных примеров, поэтому ему пришлось выбрать образцы молодежной культуры в качестве такого провинциального явления. Он начал доклад с рассказа о провинциальном парне Джоне Ленноне, выпустившем книгу со своими новоязными текстами и уродливыми рисунками еще в далеком 1965 году.

Николсон считал, что из всего репертуара «Биттлз» только песня «Пенни Лейн» может быть отнесена явно к провинциальной тематике. Сами же тексты Леннона

были литературным авангардом, доселе неизвестным поэтическому истеблишменту Лондона. Николсон прочитал отрывок из стихотворения ливерпульского поэта Эйдриана Хенри (Adrian Henri): «Ливерпуль, я люблю твои тонны грязи (твоих сынов труды) с мозолистыми руками». («Liverpool I love your horny-handed tons of soil».) Особенность стихотворения проявилась в специальной выразительности чтения вслух по-английски, которую Николсон продемонстрировал под аплодисменты присутствующих. Заключительный тезис выступления Майкла Николсона был сформулирован примерно так: «Любой человек может проявить свои чувства и мысли искренне, и в той форме, которая ему по душе, например, в стихах, и это будет явлением культуры. Провинциальность здесь уже ни при чем».

Майкл Николсон рассказывал Севе, что в начале 60-х годов он играл в группе, которая выступала в клубе Ливерпуля в двух шагах от «The Cavern», где в то же самое время выступали «Beatles». Позже Николсон предпочел учебу в университете карьере рок-музыканта.

Развивая точку зрения Николсона, можно, наверное, сказать, что вообще все творчество «Beatles» провинциально. Ведь есть еще и Strawberry Fields, невзрачные ворота, засыпанные листьями, и многое другое. Наверное, можно было так говорить, если б этот термин существовал не только в России. Но у нас гипертрофированные взгляды, сейчас считают провинциальным все, что не гламурно. «Beatles» никогда не были гламурными. Даже обложка «Sgt. Pepper's» в то время не казалась таковой. Glam-рок возник позже, вместе с панками.

Так вот, группа въехали в Ливерпуль. Её встретила гид, Женя Ененко, девушка лет 25, родом из Челябинска. Увидев в тринадцать лет фильм «Beatles» «Hard Days Night», она стала битломанкой, а потом, после разных длительных приключений попала в Ливерпуль, познакомилась с Полом Маккартни и стала работать

гидом в музей «Beatles». Познакомилась она с ним, кстати, на концерте, где он читал свои стихи. «Он что, выходит и читает свое стихотворение, например, «Пенни Лейн»? – «Да, – сказала она, – читает, и очень выразительно». – «А как он относится к мифу о том, что он не Маккартни?» – «С юмором», – ответила Женя. – «А что это за реклама pop-festival везде в Ливерпуле»? Она сказала, что каждое лето до конца августа в Ливерпуле проходят рок-концерты, на которых выступают лучшие британские группы, в прошлом году, например, выступали даже «The Who».

В Ливерпуле сначала они поехали по священным для битломанов местам: улица Penny Lane, по которой Маккартни ездил на автобусе в школу, Strawberry Fields, решетчатые ворота детского приюта, у которых, несмотря на то, что до осени еще далеко, валялись сухие желтые листья. Сева вспомнил, как Коля Васин, главный советский битломан, описывал свое посещение этого места: «Мы поехали к Стробиерри Филд. Эта музыка, эти ворота, удивительные ворота. Вот я сижу около них. Есть кадр, где я вхожу, ворота были открыты. И я упал в эти сухие листья. И набил ими карманы себе. Потом мы поехали на Пенни Лейн».

Так вот в Каверне, где расплывчато светили громадные красные абажуры, мальчик пел песню «Битлз», и ему подпевала толпа. На пленке, снятой скачущей камерой, был этот мальчик с гитарой, кто-то даже прыгал, танцевал, а некоторые вообще глаза закрыли, улыбаясь. И это было безотчетное, необъяснимое счастье. Мекка рок-музыки, люди смеялись, были собой. Визит был скорым, но, несмотря на спешку, все успели погрузиться в атмосферу. И увозили ее с собой.

ПТИЦА И МРАЧНЫЙ ШУХЕР

Фелисата пила чай «со слоником». Он всегда стоял в старом шкафчике, у которого просели полки. К чаю полагалось молоко – отдельный пакет, сухарики, рафинад с серебряными щипчиками. Если кто-то трогал этот пакет, то Фелисата потом отказывалась от молока в пользу детей, и все прижимали уши. Лучше обойтись во избежание. Но в то утро Валентина пыталась что-то быстро сварить, на ходу что-то вымыть, отскоблить, чтобы не досаждать и чтобы не возникало лишних разговоров... А Фелисата уже плыла в кухню! Пора было смываться. Наскоро распахав недоделки, Валента сбежала с кухни, чтобы не мешать. Увидела на подоконнике кусок хлеба с маргарином, бросила его в рот, чтоб не пропадало, и к себе. Пусть мясо-кости сами доварятся.

Маман пила чай в полном покое. Потом позвала Севу к себе и долго рассуждала, что хозяйка не много ли ест, она стала такая полная. Как ни зайди – все жует! Сева сделал внимательное лицо. Вряд ли он собирался все пересказывать жене, но жена сама слышала. Пока он шел от комнаты маман до своей комнаты, дети, на ходу одеваясь, выскочили из дверей, бегом в садик, благо он во дворе, а у Валенты в голове уже пошли взрывы. Это что же, даже подбирая чужие куски, она все равно гнев на себя навлекает? Больше всех ест! И страшная она, и грубая, не дворянка, и обжора еще, ко всему вдобавок. Не успел Сева войти, закрыв дверь за детьми, как она пошла с места в карьер. Очередь застрочила прицельно.

– Ну что, провели планерочку? Выяснили, кто главный вредитель в доме? Мы, значит, плохо мышей травили. Надо еще кой на кого мышеловку поставить, побольше!

Сева пожал плечами.

– Претензия не сформулирована. В чем претензия?

– В том, что вы с маман шушукаетесь и меня обсуждаете!

– Мы просто поговорили. И забыли.

– Ах, забыли. А сколько девушек было у Северина Алексеевича до меня, и какие красивые, и с сигаретками, и английским – это вы не забыли. А зачем мне это знать вообще?

– Ты все придумала.

– У меня, может, срок уже два месяца! И это я не придумала. Я могу показать карту учета в женской консультации. Она у меня на руках сейчас.

– Надо же. Как хорошо тебя вылечили. Может, пора уже остановиться? – Сева был лучезарно спокоен.

– Хотелось бы. Но в направлении отказано! Не для того, дескать, лечили!

И она, в чем была, а была, видимо, в коричневом домашнем платье цветочками, только накинув гуманитарный финский плащ, хлопнула входной дверью. Что же это такое? То, значит, рожай, иначе без наследников не нужна. То, значит, остановись, слишком много уже... Нет, им не угодишь! Валента неслась невесть куда, навстречу ветру. И прошла-то, может, квартала три-четыре, но, явившись к знакомой своей, Снежане, с мокрой от дождя головой, с блуждающими заплаканными глазами, она произвела сильный драматический эффект. Нервно пия чай на чужой кухне, Валента только часа через два выпалила, что ушла из дома. Снежана, яркая провинциалка с неожиданно роковым лицом, наминавшим актрису немого кино, так и выпучила глаза. Ее муж очень пил и, бывало, бил, и то она никогда не ушла бы... А тут такое. Ну, правда, однажды, когда брал Снежку без согласия и на полу, она откусила ему нос, но это был лишь эпизод, потом помирились.

Вечером пришел пьяный муж, кстати, художник. Он усадил Снежанку, полутолую, на фоне тигрового покрыв-

вала, а на Валенту вообще внимания не обратил. Дочка между тем тоже не удивилась на голую мать, видно, это было привычным зрелищем. Жена послушно обнажила грудь, лицо ее стало невыносимо грустным. А Валентина сидела на кухне, как дура, забыв снять плащ... В душе ее рокотал бунт. Она попала в такую семью, где люди понимали друг друга без слов. А она практически не понимала русских слов, так что ей придется смириться. Но, когда тебе постоянно указывают на твой второй сорт, смириться тяжело.

На улице стемнело, пора было делать ужин для семьи, но раз она ушла из дома, придется маман его делать. Или брошенному мужу Севе!

Тем временем муж-художник окончил свои труды, сказав: «Баста»! Снежанка на его набросках выглядела более худой и пепельной, в жизни-то она была более плотной, но привлекательней. Они стали ужинать, то есть вперемежку употреблять портвейн и творожную запеканку с изюмом прямо с противня, ложками, и длительный перманентный чай.

– Где хлеб? – гаркнул усталый художник, и Снежка метнулась в магазин. Когда чай кончился, она стала чистить картошку, Валя ей помогала.

– Ты спать тоже в плаще будешь? – сочувственно спросила подругу художникова жена.

Валента молча сняла плащ, одернула коричневое в цветочек платье. Так делают все беременные и этим себя выдают.

– Что смотришь? – усмехнулся художник в сторону Вали. – Я отведу тебя в мастерскую друга моего, Кыцко-го. Там ты поймешь, что такое женщина в жизни художника.

Ночь оказалась для Вали кошмаром. Как будто она обнажила грудь, чтобы ее писал этот художник, а вся семья пришла и стала с презрением смотреть, и по всему виноватой она выходила.

Пошла в телефон-автомат позвонить.

– Дела хорошо, – сказал Сева, – благодаря тебе я не пошел на работу, а маман варит кашку детям. Ты долго будешь гастролировать?

– Долго, – ответила Валя. – Пока не пойду в очередной декрет.

– Ерунда, – сказал Сева. – Ты даже требования не выдвинула.

– Не могу жить со свекровью. Надо менять квартиру.

– Это в один день не делается. Надо обсудить спокойно. Ко мне есть вопросы? Из-за чего вообще истерика?

– А у меня нет истерик. И к тебе нет вопросов. Ты очень хороший. Но твоя маман...

И она, положив трубку, ушла рыдать в дождь.

В семье у Снежанки как-то странно спали ночь – то все затихало, хотя свет горел по всей квартире, то опять начиналось хождение, бряканье чашек, кто-то хохотал на кухне. Телефон звонил так, будто был белый день. Особо болезненно пела по радио Орбакайте – «Ты меня не понял, помнишь, на перроне...»

Такую истеричную возлюбленную и понимать неохота. Истеричную, да. А она сама? Вот именно. Сева и так меж двух огней, между маман и женой, а она, жена так называемая, еще подливает масла в огонь. Разменяй квартиру! А как он там ее разменяет?!

Валента представила, как приходит домой через несколько лет, и дети ее не узнают. Ей стало жутко.

Маленькая дочь Снежаны в фартучке и ободке в виде лисьих ушек подошла к ней и спросила протяжно:

– А что, у тебя правда дома нету?

– Есть. Но я поссорилась. Приходится временно жить у подруги.

– А папа сказал, что ты Ваньку валяешь. Ты как его валяешь?

– Ну, нет, не валяю. Я буду капусту резать и суп варить.

– А-а, – недоверчивая девочка в фартуке смертельно устыдила Валенту. Просто стало жарко до рези в глазах. На улице хлестал ливень. Капуста хрустела в мокрых руках. Сердце болело так, будто это его резала тупым ножом и жамкала Валентина.

Она молча сварила суп. Была суббота, завтра воскресенье, а в понедельник на работу, да-а... придется идти домой за одеждой... Как войти? Здраваться или нет? Ну причем тут здраваться!

Ночь опять прошла беспокойно. Валенту уложили на диванчике в прихожей и мимо нее шастали в туалет. Дочка художникова спала прямо перед телевизором при включенной потолочной люстре. Видно, это вошло у нее в привычку. Закалилась, что ли?

Наутро художник и его семья поели горячего супа, одобрительно кивая своим мисочкам. Борщ был сытный, с помидорной зажаркой, густой, даром что без мяса. Снежка стала стирать, бормоча – стирать в дождь, так явный признак, что мужик гуляет... А фиг с ним, он и так и так гуляет... Валентина Петровна, нахохлившись, нехотя пошла смотреть на картины в мастерской художника. Не до картин ей было.

Картины художника Гены были мощные и озорные, правда, свинцово-темные. Была в них подземная сила. А картины приятеля его и соседа сразу пригвоздили ее к месту. Вроде все реально, а по цвету – абсолютная фантастика. Никогда и нигде не видела Валентина такого остро колющего синего цвета. Он лицо обдавал морозом. Проникал прямо внутрь, как вино. Хотелось дышать полной грудью. Розовели щеки.

– Гена, а его не посадят? Больно смелый. Вон та, с наушниками.

– Да, женщина. А мужчина в наушниках явно не Кобзона слушает, а то, что нельзя. А вон кладбище

самолетов. У нас ведь что? Первым делом самолеты, причем те, которые все выше, все выше, все выше... А тут такие обломки. Запад явный. Тут я не согласен. Картина не должна зависеть от политики. Посадят, может. Но зато вещь.

Валентина нервно оглядывалась.

– Не бойся, не войдет, он уехал временно, я слежу за мастерской, цветы поливаю, кота кормлю.

– Цветы вижу, а где же кот?

– Кот не любит баб. Тем более чужих.

– Если не брать политику, то какой принцип у тебя?

– Родная земля.

– И все?

– И все.

– А как же Снежана на фоне тигрового покрывала?

Гена засмеялся. И смеялся-то вкусно, раскатисто. Валента таращилась на нарисованную Аэлилу, которая ютилась со своими очами на лоскутном одеяльце. Обнаженная, с ума сойти. Такого точно не разрешали выставлять. Такое надо прятать дома, в углу. Так что хотел сказать Гена о женщине? Что она нужна как натура? Или что? А сердце сжимало все сильнее, сильнее. Они пошли домой через дождь. Тротуары чернели ярко, темная зелень купалась и шумела в плещущих каплях. Старые особнячки плыли вдоль набережной. Было хорошо и больно видеть красоту во всем буднем. «Тихо повернулась красная корма... Побежали мимо пестрые дома... Вот они далеко весело плывут. Только нас с тобой, верно, не возьмут».

Нет! Она не должна возвращаться. Ее унижает другое сословие. Она же должна бороться как-то. Должна, наконец, зажить своей, а не продиктованной кем-то жизнью. Пусть Сева и думает, раз он хозяин положения. А если не хозяин? И ее вопли для него муть незначащая? «Ты меня не понял, Помнишь на перроне, Ты стоял в

агонии, а я в вагоне... Я вернулась, только Ты уже с другою, Как же это больно – ты меня не понял! В небе парила перелетная птица, Я уходила, чтобы возвратиться!» Мелодия из уст Орбакайте очень пристала к Вале, в голове она крутилось без остановки, и в уличном радио она была, и в домашнем. Птица хотела лететь, она стучалась об окна и потолок, но никак не могла вылететь. Мысль о свободе манила, сводила с ума, но как же те, кого она бросила? Надо потерпеть первое время... А может, все-таки, черт с ней, со свободой? А то больно. И темно.

– Я пойду позвоню, – махнула она рукой.

– Дома же есть телефон, – удивился Гена.

– Да я не хочу свои разборки обнародовать, при всех обсуждать... Сейчас приду.

Телефон долго не отвечал. Пришлось набирать несколько раз. Монетки кончились, осталась последняя.

– Алло, – сказал Сева. – Ты еще на гастролях? Я не мог подойти, был у маман.

– Она что, лежит?

– Да, у нее давление.

– А дети?

– Дети живы. Леля сама платье погладила. Леня подрался опять. Но, возможно, они после выходных не пойдут в садик.

– С чего это?

– У них понос.

– Как? От чего? Долго?

– Я не знаю, от чего. Но уже с утра... Возможно, есть таблетки, но какие?

– Левомицетин... Фталазол... Но, главное, не кормить пока... воды, воды давай! Чего маман сказала?

– Да ничего, говорит, дети заболели, я выйду виноват... лежит она. Может, вызвать скорую? В смысле детям?

– Ничего там не делай, понял?

Как же она неслась, она бежала так, что со стороны казалось, будто бежала от смерти. Рот ее был растянут, глаза выпучены. Она бежала в расстегнутом плаще, который хлопал мокрыми полами ей по ногам. Она бежала, тяжело дыша, охваченная паническим страхом, и в этом была вся ее свобода. Ой, она, птица, недолго же она полетала!

Пока она топала что было силы по лестнице, ее, наверно, весь подъезд слышал. И возможно, ее квартира тоже. Так что ей не пришлось особо тормозить перед дверью, только толкнуть кулаком. Вбежав, она хищно поискала глазами детей, нашла их в разных углах и сильным рывком соединила их в одно целое. Потом, погладив по головам, примчалась на кухню, размешала в воде пакетик с названием «регидрон». Налила эту дрянь в стаканы для коктейля, вставила соломинки и дала один Лене, второй Леле: «Пейте! Лекарство!»

– Надо сварить отвар из ольховых шишек, – озабоченно сказала она. – Где у нас ольховые шишки были?

– Наверху, – сказал Сева, сдерживая смех. – На шкафчике. А ты плащ-то, может, снимешь?

И включил радио, откуда Кристина Орбакайте радостно закричала: «В небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы воз-вра-тить-ся!»

«МОКРЫЕ» ДЕНЬГИ

Наступили жуткие времена. Каждое утро выходного дня Валентина отправлялась за покупками, усадив детей в санки. И хотя Леля уже и могла прекрасно ходить ножками, она плохо переносила неравенство. Переживала, когда Ленька, развалясь, один сидел на санках вперед лицом или даже спиной, а ноги в валенках в это время ехали по снегу. Леля запомнила, как на юге, где было очень жарко и далеко ходить до автобуса, она никогда не устраивала истерик и не просилась на ручки, а Леня просился. Ей казалось, что мама пользуется ее терпением ей же, Леле, на вред. Очереди в магазинах были длинные, детям было скучно стоять, они дрались и убегали друг от друга на четвереньках, ныряя между ног обозленных покупателей. Леля была серьезная девочка, ответственная, уж если ее поставили в очередь, то маме выдадут на два пакета молока больше. А Лене было наплевать, сколько, чего и как, он искал любую возможность, только чтобы поиграть и развлечься. Он даже во время стояния в очереди придумал игру: уронит кто-нибудь ключи, платок, кошелек, как мальчик тут же подбежит, постучает по ноге человека и позовет: «Упало!». Человек склонится к малышу, чтобы помочь ему в беде, а малыш протягивает смятые деньги или оброненную перчатку. И все вокруг сразу заговорят, зашумят, по голове погладят. Леня был с детства маленький шоумен, он очень быстро понял, что его не только по голове могут погладить, а могут дать конфетку или даже денежку, как сделал один старичок, – сжав в кулаке пятидесятку, он дал мальчику целый рубль. Оглянувшись на маму – отберет? Но она не отобрала, а присела перед ним на корточки и прошептала: «Ишь ты какой!»

Бедная мать отмахивала километры, но приносила еду не всегда. Очереди обладают магическим свойством растворять еду еще до ее покупки. Магазины сверкали

нестерпимо чистыми бесконечно пустыми прилавками. Продавцы часто даже не морочились выкладывать продукты в витрины. Их привозили и расхватывали прямо в торговом зале...

Валентина, конечно, замечала, что у Лени и Лели началось соперничество, что придется держать ухо востро и покупать одинаковые варежки, одинаковые машинки, одинаковое мороженое. Как только что-то было разное, начинался скандал. Однажды вот так она купила им один калейдоскоп на какой-то уличной ярмарке. Покупать два ей казалось как-то глупо. Посмотрит одна, потом другой, потом поменяются – ну это же нормально! Но когда Леля начала крутить перед глазами калейдоскоп, Леня сразу же стал ее хлопать по спине, при этом оглушительно кричал: «И мне, и мне трубу в коробочке!» Леля тут же протянула ему калейдоскоп, ну, может быть, минут пять она и помедлила, но Лене хватило этого, чтобы рассердиться. Он схватил трубу из коробочки и со всей силы треснул Лелю по лбу. Трубочка согнулась, и как ее Валя ни пыталась выпрямить, все равно рассматривать стеклышки уже не получалось. Ревели оба. Схватив их за руки, Валя понеслась к опасному киоску и купила два одинаковых калейдоскопа. Денег лишних не было, и вечером ей пришлось оправдываться перед мужем за эту акцию. Но дело, конечно, в другом. Когда Леня пришел с отцом из садика буквально мокрый по пояс, Валентина ахнула, стала его раздевать, натянула сухие колготки, рубашку, а потом свой свитер и стала шебуршить его в этом свитере. «А меня ты еще не обнимала сегодня», – вышла в прихожую и наклонила голову набок необидчивая Леля. Мать кинулась обнимать и ее, но, столкнувшись друг с другом в одних объятиях, дети начинали пинаться. Это у всех так, просто разные формы. Крайне тяжелая или легкая. Однажды, побежав на оглушительный крик, несущийся из кухни, Валентина чуть дар речи не потеряла. Поскальзываясь

на рассыпанном пшене, Леля крутила над собой мясорубку. Леня отскакивал и приседал, но при этом норовил схватить сестру за руку, чтобы вырвать мясорубку и тоже ее раскрутить. Жуткое зрелище, каждую минуту мог случиться удар с летальным исходом. Валя рванулась, отобрала оружие и унесла его подальше. «А как же мы? – закричали дети ей вслед. – Что же будем крутить?» Они, оказывается, не мечтали убивать друг друга, они просто играли. «Сейчас-сейчас, – заторопилась она, – Сейчас будете крутить». Дала им крутить грубый геркулес, чтобы он быстро разваривался. Крутили строго по две минуты каждый. Леля следила по секундной стрелке. Какое счастье, что в тот момент в доме оказался геркулес. А то могло ведь случиться мамаево побоище.

Были и другие моменты, когда случайно обнаруженное неравенство приводило к первобытному крику и вою. И вот напуганная мамаша в преддверии больших холодов купила дочке цигейковую шапку на завязках. Надо лбом она была оторочена более светлой цигейкой. Представляя, как возмутится Леня, она заволновалась, потому что совершенно не хотела покупать пацану девчачью шапку. Что же делать? Конечно, надо купить ему ушанку как нормальному пацану, а что если он не согласится? Придется пришивать на ушанку светлый мех? Дома она потихоньку дала померить дочке шапку, и та, радуясь обнове, тут же стала в ней ходить. Нахмуренный Леня подошел к маме и строго сказал: «А мне?» Та протянула ему ушанку. Он надел, повертелся и снял тут же: «Мне надо такую, как у нее». Валя попросила у Лели шапочку только померить! Нахлобученная на Леню шапка ему не понравилась, но поскольку он делал все наперекор, он сказал: «Завтра пойду в садик». – «Ой-ой, в садик, и все скажут, что ты девка! У тебя же шапка-то девкина! Значит, ты Оля Седова, – сказала Леля язвительно. – А я-то пойду в твоей, и меня все будут Леней звать. Леней Седовым». Леня встал перед зеркалом и

глубоко задумался. Никакой истерики у него не произошло. Да, невозможно ходить в одинаковых шапках, смеху не оберешься.

Эпизод с шапками имел хорошие последствия. Только Леня крикнет, что и мне надо такое, как все вокруг пожимают плечами: «Ну и ходи, как девочка!» Вообще Леня был добрым существом, но какие-то гейзеры в нем все время били, он нет-нет, да и вспылит. Однажды, в первом классе, где он с трудом мог усидеть на месте несколько часов, ему несколько раз погрозили: «Не балуйся, а то переведем обратно в садик!» Учительница позвонила Седовым домой и высказала свои сомнения, дескать, моторный мальчик, давайте переждем годик. Валентина схватила за голову: «Тебя оставляют в садике на второй год!» Северин, как всегда, промолчал. Он считал это мелочами. Леня лихорадочно думал сам себе: «В садике ведь хорошо, так это здорово! Я туда с радостью вернусь! А вот чего мама рыдает? Что-то тут не так...» После этого папа укорил маму за слезы и сказал, что пойдет к учительнице на мужской разговор. Леня растерялся. Он пытался вспомнить, что он такого натворил, но не вспомнил – не дрался точно. Неужели снова придется идти в противную школу, а не в садик, как он бы хотел. Он тогда вышел перед обоими родителями и крикнул: «Я не знаю, как мне жить, я, я... разобью свою голову о камни!» На родителей напал столбняк, они долго стояли и смотрели на Леню, а потом папа сказал: «Больше никогда так не говори. Ты пугаешь маму, и она опять будет долго плакать. Да и где ты камни найдешь?» Слова «разобью свою голову о камни» стали в семье Седовых крылатыми. Это был сигнал: если кто-то такие слова начинал говорить, все всё бросали и шли разбираться.

Леся в силу большого своего самолюбия и достоинства попадала в трудные ситуации чаще Лени, но она была выдержанная девочка, она необдуманных слов не

говорила, все держала в себе. Даже когда она поссорилась с какими-то ребятами из чужого класса, и они вздумали плевать на нее с лестницы, мать долго ничего не знала. Много позже это выяснилось совершенно случайно, а ребенок за это время пережил не одну душевную бурю. Леля и Леня дрались только в малом возрасте, потом это соперничество перешло в более сложные формы, в общем, с ними было непросто.

Примерно в пятом классе Леня совершил поступок, который всех потряс. Седовы купили в рассрочку свой первый допотопный компьютер. Он состоял из двух серых ящиков, стоящих один на другом и треснутой панели с клавишами. Он писал зелеными буквами по черному экрану. Но вся беда была в том, что он куплен был с рук, и панель с клавишами часто ломалась. У нее западали кнопки, и тогда по экрану шли сплошь буквы «а» или «р». Валя сердилась и стучала кулаком по столу. Потом, расстроенная, убегала на кухню и начинала греметь кастрюлями – у нее все всегда было громко. Несколько раз просила она Севу поискать подобную панель, но искать тогда можно было только в комиссионке с бэушной техникой, но у Севы был такой распорядок дня на работе, что ему некогда было туда сходить. Он вечером приходил, что-то перепайвал, где-то чистил контакты, и на этом весь ремонт заканчивался. Валя была мрачная и все чаще стучала кулаком по столу.

Сын Леня, гуляя на улице, устроил побоище с соседскими ребятами, бросаясь обтаявшими глыбами снега. Сперва это были мелкие кусочки, а потом все больше и больше. Валя слышала, как в раскрытое из-за бушующей плиты кухонное окно влетали воинственные звуки детской войнушки. Вдруг все затихло. Она прислушалась – ничего, хлопнула холодильником. Вроде бы ребята убежали в соседний двор. Она еще подумала, может быть, с ними Леля? Тогда она не даст развязаться сильной драке и в случае чего придет скажется. Но у

Лели по расписанию была музыкальная школа в этот день.

Через некоторое время в прихожую ввалился абсолютно мокрый с ног до головы, залепленный снегом Леня. У него лицо все горело, а на руках и ногах намерзли корки. Он выдохнул только два слога: «Ма! На!» Подбежавшая Валя стала рассматривать, что он ей протянул, и ничего не понимала. Это была какая-то мокрая газета, измятая, изорванная.

– Что это? Где взял?

– А ты не видишь? – завопил Леня. – Это деньги!

– Ты украл, что ли? Где они были? – Валю бросило в жар.

– Сразу украл, украл! В сугробе они лежали! Я кидался снегом, и зашуршало... Ничего, можно посушить!

Валя дала ему тазик с водой, и они вместе стали осторожно расправлять и смывать грязь с мятых бумажек. И так увлеклись, что забыли с Лени снять одежду, и он, сидя на корточках у тазика, сделал огромную лужу на полу.

– Ах, да что это я? Давай-ка быстро снимай мокрое, ты же заболеть можешь!

– Да не заболею я! Такое случилось! Ты чего не радуешься?

– Не знаю... Я боюсь...

Пальто, стеганные штаны и шапка повисли на веревке в прихожей. А деньги они осторожно разложили на батарее.

– Тут все, что ли? – спросила Валя. – В карманах ничего не оставил?

– Нет, что ты! – заверил ее Леня.

– И что ты хочешь с ними делать? У тебя свитера нет, например, а у Лели валенки прохудились...

– Нет! – закричал Леня. – Не валенки, не свитер! Не торт, который я давно хочу, это тебе на кнопки, чтобы ты буквы печатала какие надо.

Валя, неумелая мать двух детей, так и замерла на месте. Дети обычно думают про сладкое, а тут впервые в жизни подумали о ней. Слезы у нее всегда были близко, но тут она стала бурно обнимать ребенка, а он столь же бурно вырываться.

– А почему ты так решил? Даже на мороженое не оставил?

– А потому что я подумал, а что скажет папа? А он сказал бы так, вот увидишь, он так и скажет.

Невероятное, щипучее, коловшее в носу заполнило Валентину Петровну до самой макушки, до отказа. Не так часто выпадают радости, но уж если выпали – надо жить! Как там говорится? Проснись и пой? Вот и будем.

По этому случаю, в ожидании высыхания денег, была напечена гора оладиков с кашей, когда каша не съедалась вовремя, ее клали в тесто. А потом был сделан чай с мятой и целая сковорода жареной картошки. Зазябшая Леля после музыкальной школы от таких запахов, аж не разуваясь, побежала в кухню, и почти следом вошел Сева: «А что это у нас такое тут? Не гости ли придут?» Но это было не для гостей, а все для них, родненьких, потому что праздник.

Высохших денег хватило на новую клавиатуру, а также на маргарин, лом печенья по дешевке и пачку какао, из чего получилось пирожное «картошка», редкое в их доме лакомство. Леня ходил в героях не одну неделю и подавал пример окружающим.

Леля была другая совсем. Она никогда не выскакивала вперед и не кричала «я». Но однажды случился форсмажор: надо было стоять одновременно в двух очередях, в продуктовой и в хозтоварах. Если встанешь в одну, то другую прозеваешь. Либо макароны и колбаса, либо порошок, и два дня всего оставалось, чтоб отovarить талоны. И Валентина Петровна пошла на риск и оставила в хозтоварах Лелю, хотя она была еще маленькая, первый класс. И княжна Леля осталась стоять одна

в злой очереди. И когда всполошенная Валентина прибежала к ней из гастронома, Леля смирно стояла со своей сеткой у прилавка, денег ей не оставили. «Что ж вы, мамаша! Вот ваш порошок!» Мамаша все заплатила, и они пошли, счастливые. И стало ясно, что на княжну Лелю уже можно положиться как на взрослую. Как повзрослела Леля в момент высадки из коляски, потому что ее вытеснил крикун Леня, так пошла взрослеть дальше. Она поглядывала на мать укоризненным черным глазом, не беря грудь, потому что мать уже носила в себе ее братца. И потом, когда раньше срока высадила из коляски. И потом, когда разбила банку с подсолнечным маслом, которое так трудно достать. Она как бы говорила: «И нечего заводиться, это не моя забота, масло твое». А Валя две недели мыла пол от этого несчастного масла... Да и потом, когда Валя резко отдала девочку учиться музыке, когда та еще в первый класс не пошла. И училась, вздыхая и поглядывая с укоризной.

И Вале казалось, что она плохая мать, плохая жена – и так далее.

БЛОКНОТ ФЕЛИСАТЫ

Это были странные записи. Владелица блокнота записывала какие-то события или просто незначительный штрих в определенный день. Будто зарубку ставила на стволе дерева. А потом возвращалась к этому день в день через год. Через два или через десять лет. Как будто ей было интересно именно это число... Дневником это назвать было нельзя, ведь дневник – это цепочка дат вполне последовательная. А тут такие непостижимые прыжки времени. Блокнот обнаружился под кроватью Фелисаты, когда она однажды выехала на лечение в санаторий. Чаще мыл полы в бабушкиных апартаментах, конечно, Сева, а изредка Даля, когда приезжала проводить мать из далекого приморского города-порта. Валя столкнулась с этим впервые, ибо Севы не было дома, и также не было дома вездесущих проворных детей, которые просачивались в любую щелку. Валя прочитала это, сидя на корточках, вся горя и пылая от ужаса. Но делать было нечего. И блокнот вернулся на свое место под кровать.

1 января 1979. Новый год встречали скучно и одиноко, даже Сева никуда не уходил. Я потихоньку в ванной наплакалась, так жалко его. Перед переездом все так тревожно и не прибрано. И душа не на месте. 1983. Мороз 24 градуса. Ёлочные игрушки с улицы украли. 1984. Хорошо было. Ёлка нарядная. Лада нет в новой семье. Шуму много. 1986. Хорошо было. Пили шампанское. Мороз 10–15 градусов.

2 января 1982. Ёлку поставили, но не зелёная и сразу осыпается. 1983. Ёлка зелёная, но мало игрушек. Мороз 10–12 градусов. 1986. Ёлка зелёная. Мороз 10–12 градусов. Новый год начинается тишиною, но дальше Бог весть.

3 января 1978. В эти дни устаю очень. Всё собираю к переезду. Сева пошёл на новую квартиру пробивать отверстия для гардин и штор. 1982. В ночь стало морозить, и к утру стало -34 градуса. В воскресенье никуда не ходили. 1984. Приезжал сын Дали, привёз 10 кг мяса и копчёной рыбы. Еды не было давно. 1992. Не могу писать, руки дрожат. Хозяйка так отлаяла, 99 раз – ей добра, а в сотый не угодила. Хотела постирать шторы с её окна.

4 января 1978. Сева лаком покрыл пол. 1982. Снег, холодно. 1987. Холодно, ветер, минус 19–25 градусов. 1992. Дождь, +4, голова как в огне, давление высокое. Все лекарства приняла, идти никуда не могу, гололёд. А тут сидеть тоже...

5 января 1982. Снег, холод, ветер перед Рождеством. 1983. Тепло, снежок. 1986. Холодно, Сева ездил в район на самолёте, слава богу, вернулся. 1992. Снег, + 4.

6 января 1982. Холодно, -32 градуса. Ходила в церковь, сегодня – мой день ангела, но не сделала обряд, который полагается. 1983. Ходила к вечерне, но не вспомнила эту дату, давление.

7 января 1982. Рождество Христово. Мороз – 35 градусов, ходила в церковь, простояла всю службу, но на кладбище не была. Холодно и болит спина от радикулита. В ночь на 8-е второй день Рождества Христова, мороз – 40, не могла пойти в церковь. Мороз с ветром, влажность высокая. Все деревья покрылись инеем. Изумительная красота. 1983. Тепло, тает снег, $-3 + 1$. Проводили сыночка Дали Влада, рада очень. 1987. Холодно.

8 января 1982. Второй день РХ, мороз – 38–35 градусов. Ходила получать талоны на колбасу и масло сливочное. Колбаса – 3 на 500 = 1500 г. Масло – 3 на 150 = 450 г. В этом году будут снабжать по талонам. Надо помогать: Польше, Кубе, Вьетнаму, Кампучии, Индии, Афганистану и всей Африке. 1983. Тепло, +2 градуса. К ночи чуть похолодало, на дорогах лужи. 1987

Мороз – 40–42 градуса. 1992. Мороз –5–10 градусов, снежок.

9 января 1982. Мороз – 30 градусов в 7 часов, к 14 часам – 28 градусов, но ветер и снижение давления, мне хуже, голова болит.

10 января 1982. Мороз –30–28 градусов, Сева ходил по морозу и простыл. 1985. Влад уехал, а Северин в Ленинград с отчётом. 1987. Холод невыносимый, –40–45 мороза, хуже чем в Якутске при –50.

11 января 1983. Холодно, –15, не выходила, горло болит. 1985. Северин приехал из Ленинграда, настроение на 3. Такие заботы у него. 1986. Холодно –25–27. 1987. Холод невыносимый, –42–45 градусов, туман.

12 января 1983. Тепло, ходила в мастерскую, но, по-видимому, отложу все попытки. 1987. Мороз –39–45 градусов.

13 января 1985. Воскресенье, ходили гулять с детьми. Холод –10–15 градусов. 1987. Холод, мороз –45–47 градусов, небывалое явление – в комнатах температура + 15. Как сохранить детей, никто не думает.

14 января 1982. Старый Новый год, в церкви была праздничная служба, мороз –10–17°, давление снижается. 1985. Холодно, –18–20°, надо нянчиться, никуда не уйдёшь по своей воле.

15 января 1982. Мороз 0 градусов, оттепель, после такого изменения мне всегда плохо, ходила за портретами для Дали и Дуни с покойного отца и ноги промочила, везде на дорогах вода. Давление от погодных условий и от нервного напряжения опять повысилось, ни в чём не могу угодить. Боже, научи терпеть.

18 января 1984. Ходила в храм, получила капельку благодати... Перед Крещением сочельник, тепло 0 –3°.

Чуть я шорох где услышу
Страх мне сердце обожжёт,

Всё мне думается, совесть
Упрекнуть меня идёт.

1985. Ходила за святой водичкой, всё хорошо было на душе, спокойно и радостно. 1987. Ходила в храм, но легко оделась и чуть простыла.

20 января 1984. Надо идти к зубному, выдержу ли сверление. Всю ночь болел зуб с мышьяком. 1985. Холод -25° . 1987. Тепло, снежок.

22 января 1986. Приехал внук Влад с посылкой от Далины до 28.01. Не рада.

23 января 1982. В 15 часов дня у Севы родилась дочь Ольга, а у меня внучка. Не дожил покойный Деда, не знает, что у нашего сына дорогого своя семья. 1984. Тяжело нашему сыночку с такой женой, но дети. 1985. Ольге 3 годика, праздновали целую неделю, собирали 2 стола, Нине и Севиному другу. 1986. 4 годика, были гости. 1987. Леле 5 лет, собирали стол для гостей.

25 января 1985. Приходила Диана с мужем Альбертом, Лене 3 годика.

26 января 1991. Холодно -15° . Самочувствие вялое, давление чувствую.

27 января 1984. Холодно, -10° , ветер. 1985. Холодно, $-15-20^{\circ}$, ветер, воскресенье, мужу Далины Юрию сегодня день рождения. 1987. Оставила 30 рублей для Вледи. Купила пряник сувенирный 33 руб., послала с Севой 5 руб. 1992. Тепло, + 3.

2 февраля 1992. Воскресенье. 8 часов утра. По радио рассказывают о том, как Горбачёв с Р.М. были в Польше на концерте, где певец спел для них песенку (Михаил, Михаил – ты изменил весь мир). И стал одевать на Г. подаренную им галстук-бабочку. Тут подскочили два телохранителя с обнажёнными пистолетами и хотели стрелять в певца, но Р.М. встала и заслонила его от них.

3 февраля 1984 год. Она насильно Леле влила кисель трехдневной давности. Л. тошнило как из шланга, я не

могла выдержать, сказала: «Не казни ребенка». А она тут чуть меня не отхлестала грязной тряпкой. Надо уехать.

4 февраля 1984. Чай не пила. Не могу выйти на кухню, она все время сидит там. Неделя не прошла (28 января), чуть не убила дитя, а тут нашла чем меня отравлять. Сердцем ох не стерпела... 1985. Молчу, терплю.

5 февраля 1983. Болела голова, давление 170 на 110. 1984. Два дня вот как правду сказала, не могу опомниться, говорили, стыда нет. Молчу, но парней домой водить не подобает семейной матери. 6 февраля. Опять к ней приходили и стояли долго под дверью на лестнице. Вбежала, глаза горят. 1994. Холода минус 15—20 градусов. 1988. Холод 10 градусов, снег...

1988. Снег тает, минус 3—5 градусов. 1984. Продолжается все то же. Куда деваться? Люди, укорачивайте ее. Скандалистка... Давление 180 на 110, укол.

7 февраля 1984. Леле не разрешает мамочка с мной говорить.

8 февраля 1987. Молчу, терплю. Температура + 5 градусов. 1988. Тепло... Все, долго молчу, терплю. Слава богу, терпимо. Воскресенье, стирает. Неприятно. Посмотрим, как заговорит, когда придет ее старушечье время. 1994. Холодно до минус 30. 1987. Воскресенье. Стирает от клопов. Стирать не умеет. 1988. Ветер, температура -5°. Терпение, молчание, холодно. 1994. Холодно, 20—25 градусов.

1982, 6 июля. Вторник, у Вали день рождения. 30 лет. Готовила стол большой. Были гости – подруга Инесса, Диана с Альбертом... Погода – дождь и душно. 1983. Клубнику всю вбило в землю. 4 июля был дождь, был ливень с градом.

1982, 7 июля. Жарко днем +30. На даче разболелась голова, по-видимому, шла по солнцу 12 часов. Ездила менять снохе тапки, не подошли. 1985. Воскресенье, холодно, дождь. Помидоры цветут, но завязи нет. Клубничка зеленая.

С УМА СОЙТИ

За спиной героини как будто без конца хлопает полотнище флага. Это предчувствие, что она будет писать. А может, она уже начала писать. То есть нужно показать первый порыв, который потом перешел в систему. Быт не заполняет всей ее жизни, остается пустота, которая требует заполнения.

Автор – литературному негру Э.

Он сидел вчера за чаем, замечательный узбек Ли-сицын, и сказать ему было нечего. Сидел, согнав брови в одну ломаную линию, нагнув свой упрямый лоб, наставив его на Седовых, как дуло орудия. Вернее, у Валенты было чего сказать, но она не могла начать. А она ведь спела песню на его стихи? Спела. Естественно, ждала реакции. Куда там! Молчание упрямое, глухое. Ему было наплевать. А Валента любила, чтоб человек забылся, дрогнул, вышел из себя – тогда он настоящий. Любила она хвалить и смотреть, как краснеют. Но это, наверное, нехорошо. Лучше показать себя с плохой стороны и потом совсем исчезать. Чтоб не искали.

С узбеком ничего не вышло, слишком бесстрастный. И сам не раскрылся, и публика была в полной растерянности. Похвалы не сработали. Романтика растворилась в воздухе. А жаль.

Но узбеки приходят и уходят, а есть пожар, когда всегда. Но это начало начала не с начала! Сначала было горение Мариной Ивановной. По-новому она увиделась через переписку с Пастернаком. Жизнь ее слишком безмерна, чтобы охватить все-все. Валента болела Мариной Ивановной долго, мучительно и сладко. Сначала – когда читала мемуары Анастасии Цветаевой. Потом Марии Белкиной. Каждый раз дрожащими руками находила в избранном томе именно те стихи, о которых

упоминалось в мемуарах. И шептала их про себя. Подбирала песни. Когда очень нравилось, охватывал летучий жар. В результате Валента до такой степени переполнилась ею, что пошла читать ее стихи в школе, библиотеке, техникуме. Некоторым учителям нравилось, честное слово, слушали, раскрывши рот, даже записывали. Но однажды в училище эмоциональный рассказ был безнадежно скомкан. Ученики хохотали как бешеные. Потом их преподавательница, смеявшаяся вместе с группой, шепотом сказала: «Валечка, ты смешная. Чем? Да пылом своим неуместным. Неловко даже». Ясно, приняли за чокнутую... При них даже слова «кровать» нельзя произносить, так они возбудились.

Как говорит анчаровский Сошнин: «Я тебя, дуру,... на том вон углу... встренул...» Встренул? Внезапность дара. Вот точно так Валентину вдруг «встренул» однажды Митя, и она нечаянно попала в их клуб. Прямо после работы, взяв из садика свою пятилетнюю девочку Лелю в клетчатом пальтишке и Леню в куртке слониками, – кстати, у мамы было подобное клетчатое пальтишко, дешевенькое, в том же советском духе, – Валента пошла сгорать от любопытства. Сняв вязаные шапочки и пригладив вихры, они присели с детками на кончик деревянной лавки... Зря боялись, никто на них и не смотрел. Митя почти все время молчал, но неуловимо управлял всеми.

Митя имел две кожи – одну свою, другую – черной куртки. И когда он уходил в себя, на нем было сразу два слоя. Присутствие-то чисто номинальное. Буйная негритянская шевелюра рассечена седой прядью. Типаж Джо Дасена, но на советский лад, сильно худой из-за карточек.

Это был клуб в старом деревянном здании, не охраняемом государством, где дорожка с тротуара

скатывалась прямо до крыльца, а остальная полоска земли заросла диким боярышником. Клуб, где все иначе, и пели там лишь то, что она никогда не слышала. Там высокая черноволосая девушка сидела в углу, она всегда молчала. Почему тянет к тем, кто молчит? Ее впалые щеки и длинные руки, хмельно мерцающие, подведенные глаза не давали покоя. Но не подойдешь же, не спросишь про погоду: «А вы что, тоже пишете? А что?» Тоже! Скорее, писала она, а Валя – из тех, кто «тоже»...

Говорили о стихах Гумилева, которые он написал на стене тюремной камеры перед расстрелом. Что есть тюрьма? В тюрьме можно быть свободным? Митя пел страстно, возвышенно, гортанно. Понять можно, повторить нельзя. Стало страшно: не все говорят на их языке. И не поют тоже. Заныло под ложечкой. Валя была там одинокая, плохо одетая, с ребенками и очень грустная от своей непричастности. Ей хотелось к ним насовсем, чтобы приходить, как к себе домой. А не сидеть на отшибе, как не знамо кто... Но что она могла им дать? Если в тот момент даже готовое взять не умела? Нет, у нее тоже будут такие люди. Раз некуда идти, надо найти таких людей. Иначе можно разучиться говорить и понимать людей. Придется создавать свой клуб, что ли...

И потом, почему они не выступают на людях? Вон некоторые то в один район, то в другой, путешествуют по деревням. Хотя это же труд, какое нервомотание. А эти – нет. Не ездили ну никуда. Почему? Кто обязан их знать, если они в подполье? «Мы не работаем петрушками». А кем? Для кого? Для самих себя? Фантастические существа, дышавшие другим воздухом.

На заседании Валента дважды пыталась петь Марину Ивановну, то есть те песенки, которые сочинились на ее стихи... Они пожимали плечами, никого не впечатлило. Один из них, смугловатый человек с рабочими руками, взял и поправил один аккорд: «Лучше вот так». А у окна

стоял Митя в позе Наполеона и смотрел на дрожь голых веток. Он терпел робкие экзерсисы недолго, потом обернулся и вытянул шею:

– А на фиг ты поешь Марину Ивановну? Ты выдаешь не свое отношение, а общее ожидание. Салон мадам Шерер. Зачем это тебе?

– Люблю.

– А твое?

– А у меня его нет.

– Врешь!

Валента тупо потупилась. Одна серьезная девица пела очень низко из Высоцкого песню о правде и кривде, а тот, что с лысиной – про Пана. Тоже не у всех авторское. А Валя чем хуже? А тем, что нет своего, только Марина Ивановна.

– Пока не будет своего, авторского, нечего и думать, чтобы выйти с этим на публику.

– Да про что я могу сочинить! А Марина – это классика...

– Про что угодно! – он щурился, тер глаза. – Комашка! Все, что тебя окружает – это и есть среда... Из среды лепи.

Это был не разговор, всего лишь реплика, но внутри заканудило, поселилась тоска. И она стала как отравленная. Но разговор не забылся. Потом Митя был поставлен перед фактом: или – или.

У Мити была девушка. Та самая, загадочная, со впалыми щеками. Но была еще и жена, которая не хотела с этим мириться, так как у нее подрастал Митин сын. А девушка устала быть между, она оказалась гордой, она просто подняла высоко голову и ушла замуж. Искренне. И наверно, они обе любили Митю, но это ему не помогало, напротив, жизнь становилась невыносимой. Марсианам все во вред. А потом эта малоприятная история с работой, откуда он ушел. Он уходил с одной работы, приходил на другую, но там все повторялось. Он,

видимо, был принципиальный человек. Обстоятельства неумолимо выжимали его из этого города.

И Митя однажды вдруг зашел к Седовым домой, попросил чаю.

– Валентина, – сказал он отрывисто, – чай у тебя есть?

Ну. Она, конечно, была сбита с ног таким доверием. Пока ставила трясущимися руками чайник, он позвонил в Серебряный Бор по междугородке и сказал, что приедет. Да, он переходил Рубикон. После этого заявления ничего не оставалось, кроме как идти на вокзал...

Пока Валентина наливала чай, он молчал. И потом сказал:

– И что ж тебя окружает?

Валя Седова панически оглянулась по сторонам. Вокруг была маленькая советская кухня, наскоро покрашенная охрой, и обои с деревянным рисунком. На плите что-то булькало. На окне стояли закопченные кастрюли, на одной из них процарапаны буквы BEATLES. Прямо перед ней уронила голову ситцевая кура для чайника. Прямо настрой самой хозяйки. Совсем духом упала.

– Что окружает... Кастрюли меня окружают.

Валя понимала, что он говорит для видимости, а сам думает про Серебряный Бор. Руки его ходили ходуном, когда он чашку брал.

– А покурить у тебя нет?

– Наверно, есть, не знаю... Посмотрю у мужа в карманах.

Когда она шарила по чужим карманам, у нее руки тоже затряслись. Она ничем-ничем не могла ему помочь. И вот, наконец, смятая пачка «Стюардессы», и там – о! – там целых две штуки. Он закурил. Да, Сева поэтов невлюбил и бардов тоже. Как же, будешь тут любить, когда у тебя жена ради них по карманам шарит...

– А что у тебя стряслось-то? – робко спросила Валента.

– Ничего. Просто мне здесь нет места. Я здесь никому не нужен.

– Мне. Мне нужен. А клуб?

Он только усмехнулся.

– Кастрюли, говоришь? Вот и пиши про кастрюли.

Она чуть не заплакала. Ей не хотелось, чтобы он уезжал. Крохи общения, упавшие на нее невзначай, невероятно ее обогатили. Обогатили, взволновали, заставили куда-то стремиться. Понятно, что от Севы она тоже отстала. Но вопрос с Севой не был таким горящим, она надеялась догнать его постепенно. А тут в пожарном порядке. Она только увидела и уже теряла едва обретенную новую жизнь. А для него это все уже труха прошлого и неинтересно. Потому что у меня нет авторского.

– Ты... научишь меня?

– Об этом раньше надо было думать, а теперь уже некогда. Давай. Я найду завтра попрощаться, и ты мне покажешь свой стих про кастрюли, ага?

И улыбнулся так нежно, что хотелось стрелять из ружья. Он вышел, запахнув свою вторую кожу. На улице сеялась мокрядь.

Митя был не обычным человеком, а почти марсианином. У него были какие-то неземные, странные заботы. Он провел бард-фестиваль на малой северной реке Петух, после чего этот фестиваль шел еще семнадцать лет. К нему приезжали его друзья – Мирзаян, Долина, Волков, Краузе. На их концерты в дощатом доме юного техника прибегали десятки, сотни людей без всякой рекламы, и деревянный домик трещал по швам. Он привез в город рукопись человека, которого никто здесь не знал, – целую стопу стихов Бродского. Гордая девушка Инесса их перепечатывала. Так запрещенные стихи

расходились по людям. Никто не слышал о Бродском, сидевшем в ссылке! То были волны, накатывавшие от горизонта к ногам. А Валина знакомая из библиотеки видела, как в их Ерцево привезли тунеядцев, и там был по описанию – сам Бродский. Один тунеядец, схожий с ним, был рыжий и пил вино из узкой бутылки. Он сел не там, где надо, на месте бывшего туалета, знакомая робко попросила перейти, а он лишь рукой махнул – мне теперь все равно где сидеть.

В общем, тогда Бродский был просто человек, которого поет Мирзаян. А потом, много позже, даже великий Мирзаян забылся на его фоне. Инесса рассказывала, как она сидела с Мирзаяном у костра! Обаяние немислимое. Пару-тройку десятилетий спустя Мирзаян будет вести передачи по телевизору, а Бродский уже уйдет из жизни, и появится целое поколение «послебродских» поэтов... Ну, если бы не Митя и Инесса, многие бы, может, до конца жизни не знали Бродского.

Митя выпускал, множа на ксероксе, журнал с переводами, он все время находил то, что никто не знал. В общем, к нему тянулись люди, не похожие друг на друга, пишущие стихи и прозу... Его все любили, безмолвно, сильно, это при жене и при любимой девушке, но он никому стал вдруг не нужен. В общественном смысле. Просто он не был соглашателем. Это было трудно понять. Гораздо позже появилось словечко «конформизм», так вот, Митя был нонконформистом. Оказывается, иногда это опасно для жизни. Седова только чувствовала, что они с Митей чем-то похожи, и что ей тоже места нет – той настоящей, какой она хотела бы стать. Если бы стала – ей бы улыбалось то же самое. Судьба указывала пальцем на Митю и просила Валю быть осторожнее.

Впервые что-то случилось с Валентой. Захотелось рассказать ему всю жизнь, но вокруг высились кастрюли. Ей было невыносимо жаль, что он уедет, но он уедет. Хотелось все бросить, нужно было собраться с мыслями, но времени не оставалось. Она стала тереть глаза и терзать свой стих про кастрюли. Тарелки и кастрюли, конечно, были ее данностью, но не выражали ничьей тайной страсти. Она гремела посудой в раковине и слизывала мелкие едкие капли. На кого она злилась? «Как злая ведьма, плашками стучу...» Это была лихорадка предчувствий.

На другой день Митя пришел, как раз муж был дома. Она показала Мите смятый лист, на котором расплылась капля варенья... Ей было уже все равно. Он посмотрел и сказал:

– Ну вот! – гортанно так сказал, полуприкрыв глаза. От такого глубокого голоса казалось, что он говорил не по-русски, но он говорил по-русски. – Видишь, комашка. А ты говорила – кастрюли. Это что, первый стих?

– Это мой первый стих в жизни, – прошептала она, скручивая клетчатый фартук, который тоже вошел в текст в виде предметного ряда.

– Неплохо для первого раза. Так не останавливайся, – сказал он. – Раз смогла это, сможешь и еще. Только глаголы не рифмуй, ладно?

Разве все это значило, что она что-то смогла? Но слова-то запомнились! И как ни странно, ей они очень скорогодились. Потому что пришла к ней милая женщина, она очень хотела писать, но пока выходило не очень. Попросила научить технике.

– А почему я-то знаю? – обалдела Валька. – Меня никто не учил!

– Так вы, говорят, простая. А то вот я взяла Сельвинского, в библиотеке посоветовали – ан не идет он, заковыристо. Вы по-простому скажите.

– Не останавливайтесь, – прошептала Валента. – Главное, глаголы не рифмуйте...

Эту женщину никто не заставлял, но она так быстро втравилась, просто удивительно.

Пришла на вечер видного авангардиста, да и просидела там, проплакала в последнем ряду. Все потом спрашивали ее: «Чего с вами? Зачем вы?» А она сквозь слезы: «Так мне стало горько. Я ведь тоже хочу, с вами!» – «Так вы и так с нами!» – «Нет, мне тоже надо читать... Только чтоб не смеялись... А то я такая чужая, глупая, плохо одетая...» Валента дрогнула. И она проходила через это, и она проходила через это! Значит, что-то витало! Значит, действовало!

И узбек, он тоже молчал, но продолжал писать свои язвительные, ядовитые строчки. Это был нигилист, может, даже постмодернист, но тогда таких слов не знали. И альманахов тогда не было, а жаль. Через несколько лет было бы с чем сравнить. И другие, они тоже потом приходили. Даже пытались рукописи бросать в прихожей – «я умру, а ты напечатай». Тоже нашли. Ее-то кто напечатает?

Но с другой стороны, в клубе были люди, которые писали очень сильно. Гордая, в красных брюках, Инесса. Когда первый раз она стихи прочла, рот пересох, и захотелось быть – ею.

Митя толком ничего не сказал, хотя девушка лучше. Неужели ему трудно было подсказать – где ориентиры?

А ей хватило одной лишь фразы, так ведь она на лету подхватила эту фразу, как отлетавшую щепку, и хваталась за нее в самых разных случаях, когда еще даже не знала, что и как будет дальше...

Итак, он уехал в Серебряный Бор. «Неплохо для первого раза!» Ему хотелось верить. Несмотря на то, что в чем-то Седова его судьбу повторила. Вскоре ее тоже ста-

ли выжимать из самых разных учреждений. Ее просили написать заявление, хотя ее дело было правое. Ведь она писала хорошие программы, приходили поэты, художники, а все равно – ее выдворяли бесповоротно и твердо – вежливо, глядя в пол. «Мне здесь нет места!» – поняла она. Но ехать было некуда, и никто не ждал ее вдалеке, в Серебряном Бору... Не где-то там, а здесь был муж, милый, вежливый человек с прозрачными серыми глазами, он не виноват, что она себе все портила. Муж говорил: «Не знаю, я всю жизнь работаю в одном и том же институте и ни на какие акции протеста не хожу». Он был прав! И садился с дочкой и сыном читать «Гуси-лебеди» и улюлюкал. Она писала очередное заявление об уходе по собственному желанию, приходила домой, варила кашу, выключала кастрюлю и листала слипшиеся листы Митиных рукописей. Романтика, оглушительная звукопись, шаманство...

Однажды был какой-то слет, туда понаехали и поэты и барды. Муж сжалился и отпустил Валенту, оставшись с детьми, только просил аккуратней у реки и особо не напиваться. Там и сям стояли и сидели кучками люди, читали друг другу стихи и песни пели круглые сутки. Наскоро поев что-то из котелка, они продолжали свое занятие самозабвенно, как глухари на току. Ну, то есть это были сочинители, мечтатели, не от мира сего, блаженные... Те, кто жил не реальностью, а выдумкой, то есть напоминали всем, ради чего стоит жить. Седова распахнула очи, уши и стала жадно слушать. Через некоторое время она обнаружила, что у нее украдена сумка с книжками и деньгами, и украл не человек, а красивая большая собака типа сенбернара. Многие видели ее с сумкой в зубах. И может быть, не только с сумкой Валенты. А говорят – такое благородное животное.

Непонятно, за что и как, но она оказалась в жюри. Не хотелось работать, хотелось просто посидеть у костра и

послушать, но в двенадцать ночи началась ночь поэтов, и она пошла как на каторгу. Некоторые из тех, кто записался, были уже не в силах выйти к микрофону, они были пьяны и лежали под кустами, поверженные и безгласные. Половина программы сразу сломалась. Но весь процесс спихнули на ведущую Седову как на руководителя какой-то студии, хотя она не была даже и нормальным автором, просто мало уже было трезвых в двенадцать ночи.

Она четко выкрикивала очередного поэта, ставила крестики-нолики в блокнот, и дело пошло бойко. А это что за имя латиницей? Веселый бородатый мужик в цилиндре, а имя как магнитофон. «А настоящее имя как?» – «Так и есть – Панасоник». Подошел тот человек со смуглыми руками, который был клубе у Мити и который поправил аккорд. Сказал, чтоб объявили его, потом Инессу. Ну, мы с радостью. Вышла гордая девушка с впалыми щеками и прочла свои стихи с замедленным ритмом, с нажимом на артикуляцию. Да, она была немного под газом, но как же она была хороша, интеллектуальна, печальна...

«Я дам ей первое место, и пусть меня застрелят», – подумала Валя Седова в полном отчаянье. «Ее никто не знает, кто это!» – поднялся ропот среди тех, кто следил за программой. «Узнают», – мстительно думала Валя. И ставила три жирных плюса – за авторство, за исполнение и за номинацию «любовная лирика».

Не успела она, лихая библиотекарша в штормовке, драный руководитель неизвестной студии, очнуться, как подошел... Митя. Он сквозь зубы сказал, что пусть все идет к черту, но он ее увезет. Лицо у Мити было мрачно-вдохновенное, как у Овода перед расстрелом. «Выступает Равиль Курмангалиев», – закричала Валька пронзительно, и, пока Равиль разворачивал смятую тетрадь, отвернувшись от микрофона, выпалила: «Не-сходи-с-

ума-я-замужем-ты-женат». Но Митя первобытно сверкнул глазами и ушел в ее сторону. Откуда он здесь взялся? Он же уехал! Валя так испугалась, что у нее застучали зубы, и она не поняла, о чем говорит Камиль... то есть Равиль. «Спасибо, Камиль». Куда он ее увезет? К жене? Или на тротуар того дома, где они с женой живут? Ведущая так мучилась не один час. Потом, после программы, она еще как-то кого-то наградила, а Инессе вообще не только венки лавровый, а выдала пакет аж с томиком Вознесенского. И пошла себе, тихо поела ложкой из банки тушенки с хлебом, молодцы были ребята из Молочного поселка, у них оказалось так много еды. Хорошо они придумали. Седова ишачила больше всего, сорвала голос, а ей никаких наград не положено...

И думала – а если он так хочет ее увезти, то зачем надо было вообще уезжать? Утром к палатке из Молочного буднично подошла его милая в очочках жена и сказала, что Митька чего-то не того выпил и в полном отрубе лежит в палатке. Но поскольку он кашляет черным, нельзя его было сюда везти, этого фанатика-марсианина. Седова облегченно вздыхала и смотрела на взявшуюся паром водяную гладь. Птицы пели в соснах, как в филармонии. Надо же, упасть от приступа в тот момент, когда хотел женщину увезти! А когда приступов не было, отчего же не увез? Судьба, естественно, дала знак... Читали бы мы вовремя знаки эти!.. Вот такие бывают страсти на марсианских слетах. Потому что у людей психика слабая, вино и обстановка ударяют по шарам, и все летят с катушек. Богема – вещь технически сложная. Там один парень ушел к машине за пивом, а вернулся часа через три, сказав, что видел в лесу огни завода...

Домой Валенту довез бесплатно неизвестный мастер-ювелир, пожалев дурочку, которую обокрал сенбернар. Хотя возвращаться не хотелось, в душе гудела и завывала тоска отравленного навсегда человека. «Домой, –

бормотала Валя как заклинание, – домой немедленно». «Что ты все бормочешь?» – спрашивал мастер-ювелир, глядя на бабу в штормовке с плохо сдерживаемым смехом. – Ты не «хари-кришна-хари-рама»? – «Нет. Просто я видела марсиан» – «Ага, понятно».

Прошло лет пятнадцать. Все утихло. У Мити рос новый сын в новой семье. По городу навстречу Вале периодически попадался тоже марсианин – это был его старший сын, до капельки повторявший лицо самого Мити, даже его седую прядь. То есть все уже были старые, а Митя все тот же, двадцатилетний. Сын рос и у Инессы. Они очень подружились. «Почему ты больше не пишешь?» – приставала Седова, ставя чайник. – «Валентина, я писала стихи от горя, от печали... Но больше не могу, невыносимо вечно жить в печали. Устала страдать».

Седовой не пришлось долго искать студию, она сама нашлась. Валя ходила туда читать свои рассказы, а Инесса не ходила. Как жаль, как безумно жаль этого вчерашнего снега, с ним растаяло все-все...

Потом от него пришло письмо: «Вот моя повесть, – было приписано сверху. – Прочти и скажи, что с ней делать». Повесть была прекрасна. Если в шаманских баладах она путалась, то тут был и сюжет, и образы, и коллизия, и мягкая, ироничная интонация. Что-то вроде русского фэнтези. Бедная Седова была поражена. Это ей-то, пригостишке! Ему! Советоваться с ней! «Давай издадим малотиражно». И они сделали потом эту книжку «Маленький черный без сахара». Он приехал за тиражом, худой, с запавшими глазами, но веселый и шутливый, и она тогда не знала, что он уже не кашляет черным. Жена в очочках его выходила. У марсиан должны быть нормальные жены, не марсианки. Потому

что иначе никак не выжить. Потому что марсиане изначально немного больны.

А почему Валента пошла в кафе? Потому что боялась, как бы свекровь не сказала мужу про неясного побирושку. А может, боялась, что он попросит поискать сигареты в карманах мужа?

Съели по картошке «фри», чокнулись двумя пузатыми бутылками ненашего пива, больше не было ничего.

– Ну, как? – спросил Митя.

– А вы что, писали с ней в соавторстве?

– Да. А что?

– Стиль такой легкий. Обычно, если два автора, то видно разницу. А тут нет.

– Она же все понимает. Комашка, ну как?

– Неплохо для первого раза, – чему-то смеясь, ответила Седова. – Не останавливайся, продолжай...

– А как Инесса?

– Лучше всех. Бросила писать. Видимо, она счастлива... Она говорит, писала от горя. Сколько можно горевать.

Он помрачнел. Если бы он сам ее видел, так, наверное, не стал бы спрашивать. А может, и видел.

К тому времени у нее была уже книжка прозы. Но ему сказать об этом так и не смогла, не решилась. Это же небожитель.

Только настал все же день, когда она потеряла Митю навсегда. Нет-нет, он не умер. Он на фото такой великолепный, седой, в католической рясе и капюшоне, о. Она как раз опять ввязалась в очередную авантюру, стала собирать деньги на памятник знаменитому барду. Звонить, обрывать телефон, листать затрепанные телефонные книги уже стало ни к чему, она написала ему в контакте, мол, так и так, ты как марсианин знаешь нашего главного марсианина и должен помочь. Он пишет: «Как?» – «Морально и материально». – «Да ты знаешь,

какая сейчас зарплата у работников культуры?» – «Знаю, только моя еще меньше. Я имела в виду собирать». – «А вот хамить мне не надо». И занес ее в черный список, чтоб она даже сообщение ему не смогла отправить. Валента заплакала. Как же это могло быть?

Что стало, черт возьми, с человеком, если он забыл простой марсианский язык? Маленький черный без сахара? Сойди, наконец, с ума. Пиши и не останавливайся? Увезу ее, и пусть все летит к черту? А? Может, у него был приступ, налетел не вовремя, как тогда, на слете?

Ведь люди Седовой доверили деньги, тоже, значит, оторвали от детей, потому что знают – она не потратит их марсианские деньги на колбасу. А ей нужно уже начинать платить скульптору, который делает эскиз памятника. А сувенирку и книги она покупала на свои... Она плакала и прощалась с ним и со своей молодостью. Сева смотрел одобрительно. Он не признавал власть иллюзий нигде и никогда. Не жалко лоб разбить, но иллюзии надо выбрасывать, как старое народное барахло.

Однажды зашла Инесса и смущенно сказала: «Видно, я тоже с ума сошла. Ночь не спала. Написала рассказ». Инесса не шутила такими вещами.

НАСМЕШКА

Валента разволновалась. На Рождество к ней обещала заглянуть московская подруга Вишнякова, которая вообще-то жила в Германии, но пару раз в году оказывалась в Москве со своими просветительскими проектами. На фотографиях это была фееподобная дева в радикальных стрижках и немыслимых неясных одеждах. Однако город в лесах все же не Москва, надо было еще ехать десять часов на поезде... Значит, она приедет с кем-то! Этим кем-то могла быть Леля Булгакова, девушка с двойным русско-австрийским гражданством. Булгакова шутя училась в литинституте в Москве, шутя была замужем за австрийцем и шутя рассекала по стране на подержанном «мерсе». Где она брала деньги на жизнь – непонятно.

А могла быть Саня Сураз, француженка русского происхождения. А могла и Авдотья Сибиркина, сокращенно Додо, женщина из московской тусовки, не связанная работой, пропиской и семьей.

Вишнякова не имела средств, жила случайными подработками, но проводила громкие фесты, и ее все знали. Такую породу людей Валента, привязанная к казенной работе и к вечной кухне, очень хотела узнать и понять. Ну как они, как они всегда порхают по жизни, с мерцающими глазами, в нежных дубленках и тонком макияже? Ходят по зиме без шапок, тонкие волнистые пряди со лба раздувает ветер... Валентина так не умела. Она напяливала ватную шапку, которая, скрывая уши, доходила почти до носа. Какие уж тут волнистые пряди.

Трепеща от предчувствий, напекла коричневых коржей с какао, разделала пару цыплят, которых уже продавали без карточек, и залила их сухим красным вином... Вот-вот, рассвет зарозовел.

Утром, когда морозное сияние снега стало сильным, Валента с семьей двинулась в храм. Отношение Северина Седова к храму было ровное, но без фанатизма. Он предпочитал не демонстрировать роль веры в своей жизни. А вот дети. Как же их тяжело было сдерживать, просто борьба, кухтанье бесконечное. Краснощекие дети Седовы поглядывали исподлобья и службу стоять не хотели. Они ввинчивались в ряды плотно стоящих старушек, бесцеремонно заглядывали за Царские врата, вертелись у стола с пожертвованиями. «Сев, а вдруг они сопрут что-нибудь?» – «Ты лучше сама успокойся, не вертись. Забыла, куда пришла?» Сева был рассеянный и стоял на службе тихо, словно не присутствуя. Либо никакой веры нет, либо она безусловна. А Валенте надо было все разжевать...

Все же причастить детей удалось. Но не готовая к исповеди Валента чувствовала себя виноватой. Светлое легкое настроение улетучилось.

«Это потому, что ты стремишься все организовывать. Пусть идет как идет...»

Не успели они вернуться из церкви, как затрезвонил телефон. Дети убежали на улицу, Сева надел наушники, Валента намазала сливочным кремом коржи. В ободранной прихожей засияли неземные Нюша Вишнякова и Сибиркина. Вишнякова в дубленке с голой грудью, Додо Сибиркина в джинсах и полосатой тельняшке с одним спущенным плечом, и сверху стеклянная курточка. А в прихожей как раз на веревке висели майки и лифчики, поэтому гости засияли сквозь все это народное барахло. «Ай-яй-яй, Валентина, ну как же ты так?» Фелисата спряталась у себя в комнате, но будто вслух звучала укоризна. Цыпленка Валя изъяла из одной сковороды, вторую скрыла для семьи, ну, и чай с тортом, и по рюмочке. Валента тряслась, как на ревизии, но это были не просто девушки оттуда. Она даже не подозре-

вала, что ставить на стол вино с мясом можно, а вот чай и вино не очень. Тем более вино было дешевое, студенческое, рябина на коньяке. Со времени учебы убежало так много лет, и все изменилось. Но если тебя не учили разбираться в винах, и ты не имеешь достаточно практики, то да, получится такая вот рябина на коньяке.

После дежурных тостов Валента, напялившая выходную блузу с густой драпировкой, взяла гитару. Она думала: ну вот, по Цветаевой штук пять спою и ладно. Но ее понесло дальше, она ж никогда не могла остановиться вовремя. Сева, которого позвали к столу, сидел с чашкой чая, как Христос в наушниках, и за спиной его висела картина «Меломан» с человеком в наушниках. Нежные московские дамы улыбались все сильнее.

Дамы весело щебетали, что в Москве стало некуда пойти. Потому что появилось много новых поэтов без денег, но на их презентации ходить неинтересно, презентации без фуршетов. Надо везде иметь своих людей, которые сообщали бы график фуршетов заранее. С другой стороны, попасть на презентацию Татьяны Бек тоже интересно, хотя у нее никаких фуршетов, но сама она такое очарование. Они все говорили про какой-то винзавод, где появились новые залы и новые выставки, но там еще было не раскручено.

Песни по текстам Марины Ивановны, распеваемые для них, оказались горьки и для развлечения не подходящи. Валента, красная и тревожная, все пела и пела, закрыв глаза. Она села на своего конька, конек не выдержал и понес, так и провалилось все мероприятие.

Когда Сибиркина не выдержала и стала хохотать в голос, Валента вздрогнула и замолчала. Сева не выносил бардовскую песню, но здесь сидела Вишнякова, которая сама была и организатор, и бард. Для нее все. И вдруг это «ха-ха-ха». И вроде даже гордая Вишнякова смутилась, тронула Додо за руку.

– Ой, простите, простите меня. Но я не могу сдерживаться.

– А что, так плохо? – пробормотала огорошенная Валента, прижимая ладони к горящему лицу.

– Да это замечательно! Пытаюсь представить, что сказала бы Марина Ивановна.

– Вы думаете, мелодия ей не пришлась бы?

– Да при чем тут мелодия! Это же редкий случай! Дворянский слог плюс дворовость. Гремучая смесь!

– Так у нее есть тексты специально такие, для простых. «Говорила мне бабка лютая», например.

– Слышала, слышала. Ну, это же надо!

И Додо, с ассиметричной стрижкой и выбритыми висками, опять залилась неудержимым смехом, откидываясь на спинку дивана. И при каждом ее движении от нее шло амбрэ резких духов.

Валенту качнуло, как ударной волной. Она отставила гитару и стала есть торт из какао-коржей, не понимая его вкуса. Она сразу вспомнила юную журналистку, которая кривила на нее губки, вспомнила худого барда Митю, который уехал навсегда, и кое-что еще. Перед глазами всплыла памятная сценка в городе у моря, когда она, больная, пела цветаевские тексты, а ее неслушавшийся возлюбленный в зеленой рубашке сидел с друзьями тут же, попивал пиво и потешался. Ненормальная... Может, хватит позориться по белу свету? И гитару надо выбросить вообще. А то окаменела вся.

– Спасибо вам, девочки, – хрипло сказала она вдруг с полным ртом, – за комментарии. Вы сходите к храму на площади. А то мне еще детей надо кормить.

Хотя никаких детей не было в комнате, они бегали на улице.

– Успокойся, Валя, – подняла руку с бокалом смелая Вишнякова. – Что ты так сразу? Ты нас развлекла, мы это оценили. С Рождеством.

– Да-да... С праздником... – Валента деревянно жевала, не поднимая глаз.

Северин, притворяясь глухим, все просекал. Он был далек от мысли обрывать Вишнякову, хотя не любил бардов. Весь этот выпендрей с тортами был ему чужд. Однако вмешиваться в дурную инициативу жены не мог. Любых гостей, кроме своих личных, он переживал, как стихийное бедствие.

Остановить Сибиркину, похожую на матроса без лифчика, так и не удалось. Вишнякова оказалась более тонкой, одела заливисто ржущую подружку и вывела на лестницу. С лестницы еще некоторое время доносились отзвуки того бурного веселья. Ну, подумаешь, девушка пригубила винца, ее и смех разобрал. Просто признак того, что исполнительница где-то переборщила.

Как же позвать детей, для которых тоже должен быть праздник? Но хитрые дети, будто почуяв неладное, прибежали все вываленные в снегу и с ходу стали есть цыпленка руками из сковороды, капая соус на скатерть. Ели они неправильно, заедали мясо тортом, тоже хихикали, не обращая внимания на странное молчание в комнате. У Лели, Лени и Васи давно уже была своя жизнь, и они правильно делали, что не влезали в непонятное. Сева отнес Фелисате поднос с тарелочками. Валента допила бутылку одна и ушла реветь в ванную.

Вот и в клубе ее не хотят слушать, и посторонние люди подняли на смех. Значит, не интересно им. Но что-то тайное, упрямое, изнутри подсказывало ей, что петь надо, хотя бы для себя. Не надо никому ничего навязывать.

Она всегда ждала от людей слишком многого. Изначально доверяла всем. Но когда ее грубо утыкали, никак не могла опомниться. На другой день она не могла утерпеть и позвонила все-таки сестре Тоне. «Не плачь, глупенькая, – сказала сестра. – Я твои песни люблю. А ты никогда не разбиралась в людях».

Однажды на работе, а к тому времени Валентина Петровна уже несколько лет работала в библиотеке, подошел очередной женский праздник. И понадобилось предисловие к банкету. Столом занимался профком, почетными грамотами администрация, а вот предисловия не было. Что делать? Поискали бардов, но самые популярные были уж расписаны. Валю попросили: сделай балабню, то есть болтовню минут на пятнадцать, чтоб коллектив прочувствовал важность момента. А коллектив, естественно, женский.

Валя обнаружила, что из высокой поэзии хотят сделать гарниз, но выступать особо не стала. Она взяла несколько стихов Тушновой, подобрала к ним мелодии, кратко пересказала историю встречи Тушновой и Яшина, встречи до онеменья грешной и трагичной: «Незаконной любви незаконные дети, во грехе родились они – эти стихи». Почему Тушнова? Было-было подозрение, что окажется Валентина нежеланной в семье Седовых, а Северин уже стал ее сумасшедшей любовью, так что пришлось бы потом любить на расстоянии. И каждая строчка была понятна в страданиях Тушновой, особенно: «Гонит ветер туч лохматых клочья, снова наступили холода. И опять мы расстаемся молча, так, как расстаются навсегда». Их-то и пела Валента срывающимся от слез голосом в ванной, чтоб не донимать других... Что делать, если ее, Вероникина любовь, пришла на излете молодости? Что делать, если жизнь уже сложилась как сложилась? Что делать, если любимый человек не свободен? Запретить себе любить? Невозможно. Расстаться – равносильно смерти. Но они расстались. Так решил он. А ей ничего не оставалось, как подчиниться. Началась черная полоса в ее жизни, полоса отчаяния и боли. Дети, господи! Из-за них ее оставил, и тогда она умерла.

«Я прощаюсь с тобою. У последней черты... С настоящей любовью, может, встретишься ты. Пусть иная, родная, та, с которою – рай, все равно заклинаю: вспоминай! вспоминай!» Валентина о себе-то не думала, только о Тушновой, и вот, все пролетело быстро и жарко. Потом начался звон бокалов, но ее-то слушали со светлой головой, и всех проняло. И все стали говорить: «А что ж мы раньше-то этого не знали? Валя, правда, не знали!»

Потом она созвала в библиотеку несколько бардов, и стала там «Гитара по кругу». Там и только там Валя пела во весь голос. И никто не навел ей цензуру: свое она поет или чужое. Для нее чужого не было. И уж если какой текст к ней пристал, так он и не был уже чужим.

ЛИНИЯ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Приехали сестры Дуня и Даля, почти одновременно, только с разных концов страны. Дуня – круглая, ясно-ликая, волос русый, голос низкий, походка вперевалочку. С ней сыновья: мальчик лет десяти и годовалый пацанчик. Даля – стройная, подвижная, черненькая, прическа, как в театр, голос звонкий, одета модно, несколько лет жила с мужем в ГДР, и мальчик – лет четырнадцать. Сыновья хмуро посмотрели друг на друга, не зная, чем заняться. Их после завтрака отправили за мороженым. Сестры непрерывно говорили, тараторили, у каждой скопились новости, поскольку виделись редко. Они то шелестели на кухне, пили чай, ставили тесто, то переходили в комнату Фелисаты и жужжали там.

«Мама, блинчик». – «Мама, чайку». – «Мама, а вот тебе новый халатик...»

Дуня готовила начинку для беляшей. При этом младшенький у нее с рук не слезал, так что она все делала одной рукой. Даля тут же начала прибираться в кухонном шкафу, выбрасывая старые клееночки и газетные подстилочки. Мыла шкафчик и посуду, отрезая от новой, специально купленной клеенки аккуратные кусочки и застилая ими полки. Видя это, смущалась Валента до невозможности. Немудреное дело, но почему до него руки никак не доходили? Так сестры давали ей уроки.

И еще они, помня Северина малым ребенком, все время его обнимали, целовали и совали в рот сладкие кусочки.

– Сева, не хочешь попробовать копченого угря? Такой деликатес.

Северин Алексеич улыбался, жуя.

– Сева, а вот тебе новая рубашечка, примерь.

Он, жуя, шел примерять.

Еще увидела Валента, уходя на работу, странную картину. Дуня построила домик из кусочков дорожной колбасы и по кирпичику складывала ребенку в ротик. А она, Валентина-то, имела в арсенале только каши...

Вечером торжественное выпекание блинчиков, к ним поданы сметана и крученые свежие помидоры с чесноком. Какая-то необозримая роскошь, плюс еще угорь, красная рыба, грибы жареные, которые Дуня везла замороженные из сибирских далей. Дети Седовы блинчики сразу признали, а про остальное спрашивали «что это, что это?» Никогда такой еды не видели. Нет, правда Леля видела один раз. Ей Фелисата покупала в ресторане черную икру, чтоб зубки росли.

А перед тем как эти блинчики, торжественно сложенные горкой на подносе, переехали на стол в большую комнату, они стояли на кухне, томясь под чистым полотенчиком. Валя гремела тарелками и чашками, Даля относилась. И вдруг что-то черное стрельнуло сверху. Это ошалевшие тараканы, нашароханные шумом-громом, долгим горением раскаленной духовки, стали падать с потолка. Мама родная, такой позор!.. Если они раньше проскакивали, можно было бы тапком, но тут пироги. А ударов полотенца не боялись они. Даля увидела, Сева увидел. «Кыш, негодные», – сказала Даля и оглянувшись, не идет ли Дуня. В общем, торжество было смазано. Валентина, будучи большой любительницей вкусенького, почти не ела.

После недельной побывки сестер она начала жестоко сражаться с тараканами. Но тараканы оказались невосприимчивы ко всем видам отрав. Они были не просто насекомые, а мутанты, бегающие с металлическим шорохом. Когда хозяйка заливали пол на ночь отравой, они просто прятались наверху. Потом сыпались оттуда, металлически звякая. Часть их пропадала, но малая часть. Оставался карбофос, но Фелисата его не разрешала. При малейшей попытке начать акцию истребления Фелисата

ложились в постель, обвязывала голову платком и шептала: «Быстрее умру, это лучше». Естественно, ее смерти не хотел никто, а звать бригаду дезинфекторов означало смерть, так как бабушку Фелисату девать было некуда.

В тот памятный всем приезд случилось еще одно происшествие. Сева и Даля решили поехать на волшебную гору, которая располагалась недалеко от монастыря. Поехали они с сыновьями – Дуниным Петей и Далиным Владом. С малышом Дуня, конечно, ехать не могла, но она надеялась, что Петя уж большой. Но комнатный Петя не мог идти быстро, путался в траве и в конце концов свалился в яму, правда, выбрался сам. Влад оказался походный ребенок, тут же начал удочку мастерить и вообще мотался по горе, как у себя во дворе. Он бросался в ледяную речную воду, прыгал у костра, как индеец. Даля была сама такая, а в это время Петя тихо сидел на берегу в черном пиджаке и морщился. Северин просил его снять жаркую одежду на солнцепеке – отказ. Осторожно спросил, не болит ли что – отказ отвечать. Когда Слава, Сева и Даля поймали несколько рыбешек для уха, вся гора огласилась индейским воплем «йо-хоо!» Пока варилась уха, приступили вплотную к Пете.

– Говори, что с тобой?

– Да ничего.

– А пиджак не снял почему? Тридцать градусов!

– Мне холодно.

Сева решил снять пиджак силой – Петя не дался.

Даля посмотрела на эту возню и сказала:

– У тебя то-то болит?

– Рука.

– С чего она заболела? Когда?

– Когда я упал в яму.

– Хорошо, мы вернемся домой и сразу поедem в больницу. И если там ничего нет, то ты нытик.

Стали уху есть – не стал Петя. Что такое? Северин решил пойти на поводу у племянника и подержал чашку с ухой. О, чудо – тот поел, держа ложку левой рукой!

А кругом был речной ветерок, шелест травы и крики чаек. Такое раздолье. Проходящий по реке пароход поднимал сильную волну, которая с уханьем била в берег. Суровая природа, на которую не наглядеться! Но искаженное, бледное лицо Пети всех смущало.

С последним автобусом вернулись в город и направились в травмпункт. Высидели длинную очередь. Ребенка осмотрели, рентген сделали.

– Гипс? – не поверил глазам Северин Алексеич. – Вы накладываете гипс. Но почему?

– Потому что у мальчика закрытый перелом правой руки. Документы есть?

– Нет, они дома. Мы были за городом и вот...

– Завтра привезете. У него отек. Надо было сразу обратиться. Зачем ждали до вечера?

Домой компания завалилась уже часам к девяти.

Дуня укладывала младшего, а укладывала долго, с песнями, сказками, а когда вышла на кухню, чуть не упала. Даля плакала над Петей:

– Мы думали, он нытик, а он терпел боль столько часов.

Дуня загорелась от гордости, потом тихо погладила сына по голове.

– Надо обязательно Викентию рассказать.

При сестрах Севы всплыли не только тараканы. Был еще невидимый фронт, который проходил через диваны и кровати. Простыни были все в точках. Стирка, как издевательство. Северин дождался лета. Отвез всю семью туда же, на дачу, сам же включил огнемёт с применением карбофоса. Оба фронта он закрыл, но сам после этой

акции долго кашлял, обжег легкие. Это был только один из подвигов Северина Алексеича, совершенных им ради семьи. А как еще? Внизу на первом этаже имелось кафе и магазин, попробуй с этим поборись...

Утро в квартире Седовых. Первым встал Северин. Он пошастал, позвякал по ванной комнате, умылся-побрился, походил по прихожей, почистил щеткой брюки или джинсы, отыскал легкий серый свитер и рубашу под низ. В это время на кухню пришла мать Фелисата, поставила чайник, сделала сыночке омлет с ветчиной или колбасой, если вообще было с чем, а не было – так с кашей или жареной капустой. Северин выпил чай и смотался на работу. В это время в детской начался шухер, Валентина будила детей, сама толком еще не проснувшись. Дети, видя, что мама ходит с закрытыми глазами, тут же стали бросаться подушкам и колготками. Наконец, вся одежда напялена, запасные майки, трусенки и колготы отложены и сунуты в пакетик. Все выбежали с топотом! «И море – всем топотом, и ветви – всем ропотом, и всем своим опытом – пес на цепи, а я тебе – шёпотом, потом – полушёпотом, потом – уже молча: «Любимая, спи...» Слова вертелись у Валенты в голове, и в таких случаях она обычно бежала в ванную комнату подбирать мелодию на гитаре, но утром, утром никак. До работы два часа, за это время нужно сварить суп, собраться и ехать на двух автобусах. Пока Валентина металась по кухне, Фелисата пила чай, общалась и вздыхала: «Да-а... Были у Северина девушки не чета тебе... С английским языком, с сигаретками душистыми, в сапожках выше колен. А ты – ну просто наказание. И что он нашел в тебе? Посмотри в зеркало. И ты хотя бы ценила эту милость судьбы, отвечала бы кротостью. Так нет, еще гонор показывать... Мой сын – это лоб мыслителя, пальцы музыканта, ноги бегуна!»

Вначале она обращалась к Валентине как к присутствующей, а потом переходила на третье лицо. Это страшно нервировало. Будто Валентина растворялась и исчезала. Типа – уходишь на работу и уходи. Фелисата и как пожилой человек и как представитель благородного сословия плохо переносила шум и крик, особенно детский.

Однажды, второпях, Валента мыла пол под столом, а дети с интересом смотрели на ее пятую точку, торчащую из-под стола. Смотрели, посмеивались, потом взяли и укололи ее спицей. Она закричала от неожиданности, дернулась и стукнулась об стол снизу. Дети с визгом убежали к Фелисате. Потом, успокоившись, она их расспрашивала – зачем, зачем вы это сделали? А низачем, попа круглая очень.

Стоило шлепнуть детей за просыпанную крупу, Фелисата выбегала в наброшенных платках и бросалась на колени: «Умоляю! Меня ударь! Не их...» «Тьфу!» – кидалась в сторону Валента и бежала в свою комнату ругаться. Поскольку при свекрови нельзя было говорить грубых слов, то приходилось материться в шкаф. И не раз это было. Проругаешься, проревешься – так оно и дышать проще. Ведь надо было вытереть опухшие глаза и на кухню выйти. А там она сидит, молится: «...крест мой тяжкий дай вынести мне». Кто чей крест, конечно... Вечером приходил Северин Алексеич и тихо посылал просить прощения. Причем, встав на колени и понутив голову. Это называлось «привычка к смирению». Про себя удивлялся: «Чего ей не хватает? Не может без мамы? Почему мама такая кроткая, а жена все рыдает? Странно». Он пожимал плечами и надеялся, что все утрясется. На всякий случай предупредил, что бить кроvinочек нельзя.

«Понимаешь, ты выросла при жестких родителях, и это стало твоим опытом. Видимо, они тебя не любили, если все время наказывали. А я вырос в любви и ласке.

Я был долгожданным ребенком, меня баловали. И это стало моим опытом. Этот опыт более правильный, потому что более гуманный».

Дети Леля и Леня быстро раскусили технологию любви и чуть что, кричали: «Только попробуй! Мы скажем папе, что нас наказали, и у мамы любви нету!» И мама опять шла к шкафу и высказывалась. Она могла поговорить по телефону с сестрой, но у той было наоборот – их отец мог детям ремня дать, а сестра Тоня – не давала. Так она обожала своих девочек, так их холила и нежила, что ремень ей просто не приходил в голову.

Но история со шкафом имела продолжение. Не сразу, конечно, но лет через несколько суть явления стала очевидной. Потому что сущность проявила себя... В отличие от кошек она была невидима.

Это пришло тихо, без спроса, но не замечать это было уже нельзя. Потому что запах гниения и тлена возник ниоткуда и стал душить всех. Сначала доставали освежители. Запах усиливался. Потом передвинули всю мебель в другие комнаты и покрасили пол. Через неделю все началось снова.

– Сев! Давай полы вскроем.

– Опять таскать мебель? Но это безумие. Зачем?

– У нас на работе однажды кошка умерла в вытяжке.

А сантехник пил. Пришлось мне доставать со стремянки. Все выбежали на улицу, пока я ее выносила. Знаю я этот запах.

– Да откуда же кошка под полом?

– Может, не кошка. Может, крыса.

Очередное воскресенье пошло коту под хвост. Мебель вынесли, пол взломали. Это надо только удивляться, что Северин Алексеич, интеллигентный человек, так решительно работал гвоздодером и топором. По всей квартире пошел стук и хряск. Однако никакой крысы там не оказалось. Они стояли красные, тяжело дышали, вытирали лбы.

– Я прошу показать мне крысу.
– Не могу. Не вижу крысу.
– Вот и я не вижу. Все забиваю обратно. Доски подавай.

– Так я не нарочно.
– Оправдание есть. Объяснения нет.

Все забили обратно. Спали вповалку в соседней комнате. Окна держали открытыми. Через пару дней вонь пришла снова, еще более страшная, чем прежде. Валента замолчала, противясь воспоминаниям о кошках на променаде, ну когда они ходили туда-сюда в пиджаках.... У нее уже был шанс сойти с ума. Хватит этого.

Из шкафа стали пропадать самые любимые и нужные футболки и полотенца. Дальняя вагонная комнатка, до предела забитая мебелью, становилась опасной. Мальчики и девочка подрастали, и родители все перегородили, чтобы у каждого появился свой угол. Мальчик Леня ложился поздно. Он подолгу сидел за компьютером. Размещался Леня на раскладном старом кресле в большой тесноте: ноги под стол, а головой в стенной шкаф. Как только он выключал свет, и все заливала тьма, в темноте его дергали за волосы. И он остригся наголо. Без объяснений. «Мам, там кто-то в шкафу». – «Это нервы, сынок. Кошмары снятся. Меньше за ящиком сиди».

Девочка Леля как-то проснулась со следами лапок на лбу, будто птичка наследила на снегу. «Мам, что это? Кто наследил?» Лапки не проходили три дня, потом проявились новые, на шее. И Валента металась по дому и терялась в догадках. Тем более что Васю темные силы не трогали. Однажды Леня закричал и позвал всех. Кот, взобравшись на его компьютер, ошетинился и шипел в угол. Угол едва заметно рябил, как будто воздух над костром. Тихо и душно. Запах сероводорода и страха.

Гнилой зловонный дух по вечерам становился особенно резким. Дети жаловались, что не могут спать. Открытые настежь окна не помогали. Чуть продует – и снова наливалась комната смрадом. «Плохая зона, – пожал плечами отец Северин. – Надо проверить на волновом уровне». И уехал по срочным делам.

И вот Валента, собираясь к детям проверять уроки, влетела и остолбенела – потерянное давным-давно салатовое полотенце спокойно висело у стенного шкафа. Ничего особенного, если не считать, что там не было дверей. Родители сами сняли эти двери, чтобы втиснуть кресло. Кот жался к ногам, изредка искрил шерстью.

– Мы не будем, не будем спать в этой комнате!

– А где еще? Больше нигде!

Столбняк. Молчание. Что-то надо было сделать, но что, как? Валентина почему-то вспомнила давние бабушкины обиды и крики. И приглушенный приказ «встать на колени». Как во сне она опускалась тогда на колени, понутив голову, не зная своей вины. Не понимая ничего. Но какая разница? Важно быть покорной. Так только для виду смирялась она, молодая мать, а потом, выбегая с плачем, ругалась втихомолку вот в этот стенной шкаф. Ругалась-то грязно, со всеми завитками общежитского подавленного гонора. Ах, этот гонор. Нужно смирение... Так вот оно что... Сестра однажды обронила: «А и так грязно в мире, а мы его еще и засоряем. Оно ж все словесное – материально. А ты – бранишься, раздражает тебя... Нужды нет...»

И Валентина Петровна, содрогнувшись, поняла причину сущности. Она сама породила сущность, своими же словами. И теперь сущность мучает ни в чем не повинных детей. Она пошла, взяла бабушкин молитвослов и с бешено бьющимся сердцем стала читать такие привычные, такие утешительно-спокойные слова. «Отягчен сном уныния, помрачаюся прелестью греховною... Но

ты даруй ми утро покаяния, просвещая очи бессмысленные, Христе Боже, просвещение души моя, спаси мя...» А куда кидаться за защитой, если больше некуда? А больше некуда... А потом Валента свечи зажжет и обойдет все углы, но это уже завтра... Сегодня и так страшно.

Голос ее скрипел, срывался, но молитвы шли одна за другой. Уже затих весь дом и вся тесная квартирка Седовых. Уже заснул у ног ее кот, уже задремали поверх одеял хрупкая девочка Леля и коренастый бритый мальчик Леня, в обнимку с черноголовым названным братом Васей, уже радио на кухне пробило курантами, за окном потрескивала зимняя волшебная ночь, а она все читала, смаргивая непрошенные неудержимые слезы, точно попав в какую-то сильную несущую струю. Господи, прости... Будто шла она по дну реки, оступаясь и надеясь неизвестно на что. Наверно, на то, что у реки есть берега.

«АЗИАТИК»

Ну и вечеринка была! Таких сто лет не бывало. Еды, как на грех, не оказалось, да о ней никто и не вспомнил в шуме и громе. Валино слабое сознание не могло привыкнуть к такому, ей казалось, должны быть тарелки, вилки и хотя бы какие-нибудь бедные салаты. Но Северин закатывался от смеха и грозил ей: «Не надо портить мне человеческое общение! Когда люди тщательно пережевывают нарубленные салаты, то у них вся кровь приливает к желудку, а голова бездействует». Валя пожимала плечами, со страхом представляя общение у пустого стола. Но гости прибегали в разбивку, приносили разрозненные бутылки пива, а некоторые – лещей. Посредине стола расстелили живенько несколько газет и стали бросать туда шелуху от лещей, рыбы головы, пустые пачки от сигарет и вчерашние билеты. Куча получилась довольно высокая, и если кто-то не мог разглядеть собеседника напротив, он ладонью делал в куче проем. Пьянкой это нельзя было назвать, потому что питья было мало, а народу много. Народ менялся местами, корчил друг другу рожи и смеялся неведь чему.

Потом пришел Ли Си-Цын. Такое странное имя он получил благодаря своей азиатской внешности. К этой внешности очень подходила цивильная одежда из бутика и огромная связка ключей, которыми он солидно позвякивал. Этим самым он хотел сказать, что при нем находятся ключи не только от дома, но и от гаражей, скорее всего, отцовых, а также от офисов, скорее всего, братовых. А все остальные, у которых было по одному ключу, должны были понимать, кто перед ними. Сестры-близняшки, которые попали в компанию благодаря давним и темным связям с Болгарией, компанию очень украшали, особенно если учесть, что они были не замужем и за ними можно было ухлестнуть. Правда, этого никто не делал, чтобы выглядеть на высоте. Но Ли Си-

Цын не любил легких путей и предпочитал ухлестывать за труднодоступными женщинами. Северин ему так и говорил, когда видел, что человек зарывается: «Дружок, почему тебе так нравятся чужие жены?» На что дружок отвечал загадочной азиатской улыбкой.

Часам к девяти вечера, когда дети Леня с Васей и Леля окончательно расшумелись и разбушевались, Валя рухнула на диван и стала тереть лоб.

– Не знаю, что с вами делать, – сказала она растерянно, – кормить я вас уже кормила... Попить, что ли, дать?

– Не надо нам попить, – звонко крикнула Леля. – Нам надо лошадку! Как на карусели.

– Сейчас я дам вам лошадку! – грозно сдвинул брови Северин. – Вы у меня сейчас как лошадки поскачете в кровать.

– А ну не строжите малышей! – отозвалась старшая близняшка. – В Японии до пяти лет не говорят детям «нет».

– Да уже есть пять лет, – возразила Валя.

Близняшки не послушались. Каждая посадила себе на спину по ребенку, и они пошли себе на четвереньках в разные комнаты. Наездники, встречаясь в прихожей, оглушительно гикали. Все смеялись, как ненормальные. Часов в одиннадцать Ли Си-Цын опять засобирился домой и стал искать ключи. Он перерыл все карманы, но ключи не нашел. Бредущая из кухни Валя, которая несла в руках две чашки с кефиром для детей, с изумлением посмотрела на роющихся в очистках гостей:

– А что это вы там ищете?

– Ключи! – гаркнули все. – Ли Си-Цын потерял.

– Так ведь я уже выбросила все, сами видите, кучи больше нет.

– Как выбросила? Куда? – чопорного Ли Си-Цына так и перекосило всего.

– В мусорное ведро, конечно.

Встревоженный Северин пошуровал за диваном и расстелил в прихожей чертежи бывших курсовиков. Потом высыпал на них объемную мусорку, и поиски возобновились. Когда Валя вышла из детской, устав укладывать детей, она обнаружила ту же самую картину.

– Безобразия, – сказала она. – Дети не хотят спать, требуют продолжения «лошадок» и чтобы я уехала, а они чтобы хорошо тут жили с папой и тетями с папиной работы.

Вот такие выводы невольно делаешь в двенадцать часов ночи. Сестры-близняшки резко засобирались домой. Северину пришлось идти их провожать, и тут вдруг Ли Си-Цын достал из чьих-то ботинок свои ключи. Или они туда просто упали, или их туда специально спрятали – этого уже никто не узнал. Все стали гурьбой выходить, причем сестры как-то очень жестко объяснили Ли Си-Цыну, что он плохой человек. Валя с ужасом смотрела на разгром, который получился на чертежах, на столе и на башне бутылок во всех углах. Она даже не знала, куда это все сложить по-быстрому. В дверь позвонили. Там стоял тот же самый Ли Си-Цын

– Я у вас еще кое-что забыл, – сказал он, усмехаясь.

– А что? Еще одну связку ключей? Лучше бы помог мне прибраться.

– Когда меня просит женщина, я не в силах ей отказать, – и понес на мусорку первое ведро, потом коробку, потом сетку и снова ведро.

– Мне кажется, это уже не наши очистки, – пробурчал он.

– Молчи! Ты сам устроил эту заваруху с ключами, поэтому должен как-то иметь совесть.

– Ах, вы бедная, досталось вам...

– Сейчас тебе тоже достанется!

И тут он стал целоваться. Целовался он хорошо, он знал, как не напугать женщину, как ее раскачать, и вообще, оказался большим искусником. Валя подумала,

что на нее налетел вихрь неведомый, и что вот она прямо из прихожей уплывает на лодке в туманную даль под сень струй.

– Однако же, ты коварен! – прошептала она, изображая сопротивление.

– Еще как коварен! – воскликнул входящий в дверь Северин. – Чем это вы тут занимаетесь? Ключи, что ли, ищите? До сих пор? Дружок, ты ведь ушел с нами вместе, когда ты успел так раздвоиться?

В ответ раздалось молчание. Ситуация была столь же банальная, сколь и убийственная.

– Видите ли, Северин Алексеевич, – с трудом обрел дар речи азиатский человек, – сочувствуя бедной женщине, которая... Я должен был... и так далее.

– Ну что было далее, это мы видим, а теперь спокойной ночи.

И цивильный господин Ли Си-Цын плавно, но стремительно выплыл на своей лодке на лестницу.

– Что это ты вдруг? – удивилась Валентина. – Первый раз вижу великого Северина в припадке ревности. Ты же выше этого!

– У тебя губы слишком распухли, это вообще!

Он избегал резких оценок. Чаще всего употреблял понятия общеизвестные, обозначив которые, можно было сразу догадаться, о чем речь! И тоже стал целоваться. Удивительно, как женщины всегда мечтают, чтобы за ними приударили, и как они сразу теряются, когда это происходит. Вале показалось, что все это жуткое стечение обстоятельств – и ключи, и дети на лошадках, и то, что Ли Си-Цын вернулся, и то, что вслед за этим вернулся Северин. Она не успела ничего сказать, чтобы оправдаться, не успела даже понять, как это все произошло. Она тормозила от ужасной свинцовой усталости, ей хотелось, чтобы все побыстрее ушли, и она юркнула в постель, но нет, случилось не одно ухлестывание, а даже два. Именно в тот вечер, когда она была

совершенно не прибрана, не покрашена, в старом линиялом халатике, и вообще... После второго ребенка она слишком сильно поправилась, нет у такой женщины шансов.

Тем временем она оказалась на диване, и муж уже задрал все, что можно, и в довершение порвал лифчик... Нет, она не сопротивлялась, но по какому-то негласному соглашению он всегда шутливо спрашивал ее, а тут все произошло слишком быстро, дико и грубо. Возможно, месть за украденный поцелуй, а там черт его знает, что это было.

Когда через пару недель она потащилась к докторице, та весело подмигнула ей и сказала:

– Ну что ж, будем рожать!

Валя заледенела вся.

– Я бы не хотела, понимаете. У меня такие обстоятельства, что я никак, ну никак не могу сейчас.

– Что значит не могу? Через не могу. У вас сколько аборт было?

– Не было, не было.

– Ну, хорошо, а беременностей сколько?

– Карту читайте! – огрызнулась пациентка, слезая с кресла. – Беременностей две, детей двое, нет, трое, вон они, дерутся на крыльце. Да не пугайтесь, один приемный.

– А это что такое? По мастопатии на учете стоите.

– Да, и операция была.

– Ну, так: не будете рожать, оно перейдет в кое-что другое. Вот вам направление на анализы, и идите себе, становитесь на учет.

Это были не направления на анализы, это были кирпичи, которые обрывали руки. Выйдя на крыльцо консультации, она приструнила детей, резко сократив количество демократических свобод на душу населения. И тут мимо по улице поехала свадебная церемония. До чего вовремя, просто на редкость. Белые авто с откры-

тым верхом, там жених и невеста, засыпанные цветами. Платье, как водопад. Громкая бальная музыка. Крики «Горько!» Фата невесты, которая развевалась, точно дым, на три метра. Вот как надо общую судьбу начинать, с песней! А она что? Не успеешь оглянуться, уже трое детей. Слезы сами полились по лицу Валенты, напомнив ей и свое недошитое платье покроя «принцесса», и похороны, и все, что пришлось пережить. Да, наверху распорядились оставить Валю без сладкого. Ну, значит, без сладкого.

И она побрела по улице, цепко держа Лелю и Леню с Васей за руки, а свадебная процессия уже была далеко впереди, только песня долетала, надсадно кружа голову: «Ах эта свадьба, свадьба пела и плясала... И крылья эту свадьбу вдаль несли...»

Муж это известие воспринял двояко: «Ладно, посмотрим, на кого будет похож. С одной стороны, третий ребенок – это рутина, а с другой стороны, у нас еще есть большие внутренние резервы». Валя была в ужасе, она ведь с таким трудом нашла действующее место работы, и ее еще не перевели в штат. Она все думала, почему не верит, неужели она, такая тихая, такая домашняя, была похожа на женщину легкого поведения? Да и сам Сева вроде бы всегда давал ей понять, что не относится к ней серьезно, а тут такие страсти, порванный лифчик, гнев по поводу бедного Ли Си-Цына.

Срок давался тяжело. Грудь начала болеть слишком рано, давление стало прыгать, анализы стали портиться. Перед декретом докторица сказала ей на приеме: «У вас, милочка, до сих пор кровь не сдана, и пока муж это не сделает, я вам декретный не подпишу. Вы же понимаете, правила есть правила, это только забота о вас, попытка избежать случайностей при родах. Ну, что же вы, милочка, не в первый же раз!» Было понятно, что фразу о двух беременностях, дерущихся на крыльце, она запомнила. А вот с Северином было ничего не понятно.

Что он хотел этим сказать? Ведь факт уже имеет место, и сделать ничего нельзя. Внешне он сохранял приличия, помогал стирать, носил тяжести, гулял с ребятами и весело объяснял им, что скоро у них будет еще один маленький. И они все его будут так любить...

Муж не пошел сдавать кровь. Он сказал, что кровь должны сдавать те, которые слишком часто роняют ключи. И тогда, тяжело вздохнув, она позвонила Ли Си-Цыну. Она, конечно, понимала, что у нее нет на это морального права, но что было делать? Декретные-то надо подписывать.

– Выручи меня, дружок, – сказала она в трубку приглушенным голосом. – Я ведь тебя ни в чем не обвиняю, я сама на тебя повелась, ты такой чудак, такой милый, но просто обстоятельства так сложились. Самое обидное, что Северин Алексеевич ни в какую не идет сдавать кровь, а в двух первых случаях это прошло без проблем...

– Валентина Петровна, вы что несете? Вы, часом, не рехнулись? – Ли Си-Цын никогда не был так эмоционален. – В чем меня можно обвинить? Вы еще скажите, что дети рождаются от поцелуев.

– Да нет. Я не хочу сказать, что дети рождаются от поцелуев, просто Северин налетел на меня тогда, как ястреб, ну и...

– Поищите дураков по другому телефону, – при дневном свете, без ключей Ли Си-Цын был гораздо более незатейлив, чем в тот памятный вечер.

– Ли Си-Цын, я тебя прошу, я в безвыходном положении. Ведь когда женщина просит, разве можно ей отказывать? Ты же добрый, ты, можно сказать, друг семьи.

– А сколько надо? – деловито уточнил Ли Си-Цын.

– Триста.

– Всемогущий аллах, да у меня всего ее столько!

Кровь он все-таки сдал, и Вале Седовой подписали декретный. И она успокоилась, стала шутить с Леней и Лелей и учить, как обращаться с маленьким. После больницы, в которой она лежала с Лениным отравлением, в семье стало на одного человека больше. Вот этот мальчик в их палате цыганенок Вася. Его никто не взял домой после выздоровления, и он проторчал там почти полгода. Частенько он начинал ныть, уткнувшись лбом в прутья кровати, и Леня неумело гладил его, суя игрушки. Валя стала бросать мужу нервные записки, что ей жалко, понимаешь, жалко пацана. И ей все говорили, что нельзя брать, цыгане найдут, так прирежут, а они всегда своих находят. Но Валентина, упертая женщина, не слушала. Ей если бы не отдали дитя, она бы заткнулась. Но она ходила по больнице и ревела. Леня, съевший упаковку клея «Момен», спустя неделю опомнился и вполне четко сидел на ручках... И гладил Валю по зареванному лицу. Вот так она приехала из больницы с Леней и Васей, и началось. Что было с Фелисатой, невозможно передать. Она стонала, вздыхала, что со своими детками и то не разобраться, зачем еще этот ужас. Что скажут дочки, что вообще люди скажут? Нищету собирать, еще чего не хватало. Сева сухо сказал, что она добрая за чужой счет, но документы делать помог.

В летний, невероятно жаркий день, когда Леня, Леля и Вася с Севой отправились на дачу, она задумчиво пекла блины. Ей дали поручение от бардовского клуба – принести блины к чаю, потому что наступает день рождения у одного из старожилов – Саши Волкова. Она напекла эту гору блинов, обернула полотенчиком и поплыла в клуб. Самой ей блинов не хотелось. Их дырчатый румяный вид и легкая оборочка по краям наводили на нее тоску. И вообще как-то ее качало. На собрании бардов, где блины расхватывались с ужасной

быстротой и как бы летали вокруг самовара, Валю стало кружить, и она поняла, что пора домой. «Да посиди еще, куда ты? Еще Поповы не пришли, Андреев пришел, а Кошкиной нет, рано еще...» – галдели ее друзья, уговаривая не торопиться. Но Валя заупрямилась и пошла. На улице полосовал страшнейший ливень. Сева с детьми пришел домой, когда тьма легла на мокрый город. Валя была уже в панике. Но когда они уложили детей, надо было уже сильно торопиться.

Один роддом был закрыт на профилактику, во второй они сами не захотели, в третий еле успели доехать. Дежурный врач перепугался, что воды отошли, и ей поставили стимуляцию. Всю ночь она прометалась в родилке с этой стимуляцией, которая действовала на нее как электрический ток, но, видимо, плохо действовала на ребенка. Безводный период угрожал его жизни. Всю ночь перед ней проходили страшные картины. По соседству на кровати мучилась юная роженица, и когда она выбилась из сил, ей дали снотворное. Во время ее сна ребенок пошел, и Валентина долго кричала, пытаясь позвать персонал, но персонал не шел, видимо, пил чай или еще там что. А когда прибежали все, ребенок был все еще жив, а мать уже нет.

– Что вы кричите, женщина? Мы ее откачаем! И не таких откачивали...

Юную мать откачали. В бредовом состоянии от бессонной ночи Валя родила сына.

– Ого! – сказал дежурный врач. – Какие брови! У вас муж-то русский?

– А то! – сказала хрипло Валентина. – Русее не бывает.

– Ой, согрешила девка! – погрозила пальцем акушерка.

Может быть, во младенчестве у Северина тоже были брови? Так или иначе, но персонал называл новорож-

денного сына не иначе, как азиатик. Это было необъяснимо. Позже, когда счет пошел на месяцы, а потом и на годы, схожесть Севы и сына Прохора стала очевидной, но эти брови всегда были камнем преткновения. «Вот видишь, – повторяла она. – Вылитый ты. А еще не хотел кровь сдавать». – «Как не хотел, я же сдал!» – «Сколько?» – «Сколько положено – триста. Это можно проверить». А сам гордый такой. Странно все это. Ли Си-Цын тоже сдавал кровь, хотя крутил пальцем у виска... Выходит, за третьего сыночка сдана была двойная норма.

Валентина его родила под давлением серьезных обстоятельств. Грудь у нее болела, и в консультации, прогнав ее через маммографию, предупредили, что диагностирована мастопатия. Которая может перейти сами знаете во что. Так роддом опять стал реальностью. А потом, когда Проша подрастал, ее без конца гоняли на эту маммографию, каждый год по два раза. В результате диагноз сняли, потому что сыночек не дал болезни развиваться. То есть он натурально спас от смерти глупую мамочку с ее запутанным анамнезом. Такое вот простое человеческое счастье, данное в подарок, бесплатно, безвозмездно. Переодевая Проше ползунки, она шептала: «Ах, ты мой спаситель. Архангел с небес. Блинчик с изюмом. Спасибо тебе, тюпочка». Сева предпочитал термин «патушка», но суть была одна и та же.

КОЛЧКИ И КУЧУГУРЫ

За окном плясали кусты, выпрыгивая из черной воды. Дорога вихлялась меж затопленных пустырей, и автобусные остановки в этих местах казались дикими. На одной остановке скамейка вообще завалилась назад и одним боком торчала вверх. Вдали, конечно, гудел машзавод, но у дороги в него не верилось. Сева представил, как на этой скамейке сидела компания с пивом, сидела и горланила в ночи, больше негде, а тут свет яркий... И как скамейка медленно погружалась в болотистую землю, но никто не замечал. Пускай скамейка погружалась не один год, но можно гиперболизировать, и будет все на глазах... Он улыбнулся. Он бы снял это в духе Хичкока. Но это потом.

А пока надо с полным рюкзаком дотащиться до дачи, чтобы на даче была еда. Мать его, Фелисата Петровна, спасалась на даче от жары и две недели не показывалась в городе. Да хорошо бы еще дети не подрались по дороге!

Но что делать, дети дрались даже у Толстого...

Он оглянулся. Дети на заднем сиденье автобуса молча и упорно толкались, задирая друг друга. Как только они ехали по одному, так их обязательно тошнило, а как только они вдвоем – никогда не тошнило. Но дрались энергично. С Лели упала соломенная шляпа с лентой, у Лени футболка съехала со спины вперед, а модельная стрижка встала дыбом.

– Не деритесь, – укорил их отец, вполголоса, не разжимая губ.

Дети не среагировали, а пассажиры в автобусе, конечно, все оглянулись и закачали головами. А другие качали головами от тряски, и получалось, что весь автобус молча возмущался. Он подошел, изъяс из клубка Лелю, оставив Леню одного на сиденье. Леня тут же сел

с кроссовками. А Леля прищурилась и завоображала – меня-то взяли, а тебя оставили!

Это был сокращенный вариант выезда на дачу. Жена Севы Валентина осталась дома с младшим годовалым простывшим сыном. Вася тоже, потому что он все время лип к ней и плохо привыкал к остальным. Если всех собрать в кучу, все было бы еще более шумно и нервно, ибо, успокаивая детей, жена сама заводилась и кричала больше других. Это все южная ее кровь. Главе семьи приходилось всех разводить по углам и держать тишину. Сначала он разводил по углам маму и жену. Потом маму, жену и детей. Потом оттаскивал детей друг от друга. Гуси, гуси...

...Пока Сева бросал шланг по огороду, при этом шланг, как живой извивался и дрожал от сильного напора воды, а затем быстро собирал новые огурцы в тепличке, в это время дети прыгали в бабушкиной кровати и весело визжали. Подушки-думочки валились на пол, с хлипкой стены сползали полочки и вышитые еще молодой Фелисатой салфеточки.

– Куколки, потише, – просила Фелисата Петровна, – вы меня растрясете, кто будет собирать. И голова разболится.

– Папа соберет! – смеялись дети. – Он инженер, он все собирает, починает.

И папа стал собирать столик и сажать их на лавочки, чтобы бабушка отдышалась и позавтракала любимыми лепешками-поливахами с огурчиком. На свежих огуречных разрезах выступала алмазная роса от крупинки соли.

– А попить? Дай попить! – галдели дети.

Для попить уже вскипятился на костре большой черный чайник, заварку добавляли прямо в кипяток и листики смородины и мяты...

– Не слаа-адко! – сказал Леня.

– Слаааа-адко! – тут же ответила Леля.

«Откуда у них такое соперничество? – удивлялся Северин. – Нас было трое в семье, и никто не мешал друг другу». Их было трое детей в семье, а он самый младший и любимый. А Валя на детей орет, потому что у нее в семье такого не было, чтоб человека все так любили. Валю в детстве секли ремнем, она не понимает... У Севы было на редкость счастливое детство, а это программирует всю дальнейшую жизнь. Он всегда был уверен, что счастья на земле мнооооо-го.

Песчаная отмель на речке, так называемый солдатский пляж, оказалась вся забита дачным народом. Северин нашел куций тенек и постелил пикейное одеяло так, чтобы видеть отмель.

– Ты, Леня, собирай в пакет консервные банки, чтобы мы не порезались, а ты, Леля, сорви мне вон те лопухи, я вам сделаю шапочки от солнца.

Он чувствовал – надо упорядочить население так, чтобы все были заняты. Леля сорвала лопухи, потом собрала банки, а Леня уже вовсю прыгал в воде. Батарейка у него такая, ничего не поделаешь. И только углубился Северин в созерцание вод, как захотелось ему самому окунуться. А для этого надо было переждать, пока выберутся из реки фиолетовые дети, посадить их на одеяло, дать яблочко и только потом ухнуть в сверкающую синюю рябь. Тело обожгла шипящая волна, и оно сразу стало горячим. Если снимать эту рябь на камеру с фильтром, то получится пляшущая аппликация на черном. Как если зажмуришься после солнца, и все кажется черным, один диск белый в глазах. Можно мультик в такой же технике сделать... На эту рябь хочется смотреть до бесконечности. Но берег!

Когда он вышел к своему знакомому теньку, на пикейном одеяле сидела мокрая лохматая собака и уютно брызгалась во все стороны. Поодаль стояли Леля и Леня

и восторженно таращились на захватчицу. Нападение врага их сплотило, и они не дрались.

– Пап, она долго так будет водой осыпать?

– Она чухмарится.

– Не чухмарится, а чешется. Что за слова?

– Это мамины слова, – ябедничали дети. – А мы еще знаем! Мотузка, нышпорки, вихоть! А еще она говорит – «обурела вся!» Ты знаешь, что значит «обурела»?

– Перестаньте, по-русски говорите. Вы русские люди или нет?

Но Сева сам, если честно, был не очень-то русский, поэтому к другим тоже не приставал.

К вечеру, когда Северин уже ошалел от усталости, ветра и солнца, от овощного супчика Фелисаты Петровны и детской беготни, ему пришла в голову хулиганская мысль – поспать. Ведь спать в дощатом домике за марлевым тенечком в продуваемой комнатке так хорошо. Заснули и дети. Но, поспав около часа, он так и остался в тупом сладком оцепенении, точно не вышел из сна окончательно. Севшее куда-то в малинник солнце, ветер и лохматые тучи, нагнавшие сумерки, мало чем отличались от смутного жаркого сна, где дети оказались взрослыми и они вместе были в разведке. «Старею?!» – машинально потянулся и замер Северин.

На остановке стояла туча людей с сумками, сеточками, ведрами и рюкзаками. Кто-то уже начал отвозить яблоки, кто – кабачки, кто – лук. Простояв порядочно времени в жаркой толпе, Северин как-то и не волновался, когда соседка по даче вздохнула и вдруг повернула обратно к аллейке:

– Не пойдет нынче автобус. Забастовка, говорят. Фелисата ночует?

– Да. Но нам это никак. Нам в садик...

– Так ловите такси. Яблоки-то мои подождут. В такое побоище не поеду.

Северин устремился за соседкой, цепко держа за руки притихших детей, на которых ветер яростно трепал легкую одежку. Фелисата о чем-то кричала из теплички, типа, надень им старые кофточки, но он достал с чердака старый велик и, подкачав колеса, долго смотрел на скрученный давно багажник. И сам же скрутил, чтобы капусту не заставляли возить! А теперь... А теперь он строго велел детям:

– Повезу по очереди. Один бежит, другой едет. Потом наоборот.

Они смотрели глазами и ушами. Они не поняли – это было понятно. Ну, как-нибудь! До дому-то добираться надо.

Накрапывало. Северин старался не думать, какая это была душераздирающая картина со стороны: он везет мальчика на раме, а девочка бежит по обочине сзади, и соломенная шляпа бьет ее по затылку. А у него перед глазами снова прыгали кусты, только медленнее, чем утром...

Они успели поменяться уже раза три, когда ливануло. Северин, чувствуя, что его длинные волосы совсем намокли и по ним бегут за шиворот ручьи, попытался встать под навес передохнуть. Это была та самая остановка с покосившейся на один бок широкой скамьей. Дочь и сын во время этого забега забрызгались по пояс, от этого горе-отец испытал мучительное колотье в груди. Вокруг толкались те же самые люди, что на конечной, и даже соседка по даче в клетчатом плащике. Дождь не собирался останавливаться, автобус не собирался приходить. Мокрые дачники гомонили, стоял сплошной тревожный гул. Ну, просто война какая-то. Тем временем темнеть стало!

– Половину проехали, – пробормотал Северин Алексейч. – Давайте дальше. Чья очередь ехать?

– Его, – сказала волевая Леля и выскочила вперед, прямо под ливень.

– Девочка, ты куда?

– А ну стой, – отозвался рядом оборванный мужик, – я тоже на велике. Отец, ты докуда? До старого рынка? Давай подвезу хоть одного, а? От конечной еду за вами. Это ж крандец полный – смотреть на вас.

– Кто-кто? – спросила Леля.

– Садись, Леля, – велел Северин. – Ты вся уже замерзла.

Леля, не оглядываясь, взобралась на велосипедную раму к подозрительному мужику и вцепилась в руль. Было видно, что дождя она уже не боялась, боялась другого. Так они и поехали. Все как-то мелькало перед глазами, дождь заливал лицо и попадал в глаза.

Северин Алексеич старался не смотреть часто через дорогу, где ехал мужик. Стало совсем скользко ехать, колеса стертые, он пытался выруливать на траву... Сначала мужик ехал чуть позади, потом, видно, пошли мощенные плитами дорожки, и он сильно стал обгонять. Северин прибавил, но у него на дорожке была галька насыпная, а по колчкам быстро не поедешь. «Колчки и кучугуры, – задыхаясь подумал Северин, – надо же, так попались». Они с Леней подскакивали на велосипеде, как мячи, даже зубы чакали.

– Леня, ты хорошо сидишь?

– Нет, плохо. Давай пересядем, я ногу отсидел...

Спешились, воду с лица вытерли носовым платком. А Фелисата Петровна, наверно, спит в домике, лампу керосиновую зажгла... А что делает Валя? Покормила мелкого и картошку всем наварила?.. Васю уложила... Волнуется уже, наверное. Наверное...

И вдруг сильная боль ударила под ребра. Мужика уже не было видно! Мужик оборванный, к которому села Леля на раму! Где он? Впереди была только сизая

стена дождя, бесконечные пузыри по лужам и редкие сторбленные фигуры дачников, переползающие через железнодорожные пути. Ужас...

Вскочив на велик, он, приклонясь к сынишке, погнал как можно быстрее. Он даже не спросил, как зовут мужика. Ну, как ребенка-то увез, а?.. Мимо проплыл один переезд, заворотка, стена, разрисованная панками, – «панки хой!», а второй переезд оказался закрыт. Громыхал состав с бревнами, колотилось сердце. И почему-то сердце отпустило, точно сбросили с калитки щеколду. Он сейчас ничего не мог. В нем занемело все.

Столько случаев страшных в этом году! А он, как дурак, согласился! Повелся на доброе слово!

Второй переезд пересек уже пешком, везя велосипед с сыном на раме рядом. Северина уже трясло.

– Папа, ты замерз? – спросил Леня.

Добрый мальчик. Такого папу надо бы вообще... «А в этом году Леля только пошла бы в школу!» – мелькнула болезненная мысль. Но это и не мысль была, а так, отзвук. А еще говорят, дочки, на отцов похожие, – счастливые. А она вся в него пошла – тонкокостная, хрупкая, то же лицо продолговатое, иконное, с высоким лбищем интеллигенции, только темненькая – в маму. И имя он сам ей выбрал – княжна Леля. Это Леня, скорее, в маму...

Обреченно кончалась тяжелая дорога. Как по этапу проехал Северин по широкому проспекту перед старым рынком, уже не сторонясь ни машин, ни луж. Мучительно искал глазами – нет! Не видно оборванного мужика. Увез, ворюга. Надо заявить, вот где тут у них линейный отдел? У кого – «у них», он уже не понимал.

Пропала девочка, семи лет, но маленькая ростом, в джинсовом платье, соломенной шляпе... Вот когда в роддом-то пришел тогда, так и написал в записке – Леля, потому что Ольга была в голове. Его старая любовь. И дома сразу шнурочком повязал ее темные волосы...

- Папа! – завопил Ленья. – Леля!
- Где? – очнулся Северин Алексеич. – Где?!
- Да вон она, вон! В синем домике!

Под синим навесом с надписью «Балтика» действительно сидела за столиком Леля в облепившем ее джинсовом платье, как мокрая курица, и скучно ела мороженое. А рядом сидел тот самый оборванный мужик.

– А-аа! – продолжал вопить Ленья. – Мне тоже надо! Все это, что у нее! И дядьку, и мороженое. А потом снова быстро ехать! К мамике!

Надо же. Никто не вспомнил в такой суматохе, а он вспомнил... Вот ведь.

Северин, как во сне, подбежал, схватил лапушку, смутился, тут же посадил обратно.

– Ты как? Цела?

– Фу-фу, – сказала Леля, – ну ты и мокрый, мокрее меня.

– Испугалась?

– Сам испугался, – ответила Леля гордо, – мы разговаривали.

– Никак, нашарохался? – оборванный мужик дружелюбно растянул беззубый рот и поставил кружку с пивом. – А я смотрю – куды подевался папаша? Што ли, не успел до переезда?

– Да. Нет, не успел...

– Поняяа-атно. Да я те говорил, не едь по той стороне, там таки кучугуры. Пива хошь?

– Нет! – громко и бодро сказал Северин. – Сам тебе возьму... Вот кружечка. На, Ленья, мороженое, держи, это тебе. А тебе, Леля, хватит. И побежали! Спасибо, товарищ! Как зовут-то?

– Олег Иваныч, – неожиданным басом отозвался беззубый.

– Увидимся на конечной, Олег Иваныч. Спасибо!

И они пошли дружно, торопясь, но не толкаясь, поглядывая один на другого с еле сдерживаемым восторгом. Дождь почти кончился. Черные тротуары исходили паром, с мокрых деревьев сыпалась вода. Теперь отец шел не то что в забытии, а, наоборот, в таком незащищенно-радостном состоянии, как будто без одежды. Тело стремительно тяжелело, а дух был легким и словно летел впереди. Он чуть да не лишился того, без чего невозможно жить. А совсем недавно ничего этого не было, он был юн и свободен, и ничем больше он не ощутил бы своего нового положения. Прирастание к новым маленьким людям, ко всему земному шару, оставшемуся в забастовку под дождем и без крова... В подсвеченных витринах параллельно им бежали вокруг велосипедов мужчины в мокрых джинсах с длинными волосами с ободком, и дети – девочки в джинсе постарше и мальчики в футболках «рибок» – помладше. Этот бег точно надо снять замедленно, с тенями, в духе Хичкока, чтобы тени были гораздо больше людей, зыбкие и пугающие... И чтобы все качалось и прыгало.

ДЕДЫ И ДОЛГИ

Когда-то молоденькая Тоня, сестра Валентины, пришла жить в дом мужа Антона, в котором он обитал с дедом Гошей и бабой Надей. Тонкая тростиночка с испугом смотрела на неровные бугристые стены и на сидящих на кроватях дедов. Первое, что запомнилось Тонечке – песок, который сеялся с потолка в суп. Дом был старый, его строил дед сразу после войны. Ничего не поделать. И когда Тоня попыталась впервые постирать, ей пришлось снять белье с трех постелей и стирать его в ванне руками, применяя ребристую железную доску. Тоню охватила реальная глухая тоска. Тогда она хрипло сказала Антону, что придется покупать стиральную машину, хоть какую-нибудь, но так невозможно. Антон не в силах был реагировать. Он морщил лоб и собирался ехать после строительного института по распределению в глухомань Кировской области. Поэтому он сбивал багажные ящики и не смог рассмотреть в туманной дали какую-то стиральную машину. Молодожены уехали в поселок Даровской Кировской области, и там даже было общежитие, куда и сгрузили тростиночку с этими багажными ящиками, а сам-то уехал дальше, в тайгу, где жил в вагончике.

Валюшка узнала про тайгу много позже. Она просто сорвалась и поехала в Киров, потому что душа у нее ныла невыносимо. С поезда сошла в Котельниче, полтора часа тряслась на машине, крытой брезентом, все мозги растрясла по ухабам. Сама ползала по поселку, ничего не могла понять. В общежитии, которое ей указали по конверту, было все закрыто. Рядом с дверью стоял один из тех багажных ящиков, а дверь чик-пок на замок.

Валюшка, в большую жару дрожа от страха, двинулась к единственной гостинице. Женщина на вахте, с большой головой в бигуди и крепдешинном ярко-цветочном шарфе, обзвонила все на свете. Она

спешно отвела номер приезжей, но приезжая сидела и редела, пока женщина в бигуди висела на телефоне. Продавец из киоска сказала, что самого нет в поселке, он в тайге, звоните в контору СМУ, что жена пропала. Киоскерша лично знала Тоню, у которой училась в вечерней школе, и подсказала еще одну ученицу на почте. И почтарка стала звонить в СМУ, чтобы узнать номер склада, где вагончик стоит. И так весь день.

К вечеру, когда Валюшка выплакала все слезы на год вперед, в вестибюль гостиницы зашел человек огромного роста, в спецовке и заляпанный побелкой. Это был Антоша, Тонин муж, строитель. Он рванул за материалами сразу после звонка с поселковой почты, расслышав только несколько слов, что по поселку бродит женщина, ищет Тоню, которая пропала. Краснощекий, обветренный и веселый, грудь колесом, он подошел прямо к заплаканной Валюшке:

– Ну что, мать, сырость разводишь? Потеряла чего? Идем!

И, кивнув тете в бигуди, мол, спасибо за хранение – шагнул на улицу. Антоша пошел прямо к больнице. В одно отделение, в другое. Шагал насквозь и все! Валя лепетала, что надо сходить в справочную, но ему было некогда по справочным ходить. Он сам быстрее проша-рил все и быстро отыскал жену Тоню в инфекционном отделении. Как же она там оказалась?

– Хорош сидеть! – сказал он. – Дома дел много.

И потащил ее за руку. Она упиралась.

– Ничего не знаю! – смеялся он. – Завтра придешь и выпишешься. Я сейчас на погрузку, домой на пять минут загляну и обратно на стройку.

В это время у входа нервно приплясывала Валюшка. Увидев бедную, бледную и беременную сестру, бросилась ее обнимать. Мало кто из поселковых женщин в больнице-то лежал, так врачи на Тоню накинулись и давай лечить... Сестры зашли в магазинчик, купили сыру

и томатного сока, чтоб дома сделать рожки. На улице стало ветрено, накрапывал дождик, а они шли в обнимку и были так счастливы!

А уж когда молодожены через год вернулись из тайги обратно в город, из туманной дали четко проступили и машина, и мебель, и ремонт самого дома. Надо было все и сразу. Началась такая круговерть! Только деньги из тумана никак не проступали.

Первой слегла баба Наталья, со стороны Антошиной матери. Сами-то родители Антоши в пригороде Ленинграда обитали, строили там электростанцию и остались. А бабки, куда же их... Баба Наталья лежала с ногой, ее перевезли к себе. Она год целый всех изводила, ела по часам, кричала, что помрет с голоду. Но померла от диабета. Перед уходом она заботливо подписала внуку квартиру, которую починили и стали сдавать. Деда с отцовской стороны были уж вовсе старенькие, за восемьдесят, но успели понянчить старшенькую дочь Тони. Упадут, бывало, на кровати без сил, а сами ногой коляску катают. Такие честные деда были.

Потом пришел черед деда Гоши. Ему все было жарко. И он перестал одеваться перед выходом на улицу. Все твердил, что в подвале деньги замурованы. Его, конечно, не слушал никто – мол, бредит старик. Он так и простыл на ветру, умер от воспаления легких. Баба Надя лежащая велела на веранде постелить пленку и помыть деда. Вот Антоша и стал мыть, потом завернул в пододеяльник и кое-как одел. Пока Тоня сидела с малой и одной рукой варила щи, Антоша мотался на кладбище. Он жутко торопился, потому как жара была. А схоронив деда (родители Антона, дедов сын с женой, примчались на другой день на похороны из пригорода Ленинграда), сам Антон упал с температурой сорок. Родня сказала, что надо было в маске деда-то мыть, при жаре трупный яд страшнее...

С того дня баба Надя каждое утро просыпалась с криком: «Гоша, не тяни за ноги! У тя руки холодные, за ноги не тяни!» И какие только лекарства ей не поили, она говорила, что деда Гошу видит, как живого, обряженного внуком в полосатый костюм с орденскими планками. Три месяца он ее тащил и все-таки утащил. Операция с клеенкой на веранде повторилась, только теперь Антоша и Тоня в масках были. Та еще работка. От нее долго отойти не можешь...

Это были первые деды, самые тяжелые.

Года через два ломали подвал и нашли горшочек с монетами. Такое было потрясение. Прости, дед Гоша. А когда горшочек сдали, денег получили всего ничего. Рубль-то обесценился... Тоня, будучи неопытной женой с малым ребенком, перенесла все эти трудности безропотно. Она наизусть знала наставление мамы Лиды: «Замуж-то не напасть, замужем бы не пропасть...»

Позже в город переехали родители, купили квартиру, обустроились. Отец даже ездил Тоне помогать на стройке. Казалось, что их сплотит эта простая вещь, Тонина стройка. Прекратится мусор, грязь, настанет у дочки человеческая жизнь. Но родители начинали стареть и понимали человеческую жизнь только как свою человеческую жизнь. Они приезжали к Тоне в гости как на праздник и месить бетон, красить, таскать щебень уже были не в силах. А какой у Тони праздник? Она прибежала с огорода, быстро пекла оладьи, пока мама и папа разговаривали с дедом Гошей и с бабой Надей, смахивала влажной тряпкой пол, накрывала чай в саду. И поэтому у мамы с папой было впечатление, что Тоня всегда только и делает, что пьет чай в саду и качает коляску с дочкой...

Накачанная лекарствами мать Лидия будто заснула. Тоня смотрела на мокрое от пота лицо матери и ждала. Она понимала, что уйти нельзя. Сидела на жестком больничном стульчике, как на вокзале, положив руки на

коленки. И молчала. Муж ее находился в дальней поездке на стройках страны, дочка писала диплом. В доме стояла жара, и они перенесли компьютер в подвал. Больше нигде было спастись от пекла.

Тоня размышляла, что могло довести мать до такого состояния. Жили они с отцом в тихом живописном районе города, внизу в лощине огромный парк, рядом через квартал цепочка отличных маленьких магазинов со сдобой и свежим мясом. Через два квартала минирынок. Пенсию носили домой. Почему надо надрываться? Но мать почему-то надрывалась, сердилась на соседей, часто вызывала врачей на дом. Может, здоровье, надорванное на стройках социализма, настолько резко ухудшилось? Что настроения уже не было никогда и ни на что. Аритмия, почки, вены...

Про мать ей позвонили прямо на работу, и она припустила на автобус. Мать Тони и Вали, Лидия, упала утром, на рассвете, и лежала долго, пока отец не дозвонился до скорой. И пока та ехала, дозвонился до Тони. Отец не мог сам переложить мать, поскольку и сам был инсультник.

Суета, первая помощь, уколы. Приходя ненадолго в сознание, мать снова проваливалась в яму беспамятства. Сначала Тоне показалось, что главное до больницы довести, а что еще она может? Но оказалось, это лишь начало горя. Вопросительно глянула на санитарку, подложив ладошку под щеку. Санитарка кивнула на носилки. Все видели, что она осталась с матерью. А спать – только на носилках. Они были железные и холодные. Ей показалось, что она лежит в узкой железной трубе и едет по ней вперед ногами. Пыталась задремать, но нервы были так натянуты.

– Эй! Идите... – застонала мать, Тоня подскочила, хотя ей трудно было встать. – Пить...

То пить, то утку. Тоня вскакивала каждые полчаса. Потом поняла – ложиться бессмысленно. Дремала на

стуле сидя, кляня носом. Ночь была такой отвратно длинной. Она тянулась, выматывая последние силы.

В палате лежали еще пятеро. И с ними не было ничего. Как только смолкала мать, начинали стонать другие, а среди них были и совсем старые. Очнувшись, мать звала ее и сердилась, если видела Тоню у чужой кровати.

– Какого черта... – стонала она. – Кого нянчишь? Ты забыла, кто я?

Но нет, дочка этого не забыла. Она звала дочку лишь грозным: «Эй!» Требовала лекарство. Требовала врача. Она то задыхалась, то просила второе одеяло. То кричала, что форточку надо открыть, то свет с улицы бьет ей в глаза. Тоня лезла передвигать штору, но после этого свет бил в глаза другой больной. Та возмущалась, но тише. Тоне было стыдно до ужаса, а когда она, спотыкаясь от бессонной ночи, потащила прочь утку, женщины заворчали:

– Что-то ты ее гоняешь, как сидорову козу? – спросила у матери старуха с крайней кровати. – Она ж свалится, и кто будет за тобой ходить?

– У меня инсульт! – взвизгнула мать.

– А у меня инфаркт, – повернула голову старуха. – И я не ору, как некоторые.

Тоня молчала. Она двигалась, как зомби. Не замечала, что ситцевое платье прилипало к телу от жары и само высыхало. Кого-то выписали, кого-то привезли, сиделке новой больной поставили кушетку, а Тоня трое суток лежала на железных носилках. Потом новенькую перевели в реанимацию, и ее сиделка кивнула Тоне на свою кушетку. Тоня опустилаcь, забылась на жалкий час.

Ей снилось, что они приехали с родней в деревню, и весь дом в зеленых ветках. Очень ровные, блестящие, как зеркало, темно-красные полы и ветки по ним и на беленых стенках, везде. От веток шел одуряющий запах праздника и весны, это была Троица... И большой стол с

пирогам, и вся родня вокруг, все гладят ее по коскам, по плечикам, целуют: «Вылитый папка». И она, напружаясь от смущенья и гордости, вертелась среди них в новом зеленом платье. И старшая Валя с коричневыми косками, тоже в новом, фиолетовом, улыбалась ей, разводя руками: ну видишь, как хорошо, а ты ехать боялась... А мать смотрела в окно и чеканила: «Ненавижу эту вашу породу». Наверное, породу отца? «Почему?!» – хотела крикнуть немеющими губами Тоня, но не могла, боялась.

Старуха-инфарктница подозвала ее и тихо спросила:
– Что ты ешь, детка? Ты ж ничего не ешь. Бери вон хлеб в тумбочке, яблоки. Ну, что ты, как маленькая. Тебе долго предстоит...

Матери не понравилась больничная серая каша. Она пробормотала: «Блевотина», – и велела ее выкинуть. Тоня не могла послушаться. Крайней старухе оставалось только глазами ее проводить.

– Девка третьи сутки ничего не ест, а ты кашу выкинула. Ты что творишь? Отпусти домой-то.

– Нет! – отчеканила мать.

Потом прибежала замаянная дипломом Тонина дочка Мила. В сарафане кружевном, нежная, как ландыш. Вся палата просила отпустить Тоню, Тоня просилась съездить к больному отцу, который непонятно как один, а мать кричала на внучку, что не останется «с этой». Но Тоня ушла, и мать закричала вслед, что нужно ей обязательно в баночку жареной капусты. Тоня смоталась на дальнем автобусе к зеленому от недомогания отцу, вымыла полы, сварила пшенку и полетела домой. Там она стала быстро жарить капусту, сполоснувшись, переоделась и в зеркале себя не узнала. На нее смотрел Освенцим с запавшими глазами. Капусту мать есть не стала, назвала ее «соплями», и пришлось есть баночку самой. Давиться едой, как чем-то инородным. Организм, как в детстве,

протестовал. Только в детстве от голода очень болела голова, а теперь уже давно ничего не болело. Было равнодушие. «Вставай, ленивая сволочь, ухаживай за матерью».

Тоня встала с кушетки. И тихо:

– А скажи, ты много за своей матерью ухаживала?

– Что-о?! – поразилась мать. – Да как ты посмела только...

А между тем мать всегда кричала на бабуку, на свою мать, что одета в тряпье, что от нее жуткий запах, что укроп продает на базаре, что питается отбросами (старой тушенкой). И так она кричала, что бабука убегала из квартиры и стояла на улице в дождь. «Хай тоби бис». Бабука была тучная, но из последних сил приезжала к Тоне домой и сидела в углу, чтоб отдышаться. А Тоня этого боялась, потому что пришла жить к мужу и его дедам, и те боком смотрели... И бабука чутко это замечала.

А когда бабука слегла, ее ворочала не мать, а отец. И когда замок сломали в бабиной хате, тоже шел отец. И когда Тоньке и Вальке негде было жить, учась в вузах, то тетки, сестры отца, жалели, помогали, стелили диванчик. Чем плохая их порода?

Сестры отца, поскольку были той породы, не могли прийти к брату, когда он жил отдельно. Не пускала мать... А потом не могли к Тоньке, где оказались инсультные мать и отец. Потому что мать ненавидела всю их породу. Тетки приходили на семейный сход и шептались: съест она Петюню-брата, съест. И совали Тонечке сотки и снова гладили ее по плечам. И в который раз тетка Нина расчувствовалась и снова повторила тот рассказ про ведро. И сказала:

– Ты не горься. Ты в нас пошла, а мы сроду своих не бросали.

И этот эпизод опять вспыхнул и закрутился в Тоне.

– Нет, мама, не ухаживала ты за бабушкой нашей. И за мной тоже. А теперь с тобой сижу я, сволочь ленивая. Понимаешь?

Вся палата затихла от слов этих!

– Ну почему ты после болезни уехала, бросила такую кроху, мама? Я ж плакала, небось?

– Надо было отца проучить. Чтоб он тоже нянчил...

Мать начала кричать не своим голосом, что ей плохо, она рыдала, как с горы катилась, и нарыдала давление, и ей побежали ставить капельницу, а денег нет. Ну что ж! Надо было звонить дочери старшей тети, большой начальнице. Ей даже жутко было звонить, потому что планерка шла. Но племянница, дочь старшей тети, звать Алла Вадимовна, приехала на такси, и дала денег на капельницы, и отпустила Тоню домой, вот такая их порода. И мать забыла, что это же все их поганая порода, стала лепетать: «доча, доча, Аллочка»...

А на Тоню посмотрела после очередного «Эй!», сидела сказать что-то, а потом развела руки, уронила их:

– Как же зовут тебя? Ведь тебя как-то зовут?

– Какая разница, – вздохнула Тоня. – Не важно.

За десять дней мать измотала всю палату. Потом, когда стали ее выписывать, Тоня совала санитарам оставленные Аллочкой смятые деньги, чтоб помогли спустить больную в лифте, а потом водителю скорой, чтобы поближе в дому подъехал... А дома они с дочкой Милой быстро принесли из кладовки старую кровать, да перенесли на нее мать. Водитель молчал, отвернувшись, а потом матюгнулся и стал помогать, а мать кричала на него, чтобы не тряс носилки. Потом Мила стала поить бабушку Лиду компотом, больше ничего не успела, а Тоня опять стала совать смятые деньги водителю. Тот выпучил глаза. Но когда до него дошло, что в районе березовой рощи еще есть лежащий отец, он молча сел в машину, и они помчались. И там, дома, где лежал отец, пол был залит засохшим калом, но Тонечка храбро замыла пол, и они повторили всю операцию с перевозкой теперь уже отца, только положили его временно на раскладушку. Сил говорить у Тони не было и денег тоже.

Она молча обняла водителя, чужого совершенно мужика, который только закричал: «Ну, бля...» – и пополз в машину. – «Держись, девка».

Девка покормила родителей, чем было. А была у нее только овсянка дешевая, «с остями», как говорил их отец... Полила из шланга пожелтый огород. Она непонятно как держалась ночь и утро. В подвале дочка и муж второй дочки дописывали диплом. Утром приехала сестра Валя, и они стали «держаться» вместе. Перстень сестре она так и не привезла. Была у девочки Тони мечта, чтоб ей старшая сестра привезла тяжелой пластмассовый перстень. Был такая мода во время учебы в институте. Но Валентина, легкомысленно согласившись, потом не раз теряла этот перстень, покупала новый и забывала о нем начисто. Вот и теперь она вспомнила про это, ложась спать. И так ей стало стыдно опять, а еще жаль сестру, что она чуть не заревела. Замотанная Тоня удивилась: «Ты чего вдруг?» Но Валя ничего не ответила. Пустяк, и то сделать не смогла. До того ли?

Хорошо хоть старшая дочка Тони уехала в летний заводской кемпинг, а то бы вообще тут умылись. Как раз рано утром на другой день Мила выскочила навстречу Валентине из ванной. На ней лица не было. Она собиралась на защиту диплома.

– Боишься?

– Теть, меня несет от нервов. Не могу идти на защиту. Сейчас лягу и все...

Валентина тупо на нее посмотрела. Потом побрела на кухню, налила полстакана водки, брякнув бутылкой из холодильника.

– На...

– Ты что, тетя, совсем чокнулась? Убери эту дрянь. Не пью.

– Да пьешь ты все. Тебе надо диплом защищать, или ты хочешь всю жизнь с очка не сходить?

– Тетя! Пожалуйста!

– На, говорю, а то расплескаю, на ногах не стою.

Тут эта девочка, этот нежный ландыш, схватила и булькнула в себя эту дрянь. И, как во сне, натянула белоснежное бюстье, белую блузу с вышивкой гладью. И черную узкую юбку, чтоб казаться еще стройней! И как девочка-зомби поплыла на защиту.

Потом Мила рассказала, что все прошло нормально. Она ответила на все вопросы. Только ее руководитель диплома всё нюхал воздух в аудитории. И все нюхали и переглядывались. Девочка защитилась на пять. А что, русское средство, верное.

ПОШЛИ ВМЕСТЕ

– Приходила эта черненькая! – Валентина поворачивается навстречу сыну как подсолнух к солнцу. Несколько дней не видела. Где он мотается? А тут повод спросить, поговорить... Возможно, повод чем-то порадовать.

– Сабина? – сын усмехается.

– Сказала, чтоб ты с ней связался.

– А вот это я сделал напрасно!

– А еще рыженькая.

– Глупышка, это моя прошлая.

– И ты ее тоже избегаешь? Как так можно?

Лёник уходит к себе, не дослушав. Валентина растерянно таращится ему вслед. Она стала полной и не такой чарующей, как двадцать лет назад, но в лице ее еще вспыхивают искорки. А сын красивый парень, быстрый ум, тяга к новому, только у него слишком много девушек... Они ходят к нему за дискетами и дисками, за скачками и распечатками, рефератами и курсовыми, за флэшками и проездными, которые он ловко подделывает, когда прижмет с деньгами. Чем платят девушки за услуги, мама не знает или не хочет знать. Ей приятно, что сын умный. У Лёника смуглое, как орех, лицо, курчавый проволоочный ежик и быстрые, неуловимые, как ртуть, глазки.

Маме Вале еще кажется, что он хитрый, и чем простодушнее лицо его, тем он хитрее. Он никого не хочет видеть, он совсем забаловался. Наверно, что это он нарочно. Чтобы всем стало надо, и прибежали они, а он будет – отнекиваться. Любит он отнекиваться, есть такая черта. Начинают ему звонить все эти девочки-припевочки, Димоны длинные, Вовы маленькие, Бубы в пятнистом камуфляже – а мальчик посылает их куда подальше. Дескать, он спит! А поскольку у Валентины у самой полно всяких дел, делишек, просьб, знакомых,

куча телефонных звонков – договориться о прическе, прочесть два романа и решить, тянут ли они на Букера, короче, берет на себя чужие заботы, а ведь не похвалят! Еще не пропустить срок платить в Комтел, провести вечер в музее и найти экстрасенса, то есть бабку на новый лад, – забот столько, что она порой забывает, что именно надо соврать в эту минуту. Валентина работает в библиотеке и такая всегда замотанная. Возьмет сгоряча и брякнет по телефону, не подумав:

– Дома. Одну минутку.

Прибегает в комнату сына, тот мотает головой – нет меня. Нет! Она уговаривать. Но минут через пять уговор ей приходится тащиться обратно и скорбно сообщать:

– Он спит и не просыпается.

И морщится от очередного, теперь уже совсем бессмысленного вранья.

Звонок в дверь. А вот и Буба в камуфляже. Это одноклассник сына, который не стал сдавать сессию и попал в весенний призыв. На прощальной фотке у Бубы мучительно трезвые, вселенски горестные глаза. А сегодня вроде нет? Ему Леня обещал журнал. И Валентина Петровна идет, путаясь в длинном халате, лихорадочно ищет журнал с голой Лолитой Милявской и торжественно вручает бедному новобранцу.

– А все-таки черненькая приходила три раза. Неужели тебе не жалко ее? – возвращаясь, бормочет мать семейства. Надо ведь пробуждать в людях жалость и нежность! Если, конечно, они не пробуждаются сами.

– Она сама виновата! – и жестокий Леня надевает наушники.

А мать семейства отжимает наушник и быстро говорит:

– Сынок, у меня программу перекосило. Не делает спуск полос. А мне макет сдавать. Посмотришь?

– Чего там смотреть, глупышка. И так ясно – мозгов пора добавлять. А ты сначала узнай, сколько это стоит. А потом уж про макет будешь говорить, – сын уходит обратно в наушники.

Картина бывшего соседа-художника «Меломан». Красные наушники плотно обнимают голову нового Христа. На заднем плане погнутая железная кровать и хрупкая женская фигурка. Все побоку, все отринуто – женщины, постели. Есть только музыка, которая стоит стеной, гудит, ревет и возносит. Собственно, тогда и нельзя было ничего – на каждой его картине знак запрета, «кирпич». И только в музыке свобода.

Так думала Валента и, возможно, старшая дочка Ольга, или княжна Леля, как величал ее папа Сева, пока не уехала в другой город бороться с трудностями. Сначала училась в музучилище, потом ее позвали родители, пообещав комнату и прописку. Но княжна Леля с ними не ужилась, потому что ходила на сейшены и возвращалась ночью. А родители все работали и рано вставали. Начались трудности с квартирой. Валентина плакала, металась между родителями, между звонками тревоги и тем, что знала о них раньше. И с трудом их узнавала... Но они отвечали ей гордо: «Землю будешь есть. И дочка твоя будет землю есть!» И простодушная Валента от них отстала. А в музыке действительно была свобода. Только вопреки ожиданиям княжна Леля пошла работать в ювелирку и играть в рок-группе. Ли-лу! СМС: «Как быстро приготовить обед из ничего?» Сварить лапшу с кубиком, добавить тертый кусочек сыра...

Валентина вздыхает и ставит рис на огонь. Вон как свалило дерево после дождя, машины не могут проехать. Вон мужик пришел с бензопилой. Ничего не сделаешь в одиночку. У Лени всегда был сложный характер. Он однажды в детстве съел клей «Момент», решив, что это такая зубная паста, и он начистит себе

рот. Он его так начистил, что его самого двое суток в больнице чистили, а он в это время стремительно худел. Одногодок оказался с ними в одном боксе, выходили от какой-то сложной инфекции, и никто... Никто не забрал его из больницы. Вышло, что Валентина – одна мама на двоих детишек в боксе. Полная меланхоличная женщина с глубокими темными глазами вдруг всполошилась – кидала мужу с четвертого этажа сумасшедшие записки, что хочет взять этого ребенка. Муж хватался за голову и курил. Муж был против. Отделение было против. Но мать как обезумела тогда, ей казалось – они похожи, прямо как братья. Леник был худой и слабый после отравления, он гладил ручкой цыганенка через прутья кровати, а тот, наоборот, был плотный крутяшка, он все время лез через эти прутья, стремясь отдать Лене весь свой резиновый зверинец – обезьян, коров и оранжевого пучеглазого трансформера. Трансформера в больнице они оставили, а вот цыганенка забрали, ну имя сменили, фамилию. Теперь он был просто Василий с ником Вассо. А почему Вассо, так это, видимо, из-за Бандераса. Который в триллере «Соблазн» стрелял из гитарного футляра, да нет же, «Соблазн» – это где кофейная корпорация, с Анжелиной Джоли... Короче, в одном таком фильме Бандерас был с хвостом и в кожанке, и этот образ понравился Васе, вот и стал он носить кожанку и хвост. Техникум связи закончил, а работать в телеграф не пошел. А пошел он в мебельную мастерскую. Ну вот, зачем учился? А верил ли он, что это его родная семья? Нет, наверно, но не говорил.

– Привет, все наши! – сказал, потягиваясь с гантелью в руке, Вассо. – Вы опять на военном положении?

– Да нет, – ответила Валентина, отряхивая варежкой очередную кофту, чтобы гладить. – Обед будет сейчас. А ты что спишь до двенадцати?

– А я во вторую смену. Предупреждаю – джинсу буду гладить сам, так что уходите, брысь со стола.

– Я поглажу, – сказала мать семейства, – я авторитет в этой области!

– Иди на свой кружок, – нежно сказал Вассо, – ты все равно не сумеешь. Или давай там книжки выдавай.

Он гладил свою джинсовую куртку паром, находя складкой на складку. Все в заламах, как из-под пресса. Ужас, а не глаженье.

Ли-лу! Ли-лу! Дочка прислала СМС. Купили новую полку. Стреляют в тире – она выбила все призы. Нет, приятель не помогал, он помогает только на работе. Значит, у нее теперь джинсы, сапоги с загнутыми носками, и стрелять научилась. Надо теперь сомбреро и коня. Мама всплескивает руками. Зачем, зачем она училась в музучилище на дирижера и пошла в ювелирную мастерскую?

Говорит, музыка дала ей свободу мысли. Ой ли? Приходит черненькая и снова уходит ни с чем, приходит длинный Димон и монотонно просит сидюк в красном пакете. Интересно, они догадываются, что он дома?

Тогда круглолицая Валентина затягивает потуже поясок халата и входит в комнату Леонида, просит найти сидюк. Тот бесшумно достает из компа сидюк и нежно, не хрустнув, заворачивает в красный пакет. Валентина – нет бы улыбнуться сыну! – но нет, закрыв двери за Димоном, она набрасывается на ребенка, как фурия.

– Это почему ты отдал ему сидюк? Это как мы будем диски теперь смотреть? Ты что вообще?

– А это его сидюк.

– Безобразия... А наш где? Ах, нет нашего... Но где он? Он же был изначально. Куда растворился?

Опять мама ничего не понимает...

Валентина снимает рис с огня, заправляет его луком, томатом и строганой морковкой. Волшебный дух пря-

ной еды заполняет дом. Жалко, что младшенький, Прошка, еще в школе, на второй смене.

– Слушай, сынок. Тут звонила вчера странная девушка. Не та, что черненькая. Она сказала... Что она на втором месяце.... И что на тебе лежит ответственность...

– Да ерунда, – студент Леня зевает. – Накуренная какая-нибудь.

– А что это за девушка? – Валя старается держать себя в руках и получается, что встает руки-в-боки.

– Да так... Лаборантка.

– И у тебя с ней было?

– Мам, все твои рассказы про трагичный первый аборт мы уже знаем.

– Так надо же извлекать!

– Я уже все извлек. Моя девушка старше меня, и у нее всегда наготове презервативы.

– А чувства?

– Графа не заполнена.

– А зачем же она такое говорит?

– Ну, чтобы пришел.

– Безобразие... Просто безобразие какое-то. Смотри мне!

Леня смеется.

– Ты помнишь, как приезжала твоя любимая Арбатова? И как была пресс-конференция в Юго-Западной башне Кремля?

– Ты же там не был! – Мама уже заранее начинала закипать, и сын это отлично видел.

– Ну. Я просматривал твой диск, не люблю Арбатову, но мне нужен был диск RW – вот я и смотрел. И там кто-то задавал вопрос: «Что делать, если сын живет с женщиной на ее деньги?» Было?

– Даа... – растерялась мать. – Ведь я... это я спрашивала.

– Вот видишь! А она ответила: «Моя мама была сталинистка. А вы не старайтесь вмешиваться в жизнь

своего ребенка. Лучше заведите любовника». И все засмеялись.

– Помню...

– Глупышка, – снисходительно сказал Леня. – А ты кому пошла звонить? Драным поэтам?

– Нет, просто одной маленькой девочке нужно найти бабушку для заговора плача.

– Надеюсь, это не ты? Меня совсем заболтала. Вот увидишь, сниму себе офис и не буду попадаться тебе на глаза... Кам тутезе! – крикнул Леонид, скрывшись в ванной. Вассо, свернувший туда же, получил облом. Послышался жуткий грохот молодых кулаков о двери. Сломают защелку опять.

– Мам, а чего он забил ванную?

– Чего, чего. Того, что ты копаешься очень со своей джинсой.

Но внутренне порадовалась за Вассо, тот никогда не скандалил и уступал, а Леонид не уступал, и ситуация обычно заходила в тупик. Вассо тоже любил повыпендриваться, но в какой-то неуловимый момент он вдруг становился хорошим мальчиком или делал такой вид. Чтобы мама Валя лишний раз не пожалела, что взяла. Кстати, ее все пугали, что цыгане найдут и выкрадут. Но вот пацанам почти по двадцать, и пока никого из них не украли...

Вот, вот телефон. Знала бы Валентина, куда кто звонит, так не стала бы отвечать. То есть она знала, кто такая Яна Смилдене, отец у нее Петер Смилдис. Но эта Яна пришла к ней на кружок в прошлом году. И сразу было понятно, что ничего непонятно... Яна писала потоком сознания, очень пьяно, бессвязно и чувственно. Ни в каких конкурсах, куда пыталась втянуть ее Валентина Петровна, она участвовать не хотела: не могу писать по требованию. Ни про войну, ни про юного утонувшего поэта, ни про природу.

– Ты пойми, важно записать простую реальность! Тех же пьяниц, которые живут в деревянных домах. Тоже заботы у людей, это простые люди, но своя жизнь и у них...

– Мне не нравятся простые люди. Мне нравятся стервы.

Валентина испугалась. Притащила «Сонечку» Улицкой: «Вот, смотрите, вот что такое великая любовь, самоотдача! А не то, что стервы ваши... «Коллекционер» Фаулза, ваш любимый. Вы разве не понимаете, что здесь не любовь, а садизм, как здесь, – наблюдать, как умирает любимое существо, то я не знаю вообще... Вы сталкивались?.. Нет. А говорите!» Дети на кружке усмехались. Но это был так себе эпизод. А был и другой эпизод, когда на обсуждении Яна сказала о прозе Риты, что это сопли. У Риты был нервный припадок.

– Алло, это Яна? Ты не могла бы подойти? Тут наш завуч просит приветствие прочесть на последнем звонке. И текст есть. Придешь?

Яна пришла в тот момент, когда Вассо выворачивал из двери в своей изуродованной утюгом джинсовой кошке:

– Здравствуйте, девушка, вы поэтесса? Сюда приходит много поэтесс. Ах, вы по делу?

Ну, проходите. Меня зовут Вассо. А вас Яна. Много слышал о вас.

Валентина подошла, извинилась и стала объяснять Яне про приветствие. В это время дерзкий Леня, который шебуршил в ванной, закричал: «Люблю поэтов! Кам тугезе! Молчанье муз в толпе поэтов драных!» Женщина и девочка вздрогнули. И он сам прошвырнулся мимо них в шортах и обсыпал каплями.

– Извини, Яна, сын шутит.

– Ничего.

– Так ты скажешь?

- А можно свой текст?
- Не знаю. Можно, наверно. Это она рыбу дала, если думать неохота.

Через пару дней Яна, видимо, звонила, но не попала на кого надо, мать не подошла, а Леонид, забрав с собой телефон, заперся в ванной.

Он сидел там столько времени, что все сроки прошли, никто никуда уже не мог звонить, уже было можно идти в Интернет по дешевому трафику после двенадцати, но Лёник все сидел в ванной. И говорил по телефону. Все проходящие мимо запинаясь о провод, уползающий под дверь. Вскоре это стало повторяться чаще и чаще.

– В чем дело? – спрашивала растерянно Валентина, проносясь по всем комнатам в радужно-голубом халате нараспашку и бия халатом по косякам. Но ответа не было. На кухне сидел уставший от мебельных распилов Вассо, они вместе с мужем смотрели футбол до самой ночи. Ли-лу, ли-лу – стрекотала мобила мужа, это упорная жизнью княжна Леля поздравляла папу с днем рождения рок-звезды. Вот! Воспитал ребенка в духе рок-н-рола! Теперь ребенок по имени княжна Леля и стал ковбоем, хотя девочка. Казалось, в тесной квартирке Седовых царили мир и спокойствие, но какая-то непонятная тревога всё-таки сжимала материнское сердце. И ей хотелось поделиться с кем-то этой тревогой.

Она открыла в компьютере свой архив и полезла в папку с работами учеников и что? Попала на самое странное место: «Я перескакиваю сливную дорожку и хватаюсь за воздух, вырывается извечное ой, как будто извиняюсь перед ночью и травой за позволенные 2 с половиной стакана, что нужно было глотать немедленно, и ни фотография ни слова не сохранят этот миг, и я

схватила первое близкое ближайшее – зеленый листок, а все так же дышится, все так же хорошо. А вот и ты. Поцелуй – шорох. Поцелуй – шаг – поцелуй, а у меня в кармане кусочек мига, и я понимаю, как это глупо, и инфантильно, и несущественно, но ведь я еще учусь чувствовать, и этот листок как доказательство о пройденном экзамене – пятерка в дневнике, и ты меня учишь, и два с половиной стакана, да я просто ничего не ела, до свидания. Поцелуй – поцелуй – поцелуй.

4 ноября... надо мной плачет и плачет ребенок, мне нужно работать – переводы стынут.

Папа, Австрия, бумага. 24 января в 8 часов 50 минут вечера Модильяни скончался, а его гаммы, цвета, глаза горящие непрорисованные, ш-ш...

Плачет, плачет, плачет... виноград синий в желтой миске. На рассвете, в четыре часа утра, Жанна выбросилась из окна шестого этажа и разбилась насмерть.

Ты рисуешь фигуры, шары, перцы, носишься за тенью и светом.

Пришла твоя мать и сказала: (я все слышала, ты забыл прикрыть рукой телефонную трубку) «Хватит болтать – ночью поговорите». Потом – что-то про передний план: «прорисовал – не прорисовал». Что там, скатерть, доска или стол? Что ты там видишь, что ты там ловишь? А чуть левее, на холсте я положила монетку. А ты шутишь, что скоро будет рубль. Нет больше винограда, одни косточки унылым комком глядят со дна. Ребенок притих...»

Валентину облил ледяной водопад, она поняла, что речь идет о ком-то чужом, ведь никто из ее знакомых детей не занимался прорисовкой первого и второго плана, так вот она, Яна, какая, она любит таких... Богемных! Яна присылала ей фрагменты, и они были такие интересные, хотелось расшифровать. Простому

Вассо ловить тут нечего. Даже хитрому Лёнику ловить тут нечего. Что ж, тем лучше.

Честная Валентина Петровна, вздыхая, написала большую программу и распечатала для администрации. Она понимала, что детям все равно надо разбирать свое творчество, а программы им и в школе хватает. Ну, конкурсы еще туда-сюда, но чтобы забивать им головы новой инфой – нет, это вряд ли. Такая замедленная Яна не будет изучать жанры и перспективы, она пишет потоком сознания и дальше будет так писать. Или ничего не будет писать.

А собственно, почему Яна? Есть и другие!

Вот, например, спортсменка. До чего же зажигает девчонка, хоть мотается по своим соревнованиям до отупения, но такой реферат о модном поэте настрочила, вот вам и девятый класс. Только ух! И опять уехала. Уже бронхит, полгода не проходящий, уже голос сел, как у курильщицы, уже глаза красные от бассейнной хлорки... Милая, пора уже выбирать: спорт или строчки, ну что же ты рвешься так, ну что же ты, с матерью поговорю, смотри...

Валентина вела кружок в библиотеке, куда к ней приходили одноклассницы Проши. Она особо ни на что не надеялась, но попадались такие интересные. И раз в неделю она отдыхала от выдачи книжек, от абонементов.

Ночь, большая ночь настала в городе, и мягкое колыхание ночи с шумом и шелестом, как будто тащат ткань по бурлящей воде. Валентина помнила занавеси и полотенца на дачной реке, их тяжело колыхали потоки, того и гляди унесет. Детей, способных детей, прибывало к ней и тут же уносило. Она пыталась их разнообразие еще разнообразить, и они смотрели широко открытыми глазами, или обалдевая, поддаваясь гипнозу искусства, или резко сворачивая в сторону. Самых острых обычно

отбирали родители, и дети им тоскливо подчинялись. Особенно та, с родинкой. Когда все стали писать миниа-тюру о родителях, оказалось, что у нее отец певец, весельчак и донжуан, уехал в командировку и не вернулся. Много позже его нашли рядом с раскуроченным фургоном, всего потыканного. Та с родинкой – она же хотела все это раскопать, разузнать, и даже мать не разрешила, видимо, жизнь ценя превыше правды. И та с родинкой ушла вскорости. Не успев ничего поведать. Что-то задавили в человеке.

А Яна самая закрытая и самая отчужденная среди них. Вот Рита – та, наоборот, нараспашку, и домой ходит, и на встречи ходит, и отчеты быстро пишет, и рассказы сразу по десять листов пишет, и на конкурс – пожалуйста, и на природу – ради бога, вот уже на книжку насобирать можно, только почему-то героини похожи. Она продуктивная очень, но Яна пришла, хмыкнула «неталантливо» и все, в отрубях Рита. Зачем ты так, Яна? Только оттого, что не похоже на тебя?

Их надо перемешать и настоять в одном термосе. Но они не пересекаются теперь. Не хотят друг друга видеть и переносить...

После приветствия и официальной части – сцена.

Валентина: «Вот она идет». Леонид: «Вижу. Пусть подойдет, нехорошо».

Яна: «Привет, Вася». Вассо: «Привет. Хорошо выступала». – «Благодарю».

Лёник: «Я так вообще поражен». Яна: «В смысле?» – «Ну, где я был раньше. Теперь буду всегда сюда ходить». Яна: «Ну?!» Это он о школе, которую давно закончил?

Вассо вздохнул и резко ушел в сторону. Валентина двинулась ему вслед в толпе, но тот шел, будто не видя ее. Так же слепо и упорно он прошел мельтешащую толпу и пропал из глаз.

А мать думала, что они дружно вместе пойдут, и потом она поставит чайник и все такое. Но ничего этого не было – все пошли в разные стороны! Вассо вечером так же невидяще смотрел телевизор с постельными сценами, сидя рядом с отцом, и тот его ласково задирает и локтем подталкивал, а Вассо ширяет локтем в обратную, но из скорлупы не вылезал.

Лени не было дома до самого позднего «не знаю сколько времени».

Все легли. Сева Седов за чаем сидел долго. По телевизору братья американцы с очередным показом «Девяти ярдов». Отец с усмешкой потянулся к пульту и включил любимую программу – зеленый бильярд с разноцветными шариками. Это снукер. «...Опять уеду в командировку». – «На все выходные? А если опять канализация? Ты думаешь, это из-за стиральной машины?» – «Нет, стиральная машина, наоборот, фильтрует. Трубу присоединили неправильно. Ты скажи Вассе, он это делает не хуже. Скажи еще...»

Хлопнула дверь. Пришел озябший Леонид. Лицо волевое, как перед запуском в космос.

– Кам тутезе? – спросил Сева Седов.

– О, ес! – бросил весело Леонид.

Потом бросил куртку на вешалку, бросил в рот два ломтика сыра, взял со стены телефонную трубку в виде красного перца и ушел в ванную, размотав пятиметровый провод.

«Неужели на два часа опять?» – забоялась мама Вали. «Судя по всему, часа на три», – прозорливо отозвался вслух глава семьи. И верно: уже и Вассо пришел со своей второй смены, съел свой вечерний омлет, посмотрел «Грязные танцы» и направился спать, а Леня все разговаривал, иногда надолго умолкая.

Яна закончила школу и собиралась в университет в другой город. Говорят, родители купили ей однушку в центре. Валентина Петровна напряглась в ожидании козы. У нее было такое чувство, что мальчик бросит все, бросит институт и рванет за Яной. И она настолько уходила в эту свою тревогу, что забывалась, останавливалась и смотрела в пустоту.

Рядом ходили и дышали муж, старший Седов, и младший Седов, Вася. Она сильно надеялась, что хоть они-то останутся рядом, не бросят ее. Она дрожала от мысли, что Лёничик уедет, но они-то будут. И она усиленное свое внимание обрушивала на них – накладывала им по две порции борща, жарила не магазинные котлеты, а свои, из скрученного сытного фарша, чтобы были пухлыми, сочными. Вассо поднимал брови к потолку:

– Ты чего так много?

А она махала рукой:

– Ничего, кушайте, мне приятно кормить, я люблю кормить.

– Понимаешь, Вася, это инстинкт.

– Ага, материнский.

Как будто они должны были съесть порцию за того парня!

Они ели. Они сочувствовали ей, поэтому ели. А она как бы заранее боялась, что Леник уедет и будет там голодать. Она гладила мужские рубашки, а потом вдруг бросала на диван плечики с рубашками, начинала родню обнимать. И Вася думал – надо же, как она его любит. И не сердился, нет. Он думал, что никуда не уедет. Пусть все мужики на работе говорят, что с родителями жить невозможно. Для Васи все было возможно, и родители не раздражали. Они же очень смешные. Как начнут на кухне перетякаться, а он как войдет, так сразу вздрогнут и замолчат... Вася вспомнил, как ходили цыганки по подъездам, ходили, гадали, просили, и

Валентина так вдруг побледнела, позеленела даже, отдала цыганке деньги, обувь и почти новые куртки... А сама вся дрожала. «Я думала, они за тобой». Тогда Вася и узнал, что не ее сын. А вообще он нутром чуял, что ему повезло. Ленька не догоняет, что такое родня. Какое это счастье – просто гигантско. А он, Вася – догоняет. И как это сладко, с папой Седовым выбивать ковер, и как это классно – с ним смотреть футбол и семечки щелкать. А теперь, когда мама вся изводится по своему Леньке, он, Вася, будет ее еще больше жалеть...

«Ну вот, я уже две недели в бегах. Да, почему-то всегда хочется сказать, что уже вжился в этот город, но это не так. Это всего лишь иллюзия. Не обращаешь внимания на толпы народа, в метро едешь с закрытыми глазами, и все вокруг происходящее как по барабану. Ощущаешь себя здесь неким существом, которого и хлещут, и ублажают, но амплитуда больше. Дома все умерено, мало благ, мало боли. Здесь сложнее. Главное, что я чувствую, что мне охота бороться, словно мне показали конфетку, и я готов за нее биться. Яна сидит дома, готовится к экзаменам, я, чтобы не мешать, ухожу утром, а прихожу вечером. Целый день шатаюсь по городу. Сажусь в троллейбус и еду в любую сторону, потом выхожу и иду по какой-нибудь улице, на таблички с названиями проспектов и переулков не смотрю, потому что это все неважно. Ходишь-ходишь, пока ноги не начинают отваливаться, потом начинаешь искать место, где можно посидеть, помыть руки, покушать, почитать (в пакете учебник философии). Таких мест не очень много.

Самое удобное – Ладожский вокзал. Плюсы: дешевая еда, удобные сидячие места. Минусы – туалет грязный и платный. На втором месте по удобству – гипермаркеты – любые с торговыми площадями от двадцати тысяч

квадратных метров. Минусы: еда дорогая, но качественная. Плюсы: хорошие тубзики, бесплатные и чистые.

Но в этих заведениях сидишь не часами. Очень все-таки интересно знакомиться с культурной частью города. Ходил в Исаакиевский собор, стоял на колоннаде час. Смотрел в сторону ее дома, смотрел в сторону нашего дома. В такие моменты ощущаешь себя одиноким и неокрепшим.

И все же у меня есть любимое занятие. Я отлично запоминаю человеческие лица. В городе шесть миллионов жителей. Думаю, смогу ли я всех выучить? Сложно поверить, но за две недели мне запомнились тысячи лиц. Идешь по проспекту и узнаешь людей. Я не знаю, как с помощью этого качества зарабатывать деньги. На какой работе нужна память на лица? Полиция, видимо, но с ними я не хочу связываться никаким образом. Вчера меня чуть-чуть не остановили на проверку документов, а я тут без прописки и регистрации, они могли придраться. Но да бог с ними, когда они остановились, я про себя начал повторять одну фразу: «ментосики – новые колесики». И пронесло. Спокой, встречаешь на улице сумасшедшего человека, он идет и просто орет на всех, у него глаза дикие, рот открыт на всю ширину, волосы взъерошены. Инвалиды, бомжи, дорогие иномарки, пентхаусы с видом на залив. Тут столько всего разного. И ведь знаешь, что, находясь здесь, ты начинаешь играть в рулетку. Может, повезет, а может, и не повезет. Один раз я уже стоял у кассы на ладожском вокзале, за полчаса до отхода поезда на родину. Один раз я купил 250 граммов водки и выпил. Один раз у меня потекли слезы в метро. Один раз меня чуть не сбила машина. Один раз был в католической церкви. Один раз поезд в метро остановился в подземелье. Много раз передвигался по городу с помощью внутреннего маячка. Три раза был на заливе. Один раз купался. Много раз

встречал красивых людей. Много раз был в кино. Много раз я испытал счастье по Ницше. Счастье – чувство преодолеваемого противодействия. Еще и эти философы с гипотезами иллюзорности мира. Ложь – правда, а правда – ложь. Один раз я ел блин на привокзальной площади. Порыв ветра прилепил к моему блину чей-то оторвавшийся волос, клочок бумаги и еще какую-то мелкую дрянь. Мне нужно было выбрать: либо остаться голодным, либо преступить свои принципы чистоплотности. Блинчик я съел.

Яна в тот день меня поймала у касс, сказала, чтоб я не уезжал. Она живет во мгновении, жадно схватывая его, наслаждается им на лету. Наслаждение не дает ей возможности остановиться. По сути, это игрушка в руках стихии собственных эмоций, чувств, страстей. Я же здесь не для того, чтобы в моей трудовой книжке появилась очередная запись, каракули с печатью. Я же здесь для того, чтоб окунуться и посмотреть, нужно ли мне все это. Почувствовать себя. Судьбу повернуть. И в том случае, если понравится, начать решать совсем другие вопросы.

Здесь жара. За четырнадцать дней я один раз видел дождь. Шорты я забыл дома. Постоянно жарко! Сегодня пойду на фестиваль джаза. Завтра пойду смотреть на финал кругосветки парусников. Ведь я сам парусник, только другой, виртуальный... Вчера ходил на «фотоувеличение». Столько вокруг всего происходит. Покупаю журнал на двести страниц «Ваш досуг». Там расписаны все события на ближайшие две недели. Только все перечитывать можно несколько дней. Выбираешь то, что интересно тебе. В прямой видимости мост, а за ним залив. Кажется, что туда можно быстро пройти, а по-настоящему идти час. В день прохожу километров пятнадцать. День удачный, если я его провел с Яной... Мама, не бойся, я не бросил никого. Я вернусь».

Валентина вытерла слезы и прошмыгнула на кухню. Там старший Седов, в каком-то смысле князь, человек благородных кровей, пытался починить сморкающуюся раковину. Валентина достала картошку и начала чистить, заправив волосы за уши.

– Скажи, о чем это он всегда повторяет? По-английски?

– Кам тугезе? Это значит «пошли вместе». Песня такая у Леннона.

– Ты дашь мне послушать?

– Так набери в поисковике.

Она сходила.

– Красивая песня. А там кто, на заднем плане, Йоко Оно?

– Да.

– Теперь, знаток английского, расскажи, о чем она.

– Ну, там много всякого, – Седов выпрямился и стал разматывать тросик. – Джефф Эмерик рассказывает: «На финальной версии записи можно расслышать лишь слово shoot. Линия бас-гитары заглушает me. Шепот, похожий на «shoot» – не что иное, как фраза «shoot me» (пристрели меня), которую произносил Джон Леннон, хлопая в ладоши».

– Ничего себе, да?

– Это фраза не Леннона, а его знакомого, Тима Лири. Профессиональный жаргон, выражение, которое использовал Тим Лири, баллотировавшись в президенты. Он попросил Джона написать ему песню для кампании. Тот и старался, но ничего не вышло. У Лири нашли, а может, приписали ему, марихуану. Но песня осталась. И в словах нет ничего особенного. Пошли со мной, и все.

– Но откуда это все у Лени? Русский мальчик! Что за лидерские замашки? Он, поди, институт бросит?

– Не знаю. У него вряд ли мысли о политике. У него сейчас любовная Голгофа, ему некогда...

– Как хорошо, что мы с тобой встретились. И не разошлись. А ведь было, было...

– Как узнала, что у детей понос, сразу вернулась в семью! И все, никакой Голгофы.

Она поставила картошку на плиту. За ее плечом фонари наливались вином в темени вечера.

– У нас тоже все непросто. И очень круто, – сказал Сева Седов, ширкая тросиком в трубе.

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ КАНАЛ

Сюжет при всех изгибах фантазии все-таки важен, поэтому нужна хотя бы одна линия с продолжением. Пусть этот эпизод не настолько важен, но он мелькнет два-три раза. Своего рода стежок, скрепляющий лоскуты большого полотна.

Автор – литературному негру Л.

Когда у Седовых не было Интернета, они его воровали. У них ведь сын Леонид оказался прирожденным компьютерщиком. Этот озорник так исхитрялся, что даже на старом полуразвалившемся компе у него получалось бороздить мировой океан Интернета. Сёрфить, на его языке. Кроме шуток, это океан чудес, к которому через десяток лет все привыкли. Но это реально было бешеной новизной, будоражащей кровь. Сева иногда занывал в океан на работе. Он даже нашел в волновом океане старого товарища, с которым служил в армии. И хотя у Севы в Интернете был ник, совсем не похожий на его фамилию, товарищ все равно его раскусил по каким-то отдельным фразам, например «я никогда не тянул на себя одеяло в виде яичницы». Или вот любимое междометие. На вопль «Что же будет? Боже мой!» – на это он всегда отвечал: «Что-нибудь».

И вот наконец и отсталая Валя попробовала туда заглянуть. Сын, кстати, очень поощрял ее робкие попытки.

Вот там она обнаружила странную девушку на сайте блогеров. Эта девушка откликнулась на ее мелкую зарисовку, и они стали друзьями.

Валентина всегда ловилась на откровенность. Она как увидит, бывало, чей-то порыв, так и не проходит мимо. Откровенность была такая:

«Я не сплю до трёх часов ночи. Почти всегда. Я люблю солёную минералку.

Я никогда не делала маникюр. И не хочу. Я сейчас люблю цвета: чёрный, оранжевый, серый. Я не люблю злиться.

Мне плевать на общественное мнение. Я не знаю, что происходит в мире, и не смотрю телевизор. Мне нравится Комеди Клаб. Это не оригинально, я знаю.

У меня нет кризиса среднего возраста. Я долго думала и решила – мне на него начхать.

Я люблю «Король и Шут». Я почти всё время чего-то боюсь – внешних внезапных факторов. Панически. Я прихожу домой, разогреваю в микроволновке готовые овощи и пью Ёрл Грей. А когда хожу вместо этого в ресторан – ем салат из овощей и стейк.

Я разлюбила пиво. Я всё так же влюблена в Жизнь, как и раньше.

Я никогда не хотела замуж и до сих пор не хочу))). Я больше всех на свете люблю своего сына.

Я хочу быть настоящим другом. Всегда хотела. Идефикс. Мне всегда казалось, что не получается. Я плохая мать, я вообще плохой семьянин. Даже не надеюсь исправиться – это не в моей епархии. Может, это и тупо, но я пользуюсь Автокадом как простым листом бумаги, на котором могу рисовать. Я не понимала никогда поэзию, кроме Тарковского. Может, всё впереди? Мой мозг виснет, когда я вижу цифры. Но когда мне надо в них ориентироваться, включается. Я ненавижу уборку. Мне легче закрыть глаза и ничего не видеть, чем смахнуть пыль. Зато я могу работать сутками буквально. Я ненавижу неупорядоченность жизни. Мне легче работать всё время, чем бездельничать.

Со временем я стала уставать от чужих сложных переживаний. Мозг отключается, когда я слышу пространные рассуждения на тему «Как всё плохо и сложно...» Близких друзей это не касается!)))) Я всегда хочу помочь всем подряд. Фиг знает, что получается.

Я мучительно хочу всегда в Питер и Крым. Я с детства всегда всё делаю противоположно тому, что нравится всем. Просто от желания отличаться от всех. Я всегда и со всеми спорю. Потому что знаю, что права. Потому что знаю до фига всякой ерунды.)))

Я по жизни – Дилетант с большой буквы. Обо всем знаю понемногу. Зато обо всём!»

Валя была зачарована. Неизвестная великолепная девушка по имени masandria показалась родственной натурой, хотя описание шокировало... Однажды Валентина поделились в ленте блогов фотографией своего двора. Просто машины, засыпанные снегом, столбы и веревки для белья, маленький газон, который со временем превратился в кружок чахлых берез на фоне кирпичной трансформаторной будки (стой, высокое напряжение!) Это картинка, которая стояла в окне годами. Масандрия ответила на фото немедленно: «Это мой двор!». Да, это была черненькая, в очочках, Маша, дочка художника!

Имя художника, соседа Седовых по подъезду, все время всплывало в их жизни. Судьба настойчиво напоминала им о том, что забывать нельзя. Городская картинная галерея собрала выставку его полотен, посвященную какому-то его юбилею. Местный корифей, выбивший художнику квартиру, сказал о нем такую речь, что хоть падай.

«И картины, и сам художник – молодой, красивый, взбалмошный, смело критикующий все, что ему не приглянулось, не щадя признанные авторитеты, влюбленный в себя и свое искусство – мне сильно понравились. А спустя три года я пригласил Яна переехать для жизни и работы в наш городок.

И он переехал. Я взял десяток его картин и пошел к первому секретарю обкома с просьбой выделить для талантливого художника квартиру, и вопрос с жильем был решен. Большая трехкомнатная квартира в центре

города понравилась, но дом еще достраивали, и Ян на три месяца поселился у меня. Мой сын Николай и Ян, два молодых парня, почти одногодки, жили, как братья. И он ко мне относился очень сердечно, как к отцу. Жили одной семьей.

Чем интересен он? Это прекрасный рисовальщик (а рисунок в картине решает все), фантазер и новатор в композиции, когда создает картину. Великолепный портретист. Особенно интересны, поэтичны женские портреты. Умеющий частенько «похулиганить» на холсте. Но и «шутливая» живопись Яна наполнена размышлениями о жизни, красоте. Это художник, нашедший свой стиль, и его сразу узнаешь.

Но вот ему стало тесно у нас. Сначала перебрался в Ленинград. Там его связала дружба с певцом Шевчуком. Но и Ленинград стал тесен. Переехал в США, Нью-Йорк. Я не знаю, что он там нашел? Если в нашей стране его знали, он был виден, он был авторитетом, его любили, то там, за границей, он стал никому не нужен».

А публика шепталась: «А сам-то, сам-то он где?» – «Эмигрировал». – «Как это эмигрировал?»

Из желтого Икаруса смотрел на всех русский писатель. У мотоциклиста лицо было закрыто очками, а перед ним сноп васильков. Ну, тут ему дорого хоть что-то?

Для Валентины Петровны Седовой это было глобальное событие. Нахлынули воспоминания – как жили с ним в одном подъезде: Седовы в четвертой квартире, он в двенадцатой. И прожил в патриархальном городке в лесах около десяти лет, уехал в зените славы. Для Седовых это была неординарная, знаковая фигура. Он помогал открывать музей Шаламова. До сих пор посетителей встречает огромный портрет Шаламова. Почему? Тайна великая есть. Ему нужны были новые горизонты. Наверное, так. Но Вале казалось, уехал он вынуждено, вроде того, как уехал из страны Бродский.

Человек с характером. В Америке ничего не сбылось. Зато выпали на долю художника такие страшные испытания, после которых он попал на дно жизни.

Он терялся не один раз. Валя узнавала об этом от искусствоведицы Марины, которая, помимо того что была директором Шаламовского дома, стала полпредом творчества близкого человека. Именно она устроила персональную выставку. Именно Марина Вороно получала письма от Яна, а когда писем не было, тревожилась, пыталась что-то узнать. Иногда у Шевчука. Кстати, непонятна позиция Шевчука в этом запутанном деле. Знал ли он о беде своего друга? После очередного молчания Яна и появлялись на странице ЖЖ Оратория призывы помочь в поисках русского художника в Нью-Йорке.

И еще лет через десять пришло письмо от знакомого по сети Марка, датированное 23 октября: «До прошлого воскресенья я не знал о существовании Яна. Так получилось, что я случайно разговорился с незнакомым человеком, и он мне сказал, что он художник, и довольно известный, был членом Союза художников и т. д... Сейчас попал в жуткое положение – негде жить, и он спит в метро, нечего есть, и он ходит за едой в церковь, такая полная безнадега...»

Естественно, первое, что Седова сделала – написала дочери. А тем временем, чуть ли не слезы градом, обратилась в картинную галерею, в Союз художников с просьбой дать какие-то следы пребывания здесь. Но они могли только дать список оставленных в хранилище картин... А нужно было личность удостоверить. Даже к участковому пошла, чтобы тот помог найти справку о прописке. Но участковый ничего не обещал – «вы не родственница». Была одна подруга, которой Валя описала эту ситуацию! И подруга, умница, отослала эту

историю на первый канал, где однажды выступала как эксперт.

Когда Седовой позвонила редактор первого канала, сомнений не было – надо ехать. А что же Сева? Сева был уничтожающе краток: «Первый канал – это иезуиты и лгуны». Но и пропустить такой поворотный момент невозможно. Конечно, заслути своей в спасении художника Валя не видела. Спасли его Марк и его жена Ирина. Это надо ж было решиться на такое. При всем том учитывая, как обычно люди относятся к бездомным.

Если бы Яна не стали искать, им пришлось бы брать ответственность на себя. А еще Яна спасала группа поддержки первого канала, которая лично Валю Седову везла на поездах и на такси, только бы она смогла пробормотать несколько слов про Яна. И эта служба сработала идеально и плавно. В результате Седова прибыла на первый канал вовремя и долго сидела в гримерной – маленьком автобусе с гаснущим светом. В этом в вагончике и познакомилась с Олегом – племянником Яна. Отличный мужик, добрый, умный, он говорил о многочисленном клане, о запутанных отношениях этой семьи. И они же, невидимые помощники, привезли в Москву художника без документов, но не без памяти, преодолев юридические и пространственные преграды. Как они это сделали – очень интересно. Но это осталось за кадром. Довезли живым, подвижным и позитивным. Это уже чудо.

Гордон когда-то интересно говорил про кино и науку. Вообще бывали времена, когда Валентина могла не спать ночь, чтобы только послушать его рассуждения. Это был оракул, чьи комментарии по любому поводу врезались в память. Но когда услышала их наяву – пожалела об этом. Ой, как пожалела.

Сначала ведущий Гордон долго придирался к дочке Маше, хочет ли она вернуть отца. Она терпеливо отве-

чала, что хочет. А вот когда он пропадал, почему вы его не искали? Возможности не было. Но ведущий делал вид, что не понимает, как может одна обычная женщина без связей, без денег кого-то искать за океаном. А хочет ли он? Ведь он вас бросил. Он столько лет назад уехал и не связывался... Нет, он звонил, когда мог. Честно говоря, это выглядело недостойно, как будто он не верил ни одному ее слову. Так вы хотели, чтоб он вернулся?

Наконец, немного сутулясь, вышел художник Ян, весь белый, седой, неузнаваемый, в новых ботинках. Они обнялись с Машей. Длительные аплодисменты – и, наверно, это и было то, ради чего Седова сюда ехала. Только увидеть, убедиться. Он подошел к ней здороваться, ему указала дочка, и Валя сказала через тридцать лет: «Вы меня не помните, конечно, но я о вас не забывала». В кратком объятии была дрожь. И такая жалость охватила. Сердце билось в горле. А Гордон со смешком бросил: «Подите любите художника?» – «Да».

И потом пошел гон, которой перечеркивал все. Великого художника называли бомжом, обвиняли в том, что он бросил семью, должен виниться, получил какие-то страшные тысячи за свои картины. Но ничего этого он не получал. Все же знают, что его обокрали в Питере, еще неизвестно, кто и откуда взял эти работы на продажу. Потом его обвиняли в том, что он мог заработать, не захотел. И почему не вернулся, неужели все было так плохо? «Ах, вы вернулись героем! Героем?»

Седова не узнавала меткого, бесстрастного Гордона, рыцаря истины с острыми глазами. Нынешний Гордон был просто груб, бил в больные места. Бил лежачего. Он не щадил никого. Он не придерживался сценария, который мямл в руках. Он уходил за кулисы, чтобы опрокинуть стопку. «Вы приехали к дочери, вот и говорите с ней». И это речь профессионала? Валя видела, что

обожяемого человека унижают, и уже хотела выйти на сцену и вырвать микрофон из рук, но тут ее вызвали, ибо прибыло такси на вокзал. Если бы она не опаздывала, если бы только могла сказать ему и всем, что если уж вытащили русского эмигранта из Америки, так не для того, чтоб распинать здесь, на виду у всех. А то ведь получается, что зря работала эта группа поддержки. И тогда бы все поняли, что женщина не терпит унижения – ни своего, ни того, кого она любит.

У нее потемнело в глазах, и слезы градом. В этом плаче ее быстро посадили в машину и увезли. Ей было стыдно, что она не помешала несправедливости. Издевательство продолжала вершиться после того, как она ушла. Очередного тычка Гордона она не увидела. Как художнику гикнул ведущий: «Пошел во-оон!»

Вот так она съездила на первый канал, и так перед нею рухнул идеал Гордона. Но она теперь знала главное – художник жив, и он на родине. Остальное комментарии...

КАРАТ

Прошло много лет. Валентина Петровна приехала в родной город тайно, остановилась у Лели, дочери своей замужней, чтобы никому не выдать план. А план был в том, чтобы сбежать от дел, от обязанностей, от запутанных денежных проблем, от всех, потерявших разум. Хоть на несколько дней, но пропасть из виду... И чтоб никто не искал, не тревожил! Идея принадлежала сестре Тоне, сама бы Валя не решилась. Идти по родному городу под маской шпиона оказалось захватывающе хорошо! Как будто ты – это не ты. Раскаленные проспекты обдувал пустынный сухой ветер, жара в городе за тридцать. А в душе – радость игры.

Как же хорошо было готовить суп да пиццу и уютно болтать о разных пустяках. А потом брести в магазинчик, выбирать шампунь и мыльницу, и казалось, что это навсегда. Съемная квартирка дочери была очень холодная, в подвале плескалось море, жалобы не помогали. Зато дешево и в центре. До работы сумрачного зятя недалеко. «Дочка, может, побелим потолок?» Но нет! Сестра позвонила и сказала, что такси заказано на час и подъехала точно так, как обещала. Но у водителя странно дрожали руки, и сумрачный зять это заметил.

На вокзале долго не сообщали поезд. Без десяти два сердце Валентины Петровны жутко заныло. Достали билеты и обнаружили, что поезд давно ушел. Это был опасный знак, после чего поездку следовало отменить. Сильный удар по психике, прямо атака!

Залы ожидания закружились, мерзко засосало под ложечкой. Валентина Петровна зажмурилась и пошла менять билеты. Кассирша бросила ей мелочь, деньги пропали. Неизвестно почему, но Антонина Петровна в кассы не пошла и стояла с безразличным видом, молчала. Валентина Петровна боялась, что с ней нехорошо

совсем, ведь она вообще не дергалась, вела себя, как посторонняя.

Но вот билеты были переделаны, куча денег потеряна, и надо ехать из пригородной Придачи. Снова вернулись на квартиру к дочке, и тогда сестра рассказала, что они по дороге сбили двух человек, двух женщин, когда ехали через арку. Что коляска детская осталась стоять, а женщины упали, заругались. И тогда рванул таксист прочь и дальше через завод вернулся. Опять, что ли, знак. Надежда, что живы остались... Все притихли, Валентина приняла лекарство и легла, ее кружило. В ней застыл на одной ноте внутренний крик, который пришлось скрывать. Нельзя ехать. А дочка угостила чаем и пиццей и вторично проводила. Конечно, Валентина просила зятя отпустить с нею дочку, ввиду своей житейской беспомощности, но зять отрезал, что нельзя.

Два часа ждали, а на посадку две минуты? Снова экстрим, нервы и жара. Дочка, которую зять не отпустил, бежала рядом с вагоном и на ходу впихнула сумку и документы.

Наверняка вид у них с сестрой был замученный и деморализованный. Они были такие красные и ошоловелые, так тупо обмахивались книжками, что проницательная проводница решила на них заработать и предложила за две тысячи доплаты перейти в СВ.

И не то чтобы они жаждали особого комфорта, просто подчинились, дабы не было хуже. Их сломали эти передраги. И они послушно бежали с вещами из шестого в четырнадцатый, и эта пробежка стала сущим ужасом: надо ж бежать, стучаясь о тамбурные двери, выкручивая руки, ловя ртом воздух.

Наконец, на месте. У Антонины огромный синяк на плече. У Валентины мокрое лицо, как после бани. Холодный спасительный воздух из кондиционеров был

счастьем. Они стали успокаиваться и говорить, но не сразу. Ночь отрезала их от всего дурного.

Валента быстро оживала. Она очень любила покушать на станциях всякую ерунду: стаканчик ягод, картошку с огурчиком, к которому прилип укроп. Антонина ворчала, что и так перерасход денег, но ворчала для вида, улыбаясь.

Принесла Валентина Петровна целую кучу сверточков в купе, только Антонина Петровна молчала, не хотела ничего пробовать. Валентина уговаривала:

– Ну, давай! Классно же пахнет?

А сестра ноль внимания, в книжку смотрела, хотя вряд ли читала. Солнце. По стенкам купе бегали солнечные зайчики. За окном мелькали в раскаленных лучах солнца веселые поля. Ну, разве плохо?

А потом вдруг Антонина длинно так вздохнула:

– Прости, что я проворонила поезд. Я начала готовиться за полгода, понимаешь? Конспирацию навела, детей предупредила. Билеты купила... Правда, ходил за ними медленный зять, но все сделал, как просила. А потом, когда ты приехала, когда пряталась у дочки, когда вещи были сложены и сумки под лестницей, я просто отключилась. Мне казалось, что я предусмотрела все! Абсолютно. Мне оставалось просто выйти из дома, как я обычно иду на помойку. И мешки я приготовила. И я из дома вышла, увешанная сумарями, в полном безразличии. Выбросила мешки, встала на углу такси ждать. И это будто не я. Чувство выполненного долга! Солнце пекло, я не чувствовала. Ветер дунул – я не чувствовала. Таксист приехал, я сказала твой адрес. Понимаешь? И на вокзале я не чувствовала, что я еду. Вроде как тебя провожаю. Я же привыкла всю жизнь в хомуте и никак не могла поверить, что это я в Сочи еду, я, а не тетя чужая... Прямо заскок!

Она доверчиво повернула голову к окну, русые волосы выбились из узла, халатик синий, новый, в оборках.

А в серых глазах стояли непролитые слезы. Валентина, опешив, даже про огурчик с укропом забыла.

* * *

На юге жила подруга Антонины Петровны с далеких институтских времен. Они во время учебы жили на одном этаже в конце коридора, занимались в параллельных группах. Поскольку знакомство было довольно зыбкое, Валентина Петровна боялась, что однокашница их не узнает. Антонина Петровна так не думала. «Ну, не узнает, так и что? Другие хаты есть». Но однокашница примчалась на вокзал и после долгого беганья по перрону все же узнала и закричала: «Тоооооняя!»

Валентина Петровна с визгом купалась в море и подолгу лежала в прибое, била по воде ладонями. Антонина Петровна к воде не подходила. Она была такая белая на фоне всех, что пришлось на нее напутать парео, как велела старшая дочка.

Они пошли с пляжа, когда от огромного слепящего солнечного диска остался лишь алый край. Он, пронзительно просвечивая, тонул в море. Подувал вихревой ветер, их же схваченными волосами водил по обожженным плечам. Торговка бусами и магнитиками сворачивала лотки, черноголовые веселые пацаны мыли плиточную дорогу из шланга. Возле шашлычников уже не было никого, сизый дым затушен, сами шашлычники уютно сидели за одним столиком, попивая из кружек холодное пиво – надо же доесть шашлыки. У раздевалок гроздьями колыхалась очередь. Да ну их, раздевалки эти...

– Давай, прячь книжку. Завтра читаем.

Они читали Скибинскую на пляже, до чего страшная книга, про мертвых, совсем не подходила она для курорта. Но Валя боялась, без книг она болталась точно в

вакууме, поэтому поддерживала интерес к искусству даже тем, что ей не очень нравилось.

Она не хотела задумываться о мире мертвых, но манера автора притягивала. Они пошли по дороге, еле поднимая ноги, а ведь утром эта же дорога ощущалась такой легкой, праздничной. А тут сил нет, да еще милиционеры на прохожих цыкали, правительственные машины ждали. Ах да, тут же недалеко дача Путина. Так говорила их хозяйка.

– Ну и отдых, – вздыхала смуглая Валентина, встряхивая темными спутанными волосами. – Такая усталость... Ты смотри, я уже задохнулась. Не пропустим свою улицу? Бамбуковая, вроде.

– Так обожди, – вразумляла ее светленькая худощавая Антонина. – Никто не гонит. Придем, кашу гречневую с маслом разогреем... А тебе надо шашлык? Ты сейчас хотела б?

Опять надо подразнить.

– Тонь! Я сюда приехала худеть, ясно? Минус три! Мясо на ночь в десять вечера? Хотела б. Но нельзя. Ты такая стройная, – задыхаясь, бросила Валентина, она все же шла, старалась. – Ты стройняшка американская. И откуда такая русая и высокая? Мы с тобой не похожи на сестер...

– Похожи, не волнуйся. Хозяйка ведь сразу сказала: «Так вы сестры!»... Глянь, вон тот на тебя посмотрел.

– Какой? Да ну еще! – Валентина боялась местных.

– Да вон, в машине сидит. Да не смотри ты.

– Да фу-у, перстни какие. Шашлычник.

Поравнявшись с машиной, они опустили головы, мокрые купальники выдавали их. Вид не очень. Гламурные красотки, идя с пляжа, меняли наряды и наводили макияж. Но сестры были неопытные отдыхающие.

А тот вдруг:

– Здравствуйте, нанэ.

Они кивнули и прошмыгнули.

- Ужас, нанэ – это ж бабка.
- Нашего возраста – и «нанэ». Нахал.
- Не кипятись, он по-доброму, по-соседски. Для него мы и вправду бабки.

В уже знакомом дворике на Бамбуковой плакал ребенок. Он плакал все время, потому что ему был всего месяц, а при сорока градусах жары, при носках и шапке, он уже успел понять, что такое адская жара. Боже, вот мученик... Пробежала в черной майке и шортах хозяйкина дочь Марго, мать новорожденного, заскочила в душ. О, она еще и в душ ходит. А непохожие сестры, когда у них появлялись младенцы, стояли на цыпочках, качали... Молодые матери теперь другие.

Кухня находилась во дворе под навесом. Холодильничек. Диванчик. Столик, табуреточки. Хозяйкин муж тут и спал, на улице, когда загуливал. Все есть, даже плита. А по решеточке – виноград. Жить бы тут и жить всегда, прямо на улице. Через забор, правда, шла сварка, сосед из машины наваривал себе веранду на третий этаж. Он это делал каждую ночь, будто не понимая, что рядом спят люди, которые приехали на курорт. Вот как Валентина и Антонина.

– Тонь, а Тонь. А если кашу с сарделькой? Такой голод от моря.

– С маслом хватит, – отрезала строгая Тонечка. – Или с огурцом. Я вообще буду только огурец.

Трещала каша на сковородке, трещала сварка за забором. Трещали сверчки, не замечая сварку. В саду, почуяв еду, заскулила собака. Собаку, кажется, звали Карат. Пес не понимал, зачем он нужен новым хозяевам. Карат смирился со сменой дома. Прежний хозяин умер, прежняя хозяйка его не переваривала. Только посмотрев ей в глаза, он сразу понял – ему придется убраться. Но здесь, в этом тесном дворе, где сновали чужие людишки, он

всегда на цепи или на толстой веревке. От тоски он грыз веревку, но толку-то. Кого тут охранять, от чего?

Карат был всегда голодный. Ловить мышей презирал и раньше, а здесь на привязи. Но когда его изредка выводили ночью гулять, всегда на поводке, он стремился что-то поймать. Мощная стать Карата требовала еды. Ему не хватало одной миски на сутки.

От плиты одуряющее несло жареным.

– Ой, а она хорошо привязана? – Валентина боялась собак.

– Привязана, привязана...

– Что-то я не вижу нашей хозяйки...

– Уехала куда-то, машины нет. И ее родичей тоже нет... Одни мы, хорошо, никто не стоит над душой.

На сестер напало умиротворение южной ночи. Еда на улице особенно вкусна.

Даже собака за сеткой примолкла.

Вдруг Валентина Петровна, сидя спиной к дорожке, услышала сзади нечто страшное: «Хх! Хх!» Это горячо дохнула на нее скотская пасть.

Высокая Антонина, запевая под нос тропарь Царю Николаю «Радуйся, Живоносный», обернулась от плиты со сковородкой и застыла. Она протянула, не меняя ни голоса, ни мотива:

– Тихо, собака... Пришла... ты замри...

– Хрр.. Урр... – прозвучало над ухом, да так близко, что не убежать.

Рокот рычания был неагрессивный, бархатный, с вибрацией, но от такой вибрации только завывать.

Валентина задохнулась. Конечно, глупо умереть от какой-то собаки, но пока умрешь, она тебя размочалит до ошметков. Волкодав же... полтора метра высоты. Сейчас возьмет за шею, и все. А сестре опять хорони... Она и так всех хоронит... За всю родню отслуживает... Чистый хлопчатый халат тут же пристал к Валиному телу, стал колючим. «Хр, хррр!..»

– Что делать? Сидеть до утра? – прошептала Валентина, слыша на шее чужое смертоносное дыхание.

– Сиди. Сиди. Тихо сиди.

Антонина Петровна плавно обошла сестру и ласково сказала:

– Ну, идем, Карат. Гулять. Понял? Иди... – и ее голос тоже дрожал.

Собака потопала за ней, как бегемот. Понимая, что Тонька героически уводит от нее собаку, а сама не знает, что с ней делать, Валя просто вросла в табуретку. Она услышала издали:

– Карат, Карат. Иди, иди... Марго! Эй, выйдите кто!

Света во дворе не было. В глухой черной мякоти, с которой слилась черная овчарка, послышалась возня, рык и падающая тяжесть. Неужели кинулась?! Почему так затошнило? Не надо было ехать. Говорили ей дома – пропадешь. Вот и... А девчонки, девчонки-то Тонины... Полный чемодан еды наложили, чтобы, значит, похудела... Ну, что же там такое?! Никаких признаков жизни.

Потом прошло какое-то время, не имеющее времени. Глушь, темень, тишина и дрожь. Онемение, как после удара током. Ощущение пропасти и конца. Страх страшен тем, что не кончается! Только сварка пыхала.

Потом шаги. Это идут за ней? Или... Тоня?

– Там Марго вышла со второго этажа и кликнула двоюродного. Тот загнал пса на веранду. А ты что? Сильно испугалась?

Валентина молча плакала. Гадкая дрожь облепила ее ненавистно промокшим халатиком, ей хотелось разбавить, размыть эту животную дрожь.

– Ты спасла меня. А сама что. Ты какая... Всегда ты на себя берешь, как старшая... Потому и старшая. Не годами, а характером.

– Ты что тут, с ума, что ли, сошла за десять минут? Валь, я никакая не старшая. Просто сидеть и умирать не по мне. Я вообще сторожем ночным столько лет работа-

ла. Свой страх перемогла. Давай ты поешь и успокоишься?

– Нет, я не хочу.

– Ну... Можешь даже не есть кашу, одну сардельку, да? Вон, какая сочная, даже еще не остыла.

– Нет, не могу. Отдай Марго, пусть Карата покормит. Он, может, ничего бы и не сделал, если б мы ему сразу еды бросили.

Тоня взяла в одну руку чайник и в другую Валину руку, как маленькую. И они пошли длинной вымощенной дорожкой вдоль забора в дом, тихо пошли, и в небе летел цветной дождь от сварки. И еще долго не ложились, сидели на терраске, молчали. Они сюда ехали с таким трудом. Даже не верили, что доедут. А тут тоже не Анталья. А жить надо. Надо насильно заставляя себя отдыхать, чтобы не сбрендить.

Где-то к двенадцати приехала хозяйка, худенькая одноклассница, с папироской, тоже в шортах. У нее была фигурка подростка и старое личико с выжженными глазами. «Простите девчонки, это соседи-заразы... Мы собаку-то от соседей держим, не от вас же...» Мать Марго долго извинялась. Ее тоже было жалко. Но сделать было ничего нельзя: деньги за проживание были заплачены вперед. Мать Марго мучила совесть, она наказала следить дочери, но у той кричал младенец, до того ли ей было.

Сестрам что оставалось? Они изо всех сил подкармливали овчарку, пытаясь как-то загладить конфликт.

– А помнишь, как ты ко мне приезжала? – помолчав, в какой-то прострации, шепотом спросила Валентина. – Я уже работала, а ты мне все умудрялась кофты невозможные вязать. Ни у кого таких не было.

– А ты помнишь? Как моя старшенькая родилась, и ты ее качала всю ночь?

– Да это ладно, а вот что ты родителей тяжелых на себя взяла. Я бы умерла...

– Брось, у тебя своя свекровь лежала...

– Прости меня!

– За что? – Тонечка даже испугалась.

– За то, что я тебя тогда ударила, помнишь, в детстве? Мы подрались, еще в школе? – на Валю накатила совесть.

– Фу, глупая. Когда это было? Сто лет назад. А по какой причине, интересно?

– Да по какой. Я как обычно, буровила про Анчарова, а ты сказала, что любишь только власть и деньги. Ну, я и взорвалась... Спасительница... – взяла сестрину руку, погладила.

Тоня выдернула руку.

– Ну, всё, спать пошли. Завтра в семь на пляж и пробежка.

– ...Самая родная, самая дорогая. Сколько каратов в тебе? А?

– Да ну тебя! Что за аналогии? И Скибинскую надо дочитать! Поняла? И вообще – у нас еще будет бассейн, выложенный золотыми монетами, ни одной серебряной... Хоть одна серебряная будет, так не зайдем, и родных не пустим, чтоб не позорились.

Ничего особого не было сказано, но настроение стало другим, как-то поверилось в лучшее. В то, что завтра уже все наладится, и они поймут, как надо отдыхать правильно и зря не волноваться.

– Да... да.

Сварка стреляла новогодними блестками. Над Бамбуковой плыла густая черная ночь.

Сестры купили экскурсию в Хостинскую тисо-самшитовую рощу. Слово «самшит» для Валентины магическое – «Самшитовый лес» Анчарова.

Но сначала они долго ехали на автобусе по опасно петляющей дороге. С утра было мокро, и сеял дождик. В одном месте автобус пошел юзом, пытаясь разминуться со встречным автомобилем. Экскурсовод замолчала, водитель вполголоса ругался, потом и он замолк. Вся группа, смотревшая в окошки автобуса, можно сказать, застонала, но шепотом. Некоторые стали молиться вслух: «Господи, ну прости мне все»! Двое, не стесняясь, заплакали. Валента задрожала, сестра взяла ее за руку, шепнула на ухо: «Перестань, это шоу». Какое шоу? Невозможно было поверить. И тоже шла на ум простая молитва «Отче наш»... Но затем автобус, ревя и буксуя, медленно вышел из крена. И все облегченно выдохнули. С этим выходом воздуха вышло что-то большое и общее, некий вселенский ужас.

По дороге, под веселый щебет экскурсовода, был даже трепет, что увидят они, наконец, самшит и нечто новое поймут. Но понимать было некогда: вся группа в тридцать человек совершала такой адский забег по ущелью, что дух занялся. Легконогая Тонечка бежала живо, перескакивая с камня на камень, успевая щелкать «мыльницей». Неповоротливая Валентина тоже бежала, одежда липла к телу... Просто баня. На ходу что-то щелкала, но в отличие от Тони, попадала пальцем в небо.

Говорят, там и развалины крепости XII века есть, но их не видели. Деревьям по восемьсот лет, по тысяче, как тому тису. Там еще был разлом земной коры, куда спускались по неровным ступенькам, и мрачные слои камня, качаясь, плыли мимо. Там есть такой навес, где все фоткаются, представляя себя в роли атлантов, держащих небо. В тридцать шестом году для туристов проложили тропу, а до того народ ходил с большим риском и рискованым проводником.

Вообще люди казались слабыми комаришками рядом с деревьями-гигантами. Это они в своем мире друг

другу заметны, да и то не все. А в этом мире, где жителям сотни лет, люди просто ничтожны. Вдобавок воздух, затянутый сырою мглой, – и ничего нельзя толком рассмотреть. Как будто ты персонаж доисторического фильма.

– «Самшит – кавказская пальма (в народе – «железное дерево») – это вечнозеленое дерево, растущее очень медленно и долго, до пятисот лет, достигая за столь длительное время восемнадцати-двадцати метров в высоту и до полуметра в обхвате, – прерывающимся голосом читала Валентина во время передышки выданный всем буклет. – Древесина самшита прочна, как железо, и почти столь же тяжела. Поскольку удельный вес самшита тяжелее воды, в воде он тонет. Древесина самшита использовалась для изготовления деталей приборов, ткацких челноков, в самолетостроении. Это растение особой стройностью не отличается: ствол его кривой, сучковатый, но маленькие глянцевые листочки круглый год скрывают его крючковатость и благодаря им самшит – украшение наших южных парков и скверов, как и тис, – длительное время сохраняет приданную форму, ибо растет весьма медленно».

– Интересно, – бросила Тоня, возясь с фотоаппаратом, – он и страшный, он и украшение. Видишь, как все относительно в жизни!

– «Растет самшит в глухих сырых ущельях, на крутых тенистых склонах, порой буквально вгрызаясь в скалы, поскольку семена самшита отличаются исключительной всхожестью, но обязательно на известняковых почвах, – продолжала бубнить Валя. – Ранней весной самшит начинает цвести душистыми мелкими цветочками. В это время пчелы активно собирают самшитовый нектар. Мед, который они затем вырабатывают, обладает алкалоидными свойствами и называется в народе «пьяный мед». Стволы и ветви самшита всегда покрыты мхом, который растет только на самшите. Он оберегает влагу и предохраняет дерево от колебаний температуры. Во

время войны Сочи был город-госпиталь, этот мох использовали вместо ваты для раненых солдат. Было замечено, что раны быстро затягиваются».

Сплошной мох и морось. Так вот почему в войну этот мох даже собирали для перевязок. Он целебный. Его еще в старину использовали для лечения кашля. Самшит твердый и плотный, тонет в воде, растет медленно, мучительно, его охраняют. Чисто самшитовых рощ давно не существует. И уж тем более леса! Что тогда означает «самшитовый лес»? То, что ископаемый, редкий... Местами деревья гудели, ворчали. У них вековая дума, а тут людишки...

Но теперь яснее – самшит растет, цепляясь за жизнь. И если брать не одного человека, а всех, все человечество, то дума и у него вековая. Просто рядом с самшитом все более очевидно!

Они стояли на смотровой площадке и пытались охватить взглядом открывшуюся перед ними картину. Мощно клубящиеся кроны, далеко внизу – поток воды. Там бурлила река Хоста. Все это – великая природа, устрашающая. Нежная дымка среди голубого и зеленого. Дальше – контраст темной растительности и величественных белоснежных корабельных скал.

Прогулка по зигзагообразным коридорам Лабиринтовой балки запомнилась сестрам как бег с препятствиями, будто они ГТО сдавали. Но такое впрямь не забыть. Потому что в корне меняется представление о мире. Они раньше думали, что мир – это их дом. И узкие дорожки между магазинами, садиками, работой и домом. А теперь стало ясно, что живут они рядом с таким существом, как самшит, вернее, они часть того мира, где царствует самшит. Как же точно Анчаров писал: «Мы – народ. Мы живем медленно и вечно. Как самшитовый лес. Корни наши переплелись, и кроны чуть колышутся. Мы все выдержали и от всего освободимся».

БУДНИ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА

То, что для одних являлось событием – вино, мужчины, музыка и шум, для других – скука и обыденность. Валя вообще никуда не ходила, даже странно вспомнить, что когда-то была в ресторане... Один раз в жизни и была в кафе на корпоративные, да один раз на юбилее начальницы. Они там сидели сугубо женским столом и презирали всех, кто не обращал на них внимания. А на эту женщину внимание обращали, но она привыкла. Снежка, подружка Вали, в этом ресторане работала. Она быстро носила подносы, не собачилась с клиентами, подменяла подруг и получала регулярные чаевые. Про нее говорили – она с каждым пойдет. Но она не ходила, просто старалась создать такое мнение, чтобы думали. Она могла выйти, сесть в машину, выскочить из нее за углом... Зачем? И сама не знала. То есть это был, может, и не лучший, но устойчивый образ жизни, она в нем освоилась. Она сильно взбивала свои мелированные пепельные волосы, одним движением быстро подводила глаза, затягивала широкий пояс на девчоночьей талии, бросала грустно-лукавый взгляд в зеркало. Фигура, как в восемнадцать, юбка, как в двенадцать. На голове облако, в глазах грусть. Эй, актриска! Расправь бровки. Сегодня все будет хорошо...

И вдруг эта простая модель жизни сломалась. Потому что таскать посуду и брать чаевые было нормально. А тут не только чаевые стали не нужны, а и работа опротивела.словно вся жизнь стала немила.

– Я так больше не могу, – твердила Снежка, оглядываясь и шарахаясь от любого прохожего. – Не могу.

– Не можешь, так сбегай, – упорствовала Валя, – посмотри, какая ты задержанная.

– Он меня все равно найдет, – мотала Снежка головой, – найдет, из-под земли достанет.

– Уезжай! – убеждала Валя.

- А... дочка?
- А что дочка?
- Его дочка! У нее не будет отца.

Снежка казалась недогадливой, в то время как жизнь уже взяла ее за нежное горло грязной клешней.

Снежка так переменялась после того, как встретила Его. Никаких крашенных ресниц, никаких масляных губ. Волосы, всегда взбитые, белые или мелированные, вернулись в прежнее шелковисто-коричневое состояние. Умытое лицо, помолодевшее лет на десять, светилось румянцем и щурилось теплом. Сероглазое, аристократично-тонкое, с очень белой кожей. Лицо, на котором что нос, что глаз, что бровь – каждая черточка цвела и подрагивала.

Она фанатически стирала, развешивала кружевные занавесочки и варила супы. Работу в ресторане бросила. А денежная была работа! Но она ее бросила без сожалений – любимый не хотел.

Геночка ее увидел в этом ресторане. Она на шпильках не прыгала, как на ходулях, она плавала ровно между столиками, как яхточка. Что за нимфа? Лицо интересное, грустное, дружелюбное. Она не была похожа на обычную крашеную куклу с потресканным ртом. Слишком свежа для этой забегаловки. Увидел, попросил чего-то принести и больше не отвязался. Какого лешего ему надо было? То ли покрасоваться перед своими братьями-художниками. То ли правда что-то там такое случилось? Когда они забрали ее в тот первый раз и пошли к кому-то допивать, она сидела столбиком у него на коленях, молчала. Вокруг был такой бордельеро, народ тошнил, не отходя от кассы. А она одна трезвая. Хотя друзья потешались над Генкой и удивлялись при ней, зачем же брать из кабака, не лучше ли просто пойти на вокзал, это рядом и дешевле. Она понимала, что люди пьяны, но надеялась, что он заступится. Он не заступился,

он смеялся со всеми вместе. Почему она осталась, почему? Надо было сразу уйти. Она тогда еще не любила его, просто притягивала атмосфера. Это же художники... И она сразу же, еще не зная и не любя его, почувствовала – мужчина. Ее мужчина. Сильный, необычайный.

Когда он на другой встрече без церемоний велел ей раздеться и позировать, она заупрямилась. Ей было легко, но одновременно оскорбительно. Ну, хоть бы спросил для видимости.

Он поднял брови:

– Ты кто такая? Кто-о?!

Она задрожала, она боялась, что он сейчас скажет: официантки, они же все... Но он посмотрел на нее с таким презрением, что лучше бы уж сказал вслух. Она стала позировать, ведь художнику нужна модель. Но ей казалось, что к модели, хоть и обнаженной, относятся с уважением, а к ней... Почему-то слезы ее пробивали, пока он углем набрасывал контуры.

Она говорила: «Мой любимый не хочет!», и Валентине представлялся мрачный бородач божьего склада. И Валя даже сама робела как-то, боялась его увидеть.

Однажды сидели у Снежки на кухне, она у плиты, Валя у стола с чашкой чая.

А он вошел тихо, прислонился к двери. У них даже косяки были расписаны под народные промыслы, но, конечно, этим занимался не Гена... Кстати, Валя познакомилась со Снежкой в садике, где ее библиотека делала «Книжкины именины». Снежка в садике расписывала группы и нарисовала героев сказок прямо на стене, от потолка до пола. Они оттуда как будто спускались вниз, к деткам и к гостям, и сверкали добрыми глазками...

Из-за нахмуренных бровей мужчины не видно было глаз, но они поблескивали плавленной смолой, плясало в них что-то, как огонек в воде.

– А ну, подружка жены! Говори! Тоже официантка?

– Нет, – запнулась Валя, – библиотечарша.

О, как он усмехнулся! Рыжебородый, с лысиной, хмурый, тяжело остро глядящий бородач. Некрасивый, чертовский, жесткой складкою рот. Маленький и коренастый. Как чеканка из меди.

Одернув кофточку, Снежана забежала по кухне, доставая тарелки, бутылки, помидорки.

– Маловато, – сказал Гена, – сейчас придут.

– Но, Гена, я же не знала, у меня только котлеты.

– А надо знать! Ты подруга художника!

Подруга подруги художника полезла в кошелек, видя растерянное красное Снежкино лицо. Но Гена быстро достал что-то из кармана и велел сбежать в магазин. Валента сказала – да ладно, давайте я схожу. И притащив большую сумку, куда кувыркнулись манты, колбасы и очередные бутылки, постаралась уйти. Художников она знала с одной стороны. А с другой – ну их.

О, Валента однажды столкнулась с этим в мастерских, где обитал Гена. Ей нужно было взять материал для газеты, и она спросила, нужна ли им своя газета по искусству, а они как начали ржать. «Газеты все душные, – сказала ей бородастая компания, – густопсовые». Разговор был короткий. Лучше бы к ним не совалась.

Когда Снежана работала в ресторане, она кормила одного Гену. Когда он велел ей оттуда уйти, она стала кормить всех его друзей, даже если они приходили к ней без него. Она была как на иголках все время. Один раз Гена пришел не один, с приятелями, а еще с женщинами, и весь вечер сидел, обнимая их, щекоча. Снежана носила еду и тарелки, кормила и укладывала дочку, плотно закрывала дверь и снова шла на кухню. Гена сердился:

– Ты кто? Ты жена! Сиди с людьми, как личность. А не на кухне, как кухарка!

Снежана стеснительно села за стол, где четверо художников обсуждали отбор на зональную выставку и по очереди выходили с женщинами прогуляться. Может, это были женщины с вокзала, может, просто, но ужас, охвативший Снежану, не давал ей даже заплакать. Она смотрела остановившимся взором, глубокими серыми глазами, остекленевшими от горя. Она думала: неужели у них нет такого чувства, что при ней нельзя? Что надо хотя бы для видимости, так как в этой ситуации не Гене стыдно, а ей стыдно за Гену. Но никто не стал делать вид. Куда там!

Плач обычно обитал на ночной кухне. Плач немой и трясучий, который не облегчает душу, только надрывает.

Он вошел, включил свет. Она, закрывая опухшее от слез лицо, повернулась спиной к нему:

– Зачем? Ты меня зачем поманил? Я совсем тебе не нужна.

Он помолчал, потом сказал скучно своим низко-скрипучим, как колодезный ворот, голосом:

– Пил – и пить буду. Гулял – и гулять буду. Не тебе судить. Ты вообще кто такая?

И улыбнулся так самодовольно.

И взял ее на кухне прямо. И она настолько не хотела, что не сумела воспротивиться. Когда ушел, осталась там лежать. И так лежала до утра. Она не спала, но не могла пошевелиться – душу вынули. Сил просто не было.

Гена уехал на пленер, ничего не сказав. Валя и Снежана, встретившись перед садиком, пошли посмотреть его картины в салоне и долго не могли от них отойти. Запомнился велосипед в чулане, где полно хлама, но в открытую дверь бьет солнце и серебрятся озерные воды. В этих темных водах вздымались острова, и от них шел гул. Вот человек отвернувшись, бьет веслами и пытается повернуть лодку к острову. Да. Это он, сам Гена. Силь-

ный жилистый человек, один против стихии. Значит, он такой шестидесятник, «смело, братцы, с ветром споря»? Они, значит, его нисколько не знают – настоящего? Там еще появился портрет известного поэта с шарфом через плечо. Сходство с фотографиями – потрясающее, но еще – сходство с ним самим, с автором. Да, они оба были в этом портрете. И экскурсовод объясняла, что они правда были знакомы, даже дружили. Снежанка задумалась: «Он никогда про это не рассказывал. Хотя, кто я такая...»

Но был еще двойной портрет мужа и жены. Их лица были вписаны в тесный круг, но они смотрели в разные стороны. «Семейный круг». Жена – непрекаемое сходство со Снежаной. Не с той худенькой пепельной блондинкой, нет, с теперешней. Это была другая женщина, усталая, испившая свою чашу.

Снежана собирала дочку в школу. Ходила, списывала, где какие кружки. Приходила и к Вале в библиотеку, рассказывала свои домашние происшествия, пыталась понять, что с ней происходит. Худая стала, дерганая.

– Ты что все оглядываешься, как летчик? Никто за тобой не гонится.

– Да, вообще-то, не гонится. Просто боюсь.

– Чего тебе бояться? – уговаривала Валента, сама поводя плечами, не будучи уверена в том, что говорит. – Ты смотри, какая молодец. Держишься, несмотря ни на что. Преодолеваешь...

– Я очень низко пала, – причитала Снежа, – как никогда. Даже когда я сына к бабке в деревню отправила, чтоб не мешал работать – и то не так. Теперь прошу ее привезти его – нет, не везет. Даже когда в ресторане чаевые брала – и то не так. А теперь я какая-то шлюха.

– Брось! – закричала Валя. Уборщица с ведром сразу заглянула из коридора. – Ты хорошая. Ты должна от него уйти, оторваться. А то до худого дойдет.

– Я нашла квартиру. Уйду внезапно, дочку из сада заберу и все. Не вернусь...

Похоже было, она все обдумала, но не решается сделать.

– Ну и что? И уйди. Целее будешь.

– Ты не скажешь ему? Не сдашь меня?

– Ничего я ему не скажу! Мне тебя знаешь, как жалко.

И Валента обнимала ее, гладила худую спину под майкой со стилизованными заплатками. Ей было непонятно, как это так? Что ее держит?

Это Валя поняла много позже. Это понимают люди, которые нахлебались одиночества вот так.

Поздно ночью у Седовых зазвонил телефон. Валя смотрела в стену, по которой плавали пятна от фонаря. Гена спрашивал, не у них ли Снежана. Гену было не жалко, и Валя сказала правду:

– Конечно, нет! Где у меня? Знаешь, какая клетушка?!

Но Гена вскоре пришел и забухал в дверь ногою:

– Говори, где она! Подружка жены!

Он никогда не помнил, как же ее зовут. Всегда так – «подружка жены». Как будто она статистка в массовке, с улицы.

– Гена, я не знаю. Не надо в бешенство впадать.

Валя стояла, дрожа, в халате, в это время Фелисата выглянула из своей комнаты.

– Может, у нее есть е... рь? Говори! – рычал за дверью Гена.

– Перестань... Тише! Видишь, свекровь встала. Сейчас все сбегутся. Если она куда и пропала, то это к лучшему.

– Что ты понимаешь? – заорал Гена и убежал в ночь.

Он не был пьян, Валя бы заметила. Гена не просто выглядел безумным человеком, почерневшим от отчаяния. Он был похож на черта – резкие дикие движения,

бегающие глаза. Поневоле заколотит! Тут даже Валя стала на улицах оглядываться, как Снежка. Даже в библиотеке, идя меж стеллажами, она оглядывалась.

Один раз было много читателей, Валя замучилась искать формуляры, народ переминался и ворчал, и вдруг вошла Снежана.

– Спрашивал?

– Конечно! Я не сказала. А ты где, как?

– Устроилась ночной сторожихой в одну контору. Нина все папу зовет. Что я наделала? У ребенка не будет отца...

– Да найдешь ты ей отца. Посмотри, какая ты ровненькая! Месяц пожила бы без нервотрепки. Давай держись!

И в этот момент в библиотеку зашел Гена... В костюме каком-то, в рубаше цветной. Цап ее за руку. И они вышли, быстро очень. Сердце Вали до того достукало, что стало останавливаться. Она боялась, он с ней что-то сделает. Но идти к ним еще больше боялась. Ведь для него она была шестеркой, предательницей. Да и слушать не стал бы.

Потом Снежка сбежала во второй раз – уже подальше, в детский лагерь, вместе с дочкой. Он нашел ее и там. Целую неделю не уезжал, спал на складе инвентаря, ел в столовой. Зато дочка порадовалась!

Валя уехала в отпуск, к родителям, где столько случилось событий. Там к бабушке вломился кто-то, напугали, и она лежала в больнице. Там сестра Тоня достроила дом. Дочери Тонины были в водовороте страстей. Сева пытался в этот момент делать в их квартире ремонт. Короче, наступил момент, когда Вале стало не до чужих разборок.

Пока Валя вернулась, пока варенье поварила, на дачу съездила нормально... Снежана исчезла. Валентина ходила, стучала в дверь Снежаны, звонила – все зря.

Дома никто не откликался. Однажды на стук вышла соседка.

– Ты тоже из них?

Вид у нее был нелепый – халат с запахом завязан на спине, а на голове намотан тюрбан. Она Валю презирала всем своим кирпичным лицом.

– Из кого – из них? Где вся семья-то? – заикалась Валента, дрожа от плохих предчувствий. – Снежана где?

– А нигде!

...В тот день у них, видать, было попоище, ой-ти. Сам-то бегал несколько раз до магазина, в раж вошел. Сама один раз вышла до лавки до нашей, все смурная была, села на лавочке, руки уронила, смотрела в небо. Да не следила я за ей, а дверь не затворяется, внук туда-сюда шныряит. Я за им пошла, чтоб курточку накинул, ветер стал уже. Сам-то сверху пошел с девахой, не знаю, из чьих она. Так идут-идут – и повело, повело на стену-то, ой-ти, хороши, видать уж, были. О чем-то там переругнулись, и вдруг он ее поволок под лестницу, и вот ее сновать там, прям при белом дне, стыдобище, ой-ти. Ну, сколько живу, такого не видала. Чтоб уж по-собачьи... И тут – сама Снежанка за имя следом. Встала эдак-то напротив, смотрит, как они там спариваются, и вот качается да стонет сама себе. Мороз по мне пошел. Выскочила я, повернула за плечи к себе: «Да не смотри ты, глупая, что тут смотреть? Уйди от греха!» А лицо у ей белым-бело. И глаза вот эдак закатила, только знай белки блестят... Я ее к себе, глажу ее – тихо, мол, тихо, иди ляг, очнись иди, голуба. А она мне несет, не пойми что: «Гулял, гулять буду, пил, пить буду, гулял, гулять буду...» Без конца одно и то же, заклинило, бедную. Потом вырвалась, ушла. Я внука-то отловила, куртку дала, и опять туда, к им-то. Думаю, пьянь у них разошлась на-долго, как бы с ей чего не сделалось.

Толкнула дверь – а там тихо-тихо. В кухне, вижу, сам стоит с расстегнутой ширинкой, наливает. У двери картина. Нарисованы он и она, глядят в разные стороны... Снежанка у окна молчит. Он к ней подходит с куражом – дескать, теперь очередь твоя... Она ж, не глядя, рукой назад как взмахнет! – и он упал. Ножом, значит, ножи тут же на окне и стояли в наборе, ручки расписные. Ой-ти, мать моя женщина. Сам упал, и поплыло красное. И тут сестра ее заходит. Где, говорит, картина, что мне Генка обещал? А вот она, картина-то. Снежка ей ножом кровавым и указывает. Как увидела сестра – так и села на пол. Я побежала звонить. Сразу милиция приказала, а скорой все нет. Снежану, значит, выводят руками назад, лицо растеряно: «Нину, Нину из садика»... И увели. Скорая приехала через полчаса, сестра, поди, все так и просидела в столбняке, среди той крови-то. Сперва сестру допрашивали, как свидетеля, а потом глядь: сестра-то совсем с ума съехала. Все говорила не дело, без смысла. Спустя время рядили-рядили, да опекунство не разрешили над дочкой. Дочку Нину увез в монастырь какой-то друг Гены с его родины.

Геночка любил монастыри и был туда вхож, коли друг там в батюшках. А что Снежанка? Сидит на строгом режиме. Сестра говорила – в Казахстане. Хотела перевести ее сюда, поближе, но, видать, не вышло. Больше ничего не знаю.

Вот все, что рассказала соседка в тюрбане из полотенца.

Валента ушла от соседки чуть живая. Что наделала безумная Снежанка с жизнью со своей, да с дочкиной, и как теперь себя терпеть после того ножа? Да, видела Валя тот сувенирный набор на окне, красивый, сверкающий, вручили Гене на пленерной выставке в районе. И как странно, загадочно и подло кружилось вокруг этой дивной женщины круговое мнение! Когда в ресторане

работала – считали шлюшкой. А когда вышла замуж по любви – не смогла стать таковой. Не соответствовала ожиданиям глухого и слепого к ней мужчины.

Через полгода пришло письмо от Снежаны. «Может, ты не будешь со мной разговаривать... Но мне так хочется хоть ниточку в прошлое. Мне тяжело тут, но спокойно. Ведь теперь мне нечего бояться, все страшное позади».

Она начала писать стихи. Валента потом разбирала их, нежные и гневные, веселые и печальные. В содеянном нисколько не каялась, хотя, казалось, должна бы. И Валька никак не могла понять, что она чувствует. Лишить жизни другого. Век же не отмолишь! Жить с этим пониманием – убила. «Друзья его считают, что потеря гениального художника ужасна, ты мне твердишь о покапании, но милая моя... Мои сокамерницы такой страх пережили, по сравнению с ним тюрьма – это курорт. Алина своего сожителя убила, когда он дочку изнасиловал. По голове чугунной сковородкой. Тамара – та отца, который мать палил поленом, в сараюшке подожгла. Сима пожилая, а топором рубила мужа, потому что он всех коз замучил, имел по-издевательски. Оля отравила брата, потому что он детей ее приваживал колотья. Никто их них не виноват. А их судили. Суди и ты меня. Кто я такая? Скажешь, я убийца. Но почему же я одна должна страдать, когда он так легко отделался? Не веришь – жить мне стало легче. Ведь на земле одним подонком стало меньше...» Фотка приложена: нежный овал лица, белые волосы заколоты высоко, спиральки с висков опускаются. А взгляд! Сияющий, тихий взгляд.

Валя не знала, как другие, но она от Снежанки так просто отказаться не могла. На бумаге писала, что надо молиться, что душу надо спасать, а сама думала: что ее спасать? Ведь она второй раз так не сделает, она же по-

нимает. И плачет, и мучится она там, это совершенно ясно... только старается писать хорошее.

Снежана несколько лет сидела в Казахстане, потом ее перевели поближе. Сестра писала бесконечные прошения. И они договорились встретиться...

Чтобы попасть на свидание с осужденной, не будучи родней, Валя подала заявку на вечер поэзии в женской колонии. Набрала книжек, гитару на спину в футляре, в кармашек дрожжей, как Снежка просила.

До концерта не пересеклись. Валя рассказывала про Цветаеву, искала подружку глазами. Та сигналила платочком с третьего ряда, а начальник отряда грозила ей: никаких жестов! Все женщины в зале были в спецухах, с номерками на груди, а Снежана в домашнем джемпере, в носочках... А почему ей такая воля? Как оказалось, в библиотеке работает, коллегой стала, вот как! Контингент, не скрываясь, плакал от стихов Цветаевой, и Валя была им страшно благодарна за это. Они принимали ее всерьез, и от этого хотелось публике всю душу отдать, невзирая на то, что убийцы и все такое. Ведь никогда же Валента не считала себя артисткой, нужда заставила. И все оказалось легко, летуче, жарко...

В библиотеке, где начотряда сфоткала Валью с гитарой – контингент нельзя фотографировать – Снежа бросилась на шею, обняла, быстро и цепко перехватила дрожжи.

– Спасибо, Валечка, что не погнушалась.

– Ой, да что ты несешь...

Валента, одергивая черное выходное платье фирмы «Медам», получила только пять минут свидания. И все! И пора было уматывать, уже в двери библиотеки шел священник... А может, и правильно. Все правильные слова и молитвы забыла Валя, изнывая от жалости и сочувствия. «Их надо выпустить, Господи».

А через полгода, когда некоторых стали выпускать в город, отпустили за примерное поведение в первые увольнительные и Снежану. Квартиры у нее уже не было, почему-то ее квартира, вернее, ее бывшего мужа, оказалась опечатана... Снежка смоталась в пригород к сестре, которая ее совсем не узнала, даже чаю не дала! А, может, она уж болела сильно... И во второй половине дня появилась в прихожей у Валенты. Валента ее обняла, вздохнув, а стоящий тут же Северин резко повернулся и ушел вглубь комнат. Не мог он подать руку убийце. А Валента могла. Еще как!

ОКРОШКА

Сын Леня заболел внезапно и необъяснимо. Он, видимо, после выпускного разгулялся, ходил с друзьями прыгать в ночную реку, но в голове у матери одно с другим как-то не связывалось. Кашель у мальчика стал тяжкий, удушающий, скоро он вообще не смог лежать, только сидел ночами напролет и пил воду. Уговорить врачей на срочную больницу не удавалось. «У него просто ОРЗ», – твердили врачи. Но Валентина продолжала бушевать, то в приемном покое больницы, то на приеме в поликлинике. Командировку в столицу пришлось отменить. Сына положили на пульмонологию, говорили о каком-то спазме и о неясной этиологии. Она ходила его проводить через весь речной проспект, а он шепотом просил только минеральную воду. У него были такие запавшие глаза. Дома читала молитвы по совету сестры, но слишком лихорадочно и требовательно... Ее колотило от предчувствий, но молитва позволяла надеяться.

И вдруг все замерло на одной точке. Во время этой условной передышки надо было что-то решить для старшей дочки, ведь у той не просто пропадали каникулы в училище, у той тоже здоровье хромало, ее бы на солнышко. Созвонились с дальней родней... А боялась Валя им звонить. Она смотрела, как говорил по телефону ее интеллигентный муж, говорил затаенным роко-чушим голосом, откидывая назад длинные волосы, поглаживая русую бородку. Он слов тратил мало, а результат не замедлил быть. Все, договорились с родственниками, с Дуней и ее мужем. Ах, какой же он все-таки!

Валентину взяли в благородную семью Седовых, приняли вроде ласково-милостиво, давая ей возможность стать на ступеньку выше. Но она даже после стольких лет пристойную беседу поддержать не умела. Вечно что-нибудь ляпнет. Внешне все было тихо,

умильно, но она не ловила подтекст, понимала все слишком буквально, поэтому струйки фраз обтекали ее, как вода камень. Валя для них была простая слишком. Поэтому, когда дочь все же поехала к сибирским родителям в гости, бедная мать опять переживала, и это мягко сказано. Изводилась. Как независимое дитя сможет поладить там, в чужой семье? Станет ли садиться со всеми за большой обеденный стол с фарфором или будет питаться в «Макдональдсе»? О, там же нет «Макдональдсов», там Академгородок и берег водохранилища... Солнце-то жаркое, но есть еще дикие пустынные берега. Ой да ой кругом.

После отъезда дочки Лели, которую супруг русобородый отвез до пересадки, Валентина Петровна устремилась взглядом в икону, пристроив перед ней на книжной полке свечу. Она прочла что положено, потом сжала руки в немой мольбе. Она даже зажмурилась, так жаждала помощи неизвестно откуда... На другое утро она увидела обутленную книжную полку над свечой. Вот неосторожно... Сын еще не вышел из больницы, его еще ветром шатало, но он уже попросил учебник, сдавать экзамены...

Пусть это было совпадение, но ей казалось – связь несомненная. Ее молитвы были услышаны.

Но как он будет сдавать, если еще вчера был на краю, в приступе, смерть его держала за запястья? Ему качали корвалол прямо в вену, отчего приступы удушья слабели. Диагноза все не ставили. К тому же – трудно писать сочинение по программе средней школы, если прочел за всю жизнь одну книгу, это была «Американская трагедия» Драйзера. Он все темы сводил на эту книгу – любовь, родину – все. Тут без Драйзера такая трагедия... Вале было мучительно думать об этом, она чувствовала вину, что не привила ребенку привычку читать. Все дет-

ство у него прошло перед телевизором, весь опыт жизни приходил из штатовских кинолент.

Неправильно все это, но теперь пришла проблема более глобальная – его талант и как его применить.

Валентина бегала, бегала вкруговую, и все напрасно. Закупила банки с краской, но они теперь просто покрывались пылью в прихожей. Подруга Инесса поступила умнее. Она свезла своего ребенка к родителям в Мурманск, а потом затеяла сумасшедший ремонт. И на вопрос: зачем в такую испепеляющую жару делать ремонт, и так нечем дышать? – Инесса гордо, с нажимом, ответила: «А на всякий случай». То есть не только облицовку в ванной сделала с рисунками инков, но даже переборку убрала между кухней и комнатой, одна декоративная арка осталась. Такая красота невозможная.

«На всякий случай», да-а... Этот самый случай подвернулся Инессе довольно скоро, напротив Эрмитажа в Питере, куда Инесса слетала побродить по музеям. Тойво оказался из финской тургруппы. Едва перемигнулись, познакомились, и там же договорились о его приезде. «Так и надо делать! – люто позавидовала всем нутром Валентина. – Надо сначала все подготовить, потом этот самый случай ловить. Он и прилетит!» Прилетел.

Седовы, загруженные по горло, просто онемели от звонка Инессы, что она, дескать, зайдет не одна. До того ли было им, они едва крепились друг перед другом, чтоб не показать своей паники из-за сына. Леня как раз отпросился из больницы на экзамен, согласился лишь на чашку бульона. И заперся у себя в комнате.

Инесса, видимо, позвонила им не сразу, как только Тойво приехал. Время насладиться друг другом у них все-таки было. Как оказалось...

Пришли, такие похожие друг на друга, и уже звучала тонкая нить между ними. Она яркая черная брюнетка,

высокая, пружинистая, в оранжевой этнической блузе. Он – темноволосый худощавый человек в яркой молодежной толстовке с капюшоном и в бриджах, он больше был похож на русского армянина, чем на финна.

Валентина, прожившая в тягостном ужасе последнюю неделю, неожиданно для себя переключилась на гостей. Так и закрутились колеса нелепой вечеринки. Сначала подруга с финном, потом, по странному совпадению, Ося Куммер со своей гражданской женой Айшей, у них на втором году совместной жизни все сложно было, доходило до драк. Но тут они опять помирились. Валентина часто разговаривала с Осей по телефону, эти разговоры увлекали ее. Невероятная начитанность андеграундного поэта Оси повергала ее в изумление. Но Валентина не учла того, что Ося разговаривал с ней всегда во время дежурства, то есть когда был тихим и трезвым. В гостях же другое, совсем другое дело... Наглаженные и сияющие пришли Куммеры, сдав дочку Айши ее матери. Оба нарядные, в голубых джинсах. В них обоих читалась робкая надежда – вот и у нас есть куда прийти в гости. Конечно, им польстило бы, если бы их воспринимали как семейную пару. Хотелось утешить – не робейте, ребята, все еще будет, договоритесь. Но они были, правда, слишком разные. Недаром ходила летучая фраза: «Ты связалась с поэтом? Смотри же, придется поплакать». Они увиделись на литературном собрании, где Ося блеснул дарованием. В первый же вечер пошли бродить по городу и говорить до хрипа. Сразу возник роман.

Валентина зажарила в духовке курицу! Много порций в двух сковородах. Ей было стыдно, что пряный запах носился по квартире, а сын есть не хотел. Глядь – пришел и муж Северин Седов, русобородый княже, он явился с подругой приятеля Женей Пленкиной. Опять, наверно, чинил ей комп. А, может, и не комп, а кран.

Над ней брали шефство, особенно после того, как приятель ее оставил окончательно. Ведь некому помочь бедной женщине, если ее близкий человек не всегда готов, так как жена сечет, а Валя была не из тех. Она не секла. Когда нужно, она проявляла понимание. Или делала вид.

Откуда же взялся народ? Вроде никто ни с кем не договаривался. «Двух сковород будет мало!» – испугалась Валя. Она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: на нее смотрела цыганистая особа, мокрая, испуганная, черные кудри жалко прилипли ко лбу. Эх, надо было ухорошиться раньше, стыдно перед гостем зарубежным.

И она, махнув на себя рукой, стала резать дополнительно салаты, а Инка-Инесса ей помогать, пока, значит, Тойво Микконен, плохо понимая русский, со скуки искал в компе программы на английском.

– А что ты так волнуешься? – промолвила Инесса. – Мы не лопать сюда пришли, общаться.

– Да нет, неудобно. Сделать бы окрошку, да квасу нет. Вон, все нарезано.

– Давай схожу?

– Неудобно, нет!

– Неудобно спать на потолке. Одеяло падает, – о, как она усмехнулась.

Она не нарочно, просто этот шарм всегда окружал ее зыбким облаком. Ах, она женщина без возраста. А ведь взрослый сын.

Северина ничто не смущало, никогда. Ни внезапные гости, ни тревожный сын в соседней комнате. Вот кто всегда держал себя в руках и отпускал шутки. Обернувшись к окну, он, словно из воздуха, достал две нарядных бутылки «Гжелки» в большой таре, и сразу водка полилась рекой. И как всегда в начале вечеринки, когда все еще боялся друг друга, словно ветерок прошелестел. Наверно, всех смущало присутствие финна. Впрочем, перед большой пьянкой иногда такое бывает: вдруг все на

миг затормозят, словно стыдясь чего-то. Замечено было, услышано, что застенчивый Ося в сторону сказал вполголоса:

Я отворил окно. Осенняя прохлада
Струёю полилась в мою больную грудь.
Как тихо в глубине увянувшего сада!
Туда, как в тёмный склеп, боюсь я заглянуть.

«Чье же, неужели его? – поразились Валентина. – Здорово, здорово».

– Вы даже классику русскую цитируете? – поддела Женья Пленкина, поправляя нахимиченную светлую шевелюру.

– Да, это Иван Суриков. А по-вашему, я Аполлинера должен цитировать? Или Рембо?

– Ну, хотя бы, – скислась Пленкина.

– Да выше русской поэзии нет ничего, ясно вам? (Он раньше не был таким агрессивным.)

– Яснее некуда.

Но Ося для закрепления идеи стал читать свои стихи.

Тойво вроде и языка не знал, но при чтении стихов весь как-то затих, настроил антенны. Среагировал на музыку слова...

Тонконогая юность
На паперти парты сидит...
И о чем-то щебечет?!
Я думал: как все это глупо,
Жизнь проходит. А тут...
...Бог ты мой,
легкомысленный вид,
завиток золотой,
что не в силах пристроить за ухом!
Вермеера цвет,

Желтый, желтый,
Как глаз у кота.
Лепесток из Марсея,
Чудесная проза Поэта...
...Веселится, проказница!
Осень. Небес пустота.
Тараторит Лолита.
Молчат Лорелея и Лета.
Не признал я тогда
Ни одну!
Из своих Лорелей,
А узнал бы тогда,
Было б лучше?
Не знаю, не знаю...
...Встрепенулась, шутя,
И растаяла в бездне дверей,
Будто облак сирени!
О, жизнь, потаскушка смешная,
Как щедры твои пальцы!
Опутала, милая дрянь.
Я тебя не люблю.
Твоя прелесть – чумная зараза...
...завиток,
будто век золотой,
унесла золотистая длань!
Грустный юмор судьбы,
Он – отсюда,
Из школьного класса.
Вы ошиблись...
Я – хуже, я – хуже,
Много хуже, чем хочется вам!
Пусть и дальше
Свирепствует стужа,
Та, которой я
Не по зубам!
Принимаю, свыкаясь, как благо,

Что горюю уж очень – вранье...
...я не жду в свою гавань ни флага,
раз потеряно, значит мое!

Поговорили о его стихах. «Запутано, непонятно». – «Наоборот, все понятно. О Лорелее». – «Облак. Это уже слышано где-то». – «Да нет, это взято из церковно-славянского». – «Лирика чистейшая, завиток золотой у виска. Так красиво».

– Мой друг пишет лучше: «А когда ты пришла на рассвете, то ли боль, то ли хмель хватая, Он подумал, что это ветер обнимал тебя, дорогая».

– Ой, обалдеть! Я это слышала по радио! Дай мне еще тексты?

– Могу, а могу и самого автора притащить.

Северин вдруг вмешался:

– Конечно, тащи. Поэты – слабость моей жены. Да она сама не чужда....

И снял с полки единственную публикацию Валенты. «Ого, тут проза! Да еще в областной газете! Что же ты молчишь?»

А что тут говорить. Мало тут есть, о чем говорить.

Но жаль, Куммер не стал продолжать благодатную нейтральную тему, наоборот, с интеллигентной Пленкиной начал спорить насчет менталитета: какой менталитет является признаком его отсутствия. Русобородый княже, подбросивший идею, только ухохатывался.

Еще не скрылось солнце за горою, не затуманились речные перекаты, а в комнате уже так и бурлило.

На кухне стучали ножи. Наконец выпрямились Валентина Петровна с Инессой, обе в блузонах на лямках, только блузон на Вале просто обнажал ее полные плечи, а на Инессе он был как на кинозвезде. Так вот, они порубили два тазика салата из красной капусты с приправой карри, стали пробираться из кухни в залу, незаметно стряхивая с нарядов капустную соломку. Ок-

рошка без кваса тоже пошла в ход. Инесса кротко проскользнула мимо громогласного Куммера и склонилась на плечо Тойво, устремленного в монитор. Они тихо о чем-то шептались жестами. И Осе Куммеру, роняющему масленую красную капусту на голубые джинсы, это не понравилось. То ли он раньше был знаком с Инессой, то ли успел больше испить из водочной реки, но факт упрям – он резко осудил Инессу за измену родине. И что может быть хуже, чем променять русских парней на финского? Финский парень Тойво лет эдак под сорок, не зная русского, поднимал бровь. Даже языковой барьер не мог картину исказить, человеком он оказался крайне дружелюбным. Валя вдруг уловила в выражении «пленник реки» что-то свое и воскликнула: Ося сам «пленник великой реки», и она уже видит, видит книжку верлибров под таким заголовком. Она хотела отвлечь Осю, она пыталась вернуть себе прежнего телефонного собеседника, но, увы. Северин и Женя, говорившие и курившие на одном языке, наслаждались зрелищем. Айша как официальная спутница покрасневшего Оси незаметно хотела его одернуть, да и Валентина делала знаки, то есть втихомолку показывала кулак. Но русского поэта просто так не напугать. Он вышел из берегов реки, перестав быть ее пленником так, что все остолбенели.

Досталось виноватой в измене Инесске, а также самой крайней здесь жареной курице, которая не была почему-то исконно русским блюдом. Надо было подать крошку и все. Но зато курицу и так съели под шумок неприлично быстро. Оказалось, что еще с ярославской поездки Ося делал знаки и Инессе и Айше, но Инесса не повелась, а Айша повелась. Осе не так нужна была женщина, как образ, даже прообраз. Теперь Валентина скакала по кухне уже с Айшей, и они делали горячие бутерброды из чего попало. Было ужасно ржачно, обе смеялись не переставая... На том мероприятии, где они

оказались с Осей, к нему пристал какой-то юнец в шинели, все манифест читал и обнимал Осю. Вся эта дурь забылась потом, но насторожила Айшу, она стала избегать мероприятий. Айша лишь прошептала будто про себя: алкаш, он и на Луне алкаш. Может, она делала выбор, как быть дальше? Обычно князь Северин толочся на кухне с женой вместе, но тут же он привел Пленкину, она и так жизнью обижена. За ней расстился такой особый шлейф, гуманитарный долг, и все подпадали. Но тут Айша, наконец, вышла из психологического подполья кухни и сказала: «Зачем так западать на чужих, когда свои есть?» Может, она имела в виду Инессу, а, может, себя.

И ушла. И все тоже стали разбегаться. Только далеко зашедший Куммер пошел провожать не Айшу, как ожидалось, ее еще можно было догнать. А Пленкину. Он, видимо, тоже ощутил гуманитарный долг, который просто висел над головой Пленкиной, как светящийся нимб. Айша стала из дома звонить, искомого человека не обнаружила и бросила трубку! А Северин сидел и рассуждал о международных браках. Что русские женщины ищут в них экзотику, а оказываются в еще более жестких экономических и моральных тисках. И часто из этого выходит только трагедия. Он, конечно, был прав, хотя в данном случае никакая статистика не годилась. Всем, кроме Куммера, понравился Тойво. Стали спрашивать – какая там у них система оплаты больничных, отпусков. Тойво подмигивал и лист бумаги рвал на кусочки. Социалка не работала, надо было только коптить. А как это получалось, что из кроткого Куммера выходит нетерпимый Ося, непонятно.

Тут прибежал повязанный Бахусом Ося, чтобы занять несколько рублей для важного дела. Ясно, для какого. Ему не давали, только Тойво, плохо понимая по-русски, дал ему какие-то монеты. Возможно, русские, иначе получил бы их обратно в лицо.

Валентина Петровна воскликнула: «Ну а Суриков, что он еще написал?»

Северин открыл Интернет, и все наперебой стали выкрикивать строчки с монитора:

На пристани давно замолкли шум и стук;
Всё реже голоса доносятся до слуха;
Как будто стихло всё, – но всюду слышен звук,
И тихий плеск воды так сладко нежит ухо.
Вот чёрный жук гудит... вот свистнул коростель...
Вот где-то вдалеке плеснулось уток стадо...
Пора бы мне домой – за ужин и в постель;
Но этой тишине душа моя так рада.
И я готов всю ночь сидеть на берегу,
И не ходить домой, и вовсе не ложиться,
Чтоб запахом травы на скошенном лугу
И этой тишиной целебной насладиться.

Валента ловила сладкие слова, думала про сына за стенкой и пыталась гостей растолкать в прихожей, зная, что это все усложнит. Но Ося, ранее такой затейливый и психологичный, стал вечером очень тупым. Даже волосы накануне остриг под ноль, чтобы выглядеть тупо и грубо. Самое ужасное было в том, что сама же Валентина уговаривала Куммера выйти в люди, культурно посидеть, а не драться попусту с Айшей, когда не удастся купить макароны «макфа» нужного сорта. А тут вышло так, что и Айшу обидели, и Ося толком даже не побеседовал с Северином и не вышел в люди, а вышел в ночь и пропал.

Попытки Северина склонить все же Инессу и Тойво к международному браку успехом не увенчались. Тойво улыбался, Инесса хмурилась, и сидели они далеко друг от друга. И между ними уже не пела тонкая нить, как в начале. Усталая Валентина грустно резала батон, чтобы подсушить его в духовке и сделать ароматные сухарики

с укропом и солью. Она чувствовала, что Северин самый умный в этой компании, но его опять заставили заниматься фигней. В дальней комнате сына все громче играла музыка, он готовился к сочинению, а ему мешали. И тяжелая тревога охватывала трепетную Валентину.

В апогее тревоги раздался звонок от сородичей, а именно от Дуни, хозяйки сибирского дома. Она сказала, что все хорошо, дочка помощница и вообще ангел, чему Валя не поверила. Хозяйка дома, где гостила дочь, услышала, что брат ее, Северин, занят, и опять же музыку от сына. Ей не понравилось, это было ясно. «А где же ваша матушка?» – «На даче». – «Все понятно...»

Конечно, Ося на другой день пришел просить прощения, принес Уинстэна Хью Одена и китайца Ли Бо, но вечер-то все равно был испорчен. Инесска пошла домой, в отремонтированное на всякий случай гнездышко, не взяв с собой хорошего финского парня Тойво. Его положили на раскладушке в комнате сына. Он пил мало и долго вертелся и скрипел на раскладушке. Думал, наверно, что у русских все так же, как и у финнов. У всех тоже все сложно, и водка с кружевами на этикетке не помогает. Лысый парень накричал на его Инессу из ревности, а его-то девушка обиделась. А русобородый пришел тоже с другой девушкой, но его жена на это не обиделась, как будто она свой парень. И если так, почему они такие разные с ее подругой. Эдакая Кармен.

На другой день, пронзительно серым и знобящим от предчувствий утром Валя, еще дрожа от нарядной «Гжелки», проводила мрачного сына на сочинение и поехала за город полить огурцы. Тойво ушел так рано, что она прозевала момент, а ушел голодный, конечно... Надо было заодно проведать свекровь Фелисату, прятавшуюся на даче от давления. Еды ей отвезти. Круглых пирогов и кефиру.

Валя проделала все это моментально, задорно дергая на ходу особо высокую лебеду и сбивая лопаткой слу-

чайный осот. Отсутствие солнца, нежный шепот травы, яблоневых крон, птичьих переливов и пластмассовое ведерко огурцов наполнили ее спокойной радостной силой. С глубокой жалостью посмотрела она на домик, поставила на столик кефир, сыр и пироги. Свекровь Фелисата мирно спала за марлевой занавеской. И Валя пошла, вздыхая, на остановку. О, как не хотелось уходить из этого крохотного уголка, где все было так понятно ей, так подвластно. Валента ударилась в воспоминания. Одно из первых появлений на даче – покраска домика в зеленый цвет. Краска была закуплена. Погода прекрасная, ветреная, они решил закончить, но в коляске проснулась княжна Леля, она проголодалась. Валя второпях вымыв руки, стала ее кормить за кустом смородины, там же были еще Даля, сестра Севы и их знакомая по даче, Пахомовна... А Валя в старом купальнике, сама вся в краске, но Леля, долго спавшая на вольном воздухе, усердно чмокала эту грудь в зеленой краске... Валя была горда до невозможности, она надеялась что вот, все получается, а когда пришлось Лелю прямо в автобусе перепеленать, с мамочки сразу спесь сбило. Весь автобус вертел головами, оглядывался на запах. Кажется, это было вчера...

Но надо было спешить, она так решительно зашагала, что нечаянно по дороге растеряла всю радостную силу. Автобус добирался в город больше часа, стоял на переездах, народ спрессовался, задохся, позлел. К ее удивлению, Северин был дома и тоже спал. Пока происходил засол дачных огурцов в глиняной расписной корчажке, он проснулся...

Как оказалось, сын не сдал сочинение. Пришлось Северину бежать в институт и хлопотать о передаче, потом звонить Пленкиной и умолять о репетиторстве. Пленкина вроде согласилось помочь. Она же понимала значение дружбы, она сама не смогла бы жить без этого. В это время пришел голодный Тойво с вещами и попросил

устроить его на работу. Нет, не системным администратором, а... плотником. Не хватает на обратный билет! Валентина едва на ногах устояла со своими огурцами. Она сразу вспомнила, что первый муж Инески тоже был плотником и жили они очень плохо. Северин еще раз сбегал в институт и попросил проректора по АХЧ выручить друга. Тот согласился, скрепя якобы честную душу. Потом они пошли с Тойво в столовку пообедать. Было очень жарко, и они взяли окрошку. Тойво жевал булочки с компотом, а окрошку не смог, хотя Северин заверил его – это лучший способ для опохмелки!

– Не могу, не знаю состава, – сказал Тойво на ломаном английском. – Не стоит есть, когда не знаешь, что там.

Официантка в пластмассовом переднике (еще бывают такие скатерки), а также в пластмассовом ажурном ободке, в пластмассовом пепельном парике, потупясь, носила им тарелки из обливной посуды, все было красиво. Но Тойво все равно не стал есть, дескать, нечем платить. Пришлось Северину все съесть самому и за все заплатить. Убеждать горячего финского парня в полезности международного брака было уже совсем глупо. Лицо у него было слишком отрешенное. В столовских колонках играла тяжелая попса группы «Любэ», любимая музыка президента. Скажи мне, что ты любишь... Тойво путал финские слова с английскими, но только в лице этого русобородого он нашел настоящее сочувствие. Короче, как только он приехал, они с Инессой пошли прожигать деньги. Купили много еды, алкоголя, косметики. Потом сразу в ночной бар.

Тойво был не против, Инесса ему очень понравилась. Она изумительная... Он закрывал глаза, водил ладонью у рта, пытаясь это донести. Но оплачивать аперитив всех ее бой-френдов он не стал. Мало того, он испугался, что не сможет зарабатывать столько, чтобы ходить в бар каждый день. Вот если бы она что-то дома готовила. Так

он бы рад. Это было слышать странно, потому что Инесса всегда много и хорошо готовила, особенно когда было из чего. И Валя свидетель тому.

– Да что за чушь? – закричала хорошая подруга плохой невесты. – Нет у нее никаких бой-френдов! Это понт один! Она же работает, как офисный планктон, и халтурки берет! Выплачивает за квартиру, потому что последний гражданский муж ушел к новой женщине. У Инессы на руках кредит и сын от первого брака, который опять бросил училище... Ей надоело тянуть ямку. А приходится. Она уже давно за квартиру не платит, нечем. А ты говоришь – аперитивы. Дуля с маслом у нее, а не аперитивы! Она и то молодец, что так зажигает, другие женщины в ее положении уж не красятся, по больницам лежат...

– Не знаю я, – пожал плечами бледно-зеленый русобородый муж, – я отдал Тойво все деньги, которые у меня были, посадил на поезд и пошел домой тошнить, окрошка была несвежая. А завтра я, будучи в отпуске, пойду отрабатывать за плотника. Потому что оформили вместо финна меня самого. Так я стал заложником чьих-то амбиций. Этого следовало ожидать.

– Ужас, – прошептала Валентина, сраженная внезапной виной. – Простишь ли ты меня? Ты, как всегда, лег на амбразуру, Сева. С этими вечеринками надо быть поосторожнее... Вот сын пересдаст экзамен, и, увидишь, все наладится, наладится... И княжна Леля вернется с Обского моря, она там воспрянет духом. Ты ведь знаешь, она подружилась с их сыном, дирижером... И младшие вернутся из профилактория, здоровенькие...

«Вот увидишь!» Так повторяла она, пытаясь утешить себя или его, но это было не однажды, и раз от разу вина все росла и росла. А жертвой становился самый лучший на свете человек.

НОВАЯ ЛИДКИН

Она еще девочкой в горошистой косынке неосознанно крестила лобик в больнице, а что потом? Пришла ли к вере сознательно или нет? Таким, как она, вера нужна вдвойне, чтобы не сломаться внутренне.

Автор – литературному негру Ф.

Сестры бродили по Интернету в обнимку. Одна показывала новые фотки, вторая только училась. Рядом на столе стояла тарелка с клубникой, поэтому бродить было хорошо. В ситце цветастом, босые. На улице аномальная жара, до сорока. Там бродить опасно. Клавиатура слегка морщилась под пальцами в клубничном соке. На странице Вали в Одноклассниках наткнулись на загадочное письмо: «Привет от Лисы Татарской».

Письмо повторялось несколько раз, но Валя вглядывалась в лицо отправителя, чудной девочки лет одиннадцати, и все же не могла понять ничего абсолютно. При чем тут чудесная девочка, ангел с челкой и фенечками?

Ж-жих – перенос в прошлое. Лиса Татарская или Татарка – это, конечно, Лидка Андруховская, это была ее домашняя дружеская кличка в общежитии... Валя дала ей эту кличку лет тридцать назад. Валентина отозвалась на письмо, дала телефон сестры Тони.

Ж-жих – перенос в настоящее. И вот он зазвонил, этот телефон из южного жаркого Кишинева. Оказывается, письмо отправляла дочка ее подруги. Поэтому стало предельно ясно, что бедная Андруховская искала их, тосковала, может быть. Они долго говорили по телефону с сестрой Тонечкой. Потом несколько слов сказала Валя. Голос Лиды не изменился нисколько. Будто бы только вчера она сказала, что к черту все, и она едет жить туда, где всегда тепло. Что ей надоело быть у всех в

долгу, и пришла пора свободы. И Валя тогда решила, что это упрек и в ее адрес тоже. Вечно он приставала к Лидкин со своими непонятными книжками, с поучениями насчет тряпок, которых у самой, правду говоря, не было. Но зато были представления о красивой, правильной жизни. А позже в Кишиневе русских стали называть оккупантами. Но Лидкин сама сделала рывок, и после этого рывка прошла целая жизнь. Хотела свободы, получила свободу. А то, что она бросила здесь друзей, мамулю – это ерунда. В памяти вставал сердитый маугленок, который не признавал ни дружбы, ни любви. Лидкин рвала все связи и хотела жить заново. А Валя столько с ней возилась, хотела вырастить до себя. Что ж, не получилось. Слов не было.

Вспоминался просторный холодный аэропорт, откуда Лидкин улетала в Кишинев. Значит, у нее впереди новая жизнь. У Вали впереди ничего не было. Валя рисовала Татарку, и она получалась очень похоже. И улыбка ее дурашливая проступала на листке в клеточку.

Ж-жих – перенос в настоящее.

– Жизнь удалась? – полувопросительно произнесла Валентина.

– А знаешь, жизнь была не мед, – как-то глухо и не сразу отозвалась Лидия.

– Но все было не напрасно?

– Да, но...

Андруховская была смуглой, коренастой, ярко татарской, всегда в брючках и мужских рубашках, это ей очень шло. Но главной загадкой было лицо: пообезьянни живое, прыгучее, при удивлении сразу губы трубочкой, брови вверх. Белозубая улыбка – и лицо становилось даже красивым. Зачем же она пробивалась к людям, давно ее забывшим?

Отдельный звонок: «На коленях прошу у вас прощения». Она горячо просила прощения у сестер – у каждой отдельно. Она несколько раз повторила просьбу. Тоню

это не удивило, а Валю обескуражило. Она так и не вспомнила, что имелось в виду. Ну, честное слово, никакой тени смысла в забитом словами мозгу.

Что плохого могло быть? «Я когда-то сделала Вале больно». Тоня поманила рукой, и Валя приблизила ухо в трубке. И тут же услышала хриплое: «А по-настоящему я с ней не расставалась. Все эти годы я была с ней. У меня даже письма все сохранились». Но Валя уже не помнила такие заморочки... Боже мой. Почему Лида говорила это не ей самой, а сестре? Да чья она была подруга, в конце концов? В общежитии их комнаты были через коридор. И вообще...

Валина жажда дружбы и привязанности когда-то превышала все мыслимые пределы. Сколько же она написала писем за свою жизнь, но ни одно не закончилось вечной дружбой. А вот в Москву однажды поехали вместе, она так поддержала Валю тогда...

Валя вспомнила – дрожь отчаяния, ее трясло, как припадочную... Разговор с Анчаровым, главным человеком ее жизни, перевернул душу. В полном потрясении чуть под машину не попала. И Татарка поймала ее за руку, спасла, а вечером медленно наливала в тазик горячую воду. Ставила в тот голубой изумительный тазик Валины закоченевшие ноги, гладила по плечу. В руки ей давала горячую кружку с глинтвейном. И таял холод, силы потихоньку возвращались к Валентине. Она несмело потягивала острым носиком, вдыхая запах трав, а Татарка гладила ее по затылку жесткой рукой – смотри-ка, очунялась. Чуня ты моя, чуня...

Ж-жих – перелет из прошлого в настоящее. Другой звонок, через неделю. Она скоро уезжает из Кишинева навсегда и возвращается обратно в город юности. Вещи собраны, переправлены, с ней только самое необходимое, ждет от брата вести о покупке квартиры... И вроде бы это будет тогда, когда Валя, будучи в гостях у сестры, должна из города юности уезжать. Надо пересечься, го-

рячилась сестра. Вот только беседа Тони с Лидкиным была более живой, а с Валькой какая-то мрачная, косноязычная. Ну, это неважно. Главное же – она позвонила прямо в Валин день рождения и тем самым сделала ей удивительный подарок. Помахала рукою из прошлого! Она, значит, помнила.

Тоня любила соединять концы оборванных историй. Она, наморщив лоб, вспоминала мелочи из их общежитского быта. Как они по вечерам варили картошку в мундире и ели ее с килькой в томате. И только после стипендии они могли позволить себе обед в офицерской столовой: настоящий бифштекс с глазуньей и пиво «Жигулевское». Как Лидкин однажды набралась и пришла в бессознательном состоянии не к себе в комнату, а к Вале, там и рухнула. И они думали – а как же спать? И пошли, попросились на Лидкину кровать. Как они собирали Лиду на свидание и купили ей зеленое нейлоновое платье... Ведь Сёмка возвращался из армии. Как Тоня не одобряла ночные посиделки на общей кухне, да и вообще не одобряла саму Лидкин... «Но сейчас нам нужен хороший финал, понимаешь? История не должна кончиться Кишиневом!» – твердила она оторопевшей Вале. И настояла, чтоб они поехали в предварительные кассы и поменяли билеты.

Но встреча с Лидкин состоялась. Автобус ехал пять часов, да еще опаздывал, а ждали у автовокзала полтора часа на жаре... Десять минут беготни – криков – фоток. Она привезла хороших конфет и вина, сестре Тоне красивое платье. На одну сторону черное, в белый горох, наизнанку белое, в черный горох. И большой волан по подолу, все так струится... Полнушке Вале платье не сгодилось, а вот Тоне, сохранившей девичью стройность после двоих детей, оказалось спору. Возле лавочки прямо на автовокзале прикинули... А сама-то Лида по молодости в юбках не ходила. Да и теперь были бриджи

полотняные. Улыбка прежняя... И смешная привычка выпятить губы – осталась. Валя смотрела на нее во все глаза, за руку брала – не мираж ли. Звучный смех дал понять, что нет! Не мираж. А как она жадно пила минералку с пузырьками, вздохб. Прямо как молодая.

На автовокзале у Лидки оказались брат с женой, помогали с вещами. Нет, не поговорить, надо было отдельно собираться.

Тоне было некогда с лежащей матерью, а Валя уезжала домой, так что поговорить получилось не сразу. Непросто уехать от семьи, непросто на билет наскрести. Сева ничего не сказал против, молча шарил в карманах.

Прошло два года.

Ж-жих – перенос в настоящее. И вот на это нескорое лето со стесненным дыханием Валентина прибыла в город юности, провела свою бедную усталую сестру и села на пригородную электричку к Лиде. Уже на вокзале она ее увидела издали: вся в белом! Что такое? Она в молодости всегда сторонилась такого. Засаленные джинсы, черная футболка с группой «Скорпионс», лохматые волосы на глаза. Валя глянула на себя: у нее шелковая плиссе юбка-брюки и разлетайка этническая, все еле дышит, старое и затрепанное, а Лида в ослепительно белых джинсах и рубашке поло, тоже беленькой. А кроссовки такие же ослепительно белые со световым рантиком. И стрижка полтора сантиметра, и клипсы металлик. Как она преобразилась. Да ей и сорок-то не дашь, не то что...

Обнялись, но Лида, как обожженная, сразу отстранилась. «Что такое?» – «В жар ударило, волнуюсь». – «С какой стати, Лидкин? Мы с тобой две лошади у одной реки. А твое озеро живо?» – «Обязательно». – «Стой, сядь на лавочку. У меня браслет с собой».

Валя присела на старинную лавку на витом чугуне, приладила браслетик для измерения давления на руку подруги. Та откинулась бессильно, руки на спинку

крыльями. Двести пять?! Люди добрые, есть ли у нее мозги? Расхаживать по жару с таким давлением... Немедленно глотай капотен. Сиди смирно.

Они подышали, ловили струйки слабого ветерка.

– А на озере Богатом сейчас прохладно, – проговорила Лидкин, проводя ладонью по мокрому лбу. – Помнишь озеро тридцать лет назад? Мы туда ездили с Сёмкой.

– А то! Так почему ты тогда не вышла за Сёмку? Ты ж его ждала из армии!

– Надо же, запомнила. А помнишь, как нас возил на поле горох воровать? Ночью?

– Помню. Все-таки хулиган он был отменный. Все бы пошухарить. Так почему? Не переводи стрелки.

– Он был слишком грубый. Дай и дай. Не разговаривал со мной. А я уже изменилась тогда, после тебя-то. Мне хотелось человеческого.

– Ой ты, бедная. Да, на озере было балдежно. Мы из воды да на песок. С песка да в воду. Твоя мамуля дала нам пирожков... Вода была прозрачная, как слеза.

– Мамуля умерла этой весной.

– Ой, бедная. Прости. Ну, как тебе, лучше?

– Да, благодарение Богу.

И встав да вскинув руки к небу, Лидкин пропела звучно:

Я Бога каждый день благодарю
За то, что он всегда со мною рядом.
За то, что он дает не то, что я хочу,
А то, что мне на самом деле надо!

– Лидок, ты чокнулась? – осторожно проговорила Валя. – Это всего лишь капотен. А у тебя так зашаяло.

– Ничего я не чокнулась. Благодарю тебя и Бога нашего, что ты рядом и в руке твоей капотен. А теперь идем ко мне кушать легчайший в мире салат.

– Мы с тобой в общежитии, помню, говорили: «Чего бы похавать?» Ели все подряд.

– Это, Валюня, было грустное прошлое, а то, что теперь – наше счастливое настоящее.

Дома, в крохотной светлой однушке, все было новое, уютное и сверкающее. Валю накормили салатом, гренками и особым чаем без кофеина: это фунго-чай на молоке. Потом демонстрация мод – новые пальто, куртки, пончо, а главное – платья. Короткие деловые, длинные вечерние, шлейфы, палантины...

У Вали замелькало в глазах, как на карусели. В платье Татарка стала выше, тоньше, глаза ее сверкали невыносимым кокетством. И как это она замуж не вышла?

– Я ничего не понимаю! – развела рукам Валя. – Я вообще тебя не узнаю. Откуда все эти прибаамбасы? Мы, помню, купили тебе платье, ты его и выбросила... Зеленое, юбка солнцем.

– Из церкви это, дорогая, там у нас мощный секонд-хэнд. Помощь братьев и сестер.

– От церкви? От какой?

– «Путь спасения», дорогая Валюня. Христианская Церковь веры евангельской.

– Так это секта!

– Осторожно, моя дорогая. Еще минута, и ты в гневе пойдешь на вокзал, тогда как мы не виделись тридцать лет.

Так. Лидкин была права. Валя глубоко вздохнула и стала пристальнее рассматривать прибаамбасы. Она стояла перед зеркалом, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Накидка вязаная из меланжа с помпонами ее просто умиляла. В такой бы прогуливаться по парку... Как дама с собачкой.

– Как тебе идет, – заметила Татарка, – бери, дарю. Просто так.

– Ну и я подарю, – отозвалась Валя, подавая Лиде книжку.

- Что это? Книга? Ты книгу написала?
- Да это просто рассказы.
- Все равно. Будь благословенна, сестра.
- Лид, ну не надо.

Но было приятно. Будь благословенна. Что за этим? Заученная формула или действительно интерес к неизвестному?

– А теперь собирайся, едем на озеро, – Лидкин собрала бутерброды, воду, купальник, очки.

– Давай не надолго, а то у меня электричка обратная, сама понимаешь, как Тонечка там одна бьется.

– Валюня, но мне мало четыре часа после тридцати лет.

– Мне тоже мало. Но мы ведь несвободны...

Озеро было на прежнем месте, только оделось в разноцветные набережные, пески, деревья, декоративные кустарники, кафешки в цветах. Озеро стало таким же нарядным, как Татарка через столько лет.

Они вертелись волчками в воде, брызгались до изнеможения. Подобно молодежи, визжали в воде и улюлюкали. Падали на горячий песок, шумно дыша.

– Валюнь, так сколько у тебя детей? Я там видела фотки в Одноклассниках, глазам не верила.

– Трое, то есть осталось трое дома, а дочка здесь. Дочка скоро сама родит.

– Будь благословенна, о женщина. За те прекрасные следы, которые оставила на земле. А муж какой?

– Добрый. Он очень добрый, Лидкин. Не он, так я бы тут не сидела... Он мне все разрешает, никогда не повысил голос... Еды никакой не требует, ест, что осталось... В ночи сидит у телевизора, лук с черным хлебом жует. Понимаешь, он из дворян, это люди в высшей степени... Я приехала, чтобы дочкин исход узнать и помочь, он дал мне денежек передать. И вот тебя повидать. А как у тебя? Не сложилось? Просто даже спрашивать боюсь.

– Да нет, не надо меня записывать в несчастные. Природа тут не хуже, чем на юге. У озера есть источники радоновые, чудо как помогли. Я не одинока. Та девочка, которая нашла тебя в Одноклассниках – дочка моей подруги, а подруга как дочь. Это удивительно, они гораздо ближе, чем родная кровь, как мой брат, например. Они все мои дети. Скоро вот приедут в гости, такое счастье. Тут у нас так все интересно. Честно скажу – после приезда я была немного замкнутая, но сейчас у меня много друзей. Работаю над собой. Мы на беседы собираемся, много говорим, читаем. А еще песнопения. И это все через церковь. Я случайно в церковь попала, увидела, как они проповедуют, помогла с аппаратурой. А когда познакомилась с пастором... Он вообще замечательный...

– А у нас батюшка в храме старый, седенький. Он мою исповедь услышал – хватит, хватит, дочь моя, закоснела ты в грехах своих... Он в отчаянии был, что я столько накопила. Расстроился, даже лысину свою обхватил, понимаешь. А я ведь для него чужой человек.

– А у нас молодой. Вот у него восемь детей, представляешь? Его просят – отдай одного на воспитание, поможем. А он – что вы. Я же их родил не потому, что аборт невозможен, а от любви. Мы для него тоже как дети, мы одна семья. О, это не просто удача. Меня вело к ним. Именно в церкви я говорить научилась, чтобы петъ с ними, быть с ними, а потом, если смогу, тоже буду проповедовать...

– Ты? – закричала Валя. – И что, есть чем?

Ж-жих – перенос в прошлое. У Вали не выходила из головы веселая матерщинница Лидка, гром на всю общагу. Как начнет на кухне сковородки кидать – только держись.

Ж-жих – перенос в настоящее.

– О спасении. Ты вот сейчас так вскрикнула, а ведь и ты меня спасала когда-то – от ужаса страха, от черноты

безверия. (Она говорит как на сцене, заученно, – мелькнуло в голове.) Раньше — «х... по дороге», и все. Потому что ты любила и заботилась обо мне. Книжки читала, жалела, лечила, помогала... У тебя тоже есть вера теперь?

– Есть, – прошептала Валя, – но это обычная православная церковь. Та, что в парке. Там не поют, как на сцене, а плачут.

– Разве дело в этом, петь или плакать? Лишь бы душа ожила. А каким способом – не так важно. Теперь она и у меня ожила. Я знаю, Бог любит меня. Убедилась в этом. Меня сколько раз молитва подняла буквально на ноги. И я стараюсь быть достойной. Ты знаешь, я теперь совершенно равнодушна к алкоголю... А ведь раньше что было...

– Лидкин, милый, прости меня. За плохие мысли, за страх, что ты дура блаженная... Ты молодец. Только поехали, скоро электричка.

– Поехали, Валюня.

Глаза у Лиды сощурились, аж не видно их. Рот еле улыбку сдерживал. Она не тогда, а сейчас была настоящая.

– Не болит голова? Ты все раскрытая ходишь, Лидкин. Ну, нельзя, раз давление.

– Хорошо, я буду с панамой. Буду осторожна. Спасибо, родная, что думаешь обо мне. А я вот тогда бросила тебя и уехала. Я о тебе не думала, я о себе думала. Прощу – прости.

И встала на колени прямо на улице, белыми джинсами в пыль, опустив низко голову! Да сколько же можно!

Прохожие брезгливо ее обходили. Валя, путаясь в своей разлеталке, бросилась ее поднимать. У нее даже слезы выступили.

Ж-жих – перенос в прошлое. Она моментально почувствовала себя там, в аэропорту, когда улетала Татарка. Какая обида ее душила, боже мой.

Ж-жих – перенос в настоящее. На уличных лотках продавали желтые черешни, и Лида купила. И когда взяла пластиковую коробочку с ягодой в руки, то поблагодарила продавщицу: «Спасибо вам, добрая женщина. Будьте счастливы и любимы!» Продавщица опешила, перестала работать. Доброе слово, как удар грома. Продажа сразу застопорилась. Очередь стояла и смотрела вслед двум пожилым женщинам. Одна в каких-то шароварах, а вторая вся в белом и на спине буквы «Путь спасения» на фоне рассветного солнца.

У вокзала, на раскаленной площади с влетевшим ангелом, они перевели дух. Никогда еще не видела Валя такого странного памятника в виде ангела, парившего над площадью. Те знакомые, кто Лиду встречал, обнимали ее, гладили руки и плечи и говорили ласковые слова, желали счастья. «Бог любит тебя», – говорили... Правда, к ней люди хорошо относились, это было заметно. Они оглядывались на Валю, предлагали фрукты со своих садов, Лида отказывалась. Но ей втерли сеточку с ранними яблочками.

Войдя в вагон проводить Валю, Татарка стала нырять в телефон... Несколько раз посмотрела на время. Потом сдвинула брови и приняла решение. А за вагонным окном стал уплывать в сторону памятник Ангелу.

– Лидкин! Поезд тронулся! Что ты сидишь?

– Я провожу тебя до Тони. Тем более мне надо ее спросить кое о чем. А богослужение я все равно уже пропустила.

После озера и жаркого дня захотелось спать. Но им жаль было спать, и, взбудораженные, они просто молчали, радуясь, что есть еще два часа.

– Вы с Тоней не виделись эти два года? – спросила Валя, обмахиваясь купленным на ходу журналом.

– Да мало мы виделись. У Тони мама тяжелая, у меня тоже. Она хоть и не лежала, как ваша, но хлопот задавала много. Я до сих пор не верю, что не надо бежать, готовить, купать... Не жалуюсь, Валюня, долг есть долг, но брат мой Юрик с женой избегали. Я, конечно, звала Тоню на озеро, но она не особо. Возможно, из-за веры. Нашим не запрещено с вашими общаться, а вашим, говорят, нельзя. А Тоня-то строга, она и в молодости была принципиальная...

– Да это даже нелепо. Нет ни спора, ни столкновения. Я прихожу в церковь каяться в грехах. Это горько. Но это внутреннее, понимаешь? От этого никак не зависит другой человек. От этого зависит мое состояние, и все.

В это время в вагон электрички задвинулись певец и гитарист и давай жалкие песни петь. Стало неловко. Может, и правда голодные, но поскорее ушли бы.

– Мы с тобой знали так давно, – обронила Валя, раскручивая смятый журнал и опять настраивая его как веер, – что ни о какой церкви мы еще не помышляли. И если церковь хранит в нас лучшее, то это нам не помеха, Лидкин. Ты ходишь на свою службу, я – на свою. Кстати, ты где работаешь? Или нельзя спрашивать?

– Почему нельзя?

Она помолчала. Видно, сомневалась, надо ли говорить. Потом сдвинула брови и вздохнула.

– А ты где?

– Да я уже на пенсии, вот кружок веду, бесплатно.

– А я – сторож в часовне. Просто сторож.

– Мама родная! Как же ты мертвых не боишься?

– Чего их бояться. Я молитвы читаю. Да и к пенсии вон какая прибавка. Я, Валюня, всю жизнь на тяжелых работах. Уставать стала.

За окном поля сменились дачами, дачи заводами и гаражами. По вагону шла контролерша. Валя ей билет обратный показала, а Лида только просительно деньгу протянула, да губы трубочкой сложила. После минутной заминки контролерша выдала билет, и Лидкин снова за свое:

– Спасибо, милая женщина! Будьте любимы и счастливы!

Реакция была ожидаемая – милая женщина в форменном костюмчике замерла. Так и молчали и молчали они. Одна тетка сверху, глядя вдаль, прижав руки к груди, вместе с компостером, а они, две тетки, глядя на нее снизу вверх, улыбаясь, держались за руки. Кто как, а контролерша очнулась и отряхнула костюмчик и пошла, качаясь, дальше, вытирая слезы.

– Да я и так счастлива! Разве непонятно?

Ага, счастлива она... Хотя, конечно, счастье у всех выражается по-разному. Вот, например, они шли вдвоем по вечернему городу и ничего не говорили. Просто усмехались, хмыкали на всякую мелочь. Купили по мороженому – эскимо с дыней. Бесконечно хорошо. И шли они, думали каждая о своем. Лидкин изнывала душой, что пропустила богослужение. И как пастору расскажет. Валя думала о дочке в роддоме. О том, как сыновья там с едой справляются. Сева-то понятно, нет еды, нет проблемы, а ребята? Хотя и не маленькие они. Они жили в разных мирах, но шли-то в одну сторону...

Темнело, когда к Тоне во двор зашли. Оторопели: впритык к крыльцу стоял фургон – Антон и мужиком грузили мебель и копры. Тоня давала ценные подсказки, как быстрее сделать. Дочек не было видно. Тут же стояли старушки соседки, качали головами.

– Тоня-то что творит.

– А что она творит? – шепотом спросила Валя.

– В монастырь машину снарядила. Отдает столы, шкафы да ковры. Там и вещи в мешках. Там сгодится все.

Машина зафыркала и отъехала. «Благословенна эта женщина», – завела свое Лидкин. – «Тихо ты, – попросила Валя, – еще услышит, обидится».

Тоня встретила их неласково – она постирала и развешивала белье. Ну, они прокралась на веранду на втором этаже и там притихли. На цыпочках Валя вынесла туда чай.

«Ну, блин, – думала Тоня, – господа какие. Только бы им гулять да разговоры разговаривать. Да еще секту эту притащила». Она будто даже забыла, что накануне уговаривала Валю повидаться. Потому что Тоня уже соображала, как сделать, чтобы Лидкино платье не надевать. Выбросить его, что ли? Или бабкам-соседкам отдать? И так уж согрешили с платьем этим.

Вдруг на веранде что-то грохнуло – упало, послышались крики. «Ой, не с мамой ли что?» – и Тоня метнулась в дом, бросив тазик с простынями на улице. Ан нет, в комнате родителей было тихо. А на веранде была странная картина. Валя стояла с каким-то искаженным лицом. То ли смеялась, то ли плакала.

– Прости, Тонечка, что мы так орем. Поднос вот уронили. У меня, кажется, дочка родила, вот сейчас позвонила. Сын у нее, а у меня, значит, внук. Первый в жизни внук. Сейчас буду мужу звонить. Я даже не понимаю, как набрать СМС.

А новая Лидкин, встав на колени, вопила на весь двор:

«За светлый путь в небесный свод
За то, что движемся вперед,
За то, что наш продлился род,
Благодарю тебя, Господь!»

Лидкин пела гимн, и воробьи вспархивали в саду. Соседи выглядывали из окон: «А

что случилось-то? Надо полицию вызвать, орут среди ночи!» Предприниматель из соседнего дома взял подозрную трубу и направил ее на Тонину веранду. Водитель, который ковырялся в моторе у распахнутого гаража, уронил в железное нутро ключ и ругнулся: «Веселятся, мать их! А чего веселятся, сами не знают. И хозяйка с ними, а вроде ж серьезная тетка».

Теплая летняя ночь раскинула над городом свой расшитый огнями покров. Все утихало и утешало.

Ж-жих – перенос в прошлое. Потому что Валю обнял сон, давший возможность оглянуться.

Инна вошла в Валину жизнь как-то вдруг и осталась надолго. И привел-то ее старый приятель, которого однажды она позвала починить детскую кроватку, выпалили вертикальные прутья. Когда Валя приехала из роддома с Азиатиком, то второпях положила его на два кресла. Конечно, не дело. Но вот кроватка была починена, и приятель Арни достал затрепанную дерматиновую тетрадь и стал читать стихи. Валя гладила и слушала. Ее прямо опутали его длинные неровные строчки, такие нервные, дрожащие. Два писателя любимых было у него, один Виан, второй Анчаров. Вале достаточно. А девушку Инну он привел чуть позже, когда Азиатик уже сидел на ручках... Инна, не будучи еще женой друга, родственно держала ребенка, пока Валя моталась между кухней и стиральной машиной. Экзотическая была, раскосая, длинная и гибкая. У нее оказались красные штаны бананы, единственные в своем роде, она их шила сама... Стихи Инны были как вино, от них кружило. Инна, иная, иная. Арни ее очень любил, но пил уж очень. Поссорившись, обычно уходил в запой на три дня и однажды попал под машину. Инна растила своего сына одна. Рослый и яркий сын учился плохо, рос меланхоличным мечтателем, весь в Арни. Она его не ругала.

Инна оказывалась рядом с Вале́й в самые тяжелые моменты, причем без слов. Когда Валя болела, в больнице лежала. Когда у нее пальто не было и купить не на что. Она просто порылась и дала ей это пальто, фиолетовое, отделанное светлым мехом. А когда Валька поправилась и виновато пришла с этим пальто, Инна молча его унесла в шкаф. Когда на голове не пойми что, а надо лицо на выход – Инночка приходила и за час делала это лицо. Когда Сева сутками домой не приходил или уезжал в командировку – тоже заходила, шурша кульком с пряниками. Придет, обнимет, чайник поставит.

Однажды Валентина на каком-то бардовском фестивале заглянула в чужую палатку, а там Инночка с одним типом. Валя села напротив и никого не пускала. Даже хозяйина палатки не пускала за рюкзаком: «Уйди говорю, она там с мужиком», не мешай». И Валя думала, что это она такая молодец, а Инночка услышала, выбралась из палатки с побелевшим лицом: «Ты что себе позволяешь?» Для нее подобные слова были оскорблением. Целый год не разговаривали. А потом Инночка сама пришла, поставила чайник...

У Инночки пропал сын именно в ту неделю, когда она сдавала сессию в колледже культуры и была далеко от дома. Ее сын и гражданский муж опять не ладили друг с другом. Красавец муж пытался учить сына Инночки, что, дескать, надо работать или учиться, не быть дармоедом. Сын вышел из дома в тонкой куртке в дождь и пропал. Красавец позвонил Инночке, что ребенка нет двое суток. Возможно, поехал куда-то автостопом? Такое уже случалось. Она отпросилась, приехала и стала искать по друзьям, но его не было нигде. Тогда они с красавцем мужем побежали в милицию, чтобы начать розыск. Полночи проплакала она, но известий не было, в морги и больницы она тоже звонила. Собираясь снова на поезд, она в сердцах воскликнула: «Богородица, хоть

ты верни мне ребенка! Сил больше нет! Поползу на коленях вокруг церкви, только пусть он останется жив...»

А дело в том, что Инна веры-то не православной, вообще верит в восточного гуру Ошо Раджниша. В жизни так мало радости, и этот гуру научил ее быть счастливой здесь и сейчас вопреки испытаниям.

Но в тот день, когда Инна вернулась на сессию, даже непонятно, как она могла что-то сдавать в таком состоянии, – случилось чудо. В тот же день к вечеру сын позвонил из другого города и сказал, что приедет: «Прости, мам, завихрение». Богородица сжалилась над ней!

На страстной неделе Инночка вернулась после сессии, решила обещание свое выполнить. Позвонила Валентине и позвала идти вместе. Дело в том, что у Валентины-то Петровны тоже неладно было с детьми! Сердце непрерывно ныло, даже не зная причин. Двое детей мотались по Питеру, наверняка мерзли и голодали, а сын к тому же трагически неуживчив и непоправимо влюблен. И Валя тоже пошла просить за них.

Днем побоялись идти. Пошли в полпервого в пятницу. Была ночь. Валентина почему-то была холодно спокойна, не волновалась. Домочадцы были сыты и спали. Валентина нашла старые сапоги, двое гамаш, толстые варежки, куртку дачную.

Ночь молчала... Изредка шелестели по улице машины. Когда-то давно Валю позвали на развалины этой церкви, чтобы работать и чистить завалы. Она тогда не пошла, а здесь, когда прищучило – побежала... Они помолились перед храмом Покрова Богородицы, прочли Отче наш, Символ веры, Богородичную... Встали тихо-обреченно на колени и пошли... Сразу колени намокли в лужах, зашипали. Идти было невыносимо трудно, хорошо еще, что земля с травой в снегу как-то смягчала. Валентина Петровна уже твердила только «спаси и по-

моги», в глазах туманилось. Силы она растратила очень быстро, но упрямылась, желая довести дело до конца. Она должна терпеть и быть сильной ради детей.

К концу первого круга вокруг церкви хваталась за ограду, за деревья и падала с четверенок на живот, даже носом клевала, дыхание перехватывало. Ей было все равно, как она выглядит, что скажут люди. Доползла мучительный круг – и увидела, что подруга Инна пошла на второй... Инна вполголоса уговаривала уйти домой, но Валя, дойдя свой единственный круг, не уходила, стояла, читала молитвы... Спаси моих детей, Пресвятая Богородица, сохрани жизнь и здоровье, дай им терпение и силу вынести все, что суждено... Дети, во имя ваше – вся жизнь... Хотя ничего нельзя любить пуще Бога...

Инночка проползла на коленях три круга, тоже часто падала. Так жалко ее. И Валентина уже не думала о себе, просто жалела ее и то горькое обстоятельство, которое ее толкнуло. Потом она, шатаясь, встала, подругу Валю обняла и сказала: «Спасибо, я бы одна не смогла». Да смогла, куда бы делась. Если надо...

Так и побрели они. Обе грязные, с потеками на одежде, обе в молчаливых слезах.

Но так легко стало на душе. Ее сын потом скажет, что это дикость ужасная. Сестра и та не одобрила. Пусть! Валя думала о другом: мы разной веры, а вот на этот шаг пошли от сильной тревоги за других, она как-то вела нас! Они поставили свечи в церкви, ведь обещание Богородице выполнено.

СЕСТРЫ

Тоня-Антонина бежит с работы. Вьющиеся пряди прилипли ко лбу. Она устала беспредельно, день выдался хлопотный, ее воспитанник весь день капризничал, не хотел уходить с качелей, а потом еще лбом приложился к ним же, когда его насильно повели прочь. «Кузя, хватит гулять, пора кушать!» – «Нет, няня злая». Теперь еще синяк напечатался. Что скажет мамочка?.. А потом, когда она, наконец, покормив дитя обедом, укладывает на тихий час, некстати приходит мастер пластиковые окна вставлять. Ребенок, конечно подсказывает, а мастер еще задает ей вопросы, на которые она не знает, что ответить, она не хозяйка... А потом еще приходится бежать в поликлинику, за справками в садик. Это уже в свое личное время! Вдогонку ей хозяйка кричит, что завтра нужно пораньше...

После работы ноги уже плохо ее держат но она бежит, задыхаясь и быстро. Дома без нее содом. У матери приступ головной боли – рыдает, не помнит, где таблетки. Внуки дерутся, не поделив игрушки, дочка не слышит, потому что стирает, кошки мяукают от голода. Тоня среди них мечется, утешая, щебеча и леча, раскладывая по тарелкам все, что есть, а дымчатой кошке только роял-контин, у нее желудок. Уже в сумерках она не сидит на диване, а клеит декоративную панель на кухне, днем не до этого... Утром она встанет в пять, чтобы час на молитву, потом готовка еды на весь день на всю семью. И, подхватывая мешки на помойку, убегает. Она элитная няня. Очередь к ней стоит на два года вперед. Она по самой трудной категории – от года до трех. Она выбивается из сил. Одна сестра, а помочь ей некому. Вторая сестра далеко живет.

Выбегая на угол, она видит обычную пробку на дороге. Ее дом стоит на углу и машины выезжая из низины, часто сбиваются тут, пережидая тех, кто мчит по прямой

. На дороге снежная каша и колеса буксуют до визга. Девушка в желто-золотистой «хонде» оказывается впереди большой колонны и всех задерживает. Она дергает рычаги, тревожно высовывается в окно и видит свои вязнущие в снегу колеса. Сзади бешено сигналият. Поутру выходят из ворот мужчины чистить снег, выбрасывать мусор и все смотрят на опасную ситуацию. Усмехаются – села за руль – рули. А сестре жалко девчонку в «хонде». У сестры тоже дочка вязла в пути! Она бормочет – «давай, давай», машет соседу с лопатой. Сосед отворачивается. Эх, ну где мужчины ее молодости, которые... Сирены машин позади «хонды» не смолкают, становятся угрожающими.

Сестра швыряет сумки с мусором на обочину. Бросается к «хонде» и начинает ее толкать. Все обалдевают вокруг. Но никто не трогается с места, глазают. Девчонка в машине уже пунцовая. У нее уж слезы на глазах. Ну хоть бы кто помог! Сестра сбрасывает куртку и опять к багажнику, она тоже пунцовая. Наконец, «хонда» выбирается из ямы и медленно ползет вперед. «Спасибо вам!» – пронзительно кричат оттуда. Пробка живо рассасывается. Сестра отряхивает налипший снег, надевает куртку и собирает свои пакеты. «Может, и моей кто поможет?» – думает она, тяжело дыша. И идет на работу. Ей приказано прийти пораньше, а она опять опаздывает.

* * *

Мать приходила к ней часто. Она не хотела считаться с тем, что давным-давно умерла, была похоронена, её отпели и простились, как положено. Казалось, она жива, но прилегла на время, укрытая темным платком и парчовым покрывалом.

Мать оказалась большой упрямицей и без конца шастала по квартире, скрипела ступеньками на лестнице, ведущей на второй этаж. Сторожевой пес Дружок,

охранявший когда-то дорогие иномарки, а теперь ясли-садик, абсолютно крохотный, но бесстрашный, от шагов матери забивался под диван. Антонина обычно не разговаривала с матерью, так как при жизни наполучала от нее упреков свыше головы. Когда заспанная Тоня в длинном халатике входила с таблетками, мать обычно говорила: «А вы кто? Здесь работаете? Я вас увольняю». Самая мягкая форма. И теперь ночью, видя мать с палкой у окна, Тоня обходила ее, чтобы налить воды отцу.

Наутро бледная и молчаливая, Тоня шла в церковь заказать поминовение. Мать не обращала на это внимания. Она продолжала что-то бормотать, иногда досадовала на бессильно висящую после инсульта руку, иногда на домашние туфли, которые стали малы, то есть вела себя, как живая. И однажды, когда Тонина дочка Мила спускалась с лестницы, старая мать вдруг как-то передернулась, как при обрыве пленки. «...У, – прошептала, – опять идет, опять все из шкафа пропадет...» И погрозила скрюченным пальцем. Тоня почему-то обиделась. Сколько раз говорила себе, что нельзя обижаться на бесплотную тень, а тут не выдержала.

– Иди-ка ты, знаешь куда? Куда подальше. Она ж ходила за тобой, как за родной!

– С кем разговариваешь? – спросила умытая дочь, хватаясь за чайник.

– Да так, с собой.

– Ты это брось, – дочь Мила взмахнула каштаново-красной гривой, и по кухне поплыл аромат хвои, – Брось разговаривать с воздухом, нехорошо.

Она обняла и чмокнула Тоню.

– Я возьму сыр?

Мать-старушка убедилась, что ее опять ни во что не ставят, ушла грозя согнутым пальцем. Она была такой красивой в молодости. Такой возвышенной, такой гордой и волевой, просто Инесса Арманд какая-то. И потом

все это куда-то делось. Наверное, ушло туда, куда и вся жизнь. Они все отдали родине.

Она пришла во сне раз, другой, третий. Хватая Тоню за руку, показывала ей свой шкаф, откуда вываливались груды тряпок. Понять было трудно. Тоня махала руками, убегала. На другую ночь все начиналось сызнова. Тонечка устала, потом отчаялась. Но тревога все сильнее сотрясала покорную душу. И вот Тоня вскочила и побежала, вообще себя не помня.

В ту ночь старая мать пришла не в клетчатой рубаше, как обычно, а в новом ненадеванном костюме и дубленке. Мать выбрасывала в окно свои вещи, а когда оглядывалась – по лицу ее текли странные, черные... нет, темно-красные слезы. То есть, кровавые. Это было невыносимо. Шатаясь, Тоня стояла в ночной рубаше на крыльце и ветер сдувал с нее остатки кошмара. Была вихревая, но теплая ночь. Вместе с нею ветер трепал виноградные плети и плетистые розы. Подошла добрая соседка Нора, у которой дочка умотала в Израиль. У нее там началась своя напряженная бурная жизнь, изучение языка, работа, муж, выкупание особняка на побережье, а мать никто не вспоминал. Седая Нора шагала по дворику по причине бессонницы. Все поняла.

– Опять?

– Опять.

Губы у Тони дрожали, руки дрожали. Она нервно собирала кудрявые волосы, сжимала руками голову.

– А чего ей надо-то?

– Плачет! Кровавыми слезами плачет.

Нора, которая за семьдесят шесть лет видала всякое, подумала немного.

– С вестью она, Тонечка. С дурной вестью. Она чего делала-то?

– Вещи в окно кидала. Дочери моей грозила.

Тоня очнулась, умылась из дождевой бочки.

– Что-то потеряешь ты, только что?

Дочка Тонина тем временем стала жить отдельно. Понятно, что сложная личная жизнь, понятно, что родители обрыдли с их распиловками и поучениями. С кем живешь, расписаны или нет, и прочая муть, все им знать надо. Ну, хоть жаль дочку, а взрослая уже. Каждую ночь Тоне было тревожно, чудились бандиты и маньяки. Район там у нее не очень...

Тоня страшно тосковала. Никто уж не пугал ее за отсутствие косметики, не предлагал новый шампунь, никто не подкатывался под бочок на тахте, когда вечерами включали большой телевизор. И утрами Тоня машинально готовила завтрак в контейнере, и сыр, конечно, забывая, что теперь это ни к чему. Ну, хотя бы обнять эту негодницу...

А тут пришел с работы Тонин муж, огромный ввысь и вширь Тоха, в синей гигантской жилетке из кармашков и сказал: «Давай ключи от машины. Пойду проверю тормоза». Ключей не было. Они перевернули весь дом, но ключей не было. Сначала стало страшно. Потом очень страшно. Но неудобно было оскорблять ребенка тупыми подозрениями. Недели две не было ни звука.

Потом Юрик, у которого гараж арендовали, вдруг сказал, что видел подозрительно знакомую машину, «Пежо», разбитую, на приколе у автомастерской, и цвет тот же, электрик-перламутр. А они-то думали, что машина стоит себе у Юрика...

Сердитый Тоха вызвонил дочку и она подтвердила, что пежотка у ее гражданского мужа по доверенности, а он видимо и разбил, так и починит... Да, зачем ключ тайком взяла? А затем, что вы бы все равно не дали... И это верно...

Вот так это все начиналось. Потом в ход пошла Милкина дача, Милины долгосрочные вклады... А сама Милка, девушка-орхидея, как-то и не волновалась, что из ее рук все уходит неясному гражданскому мужу. Видимо, она была так счастлива, что материальное ее не

интересовало. Подходил черед родительского дома, где была прописана Милка... Может, она свою долю тоже отдаст чужим людям.

Тоня хотела, как раньше, обнять дочь, погладить ее хвойные волосы. Тоне чудилось предательство, и не только потому, что разбита общая машина. А потому что Мила вела себя, как чужая. Да, машина была записана на нее, но она же знала: купили родители. И теперь эти родители были никто. Это больней всего...

Тоня опять увидела сон, только новый. На кухню она вошла ранним утром, перекрестилась на иконы, поставила, как всегда, чайник и кашу. Боковым зрением глядь – кто-то сел за стол, совсем не скрипя половицами, просто щелк и сидит на табуретке. Она обернулась – мужчина в светлом чем-то, типа старой джинсовой рубахи. Тоня помнила, что шараться не надо:

– Кто таков? К добру или к худу?

Мужчина сидел, не поднимая головы, лицо почти не видно. Руки на новой клеенке узлом сцеплены. Волосы черные, короткие, распались на пробор.

– Брат твой младший. Не видела ты меня, один день прожил.

И они долго, сквозь слезы, друг на друга смотрели. Тонечка покивала:

– Хоть так увиделись, братик. Спасибо, Господи. Чего теперь ждать, скажи? Добра или худа?

Он провел рукой, точно глаза вытер.

– Не тревожься, страшное не случится. Беда уйдет.

И мимо нее ушел прямо в кафельную стену. Душа, ноя, потянулась за ним.

– Братик...

Но его уже не было, только дунуло чем-то, как осока прошелестела.

Тонечка, согнувшись, плакала на диване, а иногда, мыча от внутренней боли, вцеплялась и царапала себе

руки, лицо. Соседка Нора, которая пришла за святой книжкой, это увидела и сказала тихо:

– Эх, тебя, родная, сморщило... Я уж это прошла, когда моя-то в Израиль, навсегда. Ну-ка, Тоня, очнись! Давай-ко, поехали в Костомары, есть такой чудный монастырь на меловых горах... Я была, там жизнь видится инакой... Уж очень дешево, правда. Пускай Тоха разок отца-то покормит...

Антонина потом стояла на холме под большим крестом в темном, длинном, горошистом. Ветер был сильный, но ласковый. Он будто хотел оторвать женщину-былинку от земли и унести далеко-предалеко... Мелькала мысль: «...Отчего старая мать-то не приходит больше? Видимо, все, что хотела, сказала. Больше не надо ни ждать, ни бояться».

* * *

«Дорогая Тоня, я так виновата, что не писала тебе целых два месяца! Это при моей-то привычке писать письма по несколько страниц. Раньше даже конверты вздувались, так я их набивала. Просто на меня этой осенью одновременно свалились и фестиваль, и дочка с маленьким внуком, и недописанный роман. И как развести эти глобальные вещи? Ты бы видела меня, как я выскакиваю из дома гулять с коляской и в дождь, и в снег, упаковываю ребенка в повозку, повозку в полиэтиленовый чехол, а сама? Ветер раздувает расстегнутый плащ, разлетающийся шарф, черные лохматые волосы, я второпях застегиваюсь, ищу варежки и бегу нарезать круги вокруг детсада.. Стоять на месте нельзя, он так не заснет... У меня глаза щиплют от недосыпа, потому что я ночами пишу, и без сознания падаю...А утром надо на стадион.

Я несусь, раскачивая коляску, и думаю, что внук плачет, а роман не плачет, просто валяется где-то на жест-

ком диске забытый. Так вот внезапно умрешь и не допишешь, а надо дописать. Ведь в романе две сестры, это мы с тобой, одна строит дом, другая строит книгу. Не понимаю, почему отец не тебе, острословке и шутнице сказал, что надо писать, а мне, тугодумке и россомaxe. Но ты не смейся, мы на самом деле как бы одно, просто видимость, что нас две... У каждой есть то, чего нет у другой...

Я вот пишу, о небесных пирожках мечтаю. А ты переняла сноровку житейскую, умение жить. И потому созданы и дом, и сад... Пишу роман о том, как семья может искалечить человека... Или сильно изменить! Не то, чтобы тапком резиновым исхлестать, а так, чтобы он вообще не верил в себя. Или наоборот – семья дала такую защиту, что и потом, через много лет, человек не перестал верить в тепло человеческое... как я не перестала верить в него после бабушки нашей. Пришлось ей вдоволь помотаться, ища для меня докторов, и кто знает, может, если б не она, так и вовсе была бы слепой сегодня. Но нет, судьба и врачи позволили мне хоть немного видеть. Как та девочка в рассказе «Бася и Король» – повязка на глазах становилась тоньше, тоньше, наконец, остался последний, полупрозрачный марлевый слой. И бабушка, которая приезжает к ней в больницу в длинной юбке с фартучком и вязаной кофте наизнанку – приезжает и раздает всем яблоки, а внучке своей молочный киселик с изюмом...

Ты эту бабушку надеюсь, узнала? Вечно она с корзинками, с кулечками, с колбаской домашней в промасленной завертке, вечно подсовывала, подкладывала, деньги трубочкой тебе в ладошку совала... Ну и что, что на базаре петрушку продавала, она ж сама ее растила...

Мы же и не научились так совать в ладошку. Ведь я любила ее не только за гостинцы, а за то что она есть такая. Что с ней нас точно двое. У тебя было это чувство?

Говорят, что я похожа нее вне и внутренне – смуглая черноглазка, круглолицая тараторка, любительница сладкого, доверчивая и обидчивая... Помнишь ту фотку из родительского альбома, где я сижу в старинной дерматиновой коляске на низком ходу? На мне шапка в лентах и рядом целлулоидная большая утка. Отец потом смеялся – «ты сама как утка на ипподроме», да, я всегда была неповоротливой. Помнишь хмурую мою мордочку и двинутые бровки? Ведь я ж такой и осталась по жизни...

В прошлом, где я маленькая, желтый дынный свет маленькой лампы -грибка , он растапливает тревогу, голод и холод, заливает подушу, на которой я как оладь в сметане. Подушка в цветочек, она одуряющее пахнет морозом и новым годом, я в обнимку с книжкой – мне разрешили читать и больше не надо воровать книжки и укрываться с головой.

Я лежу как принцесса на горошине на высокой пери-не и простынки тоже в цветочек и тоже с мороза. И в другой руке груша, я берегу ее, не ем...

Завтра приедет папа с коллегии, мама гремит на кухне кастрюлями, делает пюре и котлеты, которые прямо и сладко шкворчат. Знаю, если у него хорошо прошла коллегия, то придут гости. много шуму и гаму, танцы, музыка, потом ее выключат и он будет тонко бренчать на балалайке, как будто он не важный директор завода, а босой дедок на завалинке, да еще и частушки помнит... Они будут много смеяться, в такие моменты родители молодые и дурашливые. Это потом они уйдут в работу, в горести свои, их лица осунутся и постареют. А на вечеринке они бесятся как маленькие.

Я помню – люблю тарарам и никто ни за что не наказывает, и мы с тобой ложимся спать, когда хотим. Потом я долго не засыпаю и думаю про мальчика в вишневом вельвете, воображаю, что он Роберт, сын капитана Гранта и все такое... И что он меня не замечает,

малявку, но если долго думать про него, грустно и страстно, он обязательно оглянется на меня в школьном коридоре. Но я уже буду мечтать не о нем.

Люблю праздник и еще больше ожидание праздника, ведь лепить всей семьей пельмени куда интереснее, чем есть их... «Мам, а почему у тебя пельмени такие маленькие? Чтобы больше получилось? Пап, а у тебя щека в муке. И у меня тоже?»

Я с тех пор люблю ожидание удовольствия больше, чем само удовольствие, даже сейчас, когда оглядываюсь и переживаю это вновь. Собственно, я люблю то, чего еще нет или то, чего уже нет. Отсвет далекий и невозможно сдержать слезы и улыбку.

Скажи – почему больше всего вспоминается отдача, даренье себя, праздников, бесконечно длинных светлых дней?

Сможем ли мы с тобой подавать так же щедро? Мне цыганка предсказала, что буду жить подаванием, и это сбылось. Мне друг из Финляндии несколько лет посылки с продуктами слал из христианской миссии. Так вся семья и выжила.

Спасибо, ты прислала мне изумительный вязаный кардиган, в нем не мерзну.. Ты мне все присылаешь, а я даже денег не могу, даже письмо не могу быстро послать... Знаешь, а я вообще теперь бросила шить, Строчу только простыни и занавески, а раньше позволяла себе дорогое платье с драпировкой, все удивлялись, а это перешло от матери. Я всегда легко загоралась, да? А ты всегда качала по-взрослому головой, ты была осторожной, а я очертя голову разиней. И к чему это я? А к тому, что ты оказалась меня сильнее и стойче!

Ты построила дом, потом дачу, потом продала под давлением нужды и теперь построила вторую. А я всю жизни в одной квартире, и не в своей. Ты двух дочерей и двоих внуков подняла, а я четверых детей и внука – первого – и то с трудом. Ты две смены стариков

схоронила, а я только одну свекровь, да и то плакалась, что не выдержу.

Есть во мне глубокая паника, которая не дает мне жить спокойно. У плиты ли стою, в очереди иди на остановке – меня всегда точит тревога – не успею, не смогу, не осилю. Но осиливать надо.

Я спокон веку трусиха, а ты меня спасла от собаки-чудовища. Но что я тебе говорю, ты сама этот эпизод не забудешь.

Не пишу, не шью, может оттого, что семья у меня большая, и все кто куда.... А еще семья литературная, и за тех тоже тревожно. Придет девочка с косичками и скажет, что боится семинара, будто я не боюсь. Как в нее энергию вдуть? Или вот вчера пришел пьяный поэт, вызывал через домофон, но я не открыла, все равно же ничего непонятно, что говорит, да и семья в шоке... Он замерзнет и заболит, а потом будет говорить, что из-за меня заболел и умер.

Две недели назад ходила ко мне девочка под диктовку печатать, не бесплатно конечно, я ей диктовала то роман, то рассказы, то статью большую, я ведь теперь так плохо вижу, но не только поэтому – когда человек сидит, это очень тонизирует, мысли и так и летят. Но сын сказал, что я живу не по средствам, «лучше бы еды детям купила» – и пришлось отказать девочке. Так роман снова впал в забытье

Вчера, говорят, в городе было сорок свадеб. Потому что настало такое время – магия нумерологии. Но ты же знаешь, почему у меня не было свадьбы? Отец мужа умер в этот день, вот и отмечаем всю жизнь поминки, а не свадьбу. Посему роман надо так и назвать – «Несвадебный марш». И шикарное белое платье будет на плечиках развешаться на помойке – такая картинка будет на обложке, мне нарисуют, только пусть попробуют не нарисовать.

Скажешь – неважно? Может, и неважно, но когда через площадь идут невесты к вечному огню, во мне что-то екает. Все работа, работа, все бегом, а где высокие моменты? Вот посылаю фото, где я в твоей шали, на мероприятии. Такая матрона! Красивая-таки шаль. Материна.

Я стояла на днях, пекла оладьи, красная вся, голова кругом, а тут кто-то позвонил, и я не стала говорить, нехорошо, конечно. Ну, просто очень причудливые просьбы у людей, типа найти настоящую кружевницу-надомницу. Или отсканировать забытую книгу. Или как заявить о себе таланту. Вот все оладьи и сгорят....

За шаль тоже спасибо. Обрати внимание – на этом фото в моих черных глазах какой-то острый огонек. Я тянусь, в порыве протягиваю кому-то книжку с камнем на обложке, и в этом я вся. Может, это доказательство того, что, несмотря на свинцовую усталость, я все еще неистребимо жива?

Слушай, а ты помнишь, как ты меня описала в общаге? «Кряхтелочка, паникерша и плакса. Сидит на кровати, заваленная книжками, на носу очки, а над головой сушатся трусы». Послание из далекой студенческой эпохи».

* * *

Дорогая Тоня!

Сейчас мне опять не до писем, это точно. Хотя я всегда любила писать письма, ты же знаешь. Десять страниц из тетради в клетку – моя благородная норма. Но вот опять оживился мой гипотетический издатель и завалил меня сверкой текстов. Практически больше ничего делать не дает. Передо мной только черные буквы с красными перечерками. У меня выскакивают глаза и падают со стуком на пол. Знать бы еще, что он меня все равно обманет, ничего не напечатает, этот Копылов,

увернется, как угорь, от всех обещаний... Знать бы – не маяться б так. Я вылезаю за окно посмотреть на небо и качаюсь, как наркот. Думаю, внизу напротив, все продащицы в шоке, что там с женщиной на крыше.... У меня все мои тексты слились в одно целое и я их жуть как ненавижу. «Я тебя ненавижу, я тебя ненавижу...» – упирая на «Е», пела Земфира, не представляя, в каком контексте я буду это повторять. Я вся в поту от злости. И потому вижу ничтожность своих страниц.

Надо же быть такой банальной задницей, чтобы писать подобное сю-сю-сю.... Не представляю, как люди это будут читать да и будут ли. Слипнется у них. Это была первая тема...

Тема вторая. Все переживаю после твоего звонка, когда ты рассказывала про день рожденья тетки. Как наяву вижу много народу и сама тетка наша, отцова сестра, разодетая, с согнутой спиной, и с палкой, на которую надет носок. Это мне особо понравилось, что надет носок, для устойчивости. Ну, ведь хорошая она! На похоронах она обняла нас: люблю вас девчонки. С ней там вообще не разговаривали, но она ничего, не озлобилась. В платочек посморкалась, и шепотом – люблю вас, девчонки. Вот человек.

Там были многочисленные дети и внуки, ее муж Родя, бывший советник юстиции и высокий чин прокуратуры, у которого осталось два зуба. Один вверх один вниз. А ведь это тот Родя, который приезжал к нам в гости, когда мы были маленькие? И был он тогда красавец гусар. Ты это тоже помнишь? Потом я у них жила студенткой года три... Это была моя семья... А теперь, значит, Родя научился гнать вкусную чачу, которую вы там и пили азартно. И ты все также поешь с теткой «Расцвела калина»? А сама тетка наша, небось, без конца падала в обморок, оттого что компания сорок человек, и нет фотика. Вот тебе и семьдесят лет.

Дорогая сестра. Больно осознавать, но не было там и ее любимого брата Петьки, нашего престарелого больного отца, который отказался от людей и сидит в норе, хотя и ходит. Мы с тобой понимаем, почему отказался, потому что заставили, приучили к мысли, что никто не нужен. С нашей стороны была только ты, убитая тем, что не пошли твои дочки. А это важно в такие моменты, потому что клан собирается редко и по генеральному поводу. Поверь, я хотела уговорить мою дочку, которая живет с тобой в одном городе, но она почему-то сторонится. Неинтересно ей, видимо.

Милая моя, ты вместо несговорчивых детей и правда предъявила их фотки. На них, наверно, есть и моя черноокая дочка, княжна Леля. На празднике жизни, через ее роскошные волосы, смеясь, смотрят на мир твои внуки, которых ты теперь никогда уже не увидишь. Ну, тут лучше помолчу.

Дорогая сестра. Еще наши отцы могли кое-как собраться... Пусть единоразово. Пусть только в момент нашей далекой свадьбы. Еще мы с тобой можем – уже вовсе кое-как, редко. Но наши дети уже не знают, не хотят этого, и поколение твоих и моих внуков не будет знать своих двоюродных и троюродных. Поэтому мы сладко поплакались с тобой в трубку, да на том и расстались. Мы теперь иной раз готовы обнимать приятелей по контакту, а родню в лицо не помним...Так сказал мой мудрый муж, и с этим трудно спорить...Но тут важно то, что ты, память моя неистребимая, нашла могилу нашей прабабки в Хаве! И я приеду к тебе весной, и мы поклонимся могиле матери, и проведем эту легендарную прабабку, которую даже отец наш не помнит. Потому что я очень, очень ценю наши связи с родней, я так горжусь, что кто-то меня помнит через тридцать лет и две тысячи километров. Помнишь, мы ездили к нашей сестре, когда она болела. Все подшучивали надо мной, что я писатель, подначивали меня. Но я не обижалась,

смеясь вместе с ними. Я эту поездку помню до сих пор – и как мы с тобой тогда в монастырь ездили, и на источник, и как томно склонялась белая гортензия под окном. пышный тяжелый куст. Я боялась есть красную рыбу за столом, потому что она дорогая. А вы ведь с теткой и там голосили «Калину». Девчонки, вы неисправимые. Молчали бы лучше. В нашей родне уже никто не поет за столом.

Иногда вдруг осознаешь, что твое занятие – ювелир, курьер, учитель, писатель и сторож в детсаду – это неважно, а важно, какой ты человек и что твои дети. Родня – это наш молчаливый жалостный суд, и перед ней не выпендришься.

Ты однажды предложила мне поделить квартиру родителей, а я отказалась. Я думала – ах, ах, нельзя при живых родителях. Это все правильно. А когда дети выросли, и мы все вшестером сбились на одном пятаке – вспомнила я тебя, и не раз. Почему ты видела вперед, а я нет? Ты почему пронзила «ситуэйшен», а я нет? Ты младшая моя, старшая сестра

Тема третья. Помнишь, я приезжала к тебе по весне? Я не сказала тебе, что мы с дочкой и ее мужем купили им землю. Они сами все нашли, ты знаешь, красивый уютный пригород, электричка, газопровод рядом. Была там одна ситуация. Стояли, пили газировку, ожидали хозяина.

И вдруг этот, можно сказать – зять – отрывисто сказал: «Нарочно сюда заедем, чтоб никакие друзья не нашли, да на полу не ночевали». Это он ей припомнил единственный случай в Питере на съемной квартире, где к ней завалились друзья юности, на рок-концерт приехали. Как он и жив остался? Подумаешь, трагедия. Но мне почему-то стало не по себе. Представь, с тещи деньги хочет стрясти, и сам же возмущается....Хоть уж молчал бы! Так нет. Но ты права: зять любит взять.

Я ему – давай не будем. А он – это вы дочке скажите. Был момент! Надо было повернуться и пойти на электричку. Веснища, холодища, ветрище сиверко, а я тут стою с газировкой, зубами чакаю. Ребенку хочу помочь, света белого не вижу. Но я скрепилась, дура, героизм проявила и стою. Жду гибели. Хозяин пришел – ах, ах, тарарах. Земля как перина, руками просеяна. Смотрел на меня, не на молодых. Я пыталась упираться рогом – мол, нет водопровода, мол, поле плохое, провода скрестились над ним, и вообще, далеко от станции. А он – да это участок, чтоб деньги выращивать... Вы его засадите и тут все поперет. Я торгую пятнадцать соток, а тут в самом деле все восемнадцать – видите? До самой трубы газопровода. И строиться – дорога рядом. Молодым что, давай, давай. Я деньги и выдала, а они через два дня все оформили.

На другой год приезжаю – там лес стоит. На этой ухоженной земле. Потому что по весне даже не перепалили и рванул сорняк. Да какой. Выше меня, а ствол в руку толщиной. Не, не борщевик, это на севере больше, да у него и макушка другая, острее. Что делать? Рубить? Так у меня ни топора, ни пилы нет. Думала – все, конец. Тут меня инсульт и настигнет. Стою в лесу этом, как на Марсе. Восемнадцать соток такого леса. Позвала детей. Дети, парни здоровые, двадцать лет и двадцать пять, никак не хотели. Мама, ты заболела? Это полная шиза. Тут экскаватор надо. А я говорю – нет, давайте. Последний раз. Это есть наш последний... И так далее. Они переглядываются. Молчала бы лучше...

Вот так мы рубили дорогу от края до края. Жара тридцать градусов. Молодые стволы я дергала руками. Старший с косой пошел, младший с топориком, по колю тюкал. Хорошо, что жители через забор ведро воды дали. А то бы полегли тут меж стволов этих. Смотрим – стена из металлопрофиля. Так это ж гараж, который зять для инструментов ставил. Елки-палки, лес густой,

ходит урка молодой. Может, тут и крыша какая найдется, от зноя спастись? Очистить надо: Так да, и крыша у гаража на месте оказалась, только ключей не было...

Мои сели отдохнуть, я пошла. Ты наверно думаешь – чокнулась. Но я просто шла, пробиралась. Думала – заблужусь или нет. Бреду, шепчу – матушка Богородица, матушка Богородица.... Потому что чувствую – надругание. И хочу повиниться. Мол, прости нас, бедная земля. И она этак глухо – мму... Словно застонала. Вся ее хребтина поросла поганьем каким-то. Только не подумай, что я писатель или что. Я слышала будто дыхание большого животного, может коровы...Но корова бы там не пролезла.

Слезы у меня текут, но такие соленые, жгучие, я панамкой их отираю, сама все иду. А вот зачем иду! Я ищу три яблони, которые я посадила! Я ж мечтала детям яблони. И шесть кустов смородины. Задорого купила на рынке! Чтобы их посадить, с дочкой везли лопату и пятилитровку... Откуда я знала, что здесь такие злобные тропики будут?.

Одну яблоню ущупала и давай кричать. Дети бегут ко мне, ломятся через бурелом: «Мам, ты живая?» А я ору: «Яблоня живая»

Ты хоть себе представляешь? Я городской человек, никогда еще не радовалась дереву так. Ну, один раз я обнимала в садике березу, меня учили энергию от дерева брать. Но тут была моя чахлая яблоня, которую я везла на электричке за тридевять земель.

Так обнаружилось три яблони живых. Мы очистили вокруг, полили их. А смородин только четыре, остальное забил сорняк.

Так три года прошло. Снилось мне земля эта. Я уж не говорю, наши с мужем последние деньги гакнулись, в том числе моя единственная премия. Я просила их оформить бумагу, так нет. Ни продать, ни обиходить. Зачем и брали?

Дорогая сестра. Мы с тобою точно два кабачка. Ну, помнишь? Перезревший кабачок, отлежал себе бочок. Как говорится, и есть нельзя, и выбросить жалко. Если они дадут мне бумагу, то ты поедешь со мной? Мы закажем трактор, чтобы спасти участок. Если его еще не отобрали, теперь ведь закон такой, что не обработали – отберут. А я тебе обещаю, что больше ни в какие финансовые авантюры бросаться не буду. Помолчу лучше. Твоя старшая по годам, а на самом деле младшая сестра Валя».

ЧУВСТВЕННЫЕ КРУЖЕВА

«Братик!» – застонала Евдокия. – Севочка!»

Она, пожилая русская красавица, обняла седого братика после длинной разлуки, после страшных больниц и ухода родных в никуда. Уже ей казалось, не увидятся они. Но случай повернул регулятор судьбы. Евдокия думала – братик не едет из-за этой своей Вали, но это было не совсем так. Братик работой был не волен... И они с братиком долго так сидели, чуть заметно раскачиваясь, а Валя стояла рядом и смущалась. Тут реяло гордое и вечное родство, и она понимала – не дай Бог спугнуть момент.

Валентина любила любовь, и особенно кино про любовь. Она ловила отголоски любви, жадно подмечая ее смутные ожидания, ее слабые намеки и предчувствия. В фильме «Сумасшедшая любовь», где влюбленные долго томятся в разлуке, есть моменты, когда среди ночи из другой страны прилетает СМС: «Можешь набрать меня?» Это когда уже все, кончилось терпенье. Считается – убедительный симптом. А ей нравилось – до того. Когда еще ничего непонятно, но по венкам уже побежал ток. И вот эти бедные бывшие влюбленные, когда им, наконец, дали визу, и они съехались – такие выпитые! Стоят в душе, молчат, как приговоренные, и по венкам ничего не бежит. Перегорело... И даже такое нравилось ей. Когда людей соединяет не физиология, а нечто другое. Вот эта усталость пустых, порознь прожитых лет.

Валентина приехала в гости вместе с мужем Севой и очень-очень боялась. И как только они вошли, и Евдокия со стоном обняла своего братика, стало понятно – надо исчезнуть. И долго они так сидели неподвижно, закрыв глаза, молча. А она подошла к книжным терриконам на подоконнике, на пианино, не решаясь потрогать книги, заглядывая на них сбоку.

– Что-то ищешь? – проскрипел голос Викентия.

- Просто смотрю. Книг у вас много.
- А как же? Книг должно быть много.
- У нас их было пять шкафов, велено оставить три.
- Кем велено?
- Дети сказали.
- Вот еще.

И, сверкнув сощуренными глазами, поскрипывая, медленно пошел к себе, старый человек с коричневым лицом. Спина Викентия согнута, а дух не смирен. «Математик!» – Валентина поежилась. В этой профессорской семье было страшно ей от всякого пустяка. Не надо было ехать с Севой, пусть ехал бы один, тут ему все близко. Но Сева говорил – один раз побывать нужно.

Когда наступало время трапезы, обстановка светлела. Обширный дубовый стол, сужающийся к горизонту, уставлялся тарелками с ветчиною и сыром, с тяжелым кругом прессованного творога с изюмом и орехами, глиняными плошками с пирожками. И все это было так богато, нерасчетливо, вольно и сытно. Евдокия наполнялась своей молчаливой улыбкой, точно огромный бокал золотистым чаем. Беседа за столом протекала лениво и необязательно, на реплики отвечал Сева, и Валя не напрягалась. За спиной бормотал телевизор, время текло незаметно, как густой мед в чашку. Аромат еды и чая мешал думать.

Обсуждали, что заказать в немецком ресторане. У них он был рядом, за перелеском.

– Немцы обожают тяжелую пищу, – заметил Викентий, – мясо разных видов в одной тарелке. Да еще пивом ее запивают.

– Это правильно, – кивал Сева, – особенно, если пиво хорошее, например, «Бавария», «Эдингер», «Ловенбрау»... У них и пиво такое сытное, что можно не есть.

– В нашем местном ресторанчике подают с пивом сырные палочки, это действительно еда калорийная... – Викентий прикурил новую сигарету от предыдущей. –

Впрочем, мы русские, жить не можем без супов! Можно взять для начала чечевичную похлебку с копченостями или, например, крем-суп из шпината... А потом уж основное блюдо...

– Зачем обязательно ресторан? – обеспокоилась Валентина, думая только о своей скромной блузке в горошек и о том, что не знает ни одного немецкого блюда. – Это же дорого очень.

– Будто с тебя деньги спрашивают, – усмехнулся Викентий. – Тебе надо поесть тухлого яйца, это недорого.

Ясно, она допустила бестактность. Деньги – не предмет для разговора. Евдокия шепотом спрашивала Викентия, что ему подать к чаю. Он не хотел ни сыра, ни ветчины, пил мелкими глотками черный чай, непрерывно куря. Может, салат? Или белые грибы, жареные в сметане. Но и грибы, и салат были отвергнуты. Лицо Евдокии сначала было кротким, потом улыбка будто стекла с него, и она замолчала, уйдя из беседы. Какой вообще ресторан, если хозяйка сделала припасы деликатесов на месяц? Однако что заставляет ее так уговаривать мужа? Ну, не хочет... Викентий, одетый в дорогую синюю тонкую рубашу, явно капризничал. Валентина чуть не заплакала. Надо же, какой... Но ресторан рестораном, а гостям больше всего хотелось на море. Правда, если точнее, то это было не море, а Обское водохранилище, огромное, выносившее на берег не щепочки, а целые стволы.

– Ребятки, – оживилась Евдокия, пододвигая супругу грибы со сметаной, и, видя, что он их пробует, снова заулыбалась. – Не забывайте, что вы в очаге культуры. У нас тут в Доме ученых то японская выставка икебаны, то ретроспектива французского кино. А то вы про море, про море... У меня сейчас пироги подошли, вечером взглянут дети, так что вы сами сходите на море, ладно?

Сева, со времен юности не бывавший на данном море, просто не помнил дорогу.

– Я провожу вас, – властно пророкотал Викентий и стал собираться.

– Не ходил бы, – всполошилась Евдокия, подавая ему другую, еще более нарядную рубаху, доглаживая ее на ходу. – Нельзя тебе на солнце... Вдруг станет плохо?

– Станет – вызову машину, – отрезал Викентий. – Нечего попусту...

Ну не хотела она его отпускать, а он буквально вырвался и ушел. Это был не деспотизм, а забота, которой не дали осуществиться.

Дорога петляла по роще, взбегала на сверкающий мост-переход через шоссе, кралась по лесу и перескакивала через железнодорожный путь.

Поскольку гости были вдвое моложе своего родственника, плескание в Оби их встряхнуло. Викентий, весь мокрый от усталости и напряжения, в это время сидел на громадном стволе, упал подбородком на руки, опираясь на трость. Его коричневое твердое лицо индейского вождя, закрытые глаза и торчащий подбородок делали его похожим на монумент.

Всю дорогу туда и обратно он так тяжело и хрипло дышал, что гости пожалели о своей дурацкой затее. Виногато подхватывая под руки провожатого, они заглядывали ему в глаза, совсем, как Евдокия. Потом Викентий отлеживался часа два.

Ради чего совершал он этот изматывающий рывок? Из любви к Севе? Или чтобы себе доказать, что он еще может ходить по земле?

– А ты не читаешь книги? – язвительно спросил он Валю за чаем.

– Читаю... Но не все. Например, «Степного волка» так и не осилила.

– Я о современной. Например, «Аптекарь» Орлова.

– Нет, не читала.

– А надо бы. И про Лавлейс не слышала?

– Нет.

– А сидишь в Интернете.

Евдокия посматривала на него насмешливо и тепло. Он задира по сути незнакомую ему женщину.

Вечером Валя дождалась, когда все легли, и набрала в поисковике... Бла-бла-бла. История девушки из порнобизнеса Линды Лавлейс ее расстроила. Разбирала до тумана в глазах. Но не потому, что та попала в мир насилия и лжи. Ни одна сцена, ни в постели с Чаком, ни на экране, не обволакивала ее завистью. Все было холодно, механистично, грубо. Какая уж там любовь. Линду продавали, как мясорубку. И было непонятно, на что же купились зрители в той «Бездонной глотке», которая принесла славу бедной актриске. Однако Валентине стало ощутимо спокойнее – она теперь знала, кто такая Линда Лавлейс.

Назавтра снова было Обское. Сильные зеленоватые волны качали и носили Валю и Севу вдоль песчаного бесконечного берега. Невозможно было выползти на берег иначе как в совершенно пьяном состоянии. Вдалеке краснели яркие домики «Бар-Краба». Купались и говорили, что это другая страна. Недаром они ехали сюда трое суток. Им, затурканным и загнанным родителям, было положено теперь оставить свой дом и работать на пляже. Каждое утро начиналось с наслаждения. Наслаждение – это теперь было их обязанностью, а как там дети, что ели они, с каким настроением – было неизвестно. Хоть они и большие, но питаться быстрой лапшой – это ужас...

– Отпусти от себя детей! – оглянувшись, Дуня закуривала сигаретку. На кого оглянувшись? Викентий об этом знал, при детях она никогда не курила. – Отпусти их в мыслях и в жизни. Он же только пришли в этот мир через нас, а вообще они автономные вселенные. Ничем не обязаны. В том числе, не обязаны походить на нас. Не надо им звонить, проверять. Пусть сами, сами. У Лени скоро будет ребеночек, Леня институт окончил, пе-

решил в солидную фирму, Вася на мебели зарабатывает, не пропадет, Проша, младший, будет, наверно, преподавателем, перенял Севочкину стезю. Красивые, умные ребята. Нянчить их вздумала? Не смеши.

Пришла ясность, беззаботность и прозрачность бытия. С ними неотлучно был призрак молодости, все было, как тогда, в немецком городке, когда начиналась их совместная жизнь, их общность тел и душ. Жара требовала холодного спрайта или пива. Все было под рукой. Жизнь полоскала их в Оби и бросала на песок для просушки. Проголодавшись, шли в «Бар-Краб» хрустеть картошкой фри или сырными палочками.

В один из дней налетела гроза. Она была такой же страшной, как и жара. Сперва потемнело, и в наступивших утренних сумерках какой-то рабочий сжигал коряги и бревна на берегу. Как же яростно рвал ветер пятиметровые костры! На фоне фиолетового неба они казались дьявольскими темно-красными цветами.

Грозу переживали в «Бар-Крабе» полтора часа. И пришло сиротливое чувство заброшенности и бессилия перед этой сердитой грозой. Она делала с людьми что хотела. И они были словно маленькие дети, заблудившиеся в грозу... Они искали защиты в руках и на груди друг друга. Никто не обращал на них внимания.

Через пару дней к Викентию пришла аспирантка. Красивая еврейка в узорчатом натуральном шелке. Евдокия, изучившая привычки мужа, совершенно безучастно отнесла в кабинет чай, фрукты, печенье, сыр. Если бы Валя не знала, что Викентий математик, она не удивлялась бы. Но поскольку из кабинета слышались слова о мировоззрении Блока, об отравленности православием – она удивилась. А также слово «Лавлейс» многократно слышалось оттуда и замораживало Вале мозг. Сева, накинув футболку с «Июлькой» пятого года, ушел

общаться с сыновьями Евдокии: один из них был дирижер, второй – микробиолог. День стоял дождливый, и на Обь не хотелось.

– Ты мне еще не рассказал, как ездил в Англию! – вслед ему пропела Дуня. – А ты, – это она уже Валентине, – Расскажи мне что-нибудь про Севу. Он так неразговорчив.

– Меня знаешь что в нем поразило прежде всего. Тихий он. Это вообще ужасно тихий человек – ходит, не стукнув дверью, не скрипнув половицей. Тапочки снимает где-то за границей. У нас раньше ковер был. Он рядом с ковром их оставлял. Потом ковер выбросили, потому что я кашляла, а он тапочки все равно оставлял у бывшей границы ковра. Громко никогда не говорит, смеется неслышно. Между деревьев пробирается так же невесомо, как по прихожей, между сумок дачных пробираясь. Как в немом кино – картинка двигается, а звука нет. Однажды приходит домой, а там крики, плач ребенка, его жена и мать ругаются. Он быстро развел всех в разные комнаты, младенца положил в коляску и стал качать, а потом заскочил в ванную и быстро выстирал пеленки в тазике. Выпил кипяток с сухарем и на работу ушел. Ни слова никому. И мир вокруг, и птицы поют. И ночью младенец плачет-плачет, а он его берет, показывает в окно, где фонарь качается со снегом, – и все, ребенок в счастье засыпает... А он идет на кухню лук с черным хлебом-солью есть. И радио слушать, Севу Новгородцева, город Лондон, Би-Би-Си.

А на работе – он работает в институте на сложной технической кафедре – там он тоже незаметный. За ним ходила необычная слава. Он на сессии не очень придирался к студентам, верил в их честность. Особенно беременных студенток. Только спросит – у вас токсикоз какой половины, первой или второй? И все, сразу зачет, чтоб не нервировать ее...

В своей компании он числится умником и философом. Будучи на вылазке лесу, он с этой компанией увидел большое стадо коров, все сразу попрятались, а его стадо обошло. К нему подошел хромой пастух и подарил ему три огромных подосиновика. И они постояли на опушке, покурили. Потом все его друзья вышли из кустов и спросили: «А как это? Знакомый, что ли?» – «Да нет, просто поняли друг друга».

А ведь он всегда мечтал об Англии. Родился и вырос в России, а вот Англию всегда очень любил, потому что в прошлой жизни там жил. Ладно, шучу. Он долго копил деньги, чтобы там побывать, по старым улочкам пройти. Встретить Севу Новгородцева, Валерия Барина и других боевых товарищей по рок-музыке. А тут же на некстати написала роман, и ни одно издательство никак не пошло навстречу. Только звонили из столицы, что, дескать, дайте нам роман и все. А его негде взять. Жена вся на нервах, хочется ей столицу удивить. Он тогда взял и все свои деньги отдал на роман. И это все получилось, и праздник был большой, и на этом празднике они были втроем с сыном. Сын сам говорил. Который младший.

Но главное – столица-то роман не взяла, обманула. Зря они столице поверили. А деньги ушли. А потом дочка замуж вышла, ей тоже надо – опять все отдал. Уже не до Англии тут стало.

А годы текли. Ему говорили – диссер кандидатский защитил, а еще материала вагон. Защищай докторскую. Он начал биться, все написал, договорился. И вдруг видит – скучно. Не стал защищать. Все просто остекленели. А он говорит, что это науку не перевернет.

Потом он опять стал копить. Копить было трудно. Три сына выросли, их надо было учить платно. А младший это все понял, и стало ему папу жалко. Он каждый год стал заново поступать. И так три года, на третий год удалось перепоступить, сын перешел на бесплатное. Но

отец все равно продолжал по вечерам черный хлеб с луком-солью есть. Привычка...

...И только после этого удалось ему накопить. Они поехали с племянником вдвоем, и увидали Лондон, и встретили и Севу Новгородцева, и Валерия Барина, и Виктора Суворова – всех там встретили. И когда они шли по тихой старинной улочке, он думал – вот за углом будет та башня. И точно, зашли за угол – башня. И все, как он представлял. Все узнал он, что во сне видел. Правда, годы ушли. Но он об этом никогда не говорил. Он же тихий человек.

В современном обществе всячески поощряются тенденции, продиктованные эгоизмом. Надо зарабатывать больше, чтобы жить лучше. Культ денег. Мальчик из седьмого класса говорит: «Ты почему с гитарой пришла? Денег просить? А я не дам!» Самый богатый мальчик в классе. Альтруизм – больше нет такого слова. Потому что альтруисты вымерли как класс, а в голове застряли только законы рыночной экономики. Но откуда нерасчетливое добро взялось в человеке, который пережил перестройку? А оно в Северине естественно, как дыхание. Все знают, сколько может заработать преподаватель. Чтобы на полторы ставки вышло, надо вести и дневников, и вечерников, и еще в командировки мотаться на консультации заочников. А студенты знают, что такое положение, и сидят на лекциях в наушниках и демонстрируют независимость. Преподавателю обидно, но он даже двойки им не поставит. Потому что двойки – это отчисление студентов, а минус десять студентов дает право уволить одного даже очень хорошего преподавателя. Какие там бакалавры и магистры! Сознание не то.

И вот, как мы видим, Сева как раз под давлением рыночной экономики не ушел ни в бизнес, ни в торговлю. Он за тридцать лет смог сделать два вялотекущих ремонта в квартире. Почти никуда не ездил в отпуск.

Растил-воспитывал детей и жену. От ругани ее отучал. Ухаживал за старой больной матерью...

Жизнь не давала ему передохнуть, а он все равно отдавал все, что у него было. Себе никогда ничего не просил. Для таких людей жить в режиме отдачи – привычное дело. Ты скажешь: какой же он герой? А для тех, кто рядом, он и герой, и друг, и высшая инстанция. И пример для подражания. Пусть хотя бы для четырех человек детей, но – пример. Его любимая фраза: «Пионер – всем ребятам парадигма». Вот он и есть та самая парадигма. Потому что безусловное, безмолвное добро. Это гипнотизирует. Трешь глаза – почему, за что? Всегда, во всем, чего бы это ему ни стоило. Откуда это в нем? Откуда такая душевная щедрость в раздираемом страстями мире? Может, потому, что он дворянин по происхождению? То есть, это наследственное?.. Так русские и вообще ненормально добрые, хоть и не все дворяне. И теперь ты мне, Дуня, скажи, знала ты все это про Севу? Или нет, все это для тебя новость?

– Да, конечно, знала, – растроганно и с каким-то всхлипом прошелестела Дуня.

Валя ушла к компьютеру, писала обещанную кому-то статью. Евдокия готовила очередной обед из пяти блюд и очень прерывисто беседовала с Валею. Общих тем у них не много находилось: Евдокия читала только классику, которую Валя тоже читала, но не помнит когда. А театр, где работал сын Дуни, и театр в Валином городке были несоизмеримы. Аспирантка сидела часа четыре, не выходя даже покурить: они с Викентием курили прямо в кабинете.

– Часто ли ходят аспирантки? – сочувственно спрашивала Валя.

– Часто! У него их несколько, и все молодые.

– А как же он на работу ходит?

– Он профессор и работает дома. Да еще эта графиня.

– Какая графиня?

– Которая висит в его кабинете. Лавлейс. Часами может о ней говорить, забывая о диссертациях. Уйдет гостья, так рассмотришь. Он специально заказал большой портрет в раме. Противно уже.

У Вали в голове запикала тревожная кнопка. Порнозвезда? В кабинете профессора? Как это она пропустила? Впрочем, у них тут ничего не поймешь. Викентий с его барскими замашками и Евдокия, добрая, вся из русской классики, низведена до прислуги. Непонятно, зачем она это терпит.

– Противно, но ты же терпишь, – робко проговорила Валентина, входя на кухню и убавляя газ на плите. – Что у тебя духовка так палит? Там что?

– Там жульен, нормально все. А Викентий очень больной, понимаешь. Я даже не знаю, чем его кормить.

– Больной, а курит как этот... А что с ним?

– Искривление позвоночника и смещение всех органов. Он в молодости лежал три года, думали, не встанет. А когда встал, я была так счастлива.

– Роковая встреча? – заинтересовалась Валя.

– Наверно! – Евдокия слабо заулыбалась. – Я после института работала в деревне. Тоненькая была, наивная и с косой. Дети меня окружали после уроков, и мы шли гулять. И нас везде густым молоком поили с белым хлебом. Но у меня уже был настойчивый жених, Викентий. От него я каждый день получала хорошенькие маленькие польские конвертики, которые мне приносили иногда прямо на урок. Дети улыбались. От него приходили посылки с сигаретами, конфетами и дефицитными крабами.

В деревеньке всё моментально узнают. А потом Викентий и сам приехал, одолев весь этот сложный путь, в первый и последний раз. Приехал на грузовике, порвав при этом красивый чёрный костюм. Я знала, что он блестящий молодой ученый с огромным будущим... короче,

не смогла отвертеться. Да! Там было такое небо! Ночью – тёмно-синее полушарие, полное звёзд! От звёзд было светло!

Там был клуб, где мы с женихом смотрели «Земляничную поляну» Бергмана и «Любовь под вязами». Пол в клубе был весь покрыт мягким ковром из подсолнуховой шелухи. Нет, я даже подумывала, а не остаться ли там навсегда. Даже жениху говорила: «...А ты будешь преподавать математику!» Но ничего он преподавать не стал, а привез меня сюда. И стала девушка с косой просто женой...

– Ну, так чем он тебя взял?

– Как чем? Обаянием. Интеллектом. Да и сейчас... – Евдокия оглянулась на дверь кабинета. – Покоряет некоторых.

И она загремела духовкой. Жульен был готов. Аспирантка величественно удалилась.

Подойдя на цыпочках к портрету Лавлейс, Валентина Петровна впала в ступор. Дама, несомненно, была благородного происхождения. Её тонкую статью обрамлял атлас, в водопаде рукавов и юбок парили две невесомые руки: одна держалась за широкий пояс, как будто указывала – вот я. Чуть отвернутое от зрителя, фантастически красивое лицо было нежным и одновременно твердым. Любовь и власть звучали в этом гимне женщине. Металлическое кружево диадемы покоилось на темных волнах прически. Особа с портрета не могла быть порнозвездой. Портрет был напечатан на холсте и вставлен в золотистый багет. Кровь зашумела в ушах, душа рвалась к ней, в далекое прошлое.

– Ну, как? – проскрипел голос Викентия. – Пообщалась с божественной дочерью Байрона? Правда, он никогда свою дочь не видел. Девочку называли Августа Ада Кинг Байрон, а после разрыва между матерью и отцом упоминали как Аду Лавлейс. Поговаривали, что

Августой звали сестру Байрона, с которой у него был роман... так что гнев матери мог иметь мотивации. Кстати, хрупкая красота скрывала либо ангельскую, либо дьявольскую сущность, она ведь сама не понимала, кто она. Счастливая возлюбленная, мать троих детей, это не мешало ее невероятной учености. Ада оказалась блестящим математиком и первым в мире программистом

Да, это была другая Лавлейс, не порнозвезда.

– Графине пора переехать, – тихо, но четко сказала Евдокия, – мы больше не уместаемся в одной квартире.

– Ни в коем случае, – ответил Викентий.

Валя просочилась в другую комнату.

Графиня переехала в институт математики на обычном такси, окруженная аспирантками.

– Пижон, – приговаривала Евдокия, доставая из холодильника грибы и сметану, – неисправимый пижон. И это в семьдесят лет...

Но думала она о другом.

Послесловие

Роман «Несвадебный марш» – последовательное или не всегда последовательное изложение фактов жизни одной семьи. Сначала роман повествует об истории замужества матери главного героя, а в дальнейшем излагается история женитьбы и семейной жизни – начиная от первых лет до взросления их детей. Начинается семейная хроника Седовых издавека, с истории рождения главных героев – Валентины Дикаревой и Северина Седова – в семьях очень разных. Северин – младший любимый ребенок в культурной и образованной семье, в которой царили любовь и взаимопонимание, родился он вскоре после войны, скрепив чуть не распавшийся брак родителей. Валентина – старшая дочка в семье, построенной по другим принципам. Её родители, закончившие сельскохозяйственный институт, по призыву партии и правительства отправились на стройки коммунизма. Жили в тяжелых бытовых условиях, отдавая все время и силы работе, детям внимания уделялось меньше, к ним применялись жесткие требования, родители особо не вникали в их потребности, заставляя их делать то, что сами считали нужным и необходимым. Валентина и Северин резко отличаются даже внешне: смуглая, черноглазая, резкая и скорая на расправу южанка Валя – и спокойный, сдержанный и интеллигентный ироничный Северин, само имя которого намекает на совершенно другой тип внешности и характера.

Героиня Валя Дикарева – жадная до жизни во всех её проявлениях, она мечтает о любви, о ярких и красивых отношениях, её тянет к искусству и людям искусства, хочется и самой чего-нибудь необыкновенного, творить и самой создавать миры, как её кумиры – писатели и художники. А пришлось заниматься больше бытом как многодетной матери, проживая в одной квартире со

свекровью, воспитанной и интеллигентной женщиной, у которой свои представления о семейных устоях.

Роман распадается на две части – пока героиня Валя Дикарева жила в городе у моря, и после ее переезда в город в лесах. Читатели соприкасаются в нем и с культурной жизнью той, уже давней поры, северного города в лесах. Семейную тему оттесняют на задний план новые сюжетные линии, связанные с взрослением главной героини, а также семейные истории других, второстепенных героев. Общий тон повествования, временами ровный и спокойный, лишённый обвинительного пафоса, порой превращается в фарс и трагифарс.

И все же книга посвящена именно семейной жизни, и завершается повествование неожиданно, обещая продолжение, при встрече двух семей – Седовых и семьи старшей сестры Северина. В оценке героев нет ни пристрастности, ни легкомысленных приговоров. Соединение доброго и худого, светлого и темного предстает в художественном мире героини романа как неразрешимая загадочность человеческих душ.

Это совершенно самостоятельное произведение, но образ главной героини объединяет его с другим романом – «Тебе все можно», встречаются и отсылки к некоторым его действующим лицам.

Хотя в «Несвадебном марше» есть и целые главы, излагающие события от лица Северина, с включением отрывков из его записных книжек, раскрывающих его интересы, но по совокупности – это семейная хроника с женской точки зрения, местами иррациональной. И для главной героини, что бы ни говорила она, замужество и семья стали самым главным жизни, именно в семье и через семью она состоялась не только как женщина, но и как творческая личность.

Любовь Молчанова, Вологда

Содержание

Об авторе	3
Женщина в мире мужчин (вместо предисловия).....	5
Часть первая.....	9
ОНО ЖИВОЕ	9
КОСЫНОЧКА.....	21
ХОДИ НА ГОРУ, ХОДИ С ГОРЫ	32
КНИЖКА-ВЕСНА	39
ТУФЛИ У ПОДЪЕЗДА	50
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРСТЕНЬ СЕСТРЫ	62
СИЛЬНЫЙ-СЛАБЫЙ-ЛЮБИМЫЙ.....	70
ЮЖНАЯ, НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ	77
СЕВЕРИН И MAGAZIN	86
САХАРНЫЙ ДОМИК НЕВЕСТЫ	94
ЕЕ УКРАЛИ	106
ЛИШЬ СОН ДУРНОЙ	120
НЕ НАШЕГО КРУГА.....	133
КУРОРТ НА КАТОРГЕ.....	142
СКАЧ ЕЛКИ ПО ЭТАЖАМ	152
ИЗБЕЖАТЬ ВСЕГО.....	168
ГЛАЗА КАК ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ	171
ПРОЛОГ БРУСНИЧНОЙ БРАГИ.....	183
ЛЕПЕСТКИ.....	201
ВОСЕМЬ МЕТРОВ ШЕЛКА	212
БРОДИТЬ ПО БЕРЕГУ ВДВОЕМ	221
ГОРЯЧЕНЬКОГО НА НОЧЬ.....	226
ПЕННЫЕ БУРНЫЕ ВОДЫ	237

НАПУТСТВИЕ ИКОНОЙ.....	252
НИ СВАДЬБЫ, НИ ПРОПАСТИ	259
ПРОЯСНЕНИЕ ДАЛИ.....	264
ТОРЖЕСТВО В ОДЕЖДЕ ГРУЗЧИКА	286
ПРОЩАЙ И БУДЬ ПРОКЛЯТА	295
ГОЛУБИ НА СТОЛИКАХ	299
Часть вторая.....	305
ДО ТОГО КАК.....	305
РУБИЛОВО	310
КНИГА УМИРАЕТ	317
ДЕТИ ОТ РАЗНЫХ БРАКОВ	333
ИСКОСА.....	349
ЗА ПРЕДЕЛЫ КВАРТАЛА.....	360
БОРЬБА С ЕДОЙ И ЕЕ ОТСУТСТВИЕМ	368
ТРЕБУХА НА ДЕСЕРТ.....	378
ПРОМЕНАД НЕЗАВИСИМЫХ КОШЕК	386
КОРОЛЕВСТВА.....	398
ПТИЦА И МРАЧНЫЙ ШУХЕР	419
«МОКРЫЕ» ДЕНЬГИ	427
БЛОКНОТ ФЕЛИСАТЫ	435
С УМА СОЙТИ	440
НАСМЕШКА	455
ЛИНИЯ НЕВИДИМОГО ФРОНТА.....	462
«АЗИАТИК»	472
КОЛЧКИ И КУЧУГУРЫ	482
ДЕДЫ И ДОЛГИ.....	491
ПОШЛИ ВМЕСТЕ	502
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ КАНАЛ	521

КАРАТ.....	529
БУДНИ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА	542
ОКРОШКА	555
НОВАЯ ЛИДКИН	570
СЕСТРЫ	588
ЧУВСТВЕННЫЕ КРУЖЕВА	606
Послесловие	619

Галина Александровна Щекина

Несвадебный марш

Роман

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*

Корректор *С. Мартынович*

Верстальщик *М. Глаголева*

Автор фото *Даша Бекош*

Графика на обложке *Виктор Рыжаков*

Издательство «Директ-Медиа»

117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1

Тел/факс + 7 (495) 334-72-11

E-mail: manager@directmedia.ru

www.biblioclub.ru

Отпечатано в ООО «Леттер Групп»

142172, г. Москва, г. Щербинка,

ул. Космонавтов, д. 16